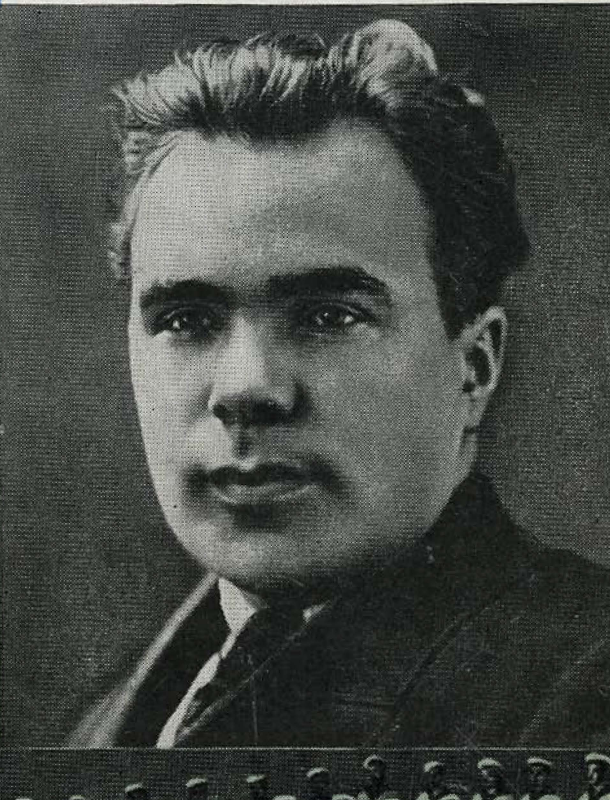
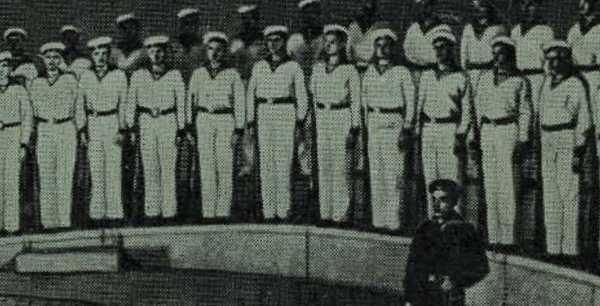
ВСЕВОЛОД ВИШНЕВСКИЙ

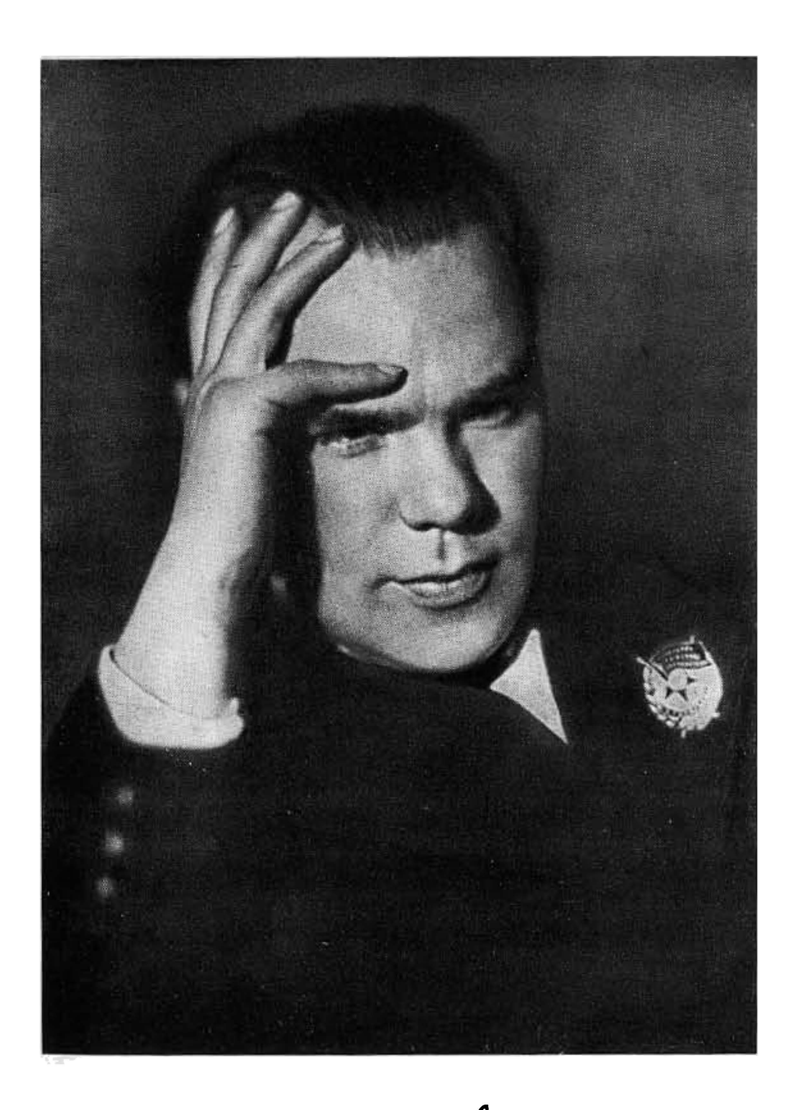




Виктор Хелемендик



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



Вс. Вишневский

Жизнь замечательных людей

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ



ВЫПУСК 13

(606)

Виктор Хелемендик

ВСЕВОЛОД ВИШНЕВСКИЙ

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1980

Х $\frac{70302-127}{078(02)-80}$ 267—80.   4702010200

Часть I

У ИСТОКОВ СУДЬБЫ

1

Ранним утром на перроне вокзала людно: в ожидании поезда толпятся солдаты. У выхода на платформу — рослый рыжеусый жандарм. На какую-то секунду его взгляд задерживает плотно сбитая, почти прямоугольная фигура гимназиста с ранцем за плечами. Хотел было подозвать, расспросить, куда путь держит. Но что-то остановило. Скорее всего решительность, с которой гимназист направился к вагону, поднялся по ступенькам.

А с какой стати Всеволод должен трепетать при виде каждого жандарма? В кармане у него законный отпускной билет на праздники — в Польшу, к тете, проживающей под Варшавой. Правда, на самом-то деле не только тети, но и более дальних родственников в тех краях у Всеволода нет.

Это легко могли бы проверить раньше: стоило комунибудь из преподавателей гимназии позвонить отцу — и все бы сорвалось. Как неделю назад, когда сосед по дому, мобилизованный шофер Михаил, пообещав спрятать его в машине (автомобильная рота отправлялась на фронт), в последнюю минуту нарушил слово. Сгоряча, вне себя от ярости, Всеволод решил немедленно идти на фронт пешком, по шпалам. Была ночь. Он шел упорно и шел бы, пока хватило сил. Но у первого же моста его задержал часовой...

Поезд тронулся. Всеволод огляделся: в вагоне в основном были солдаты. Рядом с ним сидел довольно молодой чиновник и читал газету. Прошел патруль, но документов ни у кого не спросил.

Хотелось спать. Все-таки неуютно коротать ночь на вокзальной скамейке — из дому Всеволод ушел накануне вечером, но билет на ночной поезд приобрести не удалось.

Под монотонный стук колес гимназист уснул, а когда открыл глаза, поезд подъезжал к какому-то городу. Оказалось — Вильно. Всюду солдаты, офицеры, сестры милосердия и охрана с винтовками. Мимо прошел эшелон сибирских стрелков в косматых папахах и теплых полушубках. Они громко, разухабисто пели. Здоровые и сильные люди. Стрелки размахивали шапками, веселились так, словно впереди их ожидала вечеринка.

В Варшаве Всеволод сошел с поезда и, побродив какое-то время по незнакомому городу, на одном из строений заметил надпись: «Этапный пункт». Солдат у двери дремал, и можно было тихонько проскользнуть внутрь. В пустой комнате на низеньком табурете тускло светила лампа. Подобрав побольше соломы, чтобы было теплей, Всеволод лег и вскоре крепко уснул. Разбудили его громкие голоса. Это солдаты, пришедшие, видимо, ночью. Одни, несмотря на шум, продолжали спать вповалку, другие сидели и пили чай. Никому нет дела до невесть откуда появившегося гимназиста, и Всеволод тихонько пробрался к выходу.

Знакомые очертания вокзала, отсюда путь пролегает дальше, к линии фронта. На него по-прежнему не обращали внимания: мало ли куда накануне Нового года, перед каникулами направляется гимназист.

Зашел в почтовое отделение и отправил домой первое после побега письмо: «26 дек. 1914 г. Поздравляю всех с праздником. Я сейчас на Ковельском вокзале в Варшаве. Приехал в Варшаву в 11 часов 25 декабря... В Варшаве 0 градусов, тепло. В 4 часа поеду на Ивангород». И подписал: «Воля» — так обычно называли его домашние.

В отличном расположении духа Всеволод провожал взглядом мелькавшие за окном станции, крыши домов, телеграфные столбы. Соседом оказался словоохотливый солдат, возвращающийся из отпуска в свою часть, в лейб-гвардии Егерский полк. И тут Всеволода осенило. Почему бы не говорить, что едет в гости к какому-нибудь командиру, ну хотя бы к штабс-капитану Бутенко, часть которого не так давно была расквартирована в казармах по соседству с домом Всеволода и с которым он был знаком?..

По счастливому совпадению солдат служил именно в этой части. Он проникся к попутчику уважением и рас-

сказал, что Бутенко произведен в полковники и за все бои ни разу не был ранен.

Полк стоял за Радомом, а билет у Всеволода был лишь до Ивангорода. Пришлось при очередном контроле залезть под лавку, что немало удивило солдата.

Вокзал в Радоме уцелел, но уже в нескольких верстах от него незарубцевавшиеся следы осенних боев: окопы, размытые дождями, воронки от снарядов и гранат, проволочные заграждения, поваленные телеграфные столбы. Однако шоссе, по которому Всеволод со своим спутником должен прошагать пятнадцать верст, было на удивление в хорошем состоянии.

Уже темнело, когда они подошли к какой-то деревне. У околицы встретили солдата — тот подтвердил: точно, Егерский полк. До поздней ночи Всеволод разыскивал деревню, где расположился штаб. И в конце концов ему повезло. Указали дорогу, проводили к полковнику Бутенко.

В небольшой избе трое офицеров играли в карты. Бутенко сидел у окна и не спеша пил чай с сахаром. Посмотрел на гимназиста, поздоровался и, кажется, с сочувствием выслушал его рассказ. Велел покормить и напоить чаем, а наутро пообещал представить юного волонтера самому генералу. Успокоенный и счастливый Всеволод уснул тут же, на полу.

На следующий день, 28 декабря, действительно он был представлен генералу. Что ж, генерал не против того, чтобы оставить добровольца, гимназиста 5-го класса Всеволода Вишневского в полку, если... на то будет получено письменное согласие его отца.

Слава богу, отец не воспротивился, да к тому же и ответил довольно быстро.

Для Всеволода началась проза военной жизни. Обыденность, даже какая-то «домашность» обстановки поначалу слегка разочаровали его. Однако вскоре все остальные чувства подавило любопытство. Конечно, он не мог не замечать удивленных взглядов егерей 14-й роты, куда направил его полковник Бутенко. Но это не смущало Всеволода. Он сам во все глаза смотрел на людей, пытаясь обнаружить в их внешности следы участия в боях, о которых столько читал в газетах: «особый взгляд», «нечто от смерти» и прочие «роковые» приметы. Но солдаты абсолютно ничем не отличались от тех, которые встречались ему прежде.

Полк начал тридцатикилометровый марш. Солдаты шли молча, совсем не молодцевато, а как-то угрюмо: дымили самокрутками, на ходу жевали хлеб и лишь изредка перебрасывались словами. Всеволод в своей гимназической шинели и с гимназическим ранцем шагал рядом со строем. Через некоторое время, чтобы ощутить себя настоящим солдатом, попросил у молодого долговязого егеря, как потом выяснилось, бывшего народного учителя Емельяна Козлова, разрешения понести винтовку. Нес ее с удовольствием, но постепенно наваливалась усталость, и винтовка становилась все тяжелее. Сосед, мягко улыбнувшись, протянул руку.

Он был неуловимо похож на кого-то хорошо знакомого Всеволоду, но на кого именно?

К быстрому строевому шагу гимназист не привык, отставал и час от часу вынужден был делать пробежки. Темно, холодно, руки и ноги коченеют. Мысли вертятся вокруг одного: только бы выдержать.

Кажется, марш длится целую вечность — солдаты идут и идут, и, борясь с усталостью, он старается представить себе: так ходили бойцы народного ополчения 1812 года, гоня французов со своей земли... Осознавать свою причастность к славному боевому сотовариществу — сегодняшнему и прошлых времен — необыкновенно приятно.

Марш близился к концу, и Всеволод преисполнился уважения к самому себе: наконец-то он в регулярной армии, видит все не на полотнах Верещагина в картинной галерее, а наяву.

В темноте подошли к деревне, и вскоре задымил костер — кипятили чай. Всеволод держался вблизи Козлова и разместился на ночлег в одной избе с ним. Было здесь человек десять — почти все из кадровых. Вымуштрованные на срочной службе, рослые и крепкие солдаты.

После чая, в предвкушении скорого отдыха завязался незлобивый, с усмешкой и подковыркой солдатский разговор. Тем более что и мишень подходящая есть — гимназистик, хотя и протопавший вместе со всеми многие километры, а все же новичок. Да и вообще белая ворона.

Как всегда, начал рассудительный старый солдат Шилкин:

— И почему это некоторым дома не сидится? Чего таскаться да вшей кормить... Добро бы хоть службу знал да ростом вышел, а то... — Он замялся, подбирая менее

обидное выражение вместо уже готового сорваться с уст. Не нашел и, махнув рукой, закончил свою тираду, глядя прямо на Вишневского: — Сидел бы дома у батьки с маткой, учился бы, жил в чистоте...

— Ну и сиди, — сразу, без раздумья парировал Всеволод, бросив короткий, прямой, не по-детски твердый взгляд темных глаз на Шилкина. — Премудрый пескарь тоже сидел, прятался в речной печурке, пока не ослеп...

Все рассмеялись. Кто-то спросил:

— А что это за премудрый пескарь такой?

Емельян Козлов, в душе обрадовавшись тому, как удачно сумел ответить понравившийся ему гимназист, охотно поддержал разговор и пересказал сказку Салтыкова-Щедрина...

Это была первая и далеко не последняя стычка юного добровольца со старослужащими. Правда, позже стали побаиваться его острого языка. Скажет как отрежет. И сразу же переведет разговор на другую тему, давая понять: готов ответить еще хлестче, но занят более серьезными делами. Уклоняясь от словесной перепалки, он с достоинством, да и чаще всего с успехом отстаивал свою независимость, самостоятельность, свое равноправное положение в полку.

На фронте был период затишья (гвардия простояла в Радомской и Варшавской губерниях около месяца). Ждали весенних боев и победной развязки к лету. Третий взвод занимал крестьянскую усадьбу: солдаты, размещались в избе, на чердаке и в стодоле, набитой соломой. В светлице осела ротная «аристократия» — подпрапорщики, писарь.

Во взводе понемногу привыкали к юному волонтеру: на занятиях его фигурка маячила на левом фланге, в 4-м отделении. Он постигал искусство ружейных приемов, с наслаждением прицеливался, щелкал затвором. Занятия преимущественно строевые: гоняли по полю, трамбовали и без того твердую, мерзлую землю, бесконечно перестраивались. Тактические занятия почти не проводились, только иногда, после маршировки, рота рассеивалась в цепь и атаковала воображаемого противника Лихо, с криком «ура!» егеря летели вперед — это пьянило, приводило Всеволода в восторг. Успехи его в ученье были очевидны: в стрельбе на 300—400 шагов лежа он давал довольно высокий процент попаданий.

Вместе с Емельяном Козловым Всеволод устроился на чердаке на соломе. Здесь по вечерам они вели долгие разговоры о литературе и истории, о предстоящих боях, ожидание которых будоражило обоих.

Всеволод припомнил-таки, на кого Емельян так поразительно походит своей мягкой, застенчивой улыбкой — ну конечно же, на Янчевецкого, латиниста и педагога-военизатора гимназии.

Где-то сейчас Янчевецкий? Уж года два, как он уехал в Турцию, его стамбульские корреспонденции печатались в столичных изданиях и после начала войны, а сейчас Всеволод газеты читает нерегулярно. Может быть, потому и не встречает на их страницах знакомого имени?

Удивительный человек Василий Григорьевич! Сын директора гимназии, окончив историко-филологический факультет Петербургского университета, решил осуществить свою давнишнюю мечту — пешком побродить по России, изучить быт, язык и нравы народа. И вот в крестьянской одежде, с котомкой за плечами Василий Янчевецкий отправился из Петербурга в Новгород, затем — Псковская, Вятская губернии, глухие Малмыжские леса; позже перебрался на Смоленщину, на плотах спустился по Днепру, на Украину. «Эти скитания отняли у меня несколько лет, — будучи уже в преклонном возрасте, вспоминал В. Г. Янчевецкий. — Они дали мне возможность не только многое повидать, но и понять душу русского человека, талантливого, терпеливого, но бесправного».

О своих странствиях по России и за ее пределами Василий Григорьевич много рассказывал гимназистам младших классов, где он давал уроки военного дела, кстати, впервые в порядке эксперимента введенные тогда в 1-й Санкт-Петербургской гимназии. Мальчишки любили такие беседы. Из них Всеволод узнавал о многом. Например, о том, как в свое время их учитель, работая корреспондентом одной из петербургских газет в Англии, объехал всю южную часть острова на велосипеде... О хлопотливой и далеко не безопасной работе смотрителя колодцев в песчаных степях Туркмении. На выносливом жеребце местной породы Янчевецкий пересек Каракумы, Северную Персию, добрался до границы с Индией... О русско-японской войне (Янчевецкий принимал в ней участие как специальный корреспондент Петер-

бургского телеграфного агентства), о мужестве, выносливости, беззаветности и отваге русского солдата.

Помимо путешествий, была у Янчевецкого и другая, пожалуй, не менее сильная страсть — любовь к детям, к школе. С маленькими и теми, кто постарше, с бойкими и флегматиками у него поразительно быстро складывались приятельские отношения. Он интуитивно угадывал их желания, убедительно отвечал на вопросы, понимал их мечты. Не зря ведь и сам он был мечтателем: у него то и дело возникали неожиданные фантазии. Рассказывал, как еще в детстве, прочитав только что изданный в России «Остров сокровищ» Стивенсона, в поисках далеких сказочных стран попытался бежать из дома, для чего незаметно проник в трюм шхуны, которая должна была взять курс к берегам Бразилии. Поймали, конечно...

— Это же очень просто, — объяснял Василий Григорьевич «секрет» своей дружбы с ребятами, — надо только не забывать, что взрослые — это большие дети, а дети — маленькие взрослые...

Когда он, невысокий, со смугловатым скуластым лицом, которому чуть обвислые усики придавали монгольский вид, появлялся на гимназическом плацу, мальчишки стремглав бросались к Янчевецкому. Глаза у него светлые и необыкновенно добрые, смотрят по-отцовски внимательно. Всеволода особенно привлекала уверенность и выдержка Василия Григорьевича. Он никогда не повышал голоса, говорил ясно, образно и точно. Вместе с гимназистами Янчевецкий отправлялся в походы за город, жил в летнем военно-спортивном лагере, занимался гимнастикой.

Многое в постановке школьного дела в России было ему не по душе. И прежде всего — казенность преподавания, практически отсутствие воспитания любви к Родине, своему народу.

Прошли многие годы. Всеволоду Вишневскому как-то попалась в руки тоненькая брошюра, датированная 1911 годом: В. Г. Янчевецкий, «Что нужно сделать для петербургских детей». На верхней части обложки нарисован юный футболист, внизу — он же по-военному отдает честь — символическое воплощение идеи спортивно-военной направленности воспитания. «От здоровья детей зависит здоровье будущей России, — рассуждает автор. — И не надо жалеть времени и средств для того,

чтобы в условиях большого города сделать воскресные вылазки ребят в окрестности, где они могут играть среди природы, регулярными...» Надо добиваться того, чтобы дети жили «в той естественной обстановке, которой они лишены в каменных коридорах и ящиках, образовавшихся из домов столицы...».

Читая брошюру, Вишневский вспоминал, что многое из предлагаемого Янчевецкий внедрял в гимназии. Не забылась, например, неделя, проведенная ими в «лагере бледнолицых», где все было построено на ребячьем самоуправлении и широчайшей инициативе: все поочередно были часовыми, саперами, командирами. Какая-то необъяснимая свобода и раскрепощенность овладевали всеми, и, хотя Василий Григорьевич находился тут же, с ним советовались, лишь когда в том возникала необходимость.

Конечно, это было совсем непохоже на строевую подготовку на плацу. «Обучение только строю, — считал Янчевецкий, — это все равно что выделывание шахматных фигур, хотя бы и очень нарядных и красивых, а затем прятание их в ящик. Но ведь самое интересное в шахматах — это игра, которой вы можете увлекаться даже с фигурками, вырезанными из бумаги».

Встреча Вишневского с брошюрой «Что нужно сделать для петербургских детей» произошла примерно через четверть века после ее издания, и он невольно подумал о том, как много значило для него в те годы общение с Янчевецким...

А сейчас, зимой 1915 года, на чердаке крестьянской избы на вопрос Емельяна Козлова о том, что привело его сюда, в полк, и легко ли было добраться, Всеволод отвечает кратко: «Трудно. Особенно уйти от родителей...»

Ответить-то ответил, а сам задумался. Всегда, с самого детства привык говорить правду и сейчас вдруг засомневался: так ли?

Отец поглощен своими делами, вечно в разъездах. Он — межевой инженер, имеет дело с землей, всяческими спорами и конфликтами. К тому же у Виталия Петровича всегда уйма самых разнообразных идей: то вдруг увлечется воздушной съемкой, то начнет издавать необычный журнал «Русская Ривьера» — о строительстве и развитии курортов в стране.

Мать теперь и вовсе далека — особенно с той поры,

как семья распалась и она вместе с младшими братьями Борисом и Георгием стала жить отдельно. Фактически последние пять лет Всеволод был предоставлен самому себе. Разве что бабушка, строгая преподавательница немецкого языка, Лидия Васильевна Вишневская, души не чаявшая в нем, отговаривала внука от бредовой, по ее мнению, затеи.

А готовился к побегу на фронт Всеволод основательно. Первый марш здесь, в полку, ему бы ни за что не осилить, если бы не предварительные ежедневные тренировки. В записной книжке был и специальный план их: «В один час — 3—4 версты. С 6 до 1 часу — 23 версты. С 2 до 9—10 = 23 в. 40 — максимум, 30 — минимум». Так же тщательно продумывалось, что нужно взять с собой: «ранец — сошью (это зачеркнуто, сверху написано — есть), ремень — есть, свитер — есть, солд. пох. руб. — есть, сапоги — есть, перчатки — есть (у Алешки), нож финский — *куплю,* солд. пох. брюки — есть» [1].

В этой же записной книжке 1914 года множество других примет и свидетельств деловитости да, пожалуй, и необычной для этого возраста практичности, озабоченности, а порой и сомнений четырнадцатилетнего подростка. Тщательно вычерчен маршрут от Петрограда до Варшавы и далее — до Ивангорода. Выдерживается масштаб, указано расстояние между станциями. Тут же, рядом, рецепт: «Как варить гречневую кашу — $1/3$ фунта гречн. крупы, $1/2$ литра (воды) молока, вымыть крупу. Залить полов. молока, поставить на огонь. Когда развар. крупа — прибавить молока...»

Еще заметки: как закипятить воду в ведре, на костре, в походных условиях. Приметы погоды: «Красн. закат — будет ветер; бледн.-желт. — будет дождь. Роса и туман рано утром — к хорошей погоде...» Небольшой немецко-русский словник. И десятки записей «бюджетного» характера: ведь надо было скопить деньги на билет. Жадно следя за событиями на фронте, Воля изучает карты, знакомится с военной терминологией.

А вот целая декларация — размышление о самом сокровенном:

[1] Все цитаты из дневников, записных книжек, писем, художественных и публицистических произведений В. В. Вишневского, кроме особо оговоренных, даются по изданию: Всеволод Вишневский. Собр. соч. в 6-ти т. М., 1954—1961 гг., а также по материалам фонда В. В. Вишневского, хранящегося в ЦГАЛИ.

«5 ноября. Как много за последнее время у меня переменилось чувств и желаний! Но одно как яркий свет стоит весь день и ночь у меня перед глазами: идти на войну. Да! Как легко сказать — идти на войну! Идти, а вот пойди. Борька П. скрылся в воскр., в последних числах октября. Неделю его не было. В среду или вторник 3—4-го числа вернулся из-под Сувалок. Не мог попасть! *Надо бумаги.*

Эх! Пустил бы отец меня, дак без «Георгия» не вернулся бы. Война! Война! Может быть, мне хочется страшно туда — испробовать войны, но если попаду на войну, то захочу попасть домой! Все может быть. Бабушка правильно говорит мне о войне. Но все-таки мне хочется, хочется туда. Все, кажется, бы отдал, чтобы попасть туда».

Военно-патриотические настроения, охватившие среду, в которой вращался Всеволод, — семью, гимназию, сверстников, — несомненно, способствовали тому, что желание бежать на фронт становилось все сильнее и сильнее.

Но тяга к военному делу зародилась гораздо раньше. Может, когда еще ребенком Всеволод приходил в казармы к дяде, Василию Петровичу Вишневскому, который служил в гвардейском Егерском полку. Или после частых прогулок с бывшим матросом броненосца «Сысой Великий» — рабочим типографии издательства «Знание» [1], — который мог бесконечно долго рассказывать о флоте, о Цусимском сражении. Кстати, необычное имя корабля врезалось в память, и позже драматург Вишневский использует его в «Первой Конной», назвав главного героя Иван Сысоев. А может быть, решающим было чтение книг о сражениях русских с иноземцами?..

«Как упивался я красотой Петровского времени!.. — вспоминал позже Вишневский. — Портрет Петра! Я не мог оторваться от лика ужасного и прекрасного. История России, которую мы изучали в гимназии, иллюстрировалась замечательными наглядными пособиями — экспонатами музеев, художественными изданиями. Мальчишеский взгляд останавливался на всем военном — Ермаковской пищали, пушках, выписанных с исключительной точностью Верещагиным, прелестных рисунках, виньетках и

---

[1] На Невском проспекте, 90/92, где помещалась типография, в то время жили Вишневские.

заставках Самокиша... А живопись Детайля! В слабых детских копиях я изощрял глаз на распознавании деталей форм и оружия. В витринах офицерских магазинов меня околдовывали кирасы, радуги орденов, погон, значков, узоры муаровых лент, особенно моих любимых — георгиевских... Вполне понятно, что постоянное сосредоточение на военных сюжетах отражалось на складе *мышления*, на характере занятий, игр».

В актовом зале гимназии любовался Воля .громадными портретами героев 1812 года, составил схему расположения войск перед Бородинским сражением — как раз широко отмечалось 100-летие Отечественной войны. Во время летних каникул он подолгу бродил по мрачным залам Домского собора — всматривался в непроницаемые маски рыцарей.

Постоянно рос в нем и интерес к морю. Благодаря внезапно вспыхнувшей «пейзажистской лихорадке» — увлечению прекрасными картинами художника-мариниста Бегрова — целыми вечерами мальчишка просиживал над рисунками на морские темы. В одиннадцать лет Воля ходил с рыбаками на несколько суток в открытое море, а в каникулы, которые он проводил на Рижском взморье, его властно влекли к себе военные корабли на рейде. Да и бежать в 1914 году он попытался сначала не в сухопутную армию; упросил капитана маленького курьерского судна «Бети» взять его юнгой. Правда, в боевых действиях корабль не участвовал, а вскоре приехал отец и увез беглеца в Петроград.

«Балтика взрастила меня, — писал Вишневский в 1934 году, — ее вода, ее соль, ее скупое солнце. Измерено шагами побережье от финской до германской границы за Либавой. Навсегда в ушах иностранная речь моряков и рыбаков, встреченных в пути...»

В целом же круг интересов подростка был довольно широк: помимо живописи, Воля интересовался археологическими раскопками и собиранием марок и монет, занимался борьбой, играл в футбол и катался на роликовых коньках. Он прямо-таки «глотал» книгу за книгой, выкапывал где-то старинные издания — чаще всего исторические романы. Как-то, прочтя рассказ Станюковича, отправился в магазин на Александровский рынок и купил Полное собрание сочинений этого писателя. Деньги на приобретение книг были заработаны раньше — Воля частенько помогал торговцам цветами на вокзале: разно-

сил по перрону букетики и вознаграждался за это «комиссионными».

Самую памятную ему книгу подарил Василий Григорьевич Янчевецкий. Правда, в романе Луи Буссенара «Капитан Сорвиголова» недоставало первых трех страниц, но и начав с четвертой, оторваться было невозможно: в книге шла речь о юных добровольцах, участниках бурской войны.

Глядя на раненых, прибывающих на Варшавский вокзал, на их грязные, мятые шинели, пятна крови на бинтах, Всеволод впервые задумался о подлинной сущности происходящего — ведь с детства военная жизнь привлекала его своей парадной стороной. В лазарете на Фонтанке, где работала мать, перезнакомился со многими ранеными, жадно и благодарно выслушивал их простые истории. Порой охватывал страх, но каждый раз перебарывало желание самому оказаться там, пережить то, что пережили эти солдаты и офицеры. Над Россией нависла опасность. Надо защищать Родину, неужто лишь мальчишки, воспетые Буссенаром, способны воевать?

Так поочередно, сменяя друг друга, люди, с которыми встречался подросток и которые так или иначе оставляли след в его душе, и книги, воздействовавшие в не меньшей степени эмоционально и побуждающе, предопределили выбор гимназиста пятого класса. Личностью же, оказавшей наибольшее влияние на него в те годы, и был, несомненно, В. Г. Янчевецкий. Всесторонняя образованность (отличное знание трех европейских, латыни, древнегреческого и ряда восточных языков), огромный жизненный опыт, масса впечатлений от путешествий по земному шару — все это позволило Василию Григорьевичу впоследствии стать видным советским писателем, известным читателю под именем В. Ян. Его историческими романами «Чингисхан», «Батый», «К последнему морю», «Огни на курганах» и другими зачитывались мальчишки нескольких поколений. Писательская судьба, как и вся жизнь В. Г. Янчевецкого, также оказалась необычной. Страсть к путешествиям, к истории и любовь к детям нашли выход в литературном творчестве лишь незадолго до того, как ему исполнилось пятьдесят лет. В этом возрасте иные иссякают, «выписываются», а у него впереди, как оказалось, было еще три десятка лет плодотворного писательского труда. Совсем по Саади: «Тридцать лет

учился, тридцать лет путешествовал, тридцать лет хотел бы писать...»

В. Ян, наставник мечтательного гимназиста, смотрел на сцене Камерного театра «Оптимистическую трагедию», слушал по радио речи Вишневского из осажденного Ленинграда и пережил своего замечательного ученика.

2

Почти весь январь 1915 года Егерский полк провел в походах. После нескольких операций на фронте в Радомской и Варшавской губерниях его решили перебросить к границе Восточной Пруссии. Доброволец с нетерпением ждал первого боя, а пока основательно врастал в военный быт. При переходах снаряжение у него пригнано отличнейше — даже опытные солдаты одобрительно похлопывают по плечу. Ранец упакован так, чтобы тяжесть распределялась равномерно; патроны — в непромокаемом патронташе и кожаных подсумках; сбоку — мешок с сухарями, фляга и лопата. К ранцу накрепко прихвачена скатанная палатка.

В письме к матери Всеволод сожалеет о том, что у него нет бинокля — «для стрельбы на 1 версту цель надо в бинокль разглядеть, а потом уже стрелять в нее...».

Стремление гимназиста как можно скорее постичь «науку воевать» выливалось иной раз в такие формы, что окружающие лишь разводили руками. Как-то Емельян Козлов поднял его ранец и от неожиданности даже присел — словно камнями набит. Всеволод же в ответ на его удивленный взгляд опрокинул ранец, и оттуда на землю посыпались пустые гильзы, части затвора, головки от снарядов — в основном неотечественного производства.

— Зачем тебе все это? — по-прежнему ничего не понимая, спросил Козлов.

— Вычищу, а потом постараюсь по головке снаряда определить расстояние до батареи, из которой он был выпущен. — И Всеволод стал искать какие-то номера на этой головке и что-то объяснять.

— Но ведь батареи десять раз изменили позиции...

Всеволод молча наклонился, тщательно собрал все и водворил на прежнее место. На пятнадцатом году жизни он был все еще, по его же более позднему выражению,

«во власти детских фантазий, которые бывают... так серьезны».

Прошла неделя, Всеволод все-таки прислушался к голосу старшего товарища и опорожнил рюкзак. Но как он это сделал! Дорогая его сердцу «техника» зарыта в землю, место «клада» обозначено. Он явно надеялся сюда вернуться...

Как связист-ординарец для связи роты со штабом батальона, Вишневский первым узнавал все новости. Здесь же, в офицерском блиндаже, подбирал газеты и журналы, изучал привезенные из Петрограда карты, рисовал схемы боевых действий, всячески стараясь разобраться в обстановке по всей линии фронта. С удовольствием вытаскивал из ранца, из своего «арсенала», репродукции картин и собственные зарисовки.

— Вот эта — бой на Шипке, в Болгарии. Другая — продвижение наших войск у Казанлыка. А эта — царь Петр в Полтавской баталии, — пояснял он своим товарищам.

Рассказывал и об истории их собственного лейб-гвардии Егерского полка, образованного, как он знал, еще при Павле и входившего в состав Гатчинского гарнизона. Героическая оборона Смоленска, Бородинская битва — егеря покрыли себя славой в кампанию 1812 года. В бою под Кульмом, в Богемии, они сумели сдержать напор французов, полку вручили прусский орден за храбрость — Железный крест. Этот постоянный полковой нагрудный знак носил теперь каждый, но немногие знали о его происхождении.

Неизменная просьба в письмах к матери, брату Борису: присылайте газеты, географические карты, бумаги, карандаши. И чего-нибудь съестного. Воля питает неодолимую слабость к сладкому, которая нет-нет да и прорвется у «солдата» сквозь маску напускного равнодушия. Как в этом письме к матери: «...пришли еще 1 мыло и шоколаду — 2—3 плитки. Если хочешь. А если нет, то не надо...»

На марше пели песни, иной раз — на злобу дня:

Пишет, пишет царь германский,
Пишет русскому царю:
«Разорю я всю Расею,
Сам в Расею жить пойду...»

Особенно любили «Горы-вершины, вас я вижу вновь,

карпатские долины, кладбища удальцов». И, несмотря на явно неудачные слова, старались как можно громче петь свою, гвардейскую:

Колонна за колонной полем, лесом, вброд
Могуче, неуклонно гвардия идет.
Зеленые рубахи, зеленые штаны.
Штыков стальные взмахи, моторы как слоны...

Какие уж там моторы, думал Всеволод, даже конных повозок негусто. Но пел с удовольствием.

По железной дороге полк прибыл на станцию Червоный Бор. Спешно, при свете электрических фонарей, выгрузились, и начался долгий переход — сорок верст по заснеженным проселочным дорогам. Егеря — не только рядовые, но и их командиры — не подозревали, что противник также спешно перебрасывает войска встречным маршем. Причем немцы первыми повели наступление, нанеся удар по авангарду русских — Измайловскому полку.

...Егерей подняли среди ночи. Во всем чувствовалась неразбериха, нервозность, построились и пошли, а куда? На душе тоскливо: ясное дело, отступаем. Впервые Всеволод услышал близкую артиллерийскую стрельбу: снаряды — свои или их? — пролетали с особым, постепенно затихавшим шипением. Кажется, что противник уже обошел полк. Идут то строем, то цепью, по одному. Молчат, каждый думает свое.

Утро разрядило ночное напряжение, а краюха хлеба и кружка кипятка с куском сахара восстановили силы. Лица посветлели. После короткого привала полк вновь двинулся: как выяснилось, вперед, к позициям, где шли стычки с немцами.

Остановились у какого-то леса и стали рыть окопы: настроение у Всеволода на редкость бодрое. Вот она, война, рядом, а совсем не страшно. Вечером полк развернулся к западу от шоссе, перекрывая Ломжинское направление. Впереди пылала какая-то деревня. В темном небе непрерывно сверкали разрывы вражеской шрапнели. Солдаты вели огонь из винтовок, откинув прицельные рамки. Но редко у кого хватало терпения прицелиться как следует. Почему-то все спешили...

Постепенно стрельба затихла. Ничего особенного в первом бою Вишневский не испытал: «Я сразу принял, ощутил войну как-то проще, примитивнее; без потрясений

были вытеснены ложные представления... — писал он много позже, в 1928 году. — Я не испытал отвращения и страха, познав войну. Были, конечно, разочарования, но они сводились к недовольству отступлением, позиционной войной...»

Настоящее боевое крещение Всеволода состоялось в начале февраля, когда он, зажав в кулаке донесение, во время жестокой перестрелки несколько раз бегом преодолевал смертоносную зону. Тонко визжали пули, рвалась шрапнель. Впервые, пожалуй, навязчиво стучали слова: «Вот убьют, вот убьют, вот сейчас, вот сейчас...» Но держался он не хуже других. Во всяком случае, дело свое делал. Теперь Всеволод с полным правом мог считать себя егерем.

«Сейчас идет 3-й день бой, — с гордостью сообщает он матери. — Я был в разведке и в перестрелке... И под шрапнелями ходил с донесениями. Жив и здоров... Ничего немцы не могут с нами сделать...

Не беспокойся, Воля».

Но вскоре произошло непредвиденное. Командир батальона обратил внимание на истощенный вид подростка. Сказывались общая усталость, морозы, недоедание и, главное, непрерывное раздражение, вызываемое чесоткой. Пришлось выбирать: либо домой на поправку, либо в госпиталь.

Да тут еще масла в огонь подлил преподававший в мирное время в гимназии, где учился Всеволод, полковой священник. Он узнал своего питомца и потребовал, чтобы его отправили в тыл. Спустя несколько дней после того, как Всеволод уехал в Петроград (вместе с получившим отпуск ротным командиром), священник Добровольский с облегчением писал Анне Александровне Вишневской: «Хотя он себя и хорошо зарекомендовал, и будет представлен на медаль, и храбрый, но все-таки не место ему среди ада страданий и лишений. Я сам, как отец, больше других чувствую это, и потому Вы поймете и мою радость при отправлении Вашего сына в Петроград...»

Судьба в первый раз оказалась благосклонна к Всеволоду Вишневскому. Вскоре после его отъезда, начиная с 19 февраля, немецкая артиллерия всех калибров на протяжении трех суток беспрерывно вела огонь по позициям егерей: рота почти сплошь полегла, вместе с не-

строевыми осталось двенадцать человек. Об этом сообщил один из однополчан, обстоятельный Семен Кабанов, в своем письме в Петроград:

«Приветствую Вас, дорогой мой Воля. От лица своего взвода приношу искреннюю благодарность. Спасибо! За подарочки Ваши к Пасхе.

Письмо и подарки получили 21 марта в 5 ч. веч., даю ответ на Ваши вопросы: всех нас, адресаторов, которых Вы поставили на конверте Вашем, — нет, лишь я только милостью Божией и Царя, Отечества и Св. Веры, я жив и здоров, и мне было вручено Ваше письмо.

В 3-м взводе есть убитые и раненые и без вести пропавшие, извиняйте, что я не стал перечислять, их много, взводного Гнидкина нет, вероятно, в числе пропавших, которые есть часть и в плену.

...Да! мой друг Воля: семеновцы все дело попортили, дрогнули, бежали, и мы через них пострадали: нам во фланг ударил противник, жив буду, устно объясню все происшедшее.

Любящий друг Семен Кабанов.
1915 год, 23 марта. Жду ответа».

Читая это письмо, Всеволод представил себе Семена Кабанова, уже немолодого, медлительного. Вот он сидит в окопе, крестится, смотрит на образок, потом на немецкие окопы, неторопливо стреляет. Вспомнил и то, как раздражала его набожность Кабанова, как в таких случаях хотелось сказать ему: «Сиди тихо, а уж если веруешь — молись про себя...»

А теперь вот Всеволод ужасно расстроился и не мог удержаться от слез. Как он казнит себя за то, что уехал! Хоть и по болезни, а уехал, остальные же сражались, стояли насмерть.

Скорей бы весна — и снова на позиции.

Дома его встретили с радостью. Походное обмундирование бабушка сразу запрятала на чердак. Отмылся как следует в бане, и в домашних условиях чесотка, слегка посопротивлявшись, быстро сошла. Снова надел гимназическую форму, пошел на занятия.

Прошло всего два с лишним месяца, но как заметно изменился за это время Всеволод! Лицо обветренное, похудевшее, весь он какой-то серьезный, будто хранящий что-то такое, что известно лишь немногим. Да и ростом

стал выше, по крайней мере, так казалось его одноклассникам. А один из них, почтительно потрогав Кульмский крест, поздравил Всеволода с заслуженным отличием... Тот смутился, сдержанно поблагодарил и закурил папиросу. Теперь курение ему уже если и не приносило удовольствия, то, по крайней мере, не было противным. А когда на фронте в морозный день, изрядно утомившись, впервые затянулся махорочным дымом — сразу круги поплыли перед глазами — чистый обморок.

Как и прежде, учебные успехи Всеволода имели явно гуманитарную окраску: история, география, литература и языки — пятерки и четверки, по естественным же наукам отметки ниже.

Окопы у прусской границы и гимназические занятия... Неужели так легко войти совсем в другую, мирную жизнь? Во всяком случае, уже 25 февраля он корпит над сочинением на тему «Образ русского летописца» (по летописям и по монологу Пимена из пушкинского «Бориса Годунова»). Всеволода по-настоящему увлекает это «действительно живое лицо из далекого прошлого России», его удивительно скромный и одновременно величественный подвиг. Оставить потомкам подлинный документ эпохи — не только описание фактов, событий, но и сплав собственных мыслей и чувств — не благороднейшая ли это задача? Образ Пимена был близок Всеволоду еще и потому, что сам он уже тогда считал всякую точную запись событий — пусть хотя бы в дневнике — крайне важным и нужным делом.

Почему юноша, все помыслы которого были всецело заняты войной, помнил об учении? В дневнике сохранилась запись, относящаяся к 1916 году и проливающая свет на этот вопрос: «...Я учусь для себя, это я осознал, то есть не для себя, а для своей жизни, так как без учения очень трудно будет в жизни». Предшествуют этому обобщению суждения о пользе различных наук. Любопытно, что для себя будущий писатель выделяет психологию: «Это замечательный предмет. Благодаря знанию психологии можно разобраться в других людях...» Всеволод сетует на то, что все науки в гимназии преподаются «чересчур сухо, неинтересно, формально», и уж если учиться чему, то серьезно, а не для аттестата. Главный недостаток гимназического учения — необходимость в *«такой ненужной форме»* заучивать целые страницы из учебников...

Несколько забегая вперед, скажем, что в свои семнадцать лет Всеволод Вишневский прошел войну — был ранен, контужен, получил три георгиевские награды (без «Георгия», как мечтал в дневнике, собираясь бежать на фронт, не вернулся!). Он приобрел огромный жизненный опыт. Но при этом обстоятельства (часть переведена в резерв, ранение, контузия и т. п.) складывались так, что Вишневский периодически приезжал в Петроград, наверстывал все, что упущено по учебной программе, и переходил из класса в класс. И гимназию окончил вместе с однокашниками. В аттестате зрелости, полученном 3 февраля 1918 года, его познания были оценены следующим образом: русский язык и словесность, законоведение, география — «отлично», история, немецкий и французский язык — «хорошо». Характерно примечание в этом документе: «Отметку по закону божьему, согласно прошения гр. В. В. Вишневского, педагогическим советом поставлено не обозначать».

Прекрасная память, сознательный подход к занятиям в гимназии, преуспевание в любимых предметах — все вместе позволило Всеволоду Вишневскому получить образование поистине *уникальным* образом — «без отрыва» от солдатской службы, в условиях жестокой войны.

В весенний майский день 1915 года, досрочно сдав экзамены за 5-й класс, Всеволод прибыл в Червоный Бор, откуда уже рукой подать до Ломжи, до позиций 4-го батальона. Едва сдерживая возбуждение, взбежал на гребень холма: вот наконец окопы. Встретили его тепло, особенно те, с кем уже довелось быть в бою. Курносый глазастый подросток с георгиевской медалью на груди, из-за голенища торчит солдатская ложка, он чувствовал себя чуть ли не ветераном и снисходительно посматривал на еще не нюхавших пороху новичков. Ему не терпелось быстрее войти в обстановку, он без устали расспрашивал Емельяна Козлова и Семена Кабанова о немцах, о том, как они себя ведут, что слышно о наступлении.

— А немцы — вот они, рядом, — кивнул Кабанов на лес, напоминавший собой свалку обгоревших и покалеченных столбов. — Вечером заступим на первую линию — там и разглядишь...

И в самом деле, бывалый солдат оказался прав: подобно тому как в роте велся точный и справедливый учет очередности, кому в секрет на ночь, кому за супом и поч-

той, так и применительно к самой роте выдерживался свой график: когда на передовую, а когда на передышку, во второй эшелон.

Смена происходила в темноте. Между окопами противных сторон всего сорок-пятьдесят шагов. Вспыхивали ракеты. Все держались настороженно, тихо. Всеволод надеялся высмотреть немцев, но разве это возможно в лесу, где в хаотическом беспорядке переплелись поваленные и расщепленные снарядами деревья, рогатки и проволока? Иногда ракеты взлетали над самой головой, и в их мертвенном свете можно было до мельчайших деталей различить изуродованные силуэты деревьев. Обуглившиеся пни и стволы успели обрасти белым мхом, словно поседели. Жестокий смерч войны обрушился на природу, и теперь вместо зелени, возвещающей о весеннем пробуждении жизни, — мрачное кладбище деревьев.

Много лет пройдет, но Вишневскому не забудется этот мертвый лес, подобный зловещему лесу из Дантова «Ада». Не только не забудется, но станет для него символом войны, разрушения, уничтожения всего сущего на земле.

Картины мертвого леса писатель воспроизведет много позже в эпопее «Война»: «Мертвый лес покинули птицы и насекомые... Только шелестящие рои комаров не покидают лес. Они грызут, сосут и терзают солдат... Закутанные во что попало от сырости и комаров, солдаты ютятся на островке гнилой земли... Они ползут по доскам, держась за жерди и полусгнившие пни, чтобы не провалиться в трясину.

Иногда бугры, взрываясь, выбрасывают на поверхность полуистлевшие скелеты погибших здесь солдат прошлых войн...»

Всеволод числился теперь в составе группы пеших разведчиков батальона и всегда вызывался в ночной поиск. Во время затишья бывали артиллерийские дуэли, и с ними связывались неприятные ощущения: прижимайся к земле, старайся слиться с нею, моли бога, чтобы пронесло. Разведка же получала конкретные, хотя и опасные, задачи. Скажем, обнаружить и обезвредить немецкий секрет — крохотный, умело замаскированный окоп, выдвинутый вперед и окруженный редким проволочным заграждением.

Иногда подползали к окопам противника так близко, что слышны были даже кашель, приглушенная речь.

А что, если попытаться поговорить с немцами, заодно и разведать, как и что там у них?

Эта мысль не давала покоя Всеволоду, но командир разведчиков, подпоручик Гапонов, был категорически против. На заре, в один из последних дней мая, когда офицеры ушли в блиндаж, Всеволод решился сделать это самовольно. После предупреждения немцам: «Nicht schissen!» [1], он вылез из окопа и, преодолевая робость, стал пробираться через сожженный лес. Подошел к самому брустверу: оттуда показались круглые шапочки с красными околышами, удивленные лица. Отдал честь, немцы ответили. Всеволод заговорил по-немецки, как умел, и осторожно косил взглядом вправо, вниз, где, как подозревали разведчики, находилась минная галерея. Но ничего не смог рассмотреть. Да и объяснение происходило с трудом: немцы говорили быстро и на малопонятном ему, как потом выяснилось, баварском диалекте. Возвращался к своим Всеволод медленно, время от времени оборачивался и говорил: «Nicht schissen!» Немцы вторили ему: «Nicht schissen!» И все же сердце билось так сильно, что вот-вот выскочит из груди, до тех пор, пока не ввалился в свой окоп. Но страх не помешал ему совершить еще один переход, принести немцам угощение — хлеб и сахар, которые ему набросали в шапку егеря. Баварцы были весьма довольны, добродушно посмеивались и не остались в долгу, а, в свою очередь, презентовали необычному гостю пачку сигарет и флягу с вином.

«Дружественный визит», к счастью, не окончился трагически. А вполне мог бы: заметив оживление в окопах противника, соседи-пулеметчики слева открыли огонь...

Больше Всеволод к немцам не ходил. Но этот эпизод, хотя побудительными мотивами, как он себя убеждал, были «тактические разведывательные цели», на самом деле значил и для него, и не только для него гораздо больше. В солдатской среде все чаще и чаще задумывались о том, что немцы такие же люди, как и они, русские солдаты, — крестьяне, рабочие. И это общение с немцами, пусть кратковременное и не очень внятное, оставило в душе юноши глубокий, непонятный, не осознанный тогда им самим след.

Летом 1915 года взамен Гапонова (вражеская пуля

---

[1] «Не стрелять!»

угодила ему в горло, и он сразу же скончался) у разведчиков появился новый командир. С первой же встречи между прапорщиком Ниротморцевым и разведчиком Вишневским возникла взаимная неприязнь. Первый — новичок на фронте, видимо, никак не мог простить юноше его «обстрелянность», отличное, не по возрасту знание службы, второй же, чувствуя враждебное к себе отношение, как мог старался платить той же монетой. Однако силы были неравны, и Ниротморцев ужесточил требования к Всеволоду. Тому бы присмиреть, а он — нет. Однажды допустил и вовсе ребячью выходку — искупался в речке вопреки воле командира. Прапорщик остервенел: за ослушание приказал Вишневскому встать под ружье... на бруствере окопа.

Немцы не стреляли. Так иной раз случалось и раньше: видимо, они догадывались, сколь жестоким может быть дисциплинарное наказание. Всеволод уцелел, но пережитые им ужасные минуты, когда всем своим естеством он ощутил близость, возможность верной смерти, запомнились навсегда. Пройдут годы, и на сценах советских и зарубежных театров с триумфом будет поставлен спектакль по пьесе Всеволода Вишневского «Первая Конная». Зрители, наверное, не подозревали, что эпизод «Нихт шиссен!» написан автором и на основе пережитого им самим.

Обстановка на Юго-Западном фронте ухудшилась, и началась переброска войск на участки, испытывающие потребность в резервах: егеря совершили трехдневный переход по направлению к Белостоку. Здесь погрузились в вагоны и двинулись на Брест-Литовск, на Холм. Им предстояло сменить истрепанный в непрерывных боях с наседающим противником 3-й Кавказский корпус.

Снова марш, десятки верст по избитой дороге и бездорожью, когда плотная туча пыли все окрашивает в серый цвет: усы, бороды, брови, виски, затылки. Ощущение пыли даже не раздражает, она проникла всюду. Лица изменились до неузнаваемости, только зубы да белки глаз блестят.

Наконец долгожданная стоянка. Рота занимается то строем, то элементарной тактикой, то стрельбой. У разведчиков же учеба поинтереснее да и жизнь посвободнее: лежа в дозревающих хлебах, они болтали, курили в ожидании предполагаемого «противника». Простояли здесь несколько суток, и затем гвардия двинулась на

позиции. Без грусти прощался Всеволод с лесом, полями и пашнями — с молодым пренебрежением к опасностям рвался в бой.

Однако общая ситуация складывалась так, что войскам Юго-Западного фронта пришлось вновь отступить, дабы не подвергать себя опасности флангового удара противника. В дневнике Вишневского запись: «16-го во время отхода на Реповец — Павлово оставался для отстреливания».

Спустя полгода после возвращения в Петроград Всеволод напишет свой первый рассказ, который так и назовет — «Отступление». Собственно говоря, никакой это не рассказ, а заметки типа «что вижу, то и пишу», Но именно своей документальностью, свидетельствующей о том, *что и как* видел автор, они и представляют для нас интерес.

«В пустынных окопах не было ни одного солдата, и только разведчики, прикрывавшие отступление, недвижно лежали в кустах на опушке леса. Немцы изредка постреливали, и пули с жалобным звуком впивались в деревья, заставляя листья осыпаться... Догорающий костер в лесу, объятые пламенем избы, суровые беженцы-крестьяне, идущие молча, угрюмо смотря в землю... Маленький мальчик, удивленно уставившийся на дым...»

Детали, штрихи выявляют цепкость взгляда пишущего. Заканчиваются же заметки (не выдержала-таки воинственная душа автора!) описанием ответной неожиданной атаки: «Наши кололи беспощадно, немцы отступили... Уставшие солдаты спали, и только разведчики, неутомимые герои, подбирали раненых и убитых...»

Так было на бумаге. А в жизни продолжалось передвижение русских войск, походившее если не на отступление, то на топтание на месте. Однако именно тогда, 27 июля 1915 года, и случилось событие, которое помогло Всеволоду утолить жажду подвига, не дававшую ему покоя. Впоследствии Вишневский постарается с наибольшей тщательностью описать разведку, за которую он был награжден Георгиевским крестом 4-й степени.

Вместе с Журавлевым, смекалистым и крепким парнем, Вишневский получил задание провести разведку в лесу. Углубившись в чащу, набрели на просеку. Прошли какое-то время ею, и тут Журавлев заметил немцев. Конский топот быстро приближался, разведчики отскочили в сторону, встали у деревьев. «Почему не спрята-

лись? — описывая этот случай, недоумевает и сам Вишневский. — Черт его знает! Стали — стоим и ждем. Немцы, не замечая нас, подъехали вплотную. В первый раз за всю войну я столкнулся лицом к лицу с реальным врагом (ломжинские братания тут, конечно, в счет не идут). Вот они! Впереди — офицер на здоровенном коне. За офицером в касках два солдата. Увидев нас, они растерялись от неожиданности и остановились. Журавлев взял наизготовку. Немцы-солдаты возились с притороченными к седлам винтовками, офицер вытащил из кобуры револьвер. Мы стояли перед германским кирасирским разъездом. Хорошая встреча! Все длилось несколько секунд. Я первый направил на офицера свой карабин и увидел его испуг, мольбу. Офицер что-то сказал. Я не разобрал его слов...

Если бы растерявшиеся кирасиры первыми нас взяли на мушку, то были бы мы изрублены, расстреляны или взяты в плен. Но три здоровяка на конях упустили момент. Может, от самостоятельного удара их удерживала дисциплина? Не знаю. Я целился в офицера, Журавлев — в ближнего кирасира, и вдруг мы завопили «ура!». Это был непроизвольно вырвавшийся бодрый клич атаки. Грянули два наших выстрела. Кирасирский разъезд перестал существовать. Я видел тяжелое тело, летевшее в кусты, топот, мелькание... Двое убиты или ранены. Лошади без седоков летели к немецкой заставе. Одного кирасира мы взяли в плен и немедленно доставили в окопы...»

Осмысление психологического состояния пришло много позже, но острота столкновения и понимание неизбежности поединка, в котором «ты — его» либо «он — тебя» и где все зависит от самообладания, решительности и быстроты действий, наверняка уже тогда были глубоко пережиты и выстраданы юным солдатом.

В своих дневниках и литературных набросках Всеволод дает не только подробное описание событий, различных ситуаций, складывающихся в боевой обстановке, но и пытается раскрыть психологическую подоплеку, побуждения и интересы, которые обусловливают и объясняют поступки людей.

Может быть, уже тогда у Всеволода появлялись мысли о своем призвании. Во всяком случае, соседство в блокнотах того времени карандашных зарисовок егерей, кирасиров, лесных опушек, полян и записей, пусть

и наивно-угловатых, о том, что долг художественной литературы «доставлять людям радость», а писатель «обязан уметь выражать душу, ее переживания точно, убедительно», — символично.

Гвардию вновь перебросили на другой участок — через Барановичи, Минск, Полоцк под Вильно. Для наступления здесь сосредоточена сильная армейская группа, и, хотя старший разведчик 14-й роты Всеволод Вишневский этого не знал, настроение у него было приподнятое. Но неприятель снова опередил, разрушил замысел русского командования, захватив крепость Ковно и начав обход с фланга. Снова встречные бои с немецкими частями. И снова отступление по сильно пересеченной местности — леса, возвышенности, болота.

Однажды Всеволод, будучи в разведке, облюбовал себе для наблюдения высокое дерево: позиция немцев оттуда видна как на ладони. Доложил ротному командиру, где, сколько вражеских солдат. Тут бы их и «накрыть» артиллерией, но оказалось, что снарядов нет. Да и патронов не хватало. А немцы, словно догадавшись, пошли в атаку. Продвигались они не спеша, методично вскидывая винтовки, целясь как в тире. Это было похоже на расстрел с дистанции 20—25 метров... Пули свистели. Один раненый истошно закричал, моля о помощи: «Братцы, возьмите... Братцы, не бросайте...» Надвигалась ночь, темнота и лес стали спасением егерей.

Вскоре положение на фронте стабилизировалось. Полк был определен в резерв, и Вишневский получил разрешение командования возвратиться в Петроград, чтобы продолжить учебу в гимназии.

3

К рождеству, как и в прошлый раз, Воля послал для своих разведчиков подарки. Они были получены, и в ответ отправлены письма с благодарностью, причем одно из них, от младшего унтер-офицера Снегирева, даже в стихах. А Емельян Козлов, обуреваемый дружескими чувствами, писал: «Сегодня во сне вижу, ты подбегаешь ко мне и говоришь: «Вставай, я рассмотрел местонахождение неприятельского секрета, идем в обход...» Козлов

сообщает и об отношении к Всеволоду других: «Все горячо желают тебе счастья и взаимно любят тебя. Мне прямо надоело слышать вопросы: «Скоро ли приедет Вишневский, а? Может быть, ты знаешь?..»

Семен Кабанов также написал несколько слов: на правах старшего он советует Всеволоду не торопиться, по крайней мере до теплых дней.

Дни гимназические протекали спокойно и были удручающе похожи друг на друга. Всеволод все чаще и чаще начинал задумываться о том, как поразительно непросто устроен мир и почему он устроен именно так. На фронте постоянно находишься между жизнью и смертью, поглощен сиюминутными практическими делами и задачами — остановиться, оглядеться вокруг не позволяет обстановка. Дома же, уединясь в своей комнате или часами вышагивая по улицам города — одно из его любимых занятий бродить просто так, — Всеволод настойчиво искал ответ на тревожащие его вопросы. «Я стал видеть жизнь, — вспоминал он впоследствии, выступая на расширенном заседании ЛОКАФа[1] 13 июня 1932 года, — не через латынь, Цицерона, не через дисциплину, школу и условия семьи, а через большое представление о жизни, которая развертывалась в самых серьезных видах и в глубоких формах во время войны».

Он много читает, думает о прочитанном, продолжает вести дневник. Вот характерная для настроения юноши запись, сделанная зимой 1916 года: «На войне я часто сталкивался с лицом смерти. Думаешь все-таки о ней, ждешь ее: вот-вот... Глядя на убитых, как-то думаешь о смерти и о жизни. Сейчас шел рядом, боялся, не боялся, стремился, как и все, вперед и... сразу убит. Жил — и нет его. Задавал себе вопрос, что будет после смерти, и думаю, что ничего. Другие говорят: тело умерло, а душа жива. Что такое душа? Это опять я не могу объяснить, но думаю, что души нет, есть сознание, чувство, рассудок, понятия, и раз человек мертв, прекращаются в мозгу понятия и чувства, следовательно, прекращается и существование души...»

Отсюда, от таких мыслей только один шаг к главному вопросу, который во всей своей пронзительной остроте вечен для юности: зачем живет человек? Пока что Все-

---

[1] Литературное объединение Красной Армии и Флота.

волод представляет себе это довольно абстрактно — жизнь для борьбы, для того, чтобы сделать ее лучше.

Видимо, тогда же (начало 1916 года) был написан рассказ «Разведчики» («Две смерти») — отзвук внутренних переживаний Вишневского.

Их было двое. Один — мальчик лет пятнадцати, невысокий, с черными быстрыми глазами. Короткая шинель как-то нескладно сидела на нем. Другой — молодой солдат с чуть пробивающимися усиками... Очень похоже на Вишневского и Козлова. Да автор поначалу и не скрывает «натуры»: в черновике идет — «доброволец» и «Емеля» (затем, правда, меняет имена — на Владимира и Сергея). Не новички в боях, не раз заглядывали косой прямо в глаза, теряли верных товарищей. И сейчас разведчики в опасном поиске — идут по болоту. Владимир вслух мучается своими сомнениями:

«— Я не понимаю всего! К чему я родился, к чему я умру, к чему я здесь нахожусь, к чему я о б я з а н — у б и в а т ь людей, ровно ничего мне не сделавших... Это же абсурд... Все это так противоречит здравому смыслу. Можно с ума сойти!

— И сойдешь обязательно, если будешь думать над этим, — отвечает Сергей. — Все эти вопросы я давным-давно сдал в свой жизненный архив, стараясь как можно реже в него заглядывать...»

Так, «в лоб», прямолинейно сталкивает Вишневский две философии, две жизненные позиции. Финалом рассказа он их как бы уравнивает, сближает самой гибелью обоих героев повествования. Но если Сергей был убит шальной пулей, то Владимир, вытащив из кармана погибшего друга документы и записную книжку, вместо того чтобы возвратиться к своим, в тыл, рванулся вперед: «Сердце бурно билось: «Что делаешь? Что делаешь?..» Владимир бежал все быстрее. Немцы стреляли по нему в упор.

Весь мир заплясал вдруг под ногами. Темное небо надвинулось на него, потом исчезло. Он почувствовал, что летит. Понял остатком угасающего сознания, что неизбежное свершилось...

Тревожно взлетали ракеты, слышались еще выстрелы, потом все смолкло».

И многословие, и разжижение мысли в словах, и явное стремление к красивостям — здесь было все, что обычно присуще начинающему автору. Тем не менее про-

бивается наружу идея жалобно-пацифистского толка. Бессмысленность гибели Владимира — своего рода вызов бессмысленности самой войны.

Начиналась весна 1916 года. Стояла чудесная солнечная погода. И в один удивительный и прекрасный миг новые, необъяснимые чувства охватывают взрослеющего человека. Всеволод вдруг с удивлением замечает, что взгляд задерживается на стройных девушках, что его волнуют блеск девичьих глаз, звонкие их голоса.

Шура... С ней познакомил на вечеринке Петя Казаков, гимназический товарищ. Всеволод провожал ее до самого дома, смущался и, несмотря на Шурины настойчивые просьбы и уговоры, наотрез отказался что-либо рассказывать о войне.

А ведь как хотелось ему поделиться всем наболевшим! Но Всеволод с детства был сдержанным. Наверное, потому, что попытки приоткрыть свою душу взрослым, и прежде всего родителям, наталкивались на их всепоглощающую занятость. Вот и в этот раз: после сбивчивого и беспорядочного, как всегда при первой встрече, разговора Виталий Петрович надолго уехал в Черниговскую губернию — выполнять трудоемкий, но и выгодный заказ. К тому же бабушка как-то вскользь упомянула о том, что он собирается жениться... У матери, в госпитале, — работы невпроворот. Да о многом с нею как-то и не с руки говорить.

Еще несколько раз они виделись с Шурой, а на прощание, когда 6-й класс был окончен и он в полной парадной форме, сияя белизной нашивок 1-й гвардейской дивизии, Георгиевским крестом и медалью, отправлялся в Красное Село, в запасной батальон, — она, неловко обняв его, даже поцеловала, вернее, прижалась своими поразительно горячими губами к щеке Всеволода...

Прошло несколько недель, и он получил письмо, в котором крупным полудетским почерком трогательно и наивно Шура описывала «милому Воле» загородную прогулку, справлялась о его «тяжелых обязанностях и самочувствии». А он, обрадовавшись этому листику бумаги, все-таки продолжал носить в ранце давно уже написанное — оно так и не будет отправлено! — свое первое в жизни признание: «...Я пришел к выводу: чем больше я думаю о тебе, тем сильнее люблю. Да, я люблю, но не

бездумно и не страстно, а просто люблю. Мое чувство к тебе чисто. Мне раньше чего-то не хватало — близкого человека, любящего друга, с которым я мог бы делиться своими мыслями... Твоей дружбы, любви я очень хочу...»

Может быть, начавшиеся вскоре жестокие бои тому были причиной, может, что иное, только в конце 1918 года, став старше и, как ему казалось, опытнее, он размашисто начертал на своем неотправленном письме: «Лирическая чепуха!» А еще через десяток лет, и в самом деле умудренный жизнью, познавший настоящую любовь и горе утраты, Всеволод с грустью добавил: «Как давно это было...»

Гвардия готовилась к наступлению. С нетерпением ждали приказа. Уже близок был июльский день, когда 14-я рота пойдет в смертельную для себя атаку на Стоходе. 10 июля 1916 года Всеволод писал домой: «...Я жив, здоров, слава Богу! *Что дальше будет,* не знаю. Не мог долго вам писать. Карты (географические. — *В. Х.*) не получил. Пишите чаще и шлите газеты».

А 15 июля гвардейцы бросились в атаку. Всеволод и Емельян Козлов — в первой цепи. Не каждому было суждено преодолеть пятьсот метров, отделявших их от окопов противника. Но поднималась вторая, третья цепи. У проволочных заграждений многие замертво валились на проволоку, образуя мост из трупов. «Когда я начал работать ножницами, — писал позже Козлов, — то вспомнил о Всеволоде, у которого на карабине ножниц не было. Осмотрелся и увидел его на самом левом фланге пробирающимся вместе с другими через отверстие в проволочном заграждении, развороченном в этом месте нашей артиллерией...

Сломив сопротивление передней линии врага, все устремились в глубь вражеского расположения. Мы увидели, как до пятидесяти бросивших оружие немецких солдат один за другим убегали по прорытому ходу сообщения в свой тыл, не желая попасть в плен. Всеволод, я и еще два егеря соскочили в окоп и преградили путь к отступлению. На немецком языке Всеволод приказал им вернуться и сдаться в плен. Видя, что нас мало, немцы стали вооружаться винтовками убитых, валявшимися в окопе. Наша стрельба была, по-видимому, замечена немецким наблюдательным пунктом, и на нас полетели

снаряды. Осколком одного из них я был ранен в голову и потерял сознание...»

Сохранилось и свидетельство самого Вишневского об этой атаке — подробные записи им были сделаны во время пребывания в киевском госпитале. Из сопоставления этих документов явствует, что, несмотря на основательную артиллерийскую подготовку, огневые точки противника подавить не удалось и пулеметный огонь косил наступающих беспощадно. К тому же захваченные немецкие окопы тут же подверглись жестокому артиллерийскому удару — егеря вряд ли сумели бы удержать их, если бы противник перешел в контратаку.

По приказу батальонного командира Всеволод должен был конвоировать в штаб полка взятого в плен немецкого офицера. «Я быстро выскочил из окопа, — вспоминает Вишневский, — но офицер в страхе остался там. «За мной!» — приказываю я, но офицер не откликается. Что-то черное взметнулось перед моими глазами, зазвенело в ушах, стало тяжело дышать. Застрочил немецкий пулемет, заметили мою фигуру над окопом. Я спрыгнул в окоп за офицером, а он лежит убитый... Снаряды с визгом рвались у самого бруствера... Я бросился бегом на передовую. Вдруг что-то оглушительно ухнуло, и четыре столба черного дыма и песка высоко поднялись надо мной. Я упал и потерял сознание...»

Наступила ночь. Бой утих. Спасательная команда обходит позиции, присматривается к разбросанным, полузасыпанным землею человеческим телам. Словно во сне, слышит Всеволод чей-то голос: «Чуешь, так это же наш хлопчик маленький, у, жалко, и его убили, собаки!» И ответ басом: «Не служи, батька, панихиды, вин еще жив. Бери его, понесем в резерв».

В госпиталь ему передали из полка письмо от матери, и он волей-неволей оказался в кругу невеселых, не впервые возникающих раздумий о доме, о взаимоотношениях родителей. После привычных сообщений о высылке ему газет, а также о том, что «Борис пока не попал на войну, может быть, еще попадет», мать обращается к нему за советом: *«Волечка, пиши, как мне быть с разводом?..* Папа должен быть к 1-му из Крыма. Я тебе писала, что он хочет жениться на Нине; как твое мнение? Напиши *категорически:* ведь развод тянется месяцев 8—9... Тяжко мне из-за вас, детей...»

Для матери Всеволод — давно уже взрослый, к то-

му же и единственный советчик. Что он может ей написать, да еще категорически?

...Первые воспоминания детства связаны у Воли с чудесным катанием на лодке по Ладожскому озеру. На берегу стоял сказочный домик, где они остановились. По утрам с отцом ходили за грибами, а когда возвращались домой, мать накрывала на стол, и Воля, как взрослый, съедал яичницу, выпивал большую кружку парного молока. Затем увязывался за отцом, провожал его к близлежащей усадьбе, где тот проводил землеустроительные работы. Отец был оживлен, рассказывал удивительные истории. Само собой, Всеволод их давно позабыл, осталось лишь ощущение, что слушать было очень приятно.

Конечно, Воля не мог знать тогда, что во время частых разлук с семьей письма отца к Анне Александровне буквально проникнуты заботой о нем. «У меня все мысли около Волечки. Мне очень жаль, что он так долго нездоров. Не раздражайся на его капризы и не кричи на него, ведь он маленький, пожалей его...

Посылаю тебе карточку Волечки, не осуди. Я рад и такой и каждый день смотрю на нее. Напиши мне про Волечку подробнее. Я все о нем думаю» (24 июля 1902 года).

Становясь старше, Воля начинал замечать, что родители иногда разговаривают друг с другом зло и сердито. А в тот год, когда он должен был пойти в гимназию, мать взяла с собой Бориса и Георгия (Жоржика, ему исполнилось четыре года) и ушла из дому, сняв квартиру. Почему произошел разрыв? Кто виноват в том, что Воля мог видеться с матерью изредка да и то лишь украдкой? Тогда он еще далек был от знания одной простой истины: никому не дано постигнуть причину разрыва близких людей во всей глубине и достоверности. Тем более что далеко не всегда обстоятельства, разрушившие мир любви, добра, теплоты и взаимного уважения, ясны и им самим.

Со стороны же Виталий Петрович Вишневский и Анна Александровна (урожденная Головачевская) смотрелись довольно-таки подходящей парой. Познакомились они как-то вечером на Невском проспекте. Анна со своей подругой Лелей возвращались из Мариинского театра. Вдруг к ним подошел студент Горного института и бойко заговорил. Его спутник, напротив, был молчалив, но затем и он стал раскованнее и даже пригласил Анну на

вечер танцев во Дворянское собрание. После события развивались обычным, не ими проторенным путем: свидания, встречи, а когда после нескольких месяцев разлуки Виталий встретил ее на Лахтинской улице — неожиданно обнял и поцеловал.

Скромный, непьющий молодой человек (тогда ему шел 22-й год) и уже прилично зарабатывающий — около 250 рублей в месяц, — чем не достойная партия для девушки из обедневшей дворянской семьи, занимающейся частной практикой — преподаванием немецкого языка?

Вскоре после свадьбы Виталий уехал по землеустроительным делам в Гродненскую губернию близ Белостока и настоял, чтобы туда приехала и Аня. Относился к ней трогательно и нежно, а когда она возвратилась в Петроград, писал почти каждый день.

В ненастный, дождливый декабрьский день Виталий свез жену в больницу Видемана на Васильевском острове, и там в 6 часов вечера она родила ему сына. Надо же было так случиться, что спустя несколько дней Аня заболела крупозной пневмонией. Виталий поднял на ноги врачей, устроил консилиум, по два раза в день приезжал в больницу. Дела пошли на поправку, но вдруг новая напасть — тромбофлебит, — и снова три недели постельного режима. Новорожденный кричал, плакал, отказался от груди, пришлось перейти на искусственное питание. Правда, быстро привык к новой пище и развивался нормально.

Вскоре отец забрал их домой, и в конце января священник Андрей Нумеров с дьяконом Яковом Бардиным совершили таинство крещения, сделав соответствующую запись в метрическую книгу петербургского Андреевского собора о том, что у дворянина Виталия Петровича Вишневского и жены его Анны Александровны 8 декабря 1900-го (21 декабря по новому стилю) родился сын, которого нарекли Всеволодом.

Дворянство Виталия Петровича, по правде сказать, было эфемерным (его дед, Петр Платонович, будто бы владел имением на Полтавщине). Но вспоминал о своей сословной принадлежности Вишневский изредка. Когда, например, ему захотелось определить Всеволода непременно в 1-ю Санкт-Петербургскую гимназию, для чего понадобилось вытребовать специально из Полтавской губернии дворянскую грамоту и родословную.

Семейные же предания сохранили легенду о том, что

предки происходили из запорожских казаков Полтавского куреня и фамилия их была Вишневенко. После воссоединения Украины с Россией за храбрость и ратные подвиги одному из Вишневенко было пожаловано дворянское звание. Позже фамилия, как тогда было принято, переменилась на польский лад: отец Виталия, Петр Петрович, стал Вишневским. Будучи народным учителем, он отличался свободомыслием и по этой причине вынужден был часто менять службу — кочевал по Украине, России. В конце концов осел в Николаеве, где однажды за не совсем лестные высказывания в адрес религии был жестоко избит жандармами и вскоре умер.

Окончив четыре класса гимназии, пятнадцатилетний Виталий поступил казеннокоштным в Псковское землемерное училище. Закончив его в 1898 году, получил звание частного землемера. Можно сказать, что он учился всю жизнь. По первой своей специальности Виталий Петрович продолжил образование в Межевом институте в Москве. Позже, в 1902 году, он вдруг поступает в Институт Братьев Милосердия, где слушает двухлетний курс анатомии, физиологии, фармакологии, гигиены — все необходимое для того, чтобы лечить детей. Был он впоследствии и вольным слушателем Лесного института, Петроградского университета. А во время первой мировой войны, уже достаточно глубоко изучив совсем новое для себя, да и вообще новое дело — фотограмметрию, был послан в 7-ю армию генерала Радко-Дмитриева для обучения летчиков фотосъемке с воздуха.

И еще одно удержавшееся в памяти Всеволода воспоминание детства: как-то во время пребывания в деревне, куда они приехали повидаться с отцом, вспыхнул пожар. Отец бросался в горящие избы, выносил оттуда детей, спасал имущество. В смелости ему не откажешь. Разносторонне одаренный, увлекающийся, Виталий Петрович был и деловым человеком. Он способен день и ночь работать, но при этом всегда помнил о заработке. И если его, наверное, нельзя было назвать скупым, то ценить заработанную копейку он умел. Во всяком случае, не исключено, что первые трещинки в семейной жизни возникли именно на этой почве. Анна Александровна както жаловалась Всеволоду: «Отец попрекал меня за то, что у меня *своих денег нет...»* И еще — Виталий Петрович был ужасно ревнив, «его дурацкая ревность меня и смешила и расстраивала», — писала мать сыну.

Как бы там ни было, а жизнь семьи не сложилась. И, получив среднее медицинское образование, Анна Александровна ушла с младшими детьми. Всеволоду было грустно и одиноко в просторной квартире, он скучал по матери, по братьям. Хорошо, что вместе с сыном и внуком жила бабушка, Лидия Васильевна...

Правда, в последнем своем письме (его тоже передали Всеволоду в госпиталь) бабушка сообщает о своем намерении переехать на постоянное место жительства в Вышний Волочек, к младшему сыну — Василию Петровичу. «Дай бог, чтобы вам без меня лучше жилось, но я уже не вернусь», — пишет Лидия Васильевна о своих планах. И в который раз наказывает внуку: «Будь здоров, дорогой Воля, береги себя и помни, что лучше здоровья ничего нет...»

Бедная бабушка! Если бы знала она, сколь бесполезны ее советы: чего-чего, а здоровье свое любимый внук не бережет и не будет беречь никогда на протяжении всей жизни.

А по совести сказать, только бабушка, добрая душа, всерьез отговаривала Всеволода от побега на фронт. Ей и посылал Воля небольшие солдатские деньги и наградные — за крест. Бабушка их хранила — на счастье и... на обувь, ведь он если уцелеет, то возвратится домой, по ее определению, «ободранцем»...

Так что же ответить матери? Разве можно восстановить то, что делало их с отцом родными, но ими самими же разбитое вдребезги? И разве он, Всеволод, судья родителям?..

После ранения и контузии он вновь возвратился в полк, участвовал в новых, страшных, до сумасшествия непонятных боях у Свинюх, когда 3 и 7 сентября гвардия атаковала укрепленные позиции противника вообще без артиллерийской подготовки. Под ураганным орудийным и пулеметным огнем егеря несколько раз выскакивали из окопов и с криком «ура!» бросались на проволоку. Падали убитые и раненые, утопая в жидкой осенней грязи...

Более жестокой, более бессмысленной бойни он не видел ни до, ни после боев у Свинюх. И когда по настоянию полкового врача — последствия контузии могли быть очень серьезными, если сразу не лечиться, — Всеволод возвратился в Петроград, на сердце у него было муторно.

4

Нужно было вновь привыкать к мирной жизни, подчиняться правилам и требованиям гимназии. Теперь, когда он многое познал в беседах с солдатами, когда родилось новое, прежде не изведанное, до боли острое чувство бессмысленности войны, ее несправедливости, это чувство вызывало какое-то не осознанное еще стремление к переменам. Он еще не до конца утратил иллюзии относительно благополучного исхода войны и, получив в столице доступ к газетам, журналам, пытается сопоставить экономический потенциал противоборствующих в ней сторон. Делает это Всеволод в статье за подписью «Тривэ» (по трем собственным инициалам), которая была написана им в конце 1916 года. Здесь впервые он признается самому себе — статья не предназначалась для печати — в том, что в России «нет единой воли», сокрушается о трудностях *перерождения* России. Какие силы вызовут и определят это перерождение? Каким оно будет?

Юноша жадно набрасывается на книги по истории общества, философии, знакомится с брошюрами, в которых популярно излагается марксистское учение. О Марксе, Ленине он слышал в окопах, в киевском госпитале, задумывался о том, что говорили крестьяне и рабочие в солдатских шинелях. Да и сами они спрашивали его, «ученого»: что значит такая-то партия, кто такие большевики и меньшевики? К стыду своему, ничего толком ответить Всеволод не мог.

Однако понятие «класс эксплуататоров» он, кажется, впервые осознал, нет, не осознал, а скорее почувствовал в один из жарких июльских дней на железнодорожном разъезде под Киевом. Контуженный, он лежал на полке вагона, а на расстоянии нескольких метров, из окон встречного поезда высовывались загорелые, прямо-таки прокопченные крымским солнцем господа. Увидев изувеченных солдат, они заерзали, притихли...

Ух, как хотелось раскрошить эти стекла, избить этих господ — разжиревших, может быть, и на военных поставках разбогатевших, безразличных к человеческим страданиям! В нем клокотал гнев солдат, обманутых власть имущими.

Доброволец-гимназист — явление, без сомнения, редкое в те годы — по статусу был вольноопределяющимся и по социально-классовым меркам мог тяготеть и к офи-

церам или, по крайней мере, к ротной «аристократии» — фельдфебелю, писарю, лавочнику. Но Вишневского тянуло во взвод, к разведчикам. Он полон презрения к тыловикам — «аристократам»: к писарю Красицкому с его пышными усами и незаслуженной Георгиевской медалью, дорогими папиросами и перешитыми «по фасону» сапогами; к зажиревшему лавочнику, к фельдфебелю Лапе — грубому и заносчивому...

В гимназии Вишневский стал чужим и непонятным не только для преподавателей, но и для сверстников. Многие не скрывали своего настороженного к нему отношения и явно побаивались солдата-гимназиста. Особое возмущение вызывало то, что Всеволод, не таясь, высказывал мнение по тем или иным вопросам общественной жизни. Вот что, например, прочел словесник в его сочинении, датированном 27 января 1917 года: «В гимназиях и университетах царит дух шпионства, царит система подавления всякой индивидуальности...»

Преподаватель жирными линиями вычеркнул эти строки и, видимо, с ненавистью и удовольствием не написал, а прямо-таки напечатал двойку.

В дни Февральской революции Вишневский бывает на митингах, участвует в демонстрациях, но, пожалуй, делает это больше из любопытства, нежели сознательно. А в дневнике за 25 февраля появляется решение: «Если что будет серьезное, то пойду в свой запасной батальон. У нас (в батальоне) все за рабочих, вместе и будем...»

А напряженная работа мысли продолжается — она неминуемо должна вывести его из хаоса понятий, лозунгов, призывов, которые овладели улицей, городом, страной, миром. В отрывке из романа-эпопеи «Война» (в нем идет речь о том, как юноша-доброволец встречает Ленина) Всеволод Вишневский отобразит поиски молодого человека, которого война раньше времени сделала взрослым. Вот он в толпе стоит у Финляндского вокзала, слушает вождя революции: *«Понятия правды и свободы* приобретали настоящий, отчетливый, совершенно точный смысл. Прежние неподвижные, застывшие между землей и небесами представления о боге, царе и прочем, неясные, смутные, хранимые в душе мечты о счастье и правде заменились законами бытия, до трепета жизнеутверждающими, повелительными и убеждающими. Казалось, говоривший человек обнимает весь мир своей мыслью. Он

устанавливал необычайно точно и ясно причины и связь явлений...»

Самому Вишневскому скорее всего не довелось быть на Финляндском вокзале в день приезда В. И. Ленина, так как ни в обширном архиве, ни в его воспоминаниях — нигде об этом не говорится. Но он внимательно следит за происходящими в стране событиями, его записная книжка показывает характер, направленность интересов юноши в год вызревающей Октябрьской революции. Весной, например, в книжке зачастили портретные зарисовки — А. Ф. Керенского, П. Н. Милюкова и других политических деятелей, а также карикатуры на Николая II, городовых, офицеров...

В начале мая 1917 года, окончив 7-й класс, Всеволод немедля уехал в полк. Там оставались друзья, судьбу которых Вишневский не мог не разделить. Обстановка на фронтах была критической, солдат снабжали продовольствием все хуже и хуже, участились случаи дезертирства. Все сильнее ощущалось брожение умов. Рота за время отсутствия Вишневского обновилась почти наполовину, и среди новичков выделялись рабочие. Особенно один, из Царицына, по фамилии Генералов, — человек мастеровой, начитанный и сведущий в политике.

Свобода, мир, земля... В феврале свершилась революция, царь свергнут с престола, вся страна бурлит, и нет такого человека, которого бы не волновало, не будоражило, не вселяло надежду или вызывало ненависть даже простое перечисление этих трех слов — «свобода, мир, земля...». И здесь, на просторной поляне, словно уменьшившейся в размерах оттого, что на митинг собрался весь полк, слова эти повторялись чаще других.

Наспех сколоченную трибуну надолго захватил прибывший из Петрограда оратор:

— Товарищи! От нас с вами зависит судьба свободы, демократии!.. Защита завоеваний революции — вот высший долг каждого гражданина. Теперь мы все равны...

Слушали внимательно, потом загудели. Накопившаяся в окопах усталость, обида, обманутые надежды — все рвалось наружу.

Но представитель Временного правительства не унимался, надрывая охрипший голос:

— Только победоносное наступление совместно с со-

юзниками спасет нашу Родину... Пусть сияет над Россией вечный свет свободы!..

— Нет, ты скажи, когда землю отдадут? — перебил его кто-то из солдат.

— И лес и выгон... — поддержал другой.

— Все решит Учредительное собрание... А ныне главное — разгромить противника...

Однако слова эти захлестнуло разноголосие выкриков, в котором ничего нельзя было разобрать.

Молчал, казалось, лишь он, широкоплечий крепыш с Георгиевским крестом на груди и ефрейторскими нашивками на погонах. Резкие, раскаленные, непримиримые слова, сталкиваясь, хлестали друг друга, и оттого мысли, давно уже не дававшие покоя, еще больше угнетали неразрешимостью:

— Какую Россию защищать?.. Равенство — кого и с кем?.. Для кого свобода?..

— Господа офицеры и солдаты! Не слушайте большевиков...

Наконец комитетчикам удалось кое-как успокоить народ и объявить порядок голосования:

— Кто за наступление — направо, кто против — налево!..

Огромная четырехтысячная толпа дрогнула и на какой-то миг застыла. Люди смотрели друг на друга, а затем почти одновременно двинулись с места. Давка, крики, ругань...

Всеволода вытолкнули вперед — своей нерешительностью он мешал и одним и другим. Вдруг раздался такой привычный голос командира: «Разведчики, ко мне!» Старая дисциплина звала в строй направо. «Туда двинулись уже мои ребята, — много позже вспоминал Вишневский это, до мельчайших подробностей врезавшееся в память событие. — Мысли путались. Думать было некогда. Это был один из мучительнейших и острейших моментов моей жизни. Надо ведь идти налево... А я шагал направо...»

Там оказалось немного людей — полк принял резолюцию в поддержку избирательного списка большевиков.

Митинг закончился, все разошлись. Товарищи Вишневского, разведчики, словно испарились. «Немудрено в такую жару», — невесело улыбнулся он внезапно пришедшему в голову объяснению. А сам был в отчаянии от всего происшедшего.

Решил прогуляться. Вышел на тропинку, ведущую в лес. Но и здесь не укрыться от палящих лучей — сосна, редкие посадки. Снял гимнастерку. Как-то незаметно добрел до знакомой избушки. Присел на скамейку и задумался. Вынул блокнот. Как обычно, хотел сделать записи, но сегодня все смешалось в голове. Начал рассеянно перелистывать: заметки, наброски, схемы расположения позиций, ответы пленных на вопросы... А вот с пометкой «рассказ» — так выделялись записи о наиболее значительных событиях — об атаке полка под Стоходом.

Рисунки — лица солдат, крестьянские хаты, крытые камышом, — здесь, на Волыни, все сплошь такие. Переписанные от руки правила обращения с пулеметом (в последние дни Вишневский вызвался быть добровольным стажером-помощником пулеметчика, шахтера с Украины Пономарева): «Пулемет — могущественное оружие для борьбы с врагом, он выпускает 600 пуль в минуту...»

Всеволод не заметил, как пролетело время. Солнце клонилось к закату. Перевернул еще страницу блокнота — там жирно наведенные карандашом слова: «18-летние солдаты» — заголовок переписанной им из газеты «Правда» заметки. Свежий номер Генералов привез из Петрограда.

— Возьми, — говорит, — здесь статья, аккурат для тебя.

Всеволод прочел заметку: «Сторонникам войны до победного конца, министрам Временного правительства надо отвечать так: «Да, господа. Свободу мы завоевали, но ее урезываете вы — по указке буржуазии. Буржуазия боится демократии. Ей ненавистна одна мысль, что сам народ установит свое право в интересах большинства населения... Она во всех областях жизни хочет ограничить наши права. Ей выгодно, и она кричит о наступлении, о победе, о захвате проливов — нашими солдатскими руками, руками рабочих и крестьян в серых шинелях!.. Не себя, а нас гонит буржуазия на смерть и увечья за свои барыши...» Заметка заканчивалась сообщением о том, что Временное правительство предполагает лишить избирательных прав молодежь от 18 до 20 лет.

Вишневский поднялся и решительно зашагал к деревне. У хаты разведчиков ему встретился Генералов. Высокий, чуть сутуловатый, волосы с проседью и неизмен-

ная трубка набита махоркой пополам с вишневым листом. Посмотрел пристально, по-доброму. Видимо, почувствовал состояние парня. Вместе зашли в хату. Сели. У стола, освещенного керосиновой лампой, летали мошки.

Начался разговор — из тех, когда один из собеседников, что называется, изливает душу. Всеволод, сам удивляясь своей откровенности, говорил обо всем, что передумал за последние месяцы. О судьбах народа и о своей собственной. О смятении, раздвоенности. О храбрости и трусости. О том, как он, Всеволод, понимает «войну до победного конца».

Время от времени Генералов вставляет краткие, но точные и убеждающие фразы — о смысле войны, о настроениях питерских рабочих, о большевиках, о выступлении Ленина на многочисленном митинге рабочих Путиловского завода, в котором он раскрыл империалистическую сущность войны, антинародный характер политики Временного правительства, характеризовал задачи революции.

А затем Генералов протянул вырванные из тетради страницы:

— Вот, Всеволод, пиши: «Мы, разведчики...»

Это была резолюция об отказе от наступления, о неподчинении приказу Керенского.

— Пошлем в «Правду». Подписи я соберу...

Вишневский взял карандаш, задумался. Начал писать. Просидели они долго.

И наконец юный разведчик лейб-гвардии Егерского полка принял решение: не только написал, но и подписал заметку в «Правду» — первое, пусть и коллективное, выступление в печати. Это был выбор жизненного пути.

Последняя запись из дневников Всеволода Вишневского периода первой мировой войны была такой: «У Збаража. Большевизация, давление командования. Генералов пишет второе солдатское письмо в «Правду».

У Вишневца. Заболеваю истощением. 26 августа отъезд в Петроград — через Киев (в резерв полка)».

Пришел 1917 год, как напишет позже в краткой автобиографии Вишневский, «выросший из нашей усталости, гнева, раздумий, обид. Оружие было в наших руках. И люди сделали все, чтобы изменить жизнь. Прилив веры, надежды, взрыв революционного энтузиазма был подав-

ляющий... Люди открывали в себе и других бездны новых черт, качеств. Все бурлило...».

Возвратившись в Питер, Всеволод сразу почувствовал разительные перемены: уже нет того весеннего, ликующего разлива демонстраций, народ стал гораздо суровее, сдержаннее.

Позиции большевиков в Советах крепли с каждым днем. Это ощущалось и в комитете резервного Егерского полка. А 26 сентября, раскрыв свежий номер «Известий», Вишневский прочитал резолюцию Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов: «Мы выражаем свою твердую уверенность в том, что весть о новой власти встретит со стороны всей революционной демократии один ответ — «в отставку», — и, опираясь на этот единодушный голос подлинной демократии, Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов создаст истинно революционную власть...»

В клеенчатой записной книжке Всеволода (дата на обложке — 1917) часть текста размыта водой, но сохранившиеся записи позволяют проследить две линии жизни юноши. Одна — солдатская. «Выдали жалованье 10 октября... В полковой канцелярии узнать, сколько стоит сшить одну пару». Рядом чертеж французской гранаты Р-1 образца 1915 года — в разрезе, с описанием, как действовать в бою. Вишневский, хотя и жил дома, почти каждый день бывал в полку, не пропускал ни одного собрания и митинга. Он отлично знал оружие и по просьбе комитетчиков ходил на Путиловский завод инструктировать рабочих, формировавшихся в отряды Красной гвардии. Именно там наиболее ощутимо горячее дыхание грядущего восстания.

И другая грань жизни Всеволода — так сказать, академическая: «Чисто теоретическая единица магнитной массы — кулон». Алгебраические неравенства и французская буржуазная революция. «14 июля — взятие Бастилии — гражданская война...» «Проблема смерти у Толстого...» Всеволод упорно продолжает учебу — уже в последнем, восьмом классе гимназии. На одной из страниц блокнота тема реферата: «Великая французская революция и русская революция». Какие параллели проводил солдат-гимназист?

19 октября он пишет одному из своих однополчан:

«Дорогой друг и товарищ Коля!

...20-го числа все ожидают выступления большевиков

на улице. 6-я рота резервного Егерского полка вынесла резолюцию, что готова выступить...

Что у вас? Никого не ранило и не убило? Что такое Украинский комитет и т. д.? Кто начальник команды? Где вы сейчас? Позднякову, Андрееву, Белоусову, Генералову, Запевалову, Корнею и всем остальным товарищам-разведчикам привет и поклон.

Ваш Всев. Вишневский».

Чем ближе 25 октября, тем чаще в записной книжке зарисовки рабочих-красногвардейцев с оружием в руках. А в этот, вошедший в историю человечества день Вишневский на всю страницу рисует крепкую, мускулистую руку, поднимающую над планетой плакат — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Делает он это, сидя на тротуаре Невского проспекта, когда вокруг Зимнего уже сомкнулось кольцо отрядов Красной гвардии, революционных солдат и матросов, а егеря вместе с измайловцами прикрывают тыл левого фланга наступающих.

Днем раньше Егерский полк участвовал в битве за мосты, которые войска Временного правительства пытались развести, чтобы раздробить силы революции; утром — в захвате Варшавского вокзала. Того самого, откуда в декабре 1914 года Всеволод уехал навстречу войне.

А сегодня фронт сам пришел на вокзал, и ехать не надо...

Картины восстания навсегда остались в памяти. Спустя несколько лет он попытается воссоздать их в публицистически страстной статье, где явственны уже черты того Вишневского, которого мы хорошо знаем — с его патетикой, чувством неизбежности потерь в яростном столкновении сил.

Город проснулся. От далеких рабочих окраин по призывным гудкам заводов, тревожным и боевым, идут колонны пролетарских батальонов. Вспыхнула в воздухе песнь, зажгла людей:

«— Прислушайтесь!..

Это — песнь рабочей весны!

Выстрелы раздались, разрешив напряженность ожидания. Смолкла песнь, стало на минуту тихо-тихо. Ужас смерти покрыл все своим голосом. «Борьба началась!» В слепом, безумном беге смерть искала жертв и оставляла за собой кровавые следы на выпавшем снегу.

Потом затихли залпы. И снова донеслась песнь. Ра-

дость борьбы и победы расцвела в душах людей из рабочих колонн.

Октябрь стал весной!

Туман рассеялся, и лучи солнца засверкали в глазах людей, никогда не видевших весны».

(«Красный Балтийский Флот», 12 ноября 1923 г.)

В октябрьские дни 1917 года Всеволод все чаще бывает среди матросов, в Кронштадте. После победы восстания, когда на Питер двинулся конный корпус генерала Краснова, начали формироваться первые отряды революционной армии: балтийские моряки вместе с рабочими и солдатами встали на защиту города. Вишневский записался в один из таких отрядов и участвовал в боях у Пулковских высот. Красногвардейцы подпустили врага довольно близко и ударили по нему из пулеметов, винтовок. Дружный огневой удар заставил конницу отступить: в панике прыгали по болотистой воде красновцы, падали кони и всадники.

Отряд перешел в наступление, дошел до реки Ижоры — в трех верстах от Гатчины. Пришел приказ закрепиться на этом рубеже. И вновь, как в былые дни, спешно роются окопы в набухшей, сырой земле, и вновь ощущение войны, только ощущение какое-то иное, щемяще-тревожное, неизведанное. Противник-то — свой, русский солдат, казак...

Еще сильна вера в возможность переубедить родных по крови людей не воевать, и, как это бывало на самом первом этапе гражданской войны, к расположившимся неподалеку казакам отправились парламентеры-агитаторы. Перед тем как выйти, проверили обмундирование, черные флотские подсумки через грудь, винтовки на плечо. «Мы отбивали старый русский шаг, — напишет впоследствии один из парламентеров, Всеволод Вишневский, — сияя пуговицами, оружием и глазами. На нас смотрели, так сказать, две армии. Мы должны были показать, что и мы воины.

Шли по шоссе, как на параде. На штыке у меня был носовой платок. Мы должны были выяснить настроения казаков... Подошли вплотную. Настороженность и любопытство с обеих сторон».

Казаки сами начали разговор. Что в Питере? Кто такой Ленин? Чего хотят Советы? Весть о земле, о мире, о новых законах Советской власти казакам пришлась по душе, и

часа за полтора о многом столковались. Казаки добродушно поругивались, «но в общем были апатичны. Договорились, что драться не будут, — вот главное...».

Апатичность — точное слово найдено Вишневским. Именно нежелание казаков снова проливать кровь решило дело. Они охотно шли на переговоры и на других участках. Прибывшая, например, в Царское Село делегация казаков возвращалась в Гатчину вместе с П. Е. Дыбенко. Здесь, на митинге, он говорил о победе пролетарской революции в Петрограде, о том, что несет она трудовому народу. Начавшийся вечером митинг затянулся до восьми утра.

Решительный отпор красновцам и умелая агитация принесли успех: Керенский бежал из Гатчины, генерал Краснов был арестован. Первый азартный, даже, пожалуй, авантюрный наскок контрреволюции потерпел провал.

После тревожных гатчинских дней Всеволод переступил порог своего дома, радостный и возбужденный. На душе было легко. Ему казалось, что едва только за границей рабочие узнают все о революции в России, как тут же свершат переворот у себя.

Во время выборов в Советы Всеволод не колеблясь опустил свой бюллетень в урну № 5 — за РСДРП (большевиков). И вечером того же дня с гордостью сказал об этом отцу. Виталий Петрович ничего не ответил и попросил зайти к нему. Видимо, он был все же застигнут врасплох услышанным и долго молча мерил шагами свой кабинет. Вдруг резко остановился и, пристально глядя в упор на сына, сказал:

— Мне кажется, тебе с большевиками идти не следует...

— Это почему же?..

Довольно гладко и, показалось Всеволоду, даже как-то заученно Виталий Петрович заговорил о всеобщем равенстве, демократии, добре и благоденствии для всех, которые могут и должны наступить лишь тогда, когда люди сами, без насилия и кровопролития, договорятся об этом. Инженер, он на многое смотрел как узкий специалист, которому представлялось, что сам он своим трудом в равной степени обслуживает как представителей господствующих классов, так и народные массы.

Всеволод отвечал горячо, порой, пожалуй, резко, ни-

сколько не заботясь о самолюбии отца. В доводах юноши ощущались сила и уверенность.

Они проговорили всю ночь. То, что доказывал семнадцатилетний сын, если не убедило, то по меньшей мере вызвало уважение отца. Виталий Петрович открыл ящик письменного стола, вынул револьвер и подарил сыну. «Отец был в хорошем смысле демократом, и в Октябре мы с ним не разошлись — мне не пришлось рвать с ним», — с удовлетворением отметил позже Всеволод.

Октябрьская революция победила, но, чтобы ее защитить, нужно было немедля вооружить и обучить народные массы. 20 января 1918 года народный комиссар по военным делам Н. И. Подвойский обращается к революционным матросам с призывом помочь в формировании частей новой, социалистической армии — «в целях спайки их» выделить из своей среды наиболее зрелых в идейно-политическом отношении товарищей.

Флот с готовностью откликнулся на эту просьбу. А кроме того, сформировал десятки матросских отрядов, бесстрашно сражавшихся на фронтах уже начавшейся гражданской войны. То здесь, то там — по всей стране контрреволюция подняла голову, и потому, записывает в дневнике Вишневский, «совсем пришлось оставить историю в книгах и заняться только тем, что стало историей революции».

5

10 марта 1918 года Совет Народных Комиссаров переезжал из Петрограда в Москву. Для охраны Совнаркома был направлен 1-й морской береговой отряд, сформированный из балтийцев по распоряжению Дзержинского и Дыбенко. Добровольцем в эту часть был принят Всеволод Вишневский. Как вспоминает командир отряда М. Якубович, юношу в нескладно сидевшем на нем бушлате, чернобрового, с живыми карими глазами и вихром, то и дело выбивавшимся из-под бескозырки, он назначил командиром отделения, поскольку тот отлично знал строевую службу. Однако вскоре Вишневский попросил перевести его в пулеметный взвод, и желание это было удовлетворено.

Не только молодость выделяла его среди бойцов отряда, но и странная для всех окружающих привычка: он постоянно что-то записывал в блокнот, живо интересовался боевыми делами моряков, их судьбами, писал стихи, изредка читал их товарищам, за что и получил, кстати, прозвище Стихоплет.

В Москве отряд разместился на Остоженке. Он охранял проезд на Красную площадь и время от времени получал ответственные оперативные задания, чаще всего — по разоружению банд анархистов, во множестве расплодившихся тогда повсеместно и стекавшихся со всех концов страны в столицу.

Однажды пришел целый эшелон, набитый «защитниками свободы», вооруженными до зубов пулеметами, гранатами, винтовками. Моряки успели перекрыть путь у семафора и предъявили ультиматум: сдать оружие и награбленные вещи. В ответ — огонь. Пришлось залечь и окопаться вдоль полотна железной дороги по обе стороны путей, за щитами снегозадержки. Перестрелка длилась около получаса, анархисты не выдержали, сдались. Всеволод охотно участвовал и в допросах анархистов — военных моряков (их, правда, было мало, так как морскую форму носили все, кому не лень).

А еще была операция, потребовавшая особой подготовки.

У входа в особняк на Поварской, дом восемь (ныне улица Воровского) разместился штаб анархистов. Всеволод с независимым видом (и с бомбой в кармане!) прогуливается по улице, а сидящий на посту подвыпивший часовой время от времени выкрикивает: «Заходи любой!» Он и в самом деле зашел. Слушал примитивные разглагольствования анархистов, до неузнаваемости перевиравших идеи Бакунина, а попутно высматривал, где у них оружие, где черный ход, сколько людей. Словом, поневоле вспомнил свою прежнюю службу разведчика.

Заглядывали сюда и другие бойцы. Несколько дней изучали обстановку, а затем нанесли внезапный удар одновременно по всем анархистским гнездам Москвы. В цепи штурмовавших особняк на Поварской был и Вишневский со своим «гочкисом» в руках. Через шесть часов осады, после того, как на подмогу пришел броневик и дал несколько залпов, анархисты выбросили белый флаг. Их разоружили и отправили в тюрьму.

«По-моему, — пишет М. Якубович, — с этого дня

Вишневский и задумал свою «Оптимистическую трагедию». Я сам видел у него записи и снимки «вожаков» и анархистов-моряков». Вряд ли можно согласиться с тем, что уже тогда родился замысел конкретного художественного произведения — лучшей пьесы Вишневского. Да, он вел записи с мечтой о литературном труде в будущем. Но дневник, по-видимому, был и постоянно действующим духовным «громоотводом». Желание это естественно и необходимо, тем более что Всеволод с детства был замкнут, нелегко ему было и потом встретить человека, перед которым он распахнул бы свою душу.

В июле 1918 года 1-й морской береговой отряд был направлен в Нижний Новгород в распоряжение командования Волжской военной флотилии, которая в то время формировалась. Вначале отряд был размещен в Канавине, в гостинице «Сорокинское подворье». Здесь на видном месте было написано объявление:

«Вступайте в отряд!

Бывшие моряки Российского военного флота всех специальностей призыва с 1910 по 1917 год приглашаются для записей в целях поступления на службу во вновь формируемый морской отряд.

Заявления и записи будут приниматься ежедневно от 10-ти утра до 3-х часов дня с 25-го июня 1918 года в Коллегии Управления Всероссийского Военно-Морского Порта (Канавино, «Сорокинское подворье»). От желающих поступить в отряд требуется признание платформы Советской власти и безукоризненная честность как по отношению к начальству, так и к своим товарищам. Не имеющих этих качеств просим не беспокоиться.

Комиссар Волжской военной флотилии Николай Маркин».

Для себя Всеволод уже давно (и бесповоротно!) решил воевать до окончательной победы революции. А плавать — пусть хотя бы и не на море, а на реке — о чем еще можно мечтать? Просто наслаждение произносить по-флотски, «с шиком» закрученную фразу: «Не имеющих этих качеств просим не беспокоиться». Молодец Маркин! Всеволод слышал речь представителя Народного комиссариата по иностранным делам Николая Маркина на митинге в Петрограде. Он говорил тогда страстно, зажигательно, с напором.

В общем, форменное везение — Вишневский записался

с ходу, без колебаний. Хотя он служил в воинской части, в отряд к Маркину требовалось поступить как бы заново — с осознанием особой ответственности за принимаемое решение.

Ночью морякам приходилось патрулировать по городу, а днем вместе с рабочими Сормовского завода «по винтикам» собирать речную эскадру, ту самую, что затем войдет в историю гражданской войны под названием Волжской военной флотилии. Мирные буксиры, баржи — от свирепого «Льва» до лирической «Белой акации» и интимно-домашних «Ольги» и «Сережи» — преображались буквально на глазах, приобретая необычный для «купцов» вид.

В Нижний прибывали все новые и новые партии моряков. Среди них выделялись балтийцы, участники знаменитого «ледового похода» русского флота в марте 1918 года из Гельсингфорса в Кронштадт. От этих людей веяло легендой. Во время похода корабли затирало льдами (ледоколов не было!), торосы сдавливали их, льдины делали пробоины, ломали винты и рули, обшивки кораблей давали течь. С финских берегов корабли обстреливались артиллерией, а в небе кружили немецкие аэропланы. Но ядро эскадры пробилось в Петроград и послужило основой при комплектовании речных и озерных флотилий, отрядов морской пехоты.

В июле Нижегородский вокзал принял и эшелон с черноморцами, которые, отказавшись сдать боевые корабли немецким оккупантам, потопили их в Новороссийском порту. Расставшись с морем и преодолев трудности передвижения в военное время, многие из них прибыли сюда, в Центральную Россию, откликнувшись на призыв большевиков «Красные матросы, на Волгу!». В Нижнем черноморцы разместились в гостиницах на территории Нижегородской ярмарки, быстро освоились и тут же по-хозяйски вместе с балтийцами занялись переоборудованием судов.

Возникало немало трудностей, разрешить которые не брались даже инженеры — они вообще относились скептически к этой затее. В частности, необходимо было ответить на главный вопрос: выдержат ли деревянные палубы тяжесть и отдачу во время стрельбы устанавливаемых на них орудийных установок?

Над гладью Волги стоит стук и скрежет молотов и сверл. Орудия, подтаскиваемые вручную, громыхают по

палубам. Надо провести пробу: от орудийного замка на судне протянули длинный шнур, люди на берегу спрятались в укрытие. Грянул выстрел из трехдюймового горного орудия — все в порядке, судно цело.

Таким способом испытывали и орудия на буксире, где первым номером станкового пулемета был определен Всеволод Вишневский. Приземистый, плоский кораблик оказался достаточно прочным. Позже, в боях, неповоротливый с виду «Ваня» — так назывался буксир — лихо маневрировал, и довольно долго ему сопутствовала удача.

Лето было знойным, сулило частые грозы. Положение на фронтах становилось все более тревожным. По всей республике проводится массовая мобилизация коммунистов на Восточный фронт, проходят митинги рабочих и красноармейцев в защиту социалистического Отечества. С Балтики, по Мариинской водной системе пришли в Нижний миноносцы «Прыткий», «Прочный» и «Ретивый», а также плавучая батарея, вооруженная 120-миллиметровыми дальнобойными орудиями. С появлением этих щеголеватых, подтянутых боевых кораблей Волжская флотилия существенно усилилась.

21 августа нижегородский отряд объединился с самарско-симбирским, чьи суда также были вооружены еще более кустарно: на примитивных бревенчатых платформах установлены полевые орудия. На «Ване» (позже он получит название «Ваня-коммунист» № 5 и станет флагманом флотилии) не хватало пулеметчиков, и с парохода «Лев» сюда был переведен 22-летний Петр Попов. Сын рабочего Пермских железнодорожных мастерских и прачки, с 14 лет он начал самостоятельную жизнь — нанимался мальчиком в магазины города, затем успел поработать шахтером, кочегаром, мотористом и электриком, а как только прошел слух о создании флотилии, записался добровольцем. Конечно, ни Петр, ни Всеволод не подозревали еще тогда, что совместная служба на «Ване» положит начало их крепкой, на всю жизнь дружбе.

Покидали Нижегородский порт в жаркий полдень. Палуба вся завалена ящиками с песком, бревнами вдоль бортов, брезентом. Поднимается красный флаг, и боцман Поляков зычным голосом отдает распоряжения. Громадный штурвал нехотя поворачивается, но «Ваня» чутко и точно выполняет команды.

Вода ласкова. Моряки провожают город взглядом, а суда прощаются по-речному — протяжными гудками.

Первая неделя прошла в непрекращающихся стычках с противником. Волга растревожена вконец. Фонтаны взрывов окатывают палубу — на матросах буквально сухой нитки нет. Комендоры в работе. Струи горячего воздуха опаляют и придавливают к палубе. Все бы ничего, да надо помнить — снарядов не хватает. Хорошо еще, что выручают пулеметы.

Навстречу друг другу устремились два флагмана — советский и белогвардейский: к «Ване-коммунисту» с фланга наперерез мчит «Ливадия». Еще мгновение, и пулеметчики с открытой палубы открывают огонь из четырех «максимов». Ленты одна за другой опустошаются с неровными подергиваниями, из пароотводных трубок хлещет пар. Корабли продолжают идти навстречу, вот-вот протаранят друг друга. Рулевые застыли неподвижно, лоцман, бородатый мужчина-волгарь, бледен и жалок.

Весь в упоении боем, Всеволод одной рукой нажимает спуск, другой — подтягивает патронные ящики. «Пулемет — могучее оружие... Пулемет выпускает 600 пуль в минуту... 600 пуль в минуту...» — автоматически повторяет он почему-то пришедшие на ум фразы из правил обращения с пулеметом...

«Ливадия» резко отвалила в сторону, убегает. «Ваня-коммунист» по инерции преследует, а затем отстает. Вишневский огляделся вокруг: палуба пожелтела от патронных гильз, надульники стали матово-серыми от налета пороха. Матросы высыпали из укрытий на палубу, что-то громко кричат. Но, оглушенные длительной беспрерывной стрельбой, пулеметчики ничего не слышат, из-под бескозырки по лбу у Всеволода струится пот.

К нему бросились, сгребли в охапку — и качать. «Он всеми силами вырывался из наших рук, — вспоминал позже Петр Попов, — но его усилия были напрасны, и он как мяч взлетал вверх и падал на могучие руки матросов. Когда наконец Всеволода оставили в покое, он смущенно произнес: «Ну, чего расходились? Я что, один был в деле?..»

Постепенно флотилия вырабатывала тактику речных боев и десантов в поддержку сухопутных войск. Прежде всего учились маневрировать — спускаться вниз по течению не носом, а кормой — такой прием избавлял от потери времени при разворотах: в случае необходимости судно сразу давало передний ход и выходило из-под обстрела. Нередко выручала и боевая хитрость. Как-то уж очень

досадила своим огнем вражеская береговая батарея. Ночью вниз по реке была спущена шлюпка с фонарем. Белые, не поняв уловки, открыли интенсивный огонь. Артиллеристам «Вани» это-то и требовалось: по вспышкам были отмечены ориентиры, и тут же на батарею обрушился сокрушительный боевой удар.

Снова, как в былые времена на полях Западной Украины, Вишневский почти каждые сутки ходит на разведку то правого, то левого берегов реки для определения расположения противника, главным образом его батарей. Ходит не один, конечно, а с группой смелых и надежных, таких же отчаянных, как и он сам, братков. Чаще всего с сигнальщиком Сагурой и весельчаком-балагуром балтийским моряком Бессарабовым. Они довольно быстро приноровились скрытно передвигаться по прибрежным оврагам, лесу и посевам. К тому же по характеру каждый хорошо дополнял остальных, и, может быть, это способствовало удаче.

Как-то Вишневский с Сагурой пошли вдвоем. В этот раз они должны были нанести на карту расположение передовых частей противника в окрестностях Казани, у Верхнего Услона. Свистят пули, стрельба учащается. Это неприятно, но помогает выполнить боевую задачу. За снопами видны перебегающие фигуры. Вишневский и Сагура втягиваются в перестрелку. Патронов мало, а кругом, будто пастух щелкает кнутом, хлопают выстрелы.

Наконец решили уходить. Посмотрели друг другу в глаза и вскочили на ноги, решив броском преодолеть оставшиеся до глубокого оврага несколько десятков метров. Вдруг Сагура, тихо охнув, упал. Пуля попала в бедро. Взвалив на себя друга, Всеволод потащил его к спасительному укрытию. К счастью, на выручку подоспел отряд красноармейцев.

...Августовский солнечный день. Свияжск. Высокая колокольня женского монастыря. Здесь Всеволод устроил наблюдательный пост. Панорама волжских и степных далей как на ладони.

Телефонный звонок. Снимает трубку и слышит знакомый мягкий голос Николая Маркина:

— Ну как дела? Что белые?.. Хотите, я вам пришлю меду?..

— Белые на месте. А от меда не откажусь...

Он по-прежнему любит сладости и никогда не упустит возможности полакомиться.

Солнце, мед, запах спелых хлебов. Корабли застыли у пристани. Все тихо, спокойно, просто на диво спокойно. А вчера... Хоть и немало кровавых боев, смертей уже повидал Вишневский, но такое на его глазах произошло впервые.

Белогвардейской бригаде генерала Каппеля после обхода справа удалось выйти в тыл красным войскам и нанести ошеломляющий удар по частям 5-й армии. Они оказались в критической ситуации, дрогнули и в панике начали отступать к Романовскому мосту, что в 30 верстах от Казани. Горели подожженные артиллерийским огнем эшелоны, а растерянные, обезумевшие от страха бойцы бежали к берегу. Подоспевшие суда «Ташкент» и «Ваня» высадили десант и отразили атаку белых. Часть струсивших красноармейцев повернула назад; вместе с моряками они пошли в бой. Остальные... Их ждала суровая участь: каждый десятый был расстрелян за дезертирство.

Всеволод вспомнил схватку с кирасирским разъездом в пятнадцатом году. Но то был бой с врагом лицом к лицу: либо ты его, либо он тебя... А почему по отношению к своим такая жестокость? Неужто она неизбежна? И смертельна ли вина тех, кто струсил?

Вот уже вторые сутки эти вопросы неотступно преследуют его.

Да, каждый боец, хотя бы и он сам, постоянно рискует жизнью — это ясно, война есть война. Рискует, даже если, казалось бы, и особой необходимости в том нет. Вот на днях ходил в разведку с Николаем Маркиным. Одет был Маркин в штатское платье, на голове — шляпа. Самое примечательное в его облике — внимательные, вроде бы постоянно испытывающие собеседника глаза под широкими дугообразными бровями да усы, слишком уж пышные на худощавом лице.

Далеко забрались в тыл к белым. Шли по оврагам все дальше и дальше. Над головами неожиданно просвистел снаряд: ага, вот она, голубушка батарея, объявилась. Пусть стреляет, запомним ее местонахождение. Сделав свое дело, разведчики по посевам ползут к своим, и вдруг Всеволод хватился: потерял револьвер, отцов подарок.

— Вернитесь, дорогой, и найдите, — как всегда, обращаясь на «вы», спокойно и даже как-то весело, поблескивая глазами, приказал Маркин. — А я пока что здесь позагораю...

Пули свистят все чаще, и непонятно, то ли противник заметил разведчиков, то ли прочесывает местность на всякий случай. Отыскал Всеволод свой револьвер. Но разве смертельный риск был оправдан?

Правда, тогда он об этом не думал. Подобный вопрос появился и тут же исчез без ответа. Все обошлось, и ладно.

Наверное, таковы извечные, страшные, не познанные им (если их вообще можно познать!) законы войны: сражайся, стой до конца, как бы там и что бы там ни было, береги оружие — оно священно для солдата. Проявишь слабость, дрогнешь — погибнут твои соратники, погибнешь сам.

И все же синие-синие, преисполненные ужаса и одновременно мольбы о пощаде глаза молоденького бойца, которому выпал смертный жребий там, на Романовском мосту, никогда не забыть Всеволоду. Это была истинная трагедия, трагедия на самом деле, а не потому только, что он не находил происшедшему объяснения...

Конец августа и начало сентября отмечены ожесточенными схватками с противником. Гибнут «Ташкент» и «Дельфин». Но флотилия задачу свою выполняет: поддерживает огнем наступающие части, нейтрализует атаки вражеских кораблей.

Ранним утром 9 сентября — внезапный налет на береговые позиции белых в районе казанских пристаней. «Было тихо. Волга как зеркало, — вспоминал позже Вишневский. — Мы молча стояли у орудий и пулеметов, не сводя глаз с приближающегося берега. С каждой секундой нарастало напряжение. В мыслях одно: белые будут бить в упор. Может быть, они уже навели орудия и пулеметы...

Пристани — в десятках шагов... Противник проспал наш приход. Мы молниеносно сбросили десант в шестьдесят человек и начали крошить встрепенувшиеся заставы белых...»

В цепи атакующих — пулеметчик Вишневский. Его меткий огонь рассеял прислугу восьмиорудийной батареи, он оставался в группе прикрытия, когда белые перешли в контратаку. Пришлось отходить, так как сухопутные части не сумели одновременно нанести удар по врагу.

Ночь проходит без сна. А утром — снова штурм. Красноармейские цепи в предместье Казани завязали бой с белыми, засевшими в церкви, окружили их и вынудили сдаться в плен. Быстро овладели центром города, захватили штаб белых. Несколько моряков во главе с электриком с «Вани» Тихоном Василенко и Вишневским подбежали к зданию Государственного банка. Служащие перепуганы насмерть, отдают ключи, умоляют:

— Забирайте все — два с половиной миллиона. Только нас не троньте...

Подошли передовые цепи красногвардейцев — им передали охрану банка. А сами — к тюрьме, подорвали гранатой запертые ворота, вбежали во двор.

— Политические есть? Открывай!

Распахивается дверь, жмурясь от яркого солнца, вываливаются заключенные. Один из них, в вылинявшей, с еле различимыми полосами тельняшке, кидается на шею Василенко:

— Тихон, это же я, Григорий Шевердин! — А слезы неудержимо катятся по лицу...

— Ну брось, годок! На, бери винтовку!..

И без лишних слов освобожденные матросы и солдаты вливаются в цепи атакующих.

За доблесть и мужество, проявленные при взятии Казани, личный состав флотилии получил благодарность высшего командования, а «Ваня-коммунист» № 5 — Красное знамя. «Под Казанью, — говорилось в приказе, — флотилия покрыла себя славой. Все суда соревновались в героизме и преданности рабочему классу».

Флотилия помогала Красной Армии очистить от белогвардейцев ряд городов на Волге и Каме. В 40 боях участвовал Вишневский, и, как всегда на войне, каждый из них мог стать для него роковым. Хотя бы этот, в ночь на 1 октября, у селения Пьяный Бор.

В качестве наводчика скорострельного 37-миллиметрового орудия отправился Всеволод с десантом на левый берег Камы с заданием внезапно атаковать стоящие на якоре корабли белых. Скрытно переправив две скорострелки и два пулемета на сушу, десантники открыли беглый огонь. Белые отступили, но успели высадить пехоту. Завязалась перестрелка, которая продолжалась целый день. Моряки выстояли. С наступлением темноты нашли рыбачьи шлюпки, погрузили на них орудия и пулеметы и ушли на веслах под обстрелом противника.

Покружив некоторое время в темноте и не обнаружив своего корабля, десантники подошли к другому и узнали о беде. Бывший комендор «Вани-коммуниста» № 5 Т. С. Овсейчук так описал последние часы буксира: «Белая батарея стреляла с 1,5 кабельтовых. Неприятельский снаряд попал под мостик, и сразу корабль охватило пламя... Тогда мы начали стрелять из ручных пулеметов, снаряды вышли... Маркин кричит:

— Плыви, Овсейчук!..»

А сам комиссар Волжской флотилии Николай Григорьевич Маркин, верный боец революции, до конца остался на посту и погиб как герой.

Все уцелевшие матросы и среди них Вишневский спустя несколько недель были определены на новый, только что вооружившийся в Сормове корабль, получивший имя «Ваня-коммунист» № 9.

Вплоть до ледостава, до получения приказа идти в Нижний Новгород на зимовку, корабли флотилии поддерживали наступление Красной Армии. В середине октября Всеволод и его друзья с радостью и чувством исполненного долга читали листовку Казанского совдепа:

«Радиограмма из Москвы:

Самара взята нашими войсками.

Пало осиное гнездо «учредительной» контрреволюции и унесло с собою всю мерзость, обман и издевательство над трудящимися массами!..

Волга вся очищена от наймитов англо-французского капитала. Настала очередь за Уралом!

Дружным натиском мы опрокинем и там врагов Советской Республики!

Мы победим контрреволюцию!»

6

В гостинице, в комнате Петра Попова, собрались на совет матросы. Фронт откатился на восток, на Волге затишье. А Украина стонет под кованым сапогом кайзеровских захватчиков, да и свои, «самостийные», рады были бы раздавить Советскую власть.

Настроения самые разные. Одно ясно: черноморцы рвутся поближе к родным берегам. Петро Черномазенко так и сказал:

— Не я буду, если немчуру и всяких петлюр не сбросим в Черное море...

— Раз Исус (прозвище Черномазенко) идет — записывай и меня, — бросил Вишневскому Михаил Отрезной, пулеметчик с «Вани-коммуниста». К ним присоединилось еще трое. А затем Попов и Вишневский пошли со списком по комнатам гостиницы.

Так формировалось ядро будущей Заднепровской бригады бронепоездов.

Не пешком и не в конном строю собирались моряки воевать. Им, привыкшим к боевому кораблю — обжитой до последнего винтика крепости-дому, захотелось, чтобы и на суше было нечто подобное. Имелись причины и более глубокие, нежели простая привязанность друг к другу, к кораблю. Не на эти ли причины указывал В. И. Ленин, делая сообщение в женевском клубе большевиков об уроках восстания на «Потемкине»: «Матросы на кораблях — это рабочие на фабриках и заводах. Они твердо спаяны своим «производством», они живут тут же, на этих своеобразных плавучих заводах, среди них много рабочих; машины их объединяют, сплачивают...» [1]

Неизвестно, кому первому пришла мысль о бронепоезде. Скорее всего Полупанову, уже принимавшему участие в январских боях за Киев на этой боевой машине. Как бы там ни было, а работа закипела. Штаб (в него, кроме С. Лепетенко, П. Попова, А. Полупанова, П. Черномазенко, входил и В. Вишневский) набрал около трехсот добровольцев. В большинстве своем это были механики, электрики, пулеметчики, артиллеристы. Вместе с рабочими-сормовичами они оборудовали и вооружили бронепоезд и еще несколько эшелонов — для команды, снаряжения и продовольствия.

Нелегко было все это выбить у начальства.

Выручил Петр Попов. Однажды вечером в клубе уговорил командира флотилии Федора Раскольникова подписать бумаги насчет продовольствия, обмундирования и денег для бригады. Но, когда Попов пришел за деньгами, часовой взял его под арест и отвел к командиру флотилии, куда уже были доставлены Вишневский и Черномазенко.

Поначалу Раскольников и слушать ничего не хотел:

---

[1] Научный архив Института истории СССР АН СССР, т. 3, оп. 2/28, д. 1, л. 69.

— Под суд отдам! Дезорганизаторы! Лучших специалистов флотилии сманили!..

Попов выждал, пока командир «выпустит пар», а затем показал бумагу:

— Вот, вы же сами разрешили. Да и ребята на фронт рвутся...

Раскольников уставился на свою подпись и так долго разглядывал ее, что, казалось, возьмет сейчас бумагу и, как золотую монету, на зуб попробует...

— Ну ладно, валяйте... — вяло махнул он рукой.

Спустя несколько дней под музыку пришедшего проводить моряков оркестра бронепозд № 8 взял курс на Южный фронт. Вид у него был скорее агитационный, чем военный. На боковых стенках паровоза и платформ — лозунги: «Долой немцев, долой петлюровцев! Да здравствует Красная Украина!», «Мы своими штыками и пушками несем освобождение порабощенному украинскому пролетариату!»

Паровоз тащил несколько четырехскатных угольных платформ, из пробитых стенок которых выдвинуты дула пушек. Броню заменяли шпалы и мешки с песком, уложенные и закрепленные вдоль стенок платформ. Лафетов и колес у пушек не было, стволы их были прикреплены проволокой и железными обручами к платформам, — естественно, что стрелять можно было только вперед или назад. Но зато во все стороны — с платформ и с тендера паровоза — торчали коротконосые «максимы». Один из них — его, Всеволода Вишневского.

Бои начались под Харьковом, который был взят красноармейскими частями с ходу. Затем — станции Мерефа, Лозовая, Синельниково, Екатеринослав... Каждый бой оставлял свою зарубку в памяти, потому что ни один из них не был похож на другой.

Под Мерефой Вишневский ходил в разведку, корректировал огонь артиллерии по петлюровским частям. Под Лозовой во время стремительной ночной атаки взял в плен петлюровского офицера и после боя лично сдал его командарму Дыбенко. Одним из первых Всеволод выдвинулся на Днепровский мост, держал под пулеметным огнем прилегающие к реке кварталы Екатеринослава и с атакующими цепями ворвался в город.

В Екатеринославе необходимо было отремонтировать потрепанный в боях бронепоезд. К тому же Вишневскому вместе с группой моряков поручалось оборудовать в мест-

ных мастерских — частично из трофейных площадок, частично из изготовленных здесь же — новый бронепоезд. Во время этих работ Всеволод познакомился и подружился с матросом-слесарем из Севастополя Иваном Папаниным — мастером на все руки, веселым и неунывающим.

На «Грозном» — бронепоезд получил такое название за то, видимо, что на нем были установлены четыре 75-миллиметровые морские пушки — Всеволод участвовал во взятии Мелитополя, Акимовки и других населенных пунктов Таврии. Этот поход запомнился ему и упорными дуэлями с бронепоездами белых на ветке Александровск — Пологи, и постоянными вылазками команды «на сушу» — против атакующих цепей врага, которых с платформ не достать; и тесным взаимодействием с бывшим тогда союзником — войском батьки Махно, которое теснили части генерала Май-Маевского.

Четверо суток продолжался бой на подступах к железнодорожному узлу Пологи. Советские войска отвоевывали станцию за станцией: вначале Орехов, а затем благодаря совместному удару — махновцы с юго-востока, а красные кавалеристы, поддерживаемые бронепоездами, с северо-запада — овладели Пологами. Противник бежал, оставив орудие, два броневика, паровоз и раненых.

Командир бригады бронепоездов Лепетенко, сопровождавшие его Вишневский и Попов возвращались из штаба Махно. Битый час они уговаривали батьку продолжать наступление на Царекконстантиновку, Верхний Токмак, чтобы закрепить успех, но ушли ни с чем. Еле державшийся на ногах (как-никак две ночи не спал), раскрасневшийся от злости и бессилия Лепетенко, выйдя из здания приходской школы, где расположился штаб махновцев, все повторял: «Ишь ты, не терпится ему свадьбу сыграть... А вдруг Май-Маевский захочет и свадебным генералом стать?..»

А вечером того же дня добрые полсотни сподвижников Махно вместе с приглашенными на свадьбу матросами во главе с Лепетенко сидели за столом в большом зале школы. То ли от счастья, то ли от страха пылающую огнем пышногрудую невесту вскоре забыли все, в том числе и жених — молодцеватый сотник. Много пили, закусывая мягким, душистым, с розоватыми прожилками салом и огромными солеными помидорами. Веселье едва набирало силу, как матросы незаметно один за другим начали покидать зал. Последними ушли Лепетенко и Виш-

невский. Но не успели пройти и нескольких шагов — остановил чей-то крик. Бежит, прихрамывая, Махно: волосы разметались во все стороны, разъярен как бык. Впился мутно-красными глазами в Лепетенко:

— Ты что же, большевистская сволочь, не хочешь со мной даже выпить?! Думаешь, я забыл про Синельниково?

Всеволод рванулся вперед и, заслонив Лепетенко, схватил батьку за правую руку, а то еще выхватит револьвер. Неизвестно, как развивались бы события дальше, но тут подоспел помощник Махно Куриленко — здоровенный детина, прославившийся тем, что независимо от принятых доз спиртного никогда не хмелел.

Конечно, Лепетенко помнил Синельниково. Там, после освобождения города, он обратил внимание на то, что некоторые махновцы вдруг превратились в безобразных толстяков.

— А ну раздевайся! — приказал одному из них.

Как листья с кочана капусты, сбрасывал с себя махновец рубахи, брюки, полотенца и другие награбленные в квартирах железнодорожников вещи.

— Что ж вы последнее забираете у своих братьев-рабочих?

— Це, батько, ошибка... Прости бога ради. Мы думали, що буржуев грабим, — съежившись от холода, умолял махновец.

Пожалел тогда Лепетенко. Но надо ж случиться такому, через два дня снова несколько махновцев было задержано во время грабежа, и тут уж приказ о расстреле за мародерство был приведен в исполнение...

Сейчас Лепетенко хорошо понимал: бессмысленно что-либо доказывать Махно. На батьку могло подействовать только одно — сила.

— Вот что, Махно. Если ты будешь матюкаться да еще угрожать, я сейчас же со своими моряками уйду, а с Май-Маевским тогда разбирайся сам...

Эти слова слегка отрезвили батьку, наверное, поэтому он не слишком сопротивлялся, когда Куриленко взял его в охапку, чтобы возвратить к свадебному столу.

Назавтра махновский штаб еще долго храпел и благоухал самогонным перегаром. А у крыльца остановился конвоир. Он доставил сюда двух пленных и не ведал, что делать с ними дальше.

Вишневский, который пришел, чтобы выяснить обста-

новку, догадался о затруднении конвоира — добродушного крестьянина лет двадцати пяти. Широкий в кости, сильный, тот неуклюже держал винтовку и почему-то улыбался.

— Что, земляк, давно воюешь? — обратился к нему Всеволод.

— Та нет. Третий день... У батька... А так — с чотырнадцятого — в окопах, та в плен майже сразу попав. — Конвоир снова улыбнулся открыто и доверчиво. — По правде, так я и не воював. Я кравец — портной значить. А зовуть — Роман Кошиль. У немца в плену за швейною машинкою просидел три роки, недавно вернувся до дому. Позавчора нагрянули и кажуть: «Собирайся, будем вильну Украйну захищать, батько Махно кличе тебе...» Жинка в плач, а мени довелось идти...

— Пленных-то в бою взял?— Вишневский кивнул на мирно беседующих в сторонке — судя по одежде, тоже крестьян.

— Та хиба ж то бой? Смих тай годи. Нам приказ був отдан: найти и знищтожить ворожу разведку. Ну, мы пишли втроем на околицю села Федоровка. Подползли к хате мельника, вона крайня стоить. Стучим. Нихто не открывает. Нарешти, хозяйка выглянула. Заходим, а воны, — конвоир кивнул в сторону пленных, — оружие геть покидалы и на печь меж дитьми улеглись... Да они таки ж вояки, як и я — тильки один курский, а другой рязанский... Тоже силой у войско погнали...

— Зачем же ты их сюда привел?

— Сами попросили: «Не уходи, Роман, отведи нас в штаб, а то еще не ровен час какому-нибудь сердитому, в кожанке, на глаза попадемся...»

Вишневский зашел в здание: в коридоре сидел часовой. Видно было, что он отчаянно борется со сном. Но на вошедшего среагировал сразу. Не дожидаясь вопроса, вскочил, штыком преградил путь:

— Батько не велел никого пускать!

— Передай батьке, что комбриг Лепетенко ждет его на совет на бронепоезде «Грозном» в пятнадцать ноль-ноль...

Еще недели три воевали моряки вместе с махновцами. Помимо неверности их атамана, которая проявлялась задолго до того, как он окончательно предал Советскую власть, совместные действия затрудняло и то, что никогда не было известно, каким войском в тот или иной момент располагает батько. Его бойцы отправлялись на ночь по

домам в близлежащие деревни, и далеко не все возвращались обратно.

Александровск, Михайловка, Васильевка, Мелитополь... За все эти станции и населенные пункты дрались матросы бригады Лепетенко. Во время боевых операций под Пришибом сформировался третий бронепоезд — его назвали «Спартак». Моряки уже довольно сносно овладели своеобразной тактикой боев по «одной борозде», которая, правда, в любой момент может стать непроходимой. И тогда — хочешь, не хочешь, — надо что-то предпринимать.

Как-то белые разобрали рельсы и отрезали путь «Грозному». Матросы, чтобы отвлечь внимание врага, начали усиленный обстрел нападающих. А пока шла эта перепалка, самые надежные и смелые ребята ползком, незаметно, буквально влипая в песок, укладывали шпалы. Затем дали бронепоезду малый ход и так, колесо за колесом, сменяя разламывавшиеся шпалы, выбрались из ловушки.

В марте 1919 года приказом командования два матросских бронепоезда переброшены в районы Центральной Украины, где вместе с 1-й стрелковой дивизией Николая Щорса участвовали в тяжелейших боях против петлюровцев под Бердичевом и Житомиром.

...Темная украинская ночь. На площадке «Грозного» за невысокими железными бортами, накрывшись кожухами, а сверху брезентом, прижавшись друг к другу, на «палубе», покрытой копотью от паровозной трубы, спят бойцы. На вахте — один, в бескозырке, на ремне гранаты и револьвер. Напряженно вглядывается в кромешную тьму — все тихо, спокойно. Правда, порой чудится, будто по едва заметной ленте дороги ползут, подкрадываются какие-то тени, вот они уже близко, рядом. Обычная история — за полночь, когда предательский сон обволакивает сознание незаметно, исподтишка. Часовой закурил, привычно пряча огонек самокрутки за щиток пулемета.

Старый «максим» Тульского завода... Любит Всеволод свой пулемет. Командир бронепоезда Закревский даже посмеивается над тем, что он чересчур часто разряжает пулемет, протирает части, осматривает приемник, вытирает щеточкой грязь, вновь заряжает. Что ж, пусть посмеиваются, зато пулемет ни разу его не подводил.

Как-то раз на станции Знаменка белые подстерегли штабной эшелон бригады: подпустили к самому вокзалу и

ударили беглым огнем прямо по окнам. По боевой тревоге матросы выскочили из поезда и перешли в контратаку, отбросили белых — и обратно. А Вишневский прикрывает огнем своего пулемета. Выполнил боевую задачу с честью — враги головы не смогли поднять.

А в это время Петр Попов выходные стрелки проверяет. Стрелочник, в штатском, все в порядке, говорит. Сам же переводит стрелки так, чтобы эшелон прямо в лапы к белым угодил. Подбежал к нему Попов, рванул пиджак — под ним офицерские погоны золотом сверкнули. На месте уложил врага, стрелку как надо перевел. Эшелон, отстреливаясь, вырвался из кольца и пошел по назначению — к Киеву...

Всеволод нередко вспоминал встречу с конвоиром Романом и его «подопечными» — такими же мужиками, как и он сам; то, как мирно беседовали они и как по его, Всеволода, совету отправились по домам: Роман в деревню в двенадцати километрах от Полог, а его пленники — к себе домой, в Россию. Ведь нет и не может быть непреодолимого зла, ненависти между людьми, ведь и у белогвардейцев, и у Петлюры немало обманутых простых людей труда.

Почему же они так немилосердны друг к другу?

У Синельникова на бронепоезд налетели казаки-белогвардейцы. Кто успел из здания вокзала (там штаб находился) выбраться и на бронепоезд вскочить — уцелел. Остальных ждала суровая участь. У дверей встали двое с шашками наголо. Как только появится матрос — рубят. Так восемнадцать человек погибло. И среди них друг Черномазенко — Михаил Отрезной. Правда, и пулеметными очередями с борта бронепоезда положили немало.

Внезапно грянули выстрелы. Не успев сообразить, откуда они, Всеволод пригнулся и дал в ответ длинную очередь наугад — в темное, теперь ожившее, грозное, смертоносное пространство. В считанные секунды команда бронепоезда заняла боевые места. Теперь можно перезарядить пулемет. И вдруг острая боль обожгла правую щеку. Но Вишневский продолжал вести огонь — до тех пор, пока враги не отступили.

Закончился еще один бой — под станцией Попельня. Их будет еще немало впереди, но этот повернул фронтовую судьбу Всеволода в другое русло. Рана оказалась рваной, гноилась, и то, что произошло потом, Вишневский

описал в автобиографическом рассказе «Дела былые» (опубликован в 1935 году):

«В вагон политотдела Заднепровской бригады бронепоездов вваливались матросы, занимая скамьи. Собрание...

— На повестке — организация Особого отдела. Районы бандитские — бьют нас тут со всех румбов. Человек оправиться выйдет, а его в расход... Поезда под откос пускают. Приходится подумать...

Секретарь ячейки встал:

— Тут одного ранило. В строю ему трудно. Пока пусть в Особый идет. Володька, встань.

Раненый встал и глянул одним глазом из-под громадного кома грязной марли, окутывавшей распухшее лицо.

Секретарь продолжал:

— Еще кандидатура Петра Попова. Они с одного корабля — «Вани-коммуниста». Попов, встань.

Человек встал.

Раздался голос:

— Попов, у тебя какая специальность?

— Машинист.

— Вот и верти, вали.

Секретарь докладывал:

— Вот, товарищи, им все и поручим.

— А инструкции какие?

— Какие инструкции? Чудак! Доглядай да поспевай — вот и все».

Так пулеметчик Вишневский после ранения становится чекистом. Задача «доглядать да поспевать» расшифровывалась просто: бороться с контрреволюцией, саботажем, должностными и воинскими преступлениями. 17 июня он получает мандат штаба Заднепровской бригады бронепоездов за номером 2050, который дает «право обыска и ареста всех подозрительных лиц, ношения всякого рода оружия» и по которому все гражданские и военные учреждения на территории УССР и РСФСР обязаны тов. Вишневскому, помначальника контрразведки, оказывать полное содействие».

Десятки, сотни встреч с людьми — военными и штатскими, рассеянными по стране, охваченной гражданской войной. Попробуй разберись, кто свой, а кто чужой, враг. И Вишневский пристально всматривается в лица, фиксирует детали, обдумывает, взвешивает поступки людей.

«Однажды нам сказали, что появился какой-то подозрительный человек, — вспоминал И. Д. Папанин (буду-

щий герой Арктики в 1919 году служил бок о бок с В. Вишневским). — На вид это был крестьянин — в лаптях, с мешком, засаленный, обросший.

Всеволод потребовал, чтобы он разделся, стали спрашивать у него то, что нужно, а он начал путать. Вишневский предложил распороть всю его одежду. И, представьте себе, что у него нашли мандат — три сантиметра шириной и пятнадцать сантиметров длиной — уполномоченного штаба Деникина...»

Да, Вишневский и в самом деле мог «разгадывать» людей по поведению в той или иной ситуации, используя свою прекрасную память, особенно цепкую на все, что касалось военных дел.

Как-то привели на допрос матроса: ни за что ни про что избил старуху, которая добиралась из Мелитополя к себе домой, в село. Непонятный, даже по тем временам дикий случай. Когда задержали, просил прощения, плакал. Допрос прошел стереотипно, ничего подозрительного. Ну что ж, бывает, иногда человек совершает необъяснимое. Облегченно вздохнув, матрос уже собрался было уйти. Но тут Вишневский стремительно шагнул к нему, взглянув в упор, спросил:

— Говоришь, ты плавал?

Матрос утвердительно кивнул, назвал корабль.

— Какие на нем орудия?

— Шестидюймовые...

«Не тут-то было», — отметил про себя Вишневский (когда-то он был на этом судне в Кронштадте) и взял матроса за ворот форменки:

— Как это называется?

— Сорочка...

Раз форменка стала сорочкой — значит, дело ясное. Оказалось, что «матрос» — член группы диверсантов, переброшенных сюда, в Таврию, чтобы проникнуть в ряды Красной Армии. Белогвардейский агент раскрыл шифр, явки, пароли подпольной организации, нити которой тянулись к Харькову и Москве. Телеграфист немедленно (в мандате Вишневского было отфиксировано и право подачи экстренных телеграмм — с надписью «военная срочная») отстучал сообщение. И вскоре по телеграфу последовал приказ из Центра: задерживать всех матросов, одетых как этот — шинель на нем была нерусского флотского образца.

Вместе с Петром Поповым Вишневский участвовал

в ликвидации группы контрреволюционеров-подпольщиков в Александровске, задержал нескольких шпионов на станции Долгинцево.

Снова загноилась рана. Лицо опухло. Штаб бригады передислоцировался в Джанкой, и пришлось идти в госпиталь. Тут-то и выяснилось, почему никак не заживает рана: оказывается, Вишневский все это время носил пулю в щеке!

Шрам, оставшийся после операции, впоследствии всякий раз, когда Всеволод волновался, наливался кровью.

Еще зимой, во время следования бронепоезда № 8 на Украину, Всеволод Вишневский был принят в ряды Коммунистической партии, и с тех пор одной из основных нагрузок для него стала политическая работа агитатора.

Его натура жаждала деятельности, выхода энергии, и совсем не случайно Вишневский явился одним из инициаторов создания первых комсомольских ячеек. Едва перебравшись с Волги на Украину, в одном из небольших городков он пишет обращение «К молодежи». Немного наивное, но чистое, страстное: «Наконец-то мы освободились от немецко-гайдамацкого ига. Мы приветствуем в нашем городе рабоче-крестьянскую власть, которая зовет нас к строительству новой жизни! Помните! Будущее в руках современной молодежи, и наш долг во имя нашего светлого будущего принять участие в строительстве новой жизни на основе коммунизма, который приведет человечество к светлому счастью, который ведет к трудовой пролетарской коммуне, где нет богатых и нет бедняков.

Я призываю вас к организации в стройные ряды юных коммунаров, в ряды Коммунистического союза молодежи...»

И подписывает — «Организатор Вишневский».

«Восемнадцати лет я был ходом вещей выдвинут на трибуну», — много лет позже скажет о себе писатель. Выступать приходилось ему перед крестьянами сел Украины, перед солдатами, матросами. Летом 1919 года, принимая во внимание его ораторские способности, Вишневского послали в Севастополь: бригада нуждалась в пополнении. Он призывал черноморцев идти служить на сухопутные броневые «корабли», чтобы покончить с врагами трудового народа. Среди моряков сильны были авантюристи-

ческие, а то и анархистские настроения: «Когда я готовился выступать, я знал, что каждое слово там должно попадать в цель, иначе тебе никогда второго слова сказать не дадут» — такое ощущение атмосферы этих митингов осталось у Вишневского.

Да, время было крутое: Деникин наступал с юга, нужны новые силы. Весенние бои серьезно обескровили бригаду. Вишневскому удалось завербовать несколько сот человек, и наверняка во многом благодаря тому, что слушателям импонировал внешний вид оратора — перевязанная голова, суровый взгляд из-под густых бровей, а главное — лаконичные, удивительно образные рассказы-картинки боев 1918—1919 годов, в которых ему самому довелось участвовать.

О другом случае, когда выручила сила ораторского воздействия — во время упорнейших боев под Александровском, — сам Вишневский вспоминал с удовлетворением: «Мне пришлось схватиться с кавалеристами, которые не хотели идти на фронт, — не то овса у них не было, не то еще чего им не хватало. Ребята крупные, мрачные, а я один. Долго я их убеждал и в конце концов уговорил: пошли на фронт. Бронеавтомобили и белая конница наседали на нас. Снаряды рвались вокруг. Но и мы в долгу не оставались. Наш комендор — курский толстяк — бил превосходно...»

Выступал он и на многотысячных митингах — впервые перед рабочими поселка Валуйки и крестьянами из близлежащих деревень. Речи будущего публициста и драматурга были понятны всем: короткие, ясные по смыслу, рубленые фразы, в которых чувствуется учащенное дыхание оратора. Такие же фразы ложатся на бумагу, на страницы дневника. Иной раз он не может удержаться, чтобы не писать воззвания и лозунги мелом — на стенах железнодорожных зданий.

Вторая половина 1919 года не радовала: белые и петлюровцы наседали со всех сторон. Бригада бронепоездов таяла на глазах: потери, потери — скольких уж нет в живых! Погиб Миша Донцов под Екатеринославом — один отстреливался от группы казаков. Тело его моряки отбили у белых, похоронили, сделали ограду.

30 августа пал Киев. От «Грозного», прибывшего в Гомель, осталась лишь искалеченная бронеплощадка. Неко-

торые матросы уходили в армию, другие же, храня верность Волжской военной флотилии, вернулись на «исходные рубежи», и среди них — Вишневский.

7

Флотилия зимовала в Нижнем. Всеволод снова бродит теми же улицами, что и год назад, заходит к знакомым, которые хотя и принимают с сочувствием, и потчуют радушно, но словно ждут от него ответа: «Когда же это все кончится? Бьют народ, ох, бьют... Свои своих, русских...»

Он отвечает как можно проще, понятнее.

И уходит в город. Вот Московская улица, где раньше бегал синий трамвайчик, вот лавочка, где он в 1918 году брал по утрам молоко, а в денежные дни — какую-нибудь «гастрономию». Ряды с навесом напоминают питерский Гостиный двор, Апраксин и Александровский рынки.

Странное это чувство — одиночество. Немало бы отдал Всеволод, чтобы оказаться сейчас в Питере, увидеть близких, ощутить их любовь, ласку, заботу о себе. А с другой стороны — все родственные связи и чувства сковывают: теперь он один, независим, никому не причиняет забот. Погибнет — некому рыдать.

Вон там, на высоком берегу, в городе столько осталось вдов... Год назад они провожали на фронт своих мужей. «Я шагаю вольными путями, — думалось Всеволоду, — и моя жизнь не отдана близким. Меня не тревожит сознание, что кто-то обо мне тоскует, я никуда не должен торопиться...»

На территории ярмарки, где во флигеле с пустынными комнатами и коридорами разместились моряки, пустынно. Ветер гуляет сквозь разбитые стекла. Холод, от зданий веет загадочной мрачностью. Настоящая трущоба.

Оставаться здесь в бездействии на целую зиму? В то время как Юденич, грозит Питеру, а с юга напирает Деникин? Нет, прочь усталость, думы об отдыхе, поездке в Питер. На фронт! На фронт!

«В эти дни, — писал Вишневский, — мы услышали призыв партии: «Пролетарий, на коня!»

В Первую Конную! Я не кавалерист и поэтому иду на бронепоезд «Коммунар» № 56 в качестве пулеметчика. Берут охотно, там уже есть матросы, но их мало. Нас, ушедших с корабля, трое. Едем на фронт...»

В письме отцу, единственному в то время близкому человеку, Всеволод объяснил свое решение так: да, можно было бы сейчас приехать в Питер, но он пожертвовал отпуском ради фронта; да, многие из его соратников ушли на командирские курсы, и его самого не раз хотели назначить командиром и без курсов, но он отказался — лучше быть рядовым, но знать свое дело как следует. Ну а во-вторых, он решил воевать до победы революции. В письме есть страшные в своей обнаженности и правдивости слова:

«Мне везет, то есть — я жив уже 5 лет... Война жестокая, в плен матросы не пойдут...» А затем, словно спохватившись, сообщает то, что, по его мнению, непременно должно интересовать отца: «Послал бы карточку, да как это сделать? Изменился мало: на щеке три шрама, похудел, маленькие усики, а то как был, так и остался».

Судьбе было угодно, чтобы пополнение попало в Первую Конную почти в самом начале активных боевых действий конницы Буденного против Деникина, в двадцатых числах октября. На бронепоезде моряков немного, но и армейцы опытные — с Восточного фронта. «Коммунар» поддерживает конницу, продвигается на юг. Позади жаркие бои под Воронежем, Харьковом, в районе Донбасса, впереди — Ростов.

Кроме пули, штыка, картечи и шашки, еще одна беда косит бойцов — сыпной тиф. На сей раз он настиг Вишневского. Бронепоезд ушел дальше, а его высадили в Харькове.

Вот он бредет по вокзалу, в жару пошатывается. Санитары подходят, один другому говорит:

— Дай ему воды.

Всеволод маузер отстегивает и шепчет:

— Уйди, пока жив...

И механически повторяет:

— Не пейте сырой воды...

Добился Вишневский направления в военный госпиталь, и в том было его спасение. А как попал в палату, взглянул вокруг невидящими глазами — так и провалился в небытие.

Он в бреду, и чудится ему: на огромной снежной равнине друг против друга две армии. На нем и его товарищах боевых шинели, прожженные угольями костров, ставшие жесткими от грязи; сапоги, изношенные в походах,

выгоревшие фуражки, флотские бескозырки с выцветшими и ставшими из черных серо-розовыми ленточками; ватные штаны с оттопыренными гашниками, алые галифе и 75-сантиметровые клеши без клиньев. Над ними — полинялые от дождей и солнца, простреленные в боях красные флаги. По команде одного из командиров — «К церемониальному маршу!» — полки белых (оказывается, они уже сдались в плен, покорены), отдавая честь Красной Армии, тронулись мимо. Это был их молчаливый могильный марш: земля медленно, но неуклонно оседала под шествующими полками...

Выручил молодой организм, победил. Пришел в себя Всеволод — где оружие, маузер? Есть, на месте... Где газеты? Первая Конная уже на Кавказе. Черное море снова будет нашим.

Спустя неделю в дневнике появляются радостные, прыгающие, обгоняющие друг дружку строки: «Весна идет! Новый подъем! Силы мои восстанавливаются. От смерти опять — в который раз?! — ушел. Я еще жив! О, как хорошо! Разрешили пойти в город. Бреду по солнышку. Ноги как будто подменили: не гнутся — как протезы. Читаю фронтовые сводки, расклеенные на стенах домов и на заборах...»

Лишь только немного окреп, потребовал, чтоб выписали. «Сейчас я так рад, что выздоровел, — сообщает Всеволод в письме к отцу от 19 марта 20-го года, — хотя по правилу надо лечиться: уши и ревматизм, но нужен хороший госпиталь или санатория, ванны, электролечение и т. п. Здесь же этого нет».

Он устал, и если бы не сознание долга, остался бы в тылу, пошел бы работать в газету или отправился на Волгу. Но вот прочел телеграмму РОСТА: «Взят Новороссийск!» И — не выдержала душа, рванулась к морю, на Кавказский фронт. Он стремится быть если не на корабле, то среди моряков. К тому же есть и законное основание: незадолго до болезни Вишневского командир бронепоезда «Коммунар» № 56 получил телеграфное распоряжение Морского Генерального штаба: срочно откомандировать из армейских частей всех матросов для получения назначения на флот.

Поезд прибыл в Новороссийск в пасхальную ночь. Всеволод дождался рассвета и направился в гостиницу. Усталость дикая. Известно, каковы поездки по местам, где

только что прокатилась война: бесконечные пересадки, ожидания на полуразрушенных вокзалах. Но у него хватило энергии, внутренней собранности не раскиснуть от стреляющей боли в ушах и приступов ревматизма, не затосковать смертельно на какой-нибудь заброшенной станции.

В руках у него корзинка с вещами — ненадеванный клеш, рубаха фланелевая, форменка и ботинки шевровые; две гранаты, разобранный карабин да маузер. Без оружия матросу никак нельзя, а форму номер 3, парадную, возит с собой Всеволод для особого случая — для первого дня окончательной победы. И еще в корзинке — тетрадки-дневники. Даже в самые горячие дни и ночи похода Первой Конной пулеметчик Вишневский выкраивал минуты, чтобы записать поразившую его жизненную картину, эпизод, разговор или просто меткое словечко. И не только героика, пафос боев, но и быт, проза фронтовой жизни ложатся на плотные листы ученической тетради. .

Странное, невиданное дело: на улицах Новороссийска — ни единой бескозырки! Куда подевались матросы? Что ж, придется формировать морскую часть из таких же отбившихся от своих, как он сам.

И вдруг по главной улице города, Серебряковской, — автомобиль, а в нем — матросы. Вишневский бросается наперерез, останавливает авто и с ходу представляется. Ему повезло. Командир новороссийского порта Суслов, взглянув на документы, тут же написал записку о том, чтобы военмор Вишневский был взят на довольствие.

— Чем заниматься? Приходи завтра ко мне, в порт, поговорим, — широко улыбаясь, Суслов крепко жмет руку.

Вишневский назначен начальником дивизиона сторожевых катеров, который надо еще создавать. А пока в его распоряжении — 30—40 матросов «новой формации», не нюхавших пороха, щеголяющих полублатным жаргоном южнорусского происхождения и татуировками вроде двуглавого орла во всю грудь. Да около десятка небольших моторных катеров, предназначенных для портовых перевозок. Шесть из семи дней в неделю катера находились в ремонте — то магнето, то карбюратор, то свечи, то подшипник — вечно что-нибудь неисправно. И вооружить-то их еще надо.

Ну не беда, Всеволод не унывал. На Волге на «купцах»

пушки устанавливали, а здесь — пулеметы, это гораздо проще. К концу апреля катера «Метеор», «Ворон», «Гаджи-бей» могли вести патрулирование у берегов Новороссийска с целью перехвата шхун и других судов, доставляющих в Крым Врангелю грузы из Турции.

Команды частично укомплектованы бывшими владельцами и их сыновьями. По этой причине, видимо, они бережно относились к катерам. Но, с другой стороны, таких матросов иной раз невозможно заставить выйти в море на выполнение боевого задания. Не хватало обмундирования, не налажено снабжение. И самое главное — мало, очень мало настоящих матросов, получивших революционную закалку.

Вот почему девятнадцатилетний пулеметчик назначен сразу, без предварительного испытания на такой ответственный пост. Ему самому трудно было судить, но, похоже, служба у него ладилась. Во всяком случае, когда в сентябре политотдел потребовал откомандировать военмора Вишневского на учебу в партийную школу, местное начальство наотрез отказало. На молодого, энергичного моряка у него свои виды: вот-вот должен выйти из ремонта пароход «Рион» — первая и единственная крупная боевая единица в порту, и Вишневский пойдет туда командиром или комиссаром. С ним можно «спокойно отправиться в море» — так аргументировал свое решение начальник порта.

Из эпизодов патрульной службы Вишневскому особенно запомнился один, связанный с пребыванием в порту итальянского парохода «Этна». Днем в соответствии с дипломатическим протоколом представитель Новороссийского Совета Суслов и Вишневский побывали на борту «Этны» с визитом, выслушали заявление капитана Мартини о намерениях Италии завязать дружественные связи с Советской Россией. А ночью сторожевые катера под командованием Вишневского засекли попытавшуюся подойти к пароходу шлюпку.

Накануне 1 мая — опять во время дежурства Всеволода — около одиннадцати вечера «Этна» вдруг открыла огонь по городу. Снаряды загудели через бухту — в сторону цементных заводов, затрещали пулеметы. Катера с ходу атаковали итальянский корабль, их поддержала своим огнем батарея 22-й дивизии. На несколько секунд «Этна» завиляла (очевидно, был убит или ранен рулевой), но потом выправилась и покинула порт. Любопытно, что

во время перестрелки в городе нарушилась связь — кто-то оборвал телефонные провода...

Вишневский обычно патрулировал на катере «Гаджибей». Установил хорошие отношения с мотористом турецкой шхуны «Тижарети-Багри». Он русский, симпатизирует большевикам. Через него Всеволод отправляет в Константинополь агитационную литературу для иностранных моряков. Воззвания пишет сам, переводят спецы из отдела народного образования, а набирает в типографии — с готовностью и страхом — один грек. В эти месяцы Вишневский часто выступает на митингах, играет в самодеятельном театре. Оборудовал агиткатер. Ездил в горы. «Работы много, — пишет он отцу 25 июня 1920 года, — с утра до вечера, на суше и на море.

Интернационал полный — все нации и языки. Морское дело, внешняя торговля, Чека, агитация и пропаганда и т. д. Интересная работа.

Как у вас? Буду ждать письма: хоть бы одно за полтора года! Ведь я столько вам писал в далекий Питер изо всех уголков России, а ответа или хоть весточки какой-то не получал...»

Годы войны, ранений и контузий, лишений и потерь брали свое. Накапливалась усталость, росла, крепла тяга к дому. Правду сказать, Виталий Петрович не очень-то жаловал сына своим вниманием — за все годы разлуки всего лишь двумя открытками отозвался на послания-исповеди Всеволода.

Со всей отчетливостью ощутил Вишневский тоску по дому во время встречи французского транспорта, доставившего на родину русских солдат, которые служили в первую мировую войну за границей. «Гаджи-бей» лихо подлетел к трапу, матросы поднялись на палубу «Бар-ле-Дюк». Всеволод, широко улыбаясь, молча снял бескозырку и, приветствуя соотечественников, взмахнул ею. В ответ — рев тысячи голосов, громовое «ура!». Счастливые — они скоро вернутся в свои семьи.

Несколько позже на корабле «Решид-паша» пришли раскаявшиеся казаки-врангелевцы. Ревел норд-ост. Судно остановилось у мола.

«Да, времена меняются, здорово меняются!..» — подумал Вишневский.

Похоже, недолго осталось воевать — один Врангель в Крыму окопался. И постепенно все встанет на свои места. Как река после бурного весеннего половодья так или

иначе сегодня или завтра возвратится в свои берега, так и народ не может не чувствовать нутром своим пути общественного прогресса.

Всеволод возвращался после дежурства, а кряжистый, невысокого роста матрос стоял у причала и внимательно разглядывал один из катеров дивизиона. Вишневский подошел поближе, и тут здоровяк оглянулся.

— Ванечка!..

— Володечка!..

На радостях обнялись и, не успев расспросить друг друга о товарищах, с которыми вместе воевали на Украине, заговорили о делах насущных. Начал Папанин:

— Что это за посудина, знаешь?

— Как не знать, обычный «извозчик» — катер для доставки команды, почты с кораблей на берег и обратно. Правда, мы его немного приспособили к современной обстановке — «максимом» снабдили...

— Ну так вот. Есть дело, — решительно начал Папанин. — Туда, — он взглянул вдаль, в открытое море, — прорваться бы надо...

Вишневскому долго объяснять не нужно, сразу понял. Хотя они довольно близки были — уже в Екатеринославе, когда в железнодорожных мастерских «ставили на ноги» бронепоезд «Грозный», а затем воевали на нем, — Папанин счел необходимым предупредить:

— Только, Володя, давай договоримся — если кто хоть одно слово скажет, даже самому лучшему любимому товарищу, даже по партии или вместе плавали — уж не говорю про женщин! — без суда бить наповал.

Это был зарок, который не смеет нарушить ни один истинный моряк, идя на смертельный риск.

Папанин получил согласие командира порта на откомандирование в его распоряжение катера «Витязь» и в качестве помощника попросил к себе Вишневского.

Доставили катер на «Судосталь», а на заводе — безлюдно, только ветер свистит в разбитые окна. Все же отыскали рабочих — катер нуждается в ремонте: путь предстоит неблизкий (около 300 миль). Отлили для машины новые подшипники, перебрали донку, подающую воду в паровой котел, сделали протирку всех кранов, переборку золотников. Проверили цилиндры, поставили заплаты в подводной части. Люди спали буквально по 2—

3 часа, не отходя от катера, и через 48 часов работа была завершена.

— Как с иголочки!.. — удовлетворенно сказал после осмотра отремонтированного «Витязя» Папанин. И дал распоряжение поставить на катере еще одну трубу — декоративную.

В ответ на недоуменный вопрос Всеволода, зачем понадобилось такое украшение, Папанин, улыбаясь, посоветовал:

— А ты теперь отойди подальше и взгляни: чем не миноносец!

Ночью группа моряков-десантников загрузила «Витязь» так, что он глубоко осел. Пулеметы, винтовки, патроны и ручные гранаты, телефонные аппараты, катушки кабеля — все это ждут партизаны и подпольщики Крыма. Армия барона, занявшая полуостров, угрожает Донбассу, Дону, Кубани. В случае успеха Врангель может вылезти из «крымской бутылки», нанести удар с юга (главные силы войск молодой Советской Республики сейчас заняты на польском фронте). Вот почему так важна помощь крымским партизанам.

Не смогли десантники раздобыть морской карты. Взяли компас да карту из учебника географии. Папанин не унывал:

— Спасибо и на этом, а дальше уж как-нибудь разберемся.

Вышли в море. Начал разыгрываться шторм. Трудно в таких условиях держать нужный курс и помнить о дозорных и блокирующих белых и антантовских судах.

Когда подходили к Керченскому проливу, на горизонте появился вражеский эсминец. Понятно, что белогвардейцы заметили катер. Что делать? При подходе противника попытаться пойти на абордаж, врукопашную? Или притвориться беглецами из Советской России, а когда примут на борт, пустить в ход ручные гранаты и маузеры?

— Поднять флаг — пускай видят, — скомандовал Папанин.

Взвился, затрепетал на ветру красный стяг.

Полный вперед! «Витязь» ринулся в атаку. Минута, другая, и — о чудо! — эсминец показывает корму, бежит. Оторопели от неожиданности на катере, но продолжают преследование.

Захваченные позднее в плен белогвардейские моряки

так объяснили свое бегство: «Мы подверглись такой торпедной атаке, что с трудом ушли...» Оказывается, на эсминце приняли «Витязь» за торпедный катер, тем более что основания для этого были — флот республики располагал тогда на Черном море несколькими трофейными торпедными катерами...

Вдали показались черные контуры Крымских гор. Подошли вплотную к берегу, в районе Судака высадили десант. Партизаны получили боеприпасы, а также распоряжения командования Красной Армии относительно дальнейших действий.

Здесь, на берегу, друзья расстались. Всеволод на «Витязе» должен вернуться в Новороссийск, а Иван Папанин остался в Крыму, как член Реввоенсовета Крымской повстанческой армии.

Вскоре ему было поручено пробраться сквозь все кордоны в Таврию, чтобы детально проинформировать М. В. Фрунзе о положении на полуострове. За 100 николаевских рублей партизаны упросили турецких контрабандистов — те приплывали на шхунах в крымские порты, чтобы за бесценок скупать у белогвардейцев муку и другие продукты, — взять с собой еще один мешок с необычным «грузом» — Папаниным. Капитан шхуны обещал доставить его в целости и сохранности в Трапезунд, а уж оттуда тот добрался бы через Туапсе до Новороссийска.

Однако капитан оказался мошенником. В открытом море хотел забрать у своего пассажира деньги и оружие, а его самого выбросить за борт. Спасла счастливая случайность: на шхуне заглох мотор, и, сколько ни бился молодой турок-механик, ничего не мог поделать.

— Давай я попробую... — предложил Папанин.

Через полчаса мотор заработал.

— Чок якши, кардаш[1], — обрадовался капитан. — Хочешь быть контрабандистом?

Столь неожиданное предложение застало Папанина врасплох, и он не сразу нашелся что ответить. Турок же понял его молчание как вероятное согласие и зачастил:

— Будем плавать со мной, кардаш, не пожалеешь, — и, уж вовсе расщедрившись, завершил: — У меня восемь жен, четырех — самых лучших — тебе дам...

---

[1] Очень хорошо, брат (*турецк.*).

После такого «весомого» аргумента Папанину надо было соглашаться. Он махнул рукой и сказал:

— Ладно, так и быть. Но вначале доберемся до Трапезунда, тогда и договоримся.

Но шхуна почему-то прибыла в Синоп, а не в Трапезунд. Как выяснилось, здесь можно выгоднее продать муку. Вечером Папанин пошел «погулять» и не вернулся. Прикинулся немым нищим, питался диким инжиром и тем, что иногда подавали прохожие. По Анатолийскому побережью через две недели добрел до Трапезунда, пришел в советское консульство. Затем — Новороссийск, Харьков, встреча с Фрунзе...

Обо всем этом Папанин рассказывал Всеволоду, когда они вновь встретились в Новороссийске, в начале ноября 1920 года. Теперь предстоял второй ответственный рейс в Крым. На этот раз Папанин получил моторный катер-истребитель Ми-17 и два парохода «Рион» и «Шахин», на которых должен отправиться десант. 13 ноября ночью суда скрытно покинули пристань. Шли с потушенными огнями. Мелкий дождь со снегом, штормит.

Днем милях в сорока-пятидесяти от Феодосии заметили парусник. После недолгой погони шхуна под названием «Три брата» остановилась. Шкипер рассказал о судах, стоящих на феодосийском рейде, о проходящей в порту эвакуации. Оставив у себя в качестве заложников шкипера и владельца груза, моряки отпустили шхуну.

И тут случилось непредвиденное: не запускаются моторы. Восемь часов колдовал Иван Папанин вместе с механиком над поврежденными во время шторма моторами. Эти часы показались команде вечностью — восточный ветер, как на крыльях, нес истребитель совсем не туда, куда нужно, и вскоре он мог оказаться на курсе белых судов Севастополь — Константинополь. К тому же обнаружилось, что во время шторма смыты бочки с питьевой водой.

«В самые тяжелые ответственные минуты, — вспоминает об этом переходе И. Д. Папанин, — у Всеволода Вишневского, моего помощника по политической части и старшего пулеметчика, находились слова ободрения, которые глубоко западали в души бойцов.

— Браточки! Крепитесь, не то еще переживали... — успокаивал он изнывающих от жажды бойцов».

Видно, не зря еще в бригаде бронепоездов Папанина по части машин считали профессором. И здесь, к вечеру,

когда солнце садилось в красные тучи, моторы вновь заработали. Рванулась в душах спасенных людей радость...

Вскоре справа по курсу открылся маяк Меганом. Ми-17 подходил к берегу. Сильный прибой. Подняв над головой маузер, Вишневский вслед за Папаниным бросается в ледяную воду. За ними — матросы с ручными пулеметами. Оставив на катере трех бойцов, Папанин с отрядом двинулся по шоссе в горы. Уже утром отряд имел несколько тачанок и свою конную разведку. Возле Алушты соединились с красными партизанами, а затем — с передовыми частями регулярной армии.

Многие из эпизодов гражданской войны автор «Первой Конной» брал прямо с натуры. В одном татарском селении ночью была сделана перекличка, закончившаяся пением «Интернационала». Это яркое, врезавшееся в память событие драматург передаст так:

«Ведущий. После боя на Чонгаре.

Вечерний свет. Зычный голос Сысоева: «Станови-и-ись на поверку-у!» Сходятся человек пятнадцать. Строятся, легкий говор. Перед строем Сысоев со списком...

— Смирно! А ну слушай поверку... Алексеенко Петр!

Голос. Убит.

— Алексеенко Семен!..

— Убит.

— Апанасенко Дмитрий!

— Убит...

— Ваньковский Константин!

— Я-а! (Рука на перевязи.)

— Ведерников Петр!

— Убит».

«Убит...» — слово это всегда будет звенеть в ушах Всеволода, звучать в его сердце. Тогда, на последней поверке, вспомнились ему не только те, с кем еще несколько часов назад он шел в атаку.

Маркин, Донцов, Отрезной... А сколько еще братков сложило свои буйные головы в борьбе за свободу трудового народа! Безымянные тысячи могил поросли травой, занесены снегами. Под полуденным или ночным, темным небом в сечах погибли, расстались с родными полками. Сердца горячие остыли, истлели. Ушли тысячи прекрасных из жизни навсегда... «Горячее время, тысячеверстные переброски, непрерывные бои, громадные потери» — так сжато выразит Всеволод Вишневский свое восприятие гражданской войны.

А вот иные, более конкретные и сущностные впечатления:

«Из воды и огня — на землю и в огонь!..» — бросается в атаку у стен Казани юный моряк.

«Стоишь и думаешь, как сделаться совсем крошечным, чтобы пуля не попала ни в плечи, торчащие у пулемета, ни в ноги, раскиданные по палубе...» — таковы ощущения пулеметчика «Вани-коммуниста» № 5.

«Нигде за три года я не был, так сказать, насильно посылаем: всюду я ходил добровольцем» — как бы подводит итог в письме к отцу от 20 декабря 1920 года Всеволод.

Итак, начиная с октября 1917-го три с лишним года солдат, матрос, пулеметчик Вишневский сознательно участвовал в самых главных, решающих судьбу молодой Советской Республики боях: на Восточном фронте — с колчаковцами; на юге — с интервентами и деникинцами, а затем с Врангелем.

Воевал храбро, вдохновляя других. Был отмечен командованием; в послужном списке ротного командира Школы рулевых и сигнальщиков, заполненном в марте 1922 года, — и благодарности за взятие Казани и бои на Украине, и запись о том, что за освобождение Крыма в 1920 году боец Вишневский представлен к ордену Красного Знамени. «Сознание того, что пришлось вместе с тысячами товарищей, известных и безызвестных бойцов, членов нашей партии и верных беспартийных поработать для освобождения людей, для установления нового строя, — это сознание дает мне в жизни наибольшее удовлетворение», — писал Вишневский спустя полтора десятилетия. В этой лично пережитой и вошедшей в плоть и кровь постоянной и самозабвенной готовности к борьбе, в большевистской целеустремленности и настойчивости, в стремлении — и умении! — поворачивать жизненные обстоятельства, как того требует именно так понимаемая им Идея, — во всем этом истоки вдохновения пламенного публициста, выдающегося советского драматурга.

8

В газетном архиве Ленинской библиотеки в Москве хранятся номера газеты «Красное Черноморье» (орган Новороссийского окружного Комитета РКП(б) и исполко-

ма Советов рабочих и крестьянских депутатов). Желтоватый и серый, порою почти землистый цвет бумаги, сплошь и рядом — слепые оттиски, множество корректорских ошибок и опечаток. Цена одного номера 1200 рублей — тогда это, правда, никого не удивляло.

На Серебряковской улице, 31, с девяти утра и до девяти вечера открыт «Зал радио и газет Чер-РОСТА», где плата за вход — 500 рублей, с членов профсоюза — вдвое меньше, а красноармейцы и матросы могут проходить туда бесплатно. Всеволод частенько бывал здесь, хотя в политотделе, у дежурного, всегда имелся свежий номер газеты. Просто Вишневского тянуло к людям: слушать их, самому встревать в разговоры.

В этот хмурый декабрьский день в «радиогазетном» зале относительное затишье. Только несколько моряков листали страницы «Красного Черноморья».

— Опять ничего о флоте, — с досадой бросил один, и моряки ушли.

Вишневский и сам не однажды возмущался тем же. А сейчас, словно его подтолкнули, побежал в редакцию.

— Что вы тут ерундите? Почему вы пишете о том о сем, а моряками, которые сейчас столько делают, не интересуетесь?!

Редактор «Красного Черноморья», молодой, но уже с заметной проседью мужчина, терпеливо выдерживал все выпады экспансивного визитера и лишь молча кивал головой, давая ему возможность выговориться. Редактор интуитивно чувствовал, что не желание «побузотерить», весьма нередкое в те времена, не вздорный характер руководили молодым матросом, а нечто большее: любовь к флоту, неуемная жажда действия, созидания.

Так познакомились Всеволод Вишневский и Федор Гладков — именно он редактировал тогда «Красное Черноморье». Пройдут годы, и станут они, пусть не закадычными друзьями-приятелями, а просто добрыми знакомыми. В одном доме и подъезде и даже на одном этаже будут жить, и каждый раз при воспоминании об этой первой встрече теплое чувство будет охватывать обоих...

А тогда, в декабре 1920 года, Гладков на прощание сказал: «Что ж, пишите, редактируйте «Страничку моряка».

Его решительность можно было понять: профессионально подготовленных работников, специалистов в ту пору не хватало не только в порту. А молодой моряк, как

выяснилось в беседе, уже писал заметки в газету Первой Конной армии «Красный кавалерист».

Так Вишневский получил свою первую журналистскую должность — заведующий морским отделом. Правда, если следовать современной терминологии, понадобится уточнение: внештатный заведующий. Ведь одновременно с работой в газете он участвует в ликвидации контрреволюционных банд на Северном Кавказе и Черноморском побережье, является штатным докладчиком политотдела, организует первые красноармейские спектакли для жителей кубанских станиц.

В архиве писателя есть записка секретаря Новороссийского окружкома РКП(б) Ладохи (от 25 мая 1921 года):

«Товарищу Вишневскому

Агитационно-пропагандистский отдел парткома предлагает Вам во исполнение постановления парткома от 19 мая с. г. написать статью о борьбе с бело-зелеными под заголовком «Смерть бело-зеленым бандитам!».

Размер статьи — 60—100 строк печатных (примерно полторы-две четвертушки, переписанных на машинке). Означенную статью представить в Агитпроп не позже 30 мая с. г. Никакие отговорки неумением писать, занятостью и т. д. приниматься во внимание не будут. Работа должна быть выполнена точно и быстро...»

Здесь же, видимо, спустя много лет рукою Вишневского сделана пометка: «Начало моей практической журналистской работы — 1921 год».

Чем объяснить столь категорический тон письма? Созвучием, соответствием духу времени? А может, тем, что другие очень уж неохотно брались за перо и Вишневский попал, как говорится, под общую гребенку? Или, по мнению секретаря, несмотря на то, что на его счету уже были публикации в газете, он должен писать чаще?

О последнем судить трудно, так как далеко не все номера «Красного Черноморья» за тот период дошли до нас. Принадлежащие перу Вишневского газетные материалы — их и в самом деле немного — были подписаны так: «Неугомонный», «Неугомонный В.», «Черноморский Норд-Ост», — псевдонимы под стать характеру автора!

Надо сказать, что газета «Красное Черноморье» была боевой, задиристой. Основные разделы — «По Советской Республике», «По Европе», «Местная жизнь», «Последние

известия» (радио тогда делало первые шаги, поэтому и оперативные новости обязана была по-прежнему поставлять газета). С обзорами международных и внутренних событий в газете выступал Дмитрий Фурманов, и не исключено, что будущие авторы «Чапаева» и «Оптимистической трагедии» встречались в редакционных коридорах. Федор Гладков печатал в газете главы из своей повести «В Октябре». До него, кстати, «Красное Черноморье» редактировал также известный литератор, организатор революционного театра политической сатиры в Екатеринодаре Александр Рославлев, скоропостижно скончавшийся от тифа в ноябре 1920 года.

В номере за 19 декабря 1920 года напечатаны заметки «В Крыму» — первая газетная публикация Всеволода Вишневского. Здесь речь идет о высадке на полуостров десанта, о встречах с крестьянами, об освобождении Красной Армией Симферополя, о первом субботнике на железной дороге, о том, что Крым скоро станет образцовой советской коммуной. Написаны заметки простым языком, легко, есть ощущение приподнятости. Но, конечно, по существу своему это фотография, добросовестное описание виденного.

Затем, уже в 1921 году, публикуются статьи «За рубежом», «На регистрации», лирическая миниатюра «Вспомните получше!». Они порою наивны, эти пробы пера, и тем не менее явственно стремление Вишневского будоражить читателя, проникать в потаенные уголки его памяти, заставлять задуматься.

Музыка в бою... Она поднимала бойцов на штурм вражеской крепости, помогала выдержать предельное напряжение боя. Лето 1919-го. Южный фронт, моряки в атаке: «Музыканты с нами, и медные трубы поют так же громко и весело, как и год тому назад. Ленточки вьются по ветру; летим полным ходом, и веселое «Яблочко» раздается на полях, где схватились белые и красные. Под звуки флотского марша занимаем мы Гришино. Под печальные звуки похоронного марша отдаем последний долг бойцам за революцию... Шло время, борьба разгоралась, кольцо то разжималось, то сжималось, и всюду с цепями красных бойцов шли музыканты, и громкие звуки их труб раздавались по городам и полям, и сердце каждого пролетария билось быстрее, глаза зажигались огнем борьбы, и революция шла дальше и дальше с теми же звуками мировой песни — «Интернационала»!»

На высокой ноте ведет разговор с читателем Вишневский в этой заметке. Он полемизирует с автором письма в газету («Вспомните»), напечатанного в одном из предыдущих номеров, где говорилось о скудном житье морского оркестра: то и дело приходится выступать на концертах-митингах бесплатно. («Когда это кончится? Все играть да играть, есть небось мало дают, за полтора фунта хлеба много не наиграешь...») Вишневский развенчивает такие настроения, напоминая, что паек рабочего гораздо меньше. Уже здесь проявляется способность молодого журналиста подняться от частного факта к обобщениям: ведь то было время, когда вопрос-призыв «Чем ты помог голодающим Поволжья?» не сходил с повестки дня.

Итак, приобщение к журналистике можно считать состоявшимся. А первое представление об этой профессии он получил еще в феврале 1915 года. Тогда к приехавшему после ранения с фронта юному солдату обратился репортер из «Петроградского листка». Был он весьма подвижен, а точнее — суетлив и буквально забрасывал вопросами. Ответы краткие, сухие, никакой сенсации. Однако газетчик не унывал, продолжал допытывать мальчишку, надеясь получить подробности о «немецких зверствах» и «наших героях-солдатиках». Всеволод упорствовал и, как ему казалось, не дал репортеру никаких шансов преуспеть в своих намерениях. Тем не менее вскоре довелось прочесть в «Петроградском листке» о «Володике В.», который побывал «в огненных вихрях войны» и тому подобное. От стыда вспыхнули щеки — Вишневскому стало не по себе. Будущий публицист и писатель получил предметный урок того, как рождается фальшь, какой «красивой» и неправдоподобной может выглядеть жизнь на газетной полосе.

И вот теперь, сотрудничая в «Красном Черноморье», он дает себе зарок: ни строчки неправды или приукрашивания. А ведь страх как хотелось, чтобы все вокруг — и как можно быстрее! — менялось к лучшему. С плохо скрываемой гордостью Всеволод сообщает отцу из Новороссийска: «Напишу в газету, «продерну» кое-кого — и глядишь, начинают оживать, шевелиться...»

В новороссийский период жизни Всеволода Вишневского раскрываются его общественный темперамент, широта взглядов, проявляется неутолимая жажда деятельности. Он на самой стремнине потока новой жизни, возможность строить которую отстоял с оружием в руках.

Он чувствует себя полноправным хозяином ее, он за все в ответе. Именно таковы содержание и тональность писем конца 1920-го — первой половины 1921 года к отцу:

«Сегодня утром вернулся с Кубани из станицы Верхне-Баканской, где проводил ударную неделю «Помощь Донбассу»...

Работали дружно, ставили «живую газету», пьесу из революционного быта, концертное отделение и т. д. Громадный успех «живой газеты», особенно «почтового ящика»! Сыплют вопросы самые трудные, на которые приходится сразу же отвечать. Но мы с честью справились с этим: экспромтом поставили пантомиму «Приключения Врангеля» с подготовкой в один час.

Новое пролетарское творчество, коллективное творчество! Обо всем этом пишутся очень умные, длинные статьи, которые без энциклопедического словаря нельзя читать (а все же Всеволод их читал! — *В. Х.)*. Выходит много литературы, журналов... А это творчество идет снизу без всяких указаний, методов, и совет какого-нибудь Центротворчества или Главискусства остается на бумаге...» *(Письмо от 20.12.1920 г.)*

«Вчера я выбран делегатом на армейскую партийную конференцию. Жизнь у нас оживляется в связи с VIII съездом [1] и предстоящим X съездом РКП(б) — собрания, дискуссии и т. д.

Шевелится братва! Пришлось делать два доклада и участвовать в довольно крупных прениях по ним. Взялись немного и за профсоюзы, и за хозяйственное строительство, и за рабочую демократию. Правда, люди, три года бывшие на фронтах, по три-пять лет служившие ранее, не могут так тонко разбираться по всем пунктам, ждут указаний. Но все-таки мысль работает. Интерес к науке, к учению и искусствам очень велик. Даже постановили всех уклоняющихся судить!» *(Письмо от 12.I.1921 г.)*

«Воскресники у нас все ударные!.. То уголь, то дрова, то еще что-нибудь...

Но что мне нравится здесь — это товарищеские отношения! Бюрократов, закомиссарившихся — здесь мы одергиваем, и они становятся на истинный путь...

---

[1] Имеется в виду состоявшийся в конце декабря 1920 года VIII Всероссийский съезд Советов.

Как у вас с топливом?.. Райлескому, или как это мы называем — «Адлеском», попало немного, но меньше, чем населению от холода. Разные топкомы и топсоветы — вполне оправдывают свое название и топчутся на месте.

Выручил Внешторг — из Англии привез тысячу тонн угля «Кардиф». В обмен мы дали сырье и организовали комячейку на их судне. Приятное с полезным!

Ну, ладно! Это все мелочи или «красные царапинки» из живой газеты.

Вот ты обещал прислать программы Увмуза[1] — это мне нужно! Я достал бы пособий и с помощью некоторых товарищей подзанялся бы...» *(Письмо от 28.3.1921 г.)*

Неудивительно, что человек подобного склада характера и сам оказывается в центре событий. Об этом свидетельствует хотя бы такой эпизод.

В начале февраля 1921 года, когда в партии развернулась навязанная троцкистами и так называемой «рабочей оппозицией» дискуссия о профсоюзах, в Новороссийск прибыл М. И. Калинин. На собрании, где присутствовало около тысячи человек, с обоснованием каждой точки зрения могли получить слово (включая докладчика) не более чем по три оратора. «В защиту тезисов т. Ленина, — сообщит позже «Красное Черноморье», — выступили тт. Вишневский и Торин».

Михаил Иванович, излагая подписанную В. И. Лениным, И. В. Сталиным, Г. И. Петровским, им самим и другими «платформу десяти», где четко формулировалось ленинское понимание роли профсоюзов как школы коммунизма, говорил просто, уверенно, не повышая голоса, и речь его была не совсем ораторской. Одет Калинин был скромно: пиджак на его сухощавой фигуре сидел ладно; держался он непринужденно и на виду у всех крутил большие папироски.

И вновь, как четыре года назад, в июньский день семнадцатого года, перед Всеволодом проблема выбора. Но теперь для него ее смысл и острота в ином: как убедить в правоте ленинской позиции — сам-то он в ней убежден — других?.. Ведь после докладчиков первому выступать ему. Надо быть предельно собранным: каждое слово — в цель, второй раз сказать не дадут!

Вишневский сразу же захватил аудиторию и решительной, образной речью, и молодой убежденностью, и удиви-

---

[1] Управление военно-морских учебных заведений.

тельной для своего возраста глубиной аргументации. И бывалостью — чего просто не могли не заметить люди, сами прошедшие через многое. Что речь удалась, Всеволод понял не только по аплодисментам, которыми она прерывалась, но и по тому, как, кивая острой рыжеватой бородкой, одобрительно улыбался Калинин.

О результатах дискуссии сообщили скупые строки газетного отчета: «При голосовании, ввиду невозможности произвести точный подсчет голосов такого многочисленного собрания, предложено было сторонникам тезисов тов. Ленина отойти в левую сторону, сторонникам тезисов тов. Троцкого — в правую, а тем, кто за тезисы тов. Шляпникова, остаться посредине. В результате почти вся масса двинулась влево.

Платформа т. Ленина о профсоюзах принята новороссийской организацией РКП огромным большинством[1] голосов» *(«Красное Черноморье», 1921, 9 февраля).*

Вот как бывает в жизни: ситуация с голосованием повторилась, как тогда, в 1917 году. Да, собственно, так или иначе выбирать приходилось все эти долгие военные годы, когда вопрос ребром вставал почти каждый день: так куда же тебе идти — вправо или влево? И никакой середины. Середина всегда таит в себе нечто зыбкое, временное, все одно — рано или поздно пристанешь к тому или иному берегу! Середину он никогда не признавал и не будет признавать...

В марте 1921 года произошло событие, которое имело значение не только для творчества будущего писателя, как отмечают его биографы.

Кронштадтский мятеж... Весть о нем поразила многих. Балтийские моряки внесли огромный вклад в победу Октября. Они сражались на всех фронтах, явились ядром при создании речных и озерных флотилий — на Волге и на Каспии, на Каме и на Ладожском озере. Из балтийцев и черноморцев в основном состояли экипажи бронепоездов — этого прославленного боевого оружия Красной Армии. Балтика выдвинула героев гражданской войны, таких, как П. Е. Дыбенко, А. Г. Железняков, Н. Г. Маркин и десятки, сотни других отважных бойцов... Моряки-балтийцы стали привычным символом Октября — и вдруг антисоветское восстание в Кронштадте. Просто в голове не укладывается. Это так противоестественно, что первый

[1] За «платформу десяти» было подано свыше 800, за тезисы Троцкого — 23, Шляпникова — 69 голосов.

порыв Вишневского и его товарищей — рапорт командованию о немедленной отправке в Кронштадт для «успокоения» балтийцев. Как известно, все закончилось довольно быстро, ехать на Балтику не понадобилось, а чтобы «разрядиться», высказать свое отношение к происшедшему, Всеволод задумывает свое первое драматургическое произведение — «Суд над кронштадтскими мятежниками».

Непосредственным толчком к работе над этой пьесой послужила встреча с матросом-отпускником, вернувшимся из Питера и рассказавшим о бурных мартовских событиях.

Зачинщиками выступили команды линейных кораблей «Петропавловск» и «Севастополь» да некоторые из береговых частей, находившихся на острове Котлин, — подняли контрреволюционный мятеж... под красным флагом. Да, они за Советы. Только за «Советы беспартийных», за «Советы без коммунистов». Председатель ВЦИК М. И. Калинин приехал в Кронштадт, выступил на митинге на Якорной площади, попытался объяснить ситуацию, сложившуюся в стране, разоблачить смутьянов. Но тщетно. «Всесоюзный староста» был арестован мятежниками. Затем под давлением низов — ведь большинство матросов в душе и признавали и поддерживали Советскую власть — М. И. Калинину было разрешено выехать в Петроград.

Как могло такое случиться именно в Кронштадте — цитадели революции? Исчерпывающий ответ на этот вопрос Вишневский получит гораздо позже, когда будет исследовать историю крепости и напишет довольно объемный, в несколько печатных листов, очерк под названием «История Кронштадта». А сейчас он пытается в художественной форме воссоздать картину мятежа на основе рассказов очевидца и сообщений печати.

Наверное, текст пьесы написан не был, скорее всего Вишневский наметил подробный план, обдумал основные сюжетные линии. Сама же пьеса рождалась во время представления, благо автор (он же режиссер и исполнитель роли одного из мятежников с линейного корабля «Петропавловск») находился на сцене. Спектакль был показан в новороссийском клубе металлистов, причем начался в восемь вечера и закончился на рассвете — в четыре часа утра.

Несомненным было одно: автор и исполнители сумели выразить мысли и чувства, которыми жил зрительный зал,

заполненный рабочими и моряками. Актеры так достоверно играли мятежников, что, например, Вишневского (матрос-анархист в его исполнении по ухваткам, словечкам явно выдавал свое махновское происхождение, знакомое многим из присутствующих не только по рассказам) после премьеры чуть было не растерзали зрители.

Пьеса, спектакль, конечно, были необходимой отдушиной. Однако он настолько близко к сердцу принимал все флотское, да еще происшедшее на родной Балтике, что Кронштадтский мятеж явился для него как бы личной драмой.

На собраниях и общем митинге черноморцы были единодушны в определении причин мятежа — это дело рук международной контрреволюции. Тем не менее Всеволод, до этого буквально рвавшийся домой, в Питер, 22 апреля пишет отцу: «Хотя теперь начались отпуска, но я определенно не приеду! Стыдно ехать и слышать клички — «клешник», «жоржик» (незаслуженные) тому, кто был, есть и будет честным бойцом, кровью доказавшим свою преданность».

А работы, новой, созидательной, по горло. В мае прибавилась еще одна ответственная и почетная нагрузка — от 400 моряков флотского полуэкипажа Вишневский избран в Новороссийский городской Совет рабочих, красноармейских и флотских депутатов (мандат № 339), а затем членом президиума с правом решающего голоса.

Но при всем этом перед ним неотступно стоял вопрос: что дальше? В то время Вишневский прочно связывал свою жизнь и работу с делом создания Советского Военно-Морского Флота. Война окончилась, и теперь он мог с чистой совестью написать отцу: «Хочу серьезно взяться за морское образование, так как практику необходимо пополнить теорией» *(Письмо от 6.5.1921 г.)*.

Подобное решение напрашивалось как бы само собой — ведь всех вокруг захватила настоящая «эпидемия ученья»: углем на деревянной доске братва извлекает кубические и квадратные корни и скоро примется за логарифмы; эдакий «дядька» — кочегар лет тридцати — тридцати пяти — изучает историю литературы. Так, не спеша, из «нутряных» коммунистов делаются люди с довольно серьезной подготовкой: «Масса выросла, и мы соответственно с ней предъявляем к себе более серьезные требо-

вания. Уже не выходишь с готовой пламенной, но трескучей речью, а делаешь доклад, и его разбирают по косточкам без аплодисментов» *(Письмо от 28.3.1921 г.)*.

Летом 1921 года, вскоре после проверки личного состава, из числа моряков-черноморцев было отобрано 600 наиболее политически зрелых для восстановления Балтийского флота. В их число вошел и Всеволод Вишневский. Шестого июля он сел в поезд. В кармане — удостоверение, выданное штабом Новороссийского укрепленного района о командировке в Петроград с правом заезда в Нижний Новгород за вещами, оставшимися там с 1919 года. И еще партийный билет номер 955514. Здесь в скупых ответах на анкетные вопросы о нем, Вишневском, сказано главное:

— Какие специальности знает — пулеметчик, рулевой.

— Какие местности России знает хорошо — Поволжье, Украину, Северо-Западный край, Крым, Черноморье и Донбасс.

— Время вступления в партию — 1918 год, декабрь.

— Какой организацией принят — комячейкой Украинского отряда моряков...

Окончилась вторая его война — гражданская. До последних дней жизни на стене в рабочем кабинете Вишневского будет висеть фотография: матросы-пулеметчики на палубе «Вани-коммуниста» № 5. Всеволод — второй слева, в бескозырке, глубоко надвинутой на лоб,— смотрит суровым, испытующим взглядом из-под густых бровей.

Драматург, публицист, киносценарист Всеволод Вишневский к теме гражданской войны будет обращаться вновь и вновь. Годы революционных битв, школа партийной работы и журналистики, напряженная учеба и редкое трудолюбие — все это даст свои плоды, позволит раскрыться могучему своеобразному таланту художника.

Часть II

ВЫБОР ПУТИ

1

Приближаясь к родительскому дому, Всеволод невольно ускорил шаг. Идти было трудно, он опирался на палку — болела и не сгибалась в колене нога. Видимо, сказывалось, что после ранений оставался в строю, не лечился. Голова словно свинцом налита. И подозрительная тишина вокруг: контузии и болезни серьезно повредили его слух.

Он вошел во двор, без стука распахнул знакомую дверь.

— Воля!.. — шагнул навстречу отец. Как показалось — такой же, неизменившийся. Только после первых расспросов и обычных, несколько сумбурных разговоров Всеволод заметил, что отец похудел и как будто стал ниже ростом, а борода — светлее.

— Да, это так, выгорела на солнце... — пошутил Виталий Петрович, перехватив пристальный взгляд сына.

Они по-прежнему понимали друг друга без слов. От этого становилось светло на душе, и не сразу Всеволод ощутил напряженность атмосферы в доме.

Еще когда-то, в семнадцатом году, отец познакомил его со своей второй женой. Нина Львовна, хотя и отнеслась к нему приветливо, сразу и недвузначно дала понять: у Виталия Петровича новая семья, новая жизнь. И сейчас не успели отец с сыном всласть поговорить, как Нина Львовна произнесла фразу, которая давно уже готова была сорваться с языка:

— Ну а какие ваши планы, Воля? Наверное, будете продолжать военную службу?

Что ответить Нине Львовне? Хотелось просто промолчать. Он смертельно устал, ему бы прийти в себя.

Позже Вишневский неоднократно будет возвращаться в дневниках к временам гражданской войны и не раз на

своем примере отметит необычайную выносливость человеческого организма: охваченный жаждой борьбы за идеи революции, он неизменно рвался из одного боя в другой, как только проходила реакция от переутомления. А для этого было достаточно одного-двух дней.

Сейчас же переутомление у него особое: тягучее, настóянное на болезнях. И еще — какая-то апатия и в то же время непрерывное ожидание враждебных выпадов. Дело в том, что на всем длинном — с пересадками и ожиданиями пути по железной дороге от Новороссийска до Питера — через Нижний Новгород и Москву — его не раз величали «клешником» и искренне удивлялись, почему это он разгуливает на свободе. Вначале Вишневский взрывался, давал отпор, а потом надоело. Не будешь же каждому обывателю объяснять, что он, коммунист, направлен партией на ликвидацию последствий Кронштадтского мятежа и восстановление Балтийского флота...

Однако Нине Львовне он все же ответил, причем совершенно неожиданно и для самого себя, поскольку такого намерения у него никогда не было:

— Пойду в университет...

— Смотрите, Воля, подумайте хорошенько, — немедля отреагировала Нина Львовна. Она одновременно и обрадовалась тому, что заметно затянувшееся молчание нарушилось, и огорчилась смыслом услышанного. — Полфунта в сутки — выдержите ли? А военные получают паек, как рабочие ударных предприятий...

Да, тема хлеба насущного была главной для каждой петроградской семьи. И не только петроградской — вся страна тяжело переживала разруху и запустение. Оценивая обстановку того времени, В. И. Ленин писал: «Весна 1921 года принесла — главным образом в силу неурожая и падежа скота — крайнее обострение в положении крестьянства, и без того чрезвычайно тяжелом вследствие войны и блокады. Результатом обострения явились политические колебания, составляющие, вообще говоря, самое «натуру» мелкого производителя. Самым ярким выражением этих колебаний был кронштадтский мятеж» [1].

Вряд ли можно отнести к политическим колебаниям мучительные размышления Вишневского после кронштадтских событий. Как мы помним, еще в Новороссийске он решительно осудил в своей пьесе мятежников.

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 43, с. 237.

Скорее всего его настроение определялось психологическим фактором: белогвардейцы и интервенты разбиты, война завершена. Жизнь должна быть лучше — не зря же за нее пало столько прекрасных товарищей. Лучше сразу, сегодня.

В тот вечер они с отцом говорили долго, речь шла о пережитом за минувшие в разлуке годы, о политике, о будущем.

Виталий Петрович окончательно изменил своей профессии инженера-землеустроителя и в последнее десятилетие увлекся фотографией и совершенно новым делом — кинематографом. Уже в 1912 году он осуществляет съемки технических фильмов, одновременно сотрудничая в одной из первых русских художественных киностудий — Дранкова. После Октябрьской революции старший Вишневский отдается общественной деятельности, работая в пятерке по национализации предприятий кинематографии, а затем в производственном отделе Кинокомитета. Он снимал хронику первых лет Октября. В дни обороны Питера от Юденича Виталий Петрович на фронте читал лекции бойцам. А сейчас работает в военных фотокиномастерских, обучает молодежь.

Рассказал отец и о братьях. Борис, а затем и Георгий последовали примеру старшего брата — ушли на фронт, в Красную Армию в восемнадцатом году. Борис вернулся домой — в двадцатом, а Георгий, принимавший участие в боях с панской Польшей, интернирован в Германию. Пока что о нем ничего не слышно.

На следующий день, побывав у матери — она по-прежнему работала в госпитале и жила там же, в маленькой комнатушке, одинокая и обиженная на всех и вся, — Всеволод отправился за получением назначения. Медлить нельзя было ни одного дня, во-первых, служба не велит, а во-вторых, необходимо встать на довольствие.

В Управлении Балтийского флота встретили его не очень-то приветливо. Хмурый, с бесцветными глазами и таким же невыразительным лицом кадровик, едва взглянув на документы Вишневского, ни о чем не спросил, а молча выписал направление. И, лишь протягивая его, изрек:

— В Кронбазу...

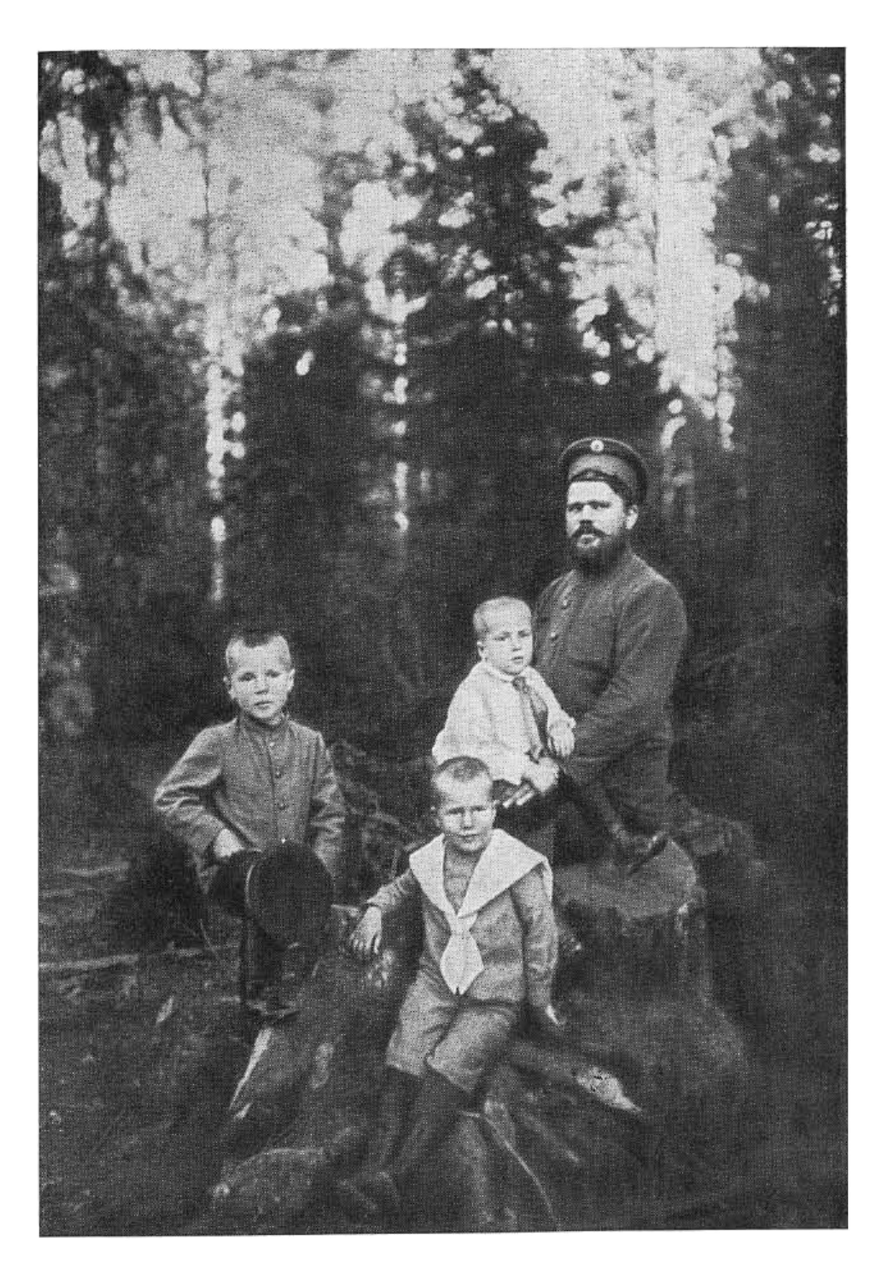
Уже такой обычный прием (сколько за день прохо-

дит людей в управлении!) был для Всеволода холодным душем. На Черном море отбирали лучших из лучших, и каждому прибывшему на Балтику, полагал Вишневский, следует дать дело, которое было бы ему по плечу и в котором он смог бы развернуться. «Ну да ладно. На месте разберемся», — подумал, выходя из Главного адмиралтейства и потуже затягивая ремень.

Однако и в Кронштадте его появление восприняли как событие заурядное. К вечеру он возвратился домой за пожитками и не без смущения сказал, что назначен старшим рулевым портового судна «Северный». Правда, ему объяснили, что назначение это временное. Да и сам он не думал задерживаться: если уж служить, так по-настоящему овладев профессией. И в тот же день подал заявление в Северное управление военно-морских учебных заведений с просьбой послать его на учебу — в школу рулевых и сигнальщиков.

Желание Вишневского было учтено, и с начала августа 1921 года он садится за парту. В школе, кроме рулевого и сигнального дела, изучали космографию, мореведение, метеорологию, а также географию и немецкий язык (против последнего предмета в записной книжке Всеволода поставлен крестик — готовиться, мол, не надо). Сохранились и тетради — обычные школьные, в клеточку, где он старательно конспектирует лекции, делает записи по рулевому делу, чертежи, извлечения из Морского Устава, зарисовывает якоря различных видов — адмиралтейский, Томпсона, плавучие.

Эти занятия были для него началом десятилетия учебы — в самом широком смысле — и одновременно огромной отдачи в практической работе. После первых занятий Всеволод приходит к выводу, что в школе слишком много теории и мало практики. Он тут же пишет заметку «Морская школа», которую печатают в номере газеты «Красный Балтийский флот» (орган политического отдела Балтийского флота) от 25 августа за подписью «Черноморский Норд-Ост». Здесь Вишневский с горячностью пытается доказать необходимость расширения морской практики. «Ведь одно дело — в классе у доски решать задачи, давать сигналы и проч. А другое дело — на корабле в непогоду, хватаясь за поручни, разбирать или набирать сигнал, от которого зависит судьба иногда нескольких судов. И не так полезно прослушать лекцию об устройстве лота, чем самому напрактиковаться бросать лот с корабля. Ме-



Виталий Петрович Вишневский с сыновьями — Всеволодом (слева), Борисом и Георгием.

Анна Александровна Вишневская с Волей. 1901 г.



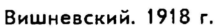
Всеволод-гимназист. 1910 г.



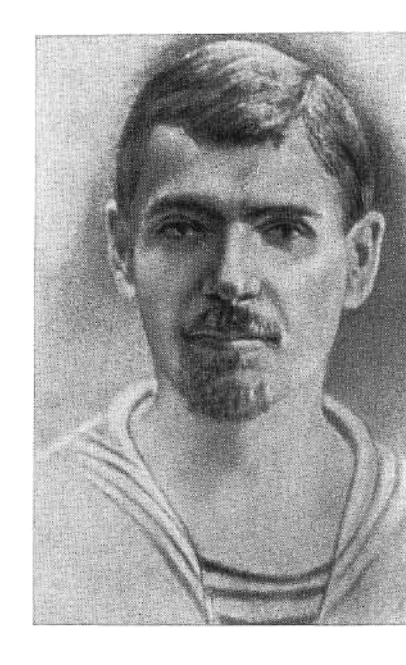
Вишневский — развед-
чик лейб-гвардии Егер-
ского полка. 1915 г.

Будущие солдаты вы-
строены... 1915 г.





Вишневский. 1918 г.

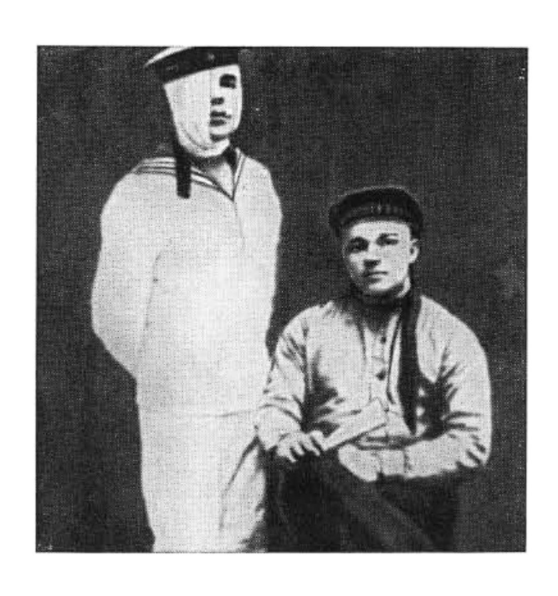


Николай Григорьевич Маркин — комиссар Волжской военной флотилии. 1918 г.



Матросы бронепоезда «Грозный»: в ц е н т р е — Вишневский, с п р а в а — Петр Попов. 1919 г.

◀ Группа моряков с корабля «Ваня-коммунист» № 5, в т о р о й с л е в а — Вишневский. 1919 г.



Вражеская пуля угодила в щеку... Май, 1919 г.



Б. Левицкая, медицинская сестра харьковского госпиталя. Весна, 1920 г.





Команда бронепоезда «Грозный»: во втором ряду, четвертый слева, в тельняшке — Вишневский. Май, 1919 г.



82 кадра снял по возвращении сына с фронтов гражданской войны В. П. Вишневский... Осень, 1921 г.

На корабле «Амур». Август, 1930 г. ▶

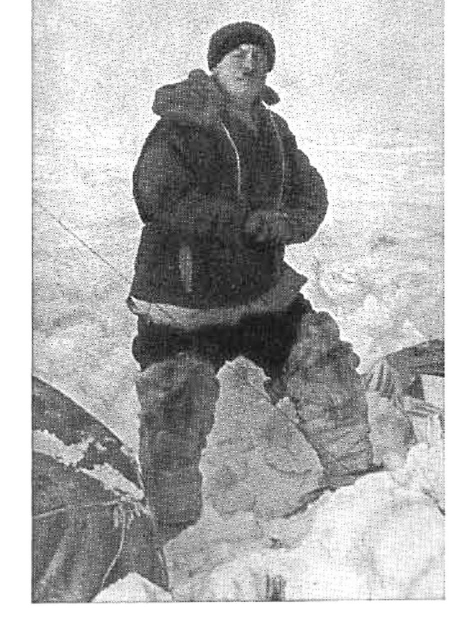


Антонина Владимировна Зернина. 1921 г.



Т. Я. Василенко, И. Д. Папанин, В. В. Вишневский, П. П. Попов.
Надписи Папанина и Попова на обороте снимка. 17 декабря 1929 г.

На память дорогому действительному верному другу! Володичке!
знай что я тебе друг не на сегодняшний день, а в самые трудные минуты я всегда с тобой
твой верный друг Ваня
17/XII 29 г. Папанин
Москве
№ 23



И. Д. Папанин на «макушке» Земли. 1937 г.

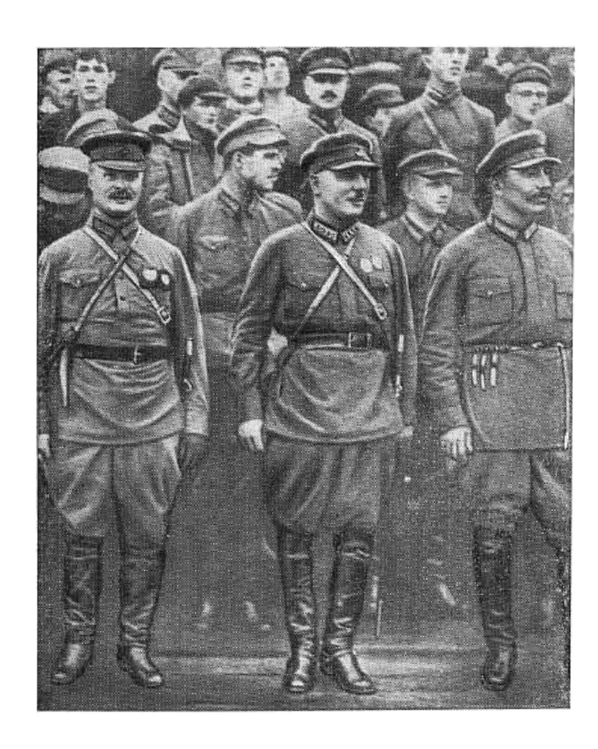
Полярники острова Русский. В *центре*, с собакой — П. П. Попов. 1935 г.

Автор читает «Первую Конную». 1930 г.

В. В. Вишневский и Л. С. Соболев в 20-й стрелковой дивизии в Луге. 20 июля 1931 г.



В. В. Вишневский (1929—1930 гг.).



М. В. Фрунзе, К. Е. Ворошилов, С. М. Буденный.

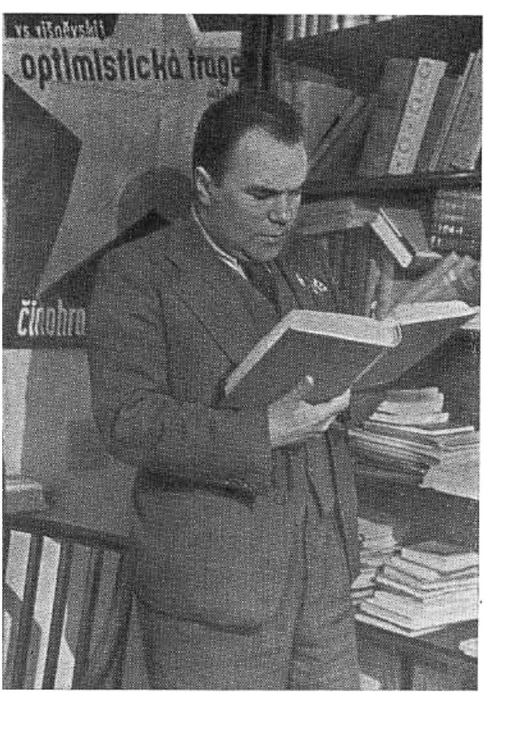


На тактических учениях. Сентябрь 1936 г.



На трибуне I съезда советских писателей. 23 августа 1934 г.

Вл. И. Немирович-Данченко, А. И. Афиногенов, В. В. Вишневский и другие. Октябрь 1933 г.



В рабочем кабинете. Август 1937 г.

В. В. Вишневский, Е. Л. Дзиган и Р. Д. Есипова в Севастополе. Март — апрель 1936 г.

сячная практика принесет бесконечно больше пользы, чем полугодовое теоретическое обучение».

Вот так: либо — либо. Уверенность, переходящая в категоричность, а затем — как в данном случае — и в противопоставление необходимых, неразрывно связанных вещей. В пылу увлечения своей мыслью Всеволод иной раз, особенно в молодые годы, терял чувство меры в полемике. Редкие пока что выступления в печати каждый раз вызываются желанием Вишневского откликнуться на ту или иную общественную нужду, «боль». В этом плане характерна крохотная незамысловатая заметка под названием «Где учиться моряку?» («КБФ», 1921, 1 сентября). Автор встречается со знакомым — двадцатипятилетним кочегаром, прибывшим с Черного моря, и тот с ходу делится своей бедой. Ни в школу рулевых, ни в училище комсостава его не принимают. Не подходит — то по возрасту, а то по образованию. После очередного отказа матрос-черноморец (он назван в заметке Х.), как облитый водой из брандспойта, шагал по набережной и думал:

«Да, нужно, образование... Где же его взять? Мы лишь кочегарные дипломы имеем. Надо учиться, а где учиться? — беспомощно бормотал моряк...»

Поистине крик души. Маленькая заметка, но в ней поставлена проблема общегосударственная, социальная, да, впрочем, и политическая.

Как известно, в ходе гражданской войны Советская власть была вынуждена создать значительные вооруженные силы. На конец 1920 года, когда пал последний организованный фронт белогвардейцев, общая численность военнослужащих составляла свыше пяти с половиной миллионов человек — мужчин в расцвете сил, руки которых истосковались по станку и плугу. Страна не могла содержать армию и флот такой численности — постепенно проходила демобилизация. Но и остаться беззащитной молодая республика тоже не должна: нужны политически стойкие, профессионально подготовленные кадры. Из рабочих и крестьян, классово преданных революции. Кому и как учиться? Как поставить дело, чтобы эти люди, несмотря ни на какие препятствия, смогли бы приникнуть к источнику знаний?

Вот какие, далеко не простые вопросы возникали после прочтения этой газетной заметки, которая тем самым вносила свою лепту в формирование общественного мнения.

Размеренно и, пожалуй, монотонно проходят дни занятий. Если, конечно, все делать по программе. А если встречный план? Это гораздо интереснее. Курс, рассчитанный на несколько месяцев, освоен всего за один, и Всеволод, успешно выдержав экзамены на звание рулевого старшины, оставлен в школе (помощником преподавателя при проведении практических занятий). В марте 1922 года руководство школы вновь выделило энергичного, знающего и опытного матроса, назначив его командиром роты рулевых.

Тогда же в послужном списке Вишневского в графе «партийность» появилась запись: «беспартийный». Увидев впервые этот документ, просто глазам не веришь. Как могло случиться, что надежный, преданный партии боец оказался вне ее рядов — механически выбыл?

Вряд ли можно ответить на этот вопрос однозначно. Очевидно главное: для человека двадцати с лишним лет накопилось слишком много страданий, обид; нервы на пределе, а тут в родном Питере сытые нэпманы разгуливают по Невскому и разъезжают в экипажах; в витринах магазинов — изобилие, а в домах — голод... Он задыхается от ненависти к недобитым буржуям. За что он боролся? За это?.. Как и многие тогда, Вишневский не смог понять сути крутых поворотов новой экономической политики.

Надо иметь в виду и другое. Совсем недавно, в Новороссийске, он был нужен буквально всем — в дивизионе, в комиссии по проверке личного состава при политотделе, в парткоме, в редакции «Красного Черноморья». А здесь жизнь словно остановилась. И на каждом шагу как пощечина звенит «клешник». Это — на улице. В своей среде то же: недоверие, подозрительность, постоянные выпады. А он молод, честолюбив и горяч. Сложившуюся в стране ситуацию с ходу оценить было очень трудно, и импульсивный характер Вишневского сослужил ему плохую службу.

Спустя годы в заявлении в первичную организацию Центральных военно-морских учреждений с просьбой принять его в партию он так объяснит причины срыва:

«Кончив 7-летнюю фронтовую службу, будучи несколько раз ранен и контужен, я, попав в родной город в обстановку «тылового упадка» (с тогдашней моей точки зрения), был надломлен. Крайнее истощение от болезней (я не вышел из строя, хотя приехал больной цингой), от-

рыв от боевых товарищей, нечуткий подход Пубалта, который нас не учел и не дал работы, травля (ошибочная) как «клешника» и «мятежника» со стороны армейцев, бывших на подавлении мятежа, — все это вызвало мрачное и болезненное обезволенное состояние.

Позже, когда я физически и морально окреп, когда своей работой уже к концу 1921 года заслужил доверие и был, как беспартийный, избран в Петросовет — я понял, что я сделал. Но, будучи прямым фронтовиком, сказал себе: работай годы, как можешь, но раз колебнулся, у меня самого нет достаточной веры в себя...»

Быстро пролетела весна 1922 года. Дневник свой забросил окончательно — в тот день, когда он снова начнет *жить*, — тогда возьмется за перо. Но постепенно активная натура берет верх над «настроением». Тем более что в школе есть к чему приложить руки: заняться ремонтом — крыша казармы протекает; дрова на зиму пока не запасены; должны начать работу музыкальный и хоровой кружки, да инструменты раздобыть не так-то просто; в библиотеке читателей полно, а специальной, военно-морской литературы в обрез...

В августе 1922 года Вишневский в качестве руководителя учеников-сигнальщиков вышел в море для проведения практических занятий на минном заградителе «Шексна». В походе его подопечные несли вахту, разбирая и репетируя сигналы флагмана «Храбрый», участвовали в постановке мин. Им предоставлялась возможность вкусить нелегкого матросского хлеба: они чистили, красили, словом, делали все, что приказывал боцман.

И еще на одно занятие вдохновлял ротный командир будущих сигнальщиков.

Вечерами в матросском кубрике кто в лото играет, кто от нечего делать лясы точит, любители поспать не отказывают себе в этом удовольствии. Всеволод с ходу громко и отчетливо:

— Минуту внимания, товарищи! Бросьте игру. Я хочу с вами поговорить. Почему вы не пишете в свою газету «Красный Балтийский флот»?

Кто-то вяло и недовольно протянул:

— Да о чем писать-то?..

— А письма домой пишете? Вахтенный журнал ведете? Лекции записываете?.. — Вишневского уже трудно

было остановить. — Да! Из нас никто не кончил университета, но жизнь учит многому: от вас зависит ваше развитие, ваше образование. Никто сразу не родится ученым, только рядом долгих лет достигаются знания и опыт. Так не отказывайтесь от работы, которую я вам предлагаю. Пишите!..

И вот уже лото отодвинуто в сторону. Спавшие проснулись, протерли глаза. Завязалась беседа. И даже появившаяся из камбуза сковородка с поджаренным картофелем не смогла ей помешать. Разговор продолжался и в темноте, когда остановилось динамо.

Замечания в адрес газеты, воспоминания — среди учеников немало старослужащих, прошедших войну, «рассказы стариков», услышанные в этих вечерних беседах, — впоследствии лягут в основу ряда ранних произведений Вишневского. Он внимательно вглядывается в быт и отношения моряков, вслушивается в их речь, не упуская возможности записать меткое словечко, колоритную «подначку» либо просто любопытный диалог новичков, впервые попавших на судно. Вроде такого:

«— Вась, посмотри в *окно,* как *на улице* хорошо!

— Идем погулять *на крылечко!..»*

Моряки драят, моют палубу, а цепкий взгляд Вишневского схватывает, как шланги извиваются живыми змеями...

Газета по-прежнему влечет к себе Всеволода, он регулярно пишет заметки в «Красный Балтийский флот» и «Красную звезду». И вновь проступает его журналистский почерк: он капитально подходит к делу, смотрит «в корень», осмысливая общественные функции и назначение печати. Кто и что именно читает в «Красном Балтийском флоте»? Какова реакция аудитории на газетные выступления? Собственные наблюдения, общение с людьми предоставляют ему возможность сделать своеобразный обзор читательских интересов, в котором, как сказали бы теоретики журналистики, ощущается социологический подход.

Целая галерея читательских типов представлена в форме зарисовок с натуры. Молодой военмор, например, прочитывает газету «от доски до доски», любит, если газета кого-нибудь «продраит» за дело»; старый моряк также интересуется решительно всем, а когда кто-нибудь из несознательных рвет газету на цигарки или застилает ею стол, он долго трясет его за шиворот и отбирает номер...

Поэт же набрасывается на газету, как голодающий на хлеб: «Ищет свои стихи, потом — ответ от редакции. Ежели стихи помещены — сияет, как медяшка».

«Океан» ошвартовывается у угольной стенки, грохот осыпающегося в ямы угля, клубы пара, дыма и угольной пыли, стук лебедок, громкие команды боцмана, мелькающие флажки сигнальщиков. Вахтенный начальник со свистком, биноклем и рупором носится по кораблю и набережной, обливаясь в этот холодный октябрьский день потом. Все в движении...

«Дня не хватило, и работа продолжается ночью. Большой дуговой фонарь, подвешенный у кормового мостика, то вспыхивает ярким фиолетовым светом, то затухает. Неподвижно застыл гигантский кран, уходя куда-то в темную высь неба. Целая гирлянда огней вокруг гавани, и от этого мрак становится еще гуще. Точно отсчитывая секунды, делают проблески створные маяки.

Ночь и сон — неразлучные спутники властвуют кругом. Море застыло: у гранитных стенок оно отдыхает. Спят корабли, и еле слышно их дыхание. Но для тех, кто освещен дуговым фонарем, нет ночи и нет сна. Идет погрузка угля», — запишет позже в дневнике Вишневский.

А сейчас он захвачен дружной работой. Вместе со всеми участвует в общем труде, ощущает его красоту. Сейчас Всеволод не может отрешиться от навязчивого сравнения, неожиданно пришедшего на ум. Вот эти фигуры, пропитанные угольной пылью, словно выхвачены из фантастической пьесы. Только спектакль этот необыкновенный: вместо артистов — моряки, подмостками служат гранит стенки, палуба и трюмы. Зрители отсутствуют. По своей силе и красоте такая постановка далеко превосходит все жалкие искания театральных эстетов, думается Всеволоду...

Уже тогда в Вишневском исподволь вызревал протест против изживавших себя театральных форм.

И еще один, связанный с плаванием на «Океане» мостик в его писательское будущее. Здесь наставник рулевых познакомился с молодым штурманом Леонидом Соболевым. Отныне их свяжут общая любовь к морю и флоту, к военно-морской литературе, совместная работа по организации ленинградского отделения — ЛОКАФа.

Их художественные произведения, легшие в фундамент советской военно-патриотической (оборонной, как говорили в 20—30-е годы) литературы, будут называться рядом, в одной «обойме». И воевали вместе — в финскую кампанию, затем обороняли Ленинград. Правда, через некоторое время Леонид Соболев был откомандирован на другой фронт, чего Вишневский, весьма ревниво относившийся к каждому, кто уезжал (точнее, улетал) из блокированного Ленинграда — независимо от причин! — долго не мог простить...

В плавании на «Океане» — а проходило оно в Балтийском море, у берегов Финляндии и Швеции, — Всеволод выполнял свои прямые служебные обязанности и одновременно — корреспондентские. Поход завершился успешно, и последняя фраза очерка о нем звучала так: «Экзамен сдан, и это дает право на другие, еще более дальние походы Красного флота».

Очерк «В далеком плавании на «Океане» содержал ряд превосходно выписанных картин боевой службы, встреч с иностранными судами в море, и публикация его сначала в газете «Красный Балтийский флот», а спустя некоторое время в Москве, в журнале «Молодая гвардия», придала Вишневскому уверенность в своих силах. И, наверное, для него не явилось особой неожиданностью, когда спустя неделю после возвращения из похода, 1 ноября 1922 года, его вызвали в Политическое управление Балтийского флота.

— Есть мнение послать вас на постоянную работу в редакцию. Как смотрите? — не столько спросил, сколько сообщил как о деле решенном начальник редакционно-издательского отдела.

Всеволод возражать не стал и в тот же день приступил к выполнению обязанностей заведующего военным отделом «Красного Балтийского флота».

Редакция размещалась там же, где и Пубалт, — в здании Главного адмиралтейства. Встретили Вишневского тепло, почти все сотрудники знали его как нештатного автора. Из сохранившихся в архиве заметок видно, что в редакционной жизни новичка занимает все. Вот беглые, окрашенные мягким юмором портретные зарисовки коллег-журналистов «КБФ»:

«С. Виноградов — на вид очень строгий, к начинающим писателям и поэтам относится отечески. Носит ушастую женскую шапку...

В. П. Малышев — незаменимый спецхроникер. Все знает, все видит, все слышит. Галоши носит девятый номер...»

И тут же автопортрет: «Вс. Вишневский — носится по редакции и типографии с утра до вечера. Никак не может закончить свой «Океанский» дневник».

Всеволод учится тому, чего требует новая профессия: много пишет сам, ищет и находит интересных авторов, дежурит в типографии, занимается правкой.

Перемена службы почти ничего не изменила в бытовом отношении: живет он по-прежнему на Невском, в комнате, которую ему выделил исполком как преподавателю школы, оклад — на том же уровне. Немного выручает гонорар, но все равно с деньгами туговато. В фельетоне несомненно автобиографического происхождения «Как живут и работают газетчики» Всеволод высмеивает представление обывателя о том, что журналисты «огребают» лимоны (на тогдашнем жаргоне — деньги. — *В. X.)* до отвала».

Атмосфера редакционной жизни поглотила Вишневского целиком. Как и среди моряков, он чувствовал себя здесь в родной стихии. И очень скоро уже не удивлялся терпению секретаря редакции, который, стараясь быть деликатным, безуспешно пытался разъяснить начинающему поэту, что слово «валенок» не рифмуется со словом «бутылка»...

Понятен ему был и редактор, расправлявшийся с подобными поэтами быстро, по его любимому выражению, «в темпе». Если «поэт» все же задерживался в кабинете, продолжая развивать тезис о неповторимости и гениальности своих стихов, редактор останавливал его на полуслове и спрашивал:

— Чего вы не любите больше всего?

После этого посетитель, если он был из окологазетной литературной братии, ретировался мгновенно. Замявшегося, не нашедшего что ответить рифмоплета настигал решительный удар. Редактор поднимался с кресла и объяснял — громко, на всю редакцию:

— А я не люблю скверные стихи и тех, кто отнимает время!..

Тем не менее множество начинающих литераторов получало возможность испробовать свои силы на страницах «КБФ». Именно им адресовались регулярно публикуемые беседы под рубрикой «Литературная учеба».

В одном из номеров газеты давалась такая, например, установка для молодых: «Редакция «Красного Балтийского флота» наводнена стихами, поэмами, баснями. В пролетариате пробуждаются яркие творческие силы. Напряженный революционный темп жизни — великолепная почва для всходов новой культуры. Тем необходимее юным искателям новой культуры напряженно учиться во всех областях науки и искусства».

Почему именно эта сторона редакционного быта — общение, сотрудничество с творческой молодежью — больше всего занимает Вишневского? Ответ прост: в нем самом бродят, требуют выхода наружу художнические соки. Правда, сам он этого еще толком не понимает, и литература для него сейчас, с одной стороны, нечто непостижимое и недосягаемое, а с другой — вроде бы посильное каждому. Чтение классиков русской и мировой литературы, античных писателей, проверка своих способностей в различных жанрах — все это поглощало свободное от редакционной службы время. В конце двадцать второго года Всеволод даже участвует в написании коллективного романа «Тайна похищенных документов» (он печатался с продолжением на страницах «КБФ», его герой — балтийский моряк Смелков — совершал невероятные подвиги, но всегда согласно законам приключенческого жанра из воды выходил сухим).

Много сил отдает Вишневский и организации литературного движения, учебы писателей, специализирующихся на военно-морской тематике. Так, он был одним из инициаторов создания Краснофлотской свободной литорганизации писателей и поэтов «Алые вымпела» при редакционно-издательском отделе Морского ведомства и выпуска в 1924 году одноименного альманаха.

Однако основная сейчас для Всеволода работа — журналистская. В редакции он сразу пришелся ко двору и свой «воз» тащил весело, легко и без особых видимых усилий. Как всегда бывает в таких случаях, ему и раз за разом подбрасывали то одно, то другое новое задание или обязанность. В январе 1923 года он назначен помощником редактора (по нынешним понятиям — заместителем). Зримое представление о круге его обязанностей дают хотя бы такие выдержки из распоряжения редактора — под названием «Директива редакции на период с 15 по 21 июля 1924 года» (редактор отбывает в командировку):

«I. В центре внимания Вс. VI съезд РКСМ, конгресс КИМа. Отчеты давать по газетам (ТАСС, видимо, не обеспечивал. — *В. Х.*) с запозданием на сутки, но живо, ударно, с шапками и подзаголовками. Ставить отчеты вместо передовой, размером 100—150 строчек. Особенно пространно дать доклад «Комсомол, армия и флот». Отчеты обрабатывать т. Вс. Вишневскому. Итоговую статью дам из Москвы...

V. Тов. Вишневскому дать строк на 100 статью: флот наших соседей (Швеция, Норвегия, Дания, Польша, Германия, Финляндия)...

VII. До 20/VII поместить два обзора комсомольских газет на тему: 1) Ленинская учеба; 2) Работа в деревне (обзоры дать т. Вишневскому).

VIII. Ответственность за газету, равно как замещение меня на время отсутствия, возложить на т. Вс. Вишневского, которому, помимо всего изложенного, поручаю: 1) Тщательно редактировать материалы; 2) Наблюдать за выполнением директивы; 3) Совместно с т. Бельским (ответственный секретарь редакции. — *В. Х.*) наблюдать за корректурой и выпуском...

XIV. Никаких лит. страничек и отдельных литер. произведений без меня не давать».

Последний пункт «директивы» невольно рождает в воображении такую картинку: сидит Всеволод в редакционном кресле, перечитывает распоряжение и злится. Или, напротив, понимающе улыбается думая: «Молодец, редактор, кадры свои знает, я ведь и в самом деле хотел было поставить в номер почти что «зарубленный» им рассказ...»

А в целом — любопытный документ: и редактировать, и организовывать творческий процесс, и самому писать статьи, обзоры — и на все это шесть дней.

2

В восемнадцатом в Москве закружил его быстротечный роман с молоденькой курсисткой. На Украине, в Новороссийске заглядывались на Всеволода румянощекие и чернобровые девчата, да и сам он не отличался особой застенчивостью.

В моменты затишья на фронтах шумной ватагой выкатывались матросы на утопающую в зелени «маги-

страль» какой-нибудь Жмеринки и с ходу — «работать на публику». Петро Черномазенко сочным, красивым басом затевал «мужской» разговор, явно рассчитанный на то, чтобы его если не подхватили, то услышали прогуливающиеся по аллее девчата.

— Что будет?! Ай, что будет?! Хочу пышечку — на гусином молоке, на коровьем масле! Я заслужил етую пышечку — скоко в боях!..

Как ни удивительно, но «грубая работа» нередко имела успех.

— «Ты моряк, красивый сам собою. Тебе от роду двадцать лет...» — перед матросами кто устоит?..

Девушкам импонировала внешность Всеволода. Из-под синей шапочки выбиваются слегка вьющиеся волосы; шрам на щеке огрубил юное лицо, сделав его гораздо старше; глаза блестят, тая в своей глубине улыбку...

Но все это было когда-то. А теперь, весной 1922 года, он испытывал чувства совсем новые, еще неизвестные.

Писем его к ней почти не сохранилось. Есть краткие приписки на ее письмах. Есть скупые строки в дневнике (в том дневнике, который почти что и не велся, а значит, записывалось туда лишь из ряда вон выходящее):

«*18 февр. 1923*. А время идет. Она и только она — вот все!

8 окт. 1923. Она и только она! Октябрьские решающие дни».

Есть письма близкого друга той поры Ивана Хабло Вишневскому да несколько ответных. Главным образом эти документы позволяют осветить сложные перипетии взаимоотношений Всеволода и А. В. Зерниной.

Познакомились в обычной, вполне заурядной обстановке: Всеволоду надоело в одиночку корпеть над самоучителями английского и французского языков (а какая же мировая революция без их знания?!), и он решил посещать курсы английского. Преподавательница — Антонина Владимировна — видимо, с первой встречи приглянулась симпатичному, слегка самоуверенному слушателю, потому что в его тетради записи упражнений по английскому языку вдруг начинают тесниться чужеродными, прозрачно-аллегорического свойства рисунками. Портрет молодой, идущей с высоко поднятой головой по прибрежной косе женщины в матроске. Одинокий трау-

лер в море; боевой корабль, подорвавшийся на мине... И самое любопытное — строгая преподавательница (кстати, она старше его на несколько лет) заметила способного ученика и, соблюдая педагогический такт, включилась в игру, оценивая его достижения в овладении английским своеобразными отметками: «2 1/2», «3,00005», «5—» и опять — «1 + 1 + 1 = 3».

Взлеты и падения... Тут же на полях тетрадки — рисованные инициалы — «А. З.», «AZ», «ANZE».

Письма Хабло показывают, как развивались события дальше, раскрывают, естественно, в восприятии их автора, духовное состояние Всеволода. Тонко понимающий и близко к сердцу принимающий все, что происходит с Вишневским, Хабло мимоходом высказывает немало любопытных суждений о его характере.

В письме от 27 января 1922 года как бы вскользь, мимоходом Иван задает другу вопрос: «Ну а как английский подвигается? Или Антонина, дочь Владимира, успела заняться языком любви? Ты знаешь что, Воленька, — к черту всю эту ерунду».

Тот же тон дружеского подтрунивания и участия сохраняется и в письмах из Новороссийска, куда Иван переведен служить. И вот самое важное: «В тебе, Волюшка, я все-таки не ошибся. Помнишь наши частые разговоры о «сантиментах», о «чувствах» и «порывах души» — все это сбылось. Я очень рад. Я вижу тебя новым, сияющим от счастья. Другой, старый Волюшка «эго», ушел, ушла рисовка... Все это заменило чувство, душа, которые своей теплотой и отзывчивостью согревают души других людей...» *(28 марта)*.

Кажется, Иван все понял, и принял, и отбросил в сторону собственную браваду, и радуется безмерно.

«Волюшка! Так ли это? Проверил ли ты себя? Действительно ли твоя «морская философия» отказалась тебе служить?!..

Твое сердце принадлежит минуте...

Неизведанное вполне чувство любви, желание создать... красивое, гармоничное, простота отношений, искренность, беззаботность натуры тебя увлекли, сделали маленький сдвиг в твоих убеждениях, увеличивая продолжительность связи, показавшейся тебе расцветающим чувством...» *(Севастополь, 17 апреля)*.

Несомненно, что письмо это Всеволод показал Тоне, так как ответное (одно из трех известных, датированное

27 апреля 1922 года) они сочиняли вдвоем. Антонина оставила без внимания всю Иванову «философию» и чисто по-женски откликнулась на его собственные невзгоды (у Хабло обострились отношения с родителями, видимо, об этом он сообщил Всеволоду), советуя быть снисходительнее к старикам и веселее смотреть на жизнь.

Дальше — почерк Всеволода. Он пишет довольно кратко о том, что негоже мерить всех одной меркой, что заветы «холостяков» — дело одно, а Z — дело другое...»

В следующем письме от 7 мая сохранилась лишь записка Вишневского:

«My darling!

На обороте ты прочтешь несколько строк от Z. М. б. по ним ты заключишь что-нибудь о той, которую люблю я.

Yilly.»

И действительно, эти строки важны для понимания ее отношения к нему: «Привет Вам, милый друг моего друга, из далекого Севера, где, несмотря на косые лучи солнца, мы умеем любить горячо и пылко, а главное, свободно, без якорей...»

Ненамного больше о взаимоотношениях Всеволода и Антонины рассказывают ее письма. Их много, но, за редким исключением, письмами их не назовешь — это торопливые записки о возможности или, напротив, невозможности очередного свидания. Так было на первых порах, так было и после рождения их сына Игоря (в марте 1923 года). Что-то непреодолимое препятствовало их совместной, под одной крышей жизни, объединению двух, без сомнения, страстно любивших друг друга существ. В этом прежде всего драматизм их отношений, длившихся свыше пяти лет.

Далеко не всегда можно понять душу женщины, мгновенны, причудливы превращения ее настроений и чувств. Записки и письма Зерниной отрывочные и к тому же, по-видимому, далеко не полностью сохранились. Тем не менее известное представление о ее натуре они дают. Это несомненно своеобразная женщина, без предрассудков, а иной раз и экстравагантно мыслящая и поступающая. «Безумствовать, — пишет она любимому, — значит освобождать чувство от тормозов разума, этого нудного, вечно запоздалого контролера...» И тут же: «Мой девиз — никаких упреков. Пусть воспоминания будут толь-

ко светлыми и радостными». В этом есть что-то и от бравады, от «моды дня»: «свободная любовь» в те годы в среде молодежи, особенно городской, почиталась за идеал.

Но становится ясным и другое — благотворность нравственного влияния развивающихся между ними отношений на Всеволода. Начиная с 14-летнего возраста, он жил один, родственные связи и прежде были непрочными, а затем вовсе оборвались. Он обязан был сам обо всем заботиться, думать только о себе, и естественна некоторая склонность к эгоцентризму, в чем его упрекал Хабло. В духовный мир Всеволода не вторгался еще человек, за судьбу которого бы он мог и должен был нести ответственность.

Теперь такой человек появился.

Значение и направленность своего влияния Тоня, видимо, осознавала и чувствовала:

«6—8 октября 1923. ...Внутренне радуюсь за тот сдвиг, который произошел в тебе, — может быть, едва заметный для окружающих, но для меня, читающей отчасти твою душу, очень и очень значительный... Ты стал выше уровня матросского мировоззрения...»

Она не загадывает, как долго продлится их любовь, но даже если отношения оборвутся, все равно она чувствует сейчас «высшее человеческое удовлетворение, не душевное, а духовное, трудно описуемое. В этом романе я испытала все — и жгучее удовлетворение моей бешеной, далеко не северной страсти, и отдых души, и высшее духовное блаженство...».

Хотя Тоня и писала множество раз в конце своих посланий «твоя и только твоя», на самом деле, видимо, было не совсем так. На одной из записок о том, что она сегодня не сможет, а придет завтра, Всеволод, страдая и терзаясь, набросал крупно и размашисто: «Зачем ты, Тоня, возвращаешься к прошлому? Обещания и слова не держишь. Зачем? Зачем говоришь и пишешь одно, а делаешь другое? Зачем?»

На исходе второго года их взаимоотношений содержание записок Зерниной все так же противоречиво.

В начале 1924 года Тоня уезжает в служебную командировку в Москву с решительным настроением быть свободной и независимой. «Не хочу никаких влияний, никаких давлений...» А в записке — «из Москвы приеду к тебе (Всеволод переехал к этому времени на проспект 25 Октября. — *В. X.*). На Невском и не буду...»

Проходит еще целых два года. Все по-прежнему: встречи, о которых надо уславливаться заранее, размолвки, упреки, примирения... Он страдал, не всегда признаваясь себе в этом. Не случайно и спустя десятилетия, в сорок четвертом, глядя на окна своей давнишней квартиры, Всеволод не может сдержать волнения: «Мне кажется, что там, на 3-м этаже, до сих пор во тьме слышен стук моего сердца. Я очень долго там ждал. И сердце билось от каждого шороха в назначенные часы. Я ждал одиноко...»

Трудно сказать, как все сложилось бы в будущем. Во всяком случае, в записках Антонины, кроме обычных сообщений о времени встречи, все чаще звучат жалобы на то, что чувствует себя она скверно — и физически и морально.

Болит голова, болит душа...

Поздравление с Новым, 1926 годом Тоня завершает словами: «Наша эра начнется не сегодня, а когда мы будем наконец под одной кровлей».

В сентябре 1925 года Вишневский получил справку о месте своей работы и должности — для предъявления в загс. А вообще-то графу о семейном положении в анкетах он тогда обычно заполнял так: «женат (не зарегистрирован)».

25 сентября 1926 года, скорее всего после разговора с врачами, лечившими А. В. Зернину, Всеволод пишет ей в больницу:

«Моя жизнь, мой Тоник!

Под окнами твоими я долго стоял... Богу жизни своей я молюсь о жизни твоей».

Здесь все: и любовь, и отчаяние, и ужас перед лицом смерти (врачи не скрывали роковой диагноз), хотя смертей за свою жизнь он насмотрелся предостаточно.

Но до последнего часа человек жаждет верить в чудо, во что угодно, лишь бы сохранять надежду в себе и в близком человеке. Несмотря на постоянно ощущаемую им жгучую, непреходящую тяжесть на сердце, Всеволод обязан был каждый день как ни в чем не бывало являться к Тоне бодрым и уверенным и обязательно подробно — этого она всегда требовала — рассказывать об Игоре, который теперь всецело на попечении ее сестры, Людмилы Владимировны Зерниной, о своих делах на службе, об успехах в английском — он свободно читает британские

военно-морские журналы... Он должен всем своим видом, тоном, взглядом убеждать Тоню: все нормально, ничего страшного, ты скоро выздоровеешь...

Не зря говорят: беда не ходит одна. Вот уже около года на лечении в госпитале Георгий, младший из братьев Вишневских. Видимо, не прошли бесследно годы войны и плена. Тяжелый недуг подорвал здоровье юноши — энергичного, обещавшего вырасти в незаурядного журналиста. Его очерки печатались в газетах «Красный Балтийский флот», «Комсомольская правда», «Смена». Всеволод приносит ему в госпиталь свежие номера газет, но читает их вслух сосед по палате — Георгий полностью потерял зрение.

И у Тони здоровье таяло катастрофически быстро, на глазах. Головные боли мучили ее и раньше, а вот быстрые смены температуры, когда все тело захлестывает горячая волна и становится невыносимо жарко, душно, участились уже в больнице. Она осунулась, заметно потеряла в весе и, кажется, знала уже, что ее ждет. Всеволод с ног сбивался в поисках все новых и новых врачей, созывал консилиумы, но ответы были однозначны: «Нет. Лечению не поддается...»

Антонина Владимировна Зернина умерла в страшных мучениях от рака крови. Произошло это в начале марта — месяца, в котором пять лет назад расцвела их любовь. Как ни крепился Всеволод, но в этот день он не в силах был сдержать рыданий.

В апреле 1927 года Вишневские похоронили Георгия. Две смерти близких ему людей меньше чем за полтора месяца.

3

Период работы Всеволода Вишневского непосредственно в редакциях газеты «Красный Балтийский флот», затем — журналов «Красный флот», «Красноармеец и краснофлотец», «Морской сборник» — вплоть до начала тридцатых годов ознаменован редкой продуктивностью журналистского творчества. Только в 1923 году и только в «КБФ», по подсчетам Е. М. Юпашевской, помещено свыше 100 заметок, корреспонденций и статей Вишневского. В наиболее «урожайные» годы — в середине двадцатых — он выступает в различных изданиях и по радио примерно через день — за год до 200 автор-

ских выступлений. Но такая была эпоха — вся страна должна опережать намеченные и без того гигантские планы. И был человек — настойчивый, упорный, целеустремленный. К годам революции и гражданской войны «прибавились годы командирской работы, молчаливое, еще никем не описанное упорство курсантов, слушателей академий, редакторов, комиссаров и активистов, добывающих культуру, знания», — писал об этом этапе жизни своего поколения Вишневский.

В архиве писателя есть любопытнейший в этом плане документ — письмо Тихона Василенко (с ним вместе Всеволод участвовал в штурме Казани, воевал на бронепоездах, в украинских степях). Вот отрывок, показывающий, каким образом в двадцатые годы могли появиться новые кадры специалистов из рабочих и крестьян: «Все учусь. Все свое время отдаю наукам: высшая математика, механика (кинематика, динамика), геодезия, электротехника, сопротивление материалов, а помимо этого — еще десятка полтора других предметов. Встаю в 7 часов утра, выпиваю стакан чаю и бегу в институт. С 8 до 2-х слушаю лекции. В два часа с молниеносной быстротой бегу в столовку, а в 3 часа уже на вахте (машинистом на электростанции трамвая). И до 11 ч. ночи, домой прихожу в половине двенадцатого, да еще надо почитать. И так без конца, ежедневно. Предоставляю теперь тебе право судить меня за то, что письма мои редки».

И еще один важнейший фактор — исключительное трудолюбие Всеволода, его способность быстро переключаться с одной работы на другую, умение собрать волю в кулак, никогда не поддаваться настроениям и переживаниям в ущерб делу. Видимо, психологи не зря рассматривают склонность к труду, к напряженной умственной деятельности в общем ряду человеческих способностей, а некоторые даже считают главной. С нашим героем, одаренным многосторонне, дело обстояло именно так: он был трудолюбив талантливо.

В одном из исследований о Вишневском высказана мысль о том, что его писательской манере этих лет свойственно стремление к точности, документальности.

По журналистским публикациям Вишневского в известной мере можно изучать становление, развитие Советских Вооруженных Сил, в частности Военно-Морского Флота. Беря какую-нибудь важную, перспектив-

ную тему, он остается верен ей годами, все глубже и фундаментальнее разрабатывая, открывая и отражая в ней все новые и новые грани в согласии с движущейся, изменяющейся жизнью.

Одной из таких тем было обучение, закалка и воспитание знающих и любящих свое дело флотских кадров.

В марте 1924 года в «Красной звезде» печатается статья «На простор морей и океанов» с подзаголовком-выносом «Красному флоту необходимы заграничные плавания». Здесь уже на высоком профессиональном уровне (статья четко, логично выстроена, доказательства убедительны, язык точный) ставится, по сути, та же проблема, что и в заметке «Морская школа», опубликованной когда-то в «КБФ»: как учиться, совершенствоваться и отдельному моряку, и флоту в целом. От необходимости расширить морскую практику рулевых к необходимости дальних походов флота — так растет тема.

Способность флота к действиям на море обеспечивается техническим состоянием кораблей и подготовленностью, выучкой и морально-политическим духом личного состава. Каким путем эти качества вырабатывать? «Никто, конечно, не станет возражать, что, главным образом, путем плавания, похода, маневров и т. д. Теоретической подготовкой, даже самой серьезной, сделать моряка невозможно...» Плавания не только в своих водах. Переходя к изложению главной мысли, Вишневский выделяет ключевые слова: *«Красному флоту*, так же как и каждому военному флоту, необходимы *заграничные плавания...*

Польза, которую принесут заграничные плавания, огромна. Во-первых, они разовьют личный состав в умственном и физическом отношении, привьют ему привычку быть в море, объединят команды (моменты опасности — шторм), дадут лучшую практику, повысят дисциплину и настроение и внесут разнообразие в службе. Во-вторых, они продемонстрируют за границей мощь Красного флота, укрепят престиж СССР и рассеют остатки клеветнических россказней про «большевистские *порядки*».

Когда в июне 1925 года такой поход (к берегам Скандинавии и Германии) осуществился, Вишневский принял в нем участие в качестве корреспондента журнала «Красный флот» и «Красной звезды». О преимуществах и практической пользе похода он подробно рассказал в сво-

их корреспонденциях. На все происходящее он смотрит глазом специалиста, дает свои оценки и суждения: об особенностях маскировки, обеспечивающей скрытность маневра, точности и своевременности сигналов; о том, что хорошо бы повысить процент сверхсрочных служащих на флоте до 30—35 процентов, о необходимости согласованности и взаимозаменяемости при выполнении тех или иных операций во время маневров; о том, что нельзя допускать и малых огрехов, недоработок. «Останавливаюсь у спасательной шлюпки. Отдельные гребцы не уясняют себе, как нужно надевать спасательный пояс. У одного из гребцов пояс висит на животе. Если пояс соскользнет ниже, гребец, очутившись в воде, нырнет вниз головой и захлебнется, болтая ногами на поверхности. «Мелочь» — из крупных», — заключает автор.

Вместе с начальником Агитпропа Пубалта Кругловым Вишневский готовит и оперативно выпускает походную газету «В море». Заметки по 15—20 строк собирались по радиофону, передавались вместе с боевыми донесениями на флагманский линкор «Марат». «Тут же вручаю т. Фрунзе первый экз. «В море» — прямо с печатного станка, — записывает Всеволод в дневнике. — Мы делали газету сутки».

Михаил Васильевич Фрунзе вскоре после назначения на пост наркома по военным и морским делам приехал на Балтику, чтобы поближе познакомиться с флотом. Позже Вишневский в воспоминаниях, опубликованных в газете «Красный Балтийский флот» 1 ноября 1925 года, передаст драгоценные личные впечатления от общения с талантливейшим полководцем, расскажет о том, как в 1920 году, после освобождения Крыма, они, моряки, наполненные радостью победы, говорили без умолку, а Фрунзе слушал их, не останавливая, был замечательно прост, дружелюбен и ласков, расспрашивал, как именно они действовали в тылу белых.

«В походе 1925 года, — подчеркивает Вишневский, — нарком показал нам образец неутомимой деятельности: помимо общего руководства, т. Фрунзе успевал сделать доклад о событиях в Китае, дать материал в походную газету, вести постоянное наблюдение за работой». Несмотря на шторм и приступы болезни, которая в то время уже сильно давала себя знать, Фрунзе почти не спускался с палубы, давал указания, как вести «бой», взвешивал шансы кораблей в ходе маневров. Нарком писал в

статье для газеты «В море»: «Мы строим и выстроим сильный Балтийский флот. Ядро его у нас уже есть. Наша походная эскадра — неплохое начало...

Будем же дружно работать, будем все, как один человек, от рядового до командующего, стараться над достижением необходимой выучки...»

— Есть, товарищ Фрунзе! — ответили моряки тогда.

И для Вишневского слово «есть» не звучало формально, оно наполнено реальным содержанием борьбы и труда во имя крепости и могущества советского Военно-Морского Флота.

Молодой журналист часто бывает в Кронштадте, выходит в море на военных кораблях. Очерки и репортажи Вишневского сильны и своей агитационно-политической направленностью. Так, в очерке «Аврора» и «Комсомолец» в Норвегии» («Красная звезда», 1924, 10 августа) он приводит эпизод, свидетельствующий о высокоразвитом классовом чутье моряков. Когда в Бергене, на берегу, их окружила толпа и какой-то изысканно одетый господин попросил значок с портретом Ленина, прозвучал «ответ столь же корректный, сколь и категоричный: «Эти значки мы отдадим друзьям». С пролетарской частью города у моряков установились на редкость дружественные отношения. Они побывали в типографии коммунистической газеты, где им на память тут же отлили кусочки типографского свинца. На каждом — имя и фамилия того, кому предназначается подарок.

С удовлетворением автор показывает, что ожидания русской белоэмигрантщины и обработка местных жителей буржуазной прессой с помощью широко распространенных тогда мифов (типа «придут большевики-оборванцы, голодные, разнузданные») провалились с треском. Когда матросы появились на улицах города, на них поглядывали с недоверием. Был даже такой случай: в Нюгард-парке к нашим подошел почтенный бюргер в тирольской шляпе и спросил по-английски:

— Вы английские моряки, я полагаю?

Моряк, будущий красный командир из военно-морского училища, ответил на английском же:

— Это не так. Мы — русские моряки. Красные моряки, если вам угодно.

«Эффект поразительный, — заключает Вишневский. — Клевета была рассеяна без остатка». Буржуазная печать вынуждена была конфузливо молчать о «ра-

зутых, раздетых, голодных и разнузданных большевиках»: на представителях нашей страны было добротное сукно, прочная обувь фабрики «Скороход», они были дисциплинированны и корректны (за четверо суток ни одного инцидента). Провожали советских моряков рабочие, плотной стеной заполнив набережную. Пели «Интернационал».

В журнале «Красный флот» Всеволоду Вишневскому впервые довелось руководить редакционным коллективом. Пусть маленьким, состоящим из нескольких человек, но все равно редактор должен быть для них авторитетом — знающим, опытным, умеющим ладить с людьми. Наверное, не все эти качества в полной мере присущи были в те годы Вишневскому, но нехватку их с лихвой восполняли энергия и настойчивость, желание сделать журнал глубже, проблемнее, привлекательнее по художественному оформлению.

«Красный флот» был не ведомственным, а популярно-политическим ежемесячным иллюстрированным военно-морским журналом (издавался с 1921 года, объем 10 печатных листов), рассчитанным не только на военных моряков, но и на более широкие круги читателей, в частности на молодежь допризывных возрастов. В журнале освещались актуальные вопросы службы, учебы и быта моряков всех флотов СССР. Тематическая палитра определяла, естественно, структуру редакции, включавшей в себя отделы: зарубежный, исторический, технический, литературный, библиографический и развлекательный («смесь» — шахматы, шашки, задачи, ребусы, шарады и пр.). Позже появились новые разделы — сатирико-юмористический «Моркрок» («Морской крокодил») и «Словарь непонятных слов».

Думая о путях улучшения журнала, о более полном удовлетворении читательских запросов, Вишневский помечает в записной книжке:

«Статьи надо писать проще; без иностранных «закавык» (своего языка достаточно);

Ввести раздел «В ВМУЗах» — знакомить с программами и учебными планами всех комсомольцев, молодежь, которые желают учиться в этих заведениях;

Более широко поднять вопрос о шефстве ВЛКСМ над флотом».

К исходу 1925 года молодому редактору вместе со своими коллегами удалось добиться роста тиража до 35 тысяч экземпляров (по тогдашним меркам — тираж немалый), значительного расширения авторского актива. Принесли плоды и заботы Вишневского о художественном оформлении «Красного флота». Если раньше в журнале помещалось несколько худосочных рисунков и любительских фотографий, то теперь на обложках — многокрасочные иллюстрации и в каждом номере публикуется до полсотни снимков под рубрикой «Жизнь флота».

Редактор был горячим сторонником расширения журнальной площади для печатания материалов познавательного и практически прикладного плана. «Красный флот» должен стать «морским рабфаком» для молодежи, как всегда, Всеволод выдвигает задачу-максимум. И, как всегда, для ее реализации сам делает больше других: выступает со статьями, корреспонденциями, очерками. Основной пафос их «трудно в ученье — легко в бою». «Меньше условностей, больше боевого правдоподобия», «Дело морской маскировки», «Зимой, как и летом, во всеоружии», «Первые 500 миль в 1925 году», «Переваливаем в кадровый период» (дневник-репортаж о походе кораблей Балтфлота), «Наши внутренние враги лозунга: «Даешь технику!», «Нам нужен гражданин: техник-воин» — вот названия лишь некоторых публикаций редактора «Красного флота» в 1924—1926 годах.

Всеволод Вишневский в полной мере обладал способностью мыслить категориями крупного масштаба, а при необходимости «снижать» их до уровня частного, индивидуального факта и, напротив, от единичного случая или события подниматься до больших обобщений. Так, в статье «Если сегодня начнется война» он ни много ни мало рассуждает о том, как в этом случае вести политическую работу в целом — в войсках, в стране: «Весь ход нашей политработы с ее четырехлетним планом, заданиями, директивами и т. д. круто ломается. Целиком приходится переключаться на работу ударного типа, но очень широких масштабов. Воевать будут массы. Будут вливаться тысячи мобилизованных. Придется соприкасаться по всем направлениям берегов с развертывающимися частями армии, с населением.

Все порождает потребность в хорошей «политсмазке» этих соприкасающихся, трущихся частей громадного ме-

ханизма. Необходимо также обрушить на противника всю силу нашего прожигающего слова...»

Пройдут годы, и все эти положения теоретического характера бригадный комиссар Вишневский будет воплощать на практике — во время обороны Таллина, в период блокады Ленинграда.

В 1926 году редакционно-издательский отдел Военно-Морских Сил подготовил и выпустил подписную серию научно-популярных брошюр о флоте — свыше двадцати названий, объемом в 2—3 листа каждая. Они охватывали довольно широкий круг тем, например, такие: «Какую пользу приносит море», «Советский Союз — страна морская», «Краснофлотец и красноармеец — одно целое», «Чем вооружены военные корабли», «Чем наш флот отличается от буржуазного», «Как корабли «разговаривают» между собой» (между прочим, автор этой брошюры — будущий академик А. Берг). Выглядели брошюры по тем временам богато. Так, на обложке выпуска «Буржуазия вооружается на море» — снимок английского боевого корабля, внутри — фотографии самых крупных в мире военных кораблей. Адресовалась серия молодежи, морякам-краснофлотцам и призвана была расширять их кругозор, помогать в формировании мировоззрения. Эта брошюра и «Помни о Красном флоте всегда!», «Нам нужен морской военный флот» (в соавторстве с А. Сивковым) принадлежат перу Вишневского. По форме они походят на беседы пропагандиста — короткие, доходчивые фразы, живое волнение и убежденность автора, логичность изложения и убедительность приводимых фактов.

«Англия строит 51 новый корабль», «Франция отпускает 500 миллионов рублей на флот», «Японский флот — на третьем месте», «Америка хочет догнать Англию по вооружению», «Соседи» готовятся напасть на нас» — в главках под такими названиями в выпуске «Буржуазия вооружается на море» сделан обстоятельный обзор состояния военно-морских сил за рубежом. «Мы видим, что подготовка к новой войне идет полным ходом, — подводит итог автор. — Чтобы нам отстоять свою советскую землю, фабрики, заводы — все, добытое нами тяжелой борьбой — нам нужно иметь на море крепкую защиту — свой сильный Рабоче-Крестьянский Красный флот».

Когда стало известно, что комсомол объявил шефство над флотом, Вишневский, находясь в заграничном плавании на судне «Океан», с радостью воспринял эту весть.

Впрочем, не он один: после принятия радиограммы в открытом море вся команда собралась на импровизированный митинг и с воодушевлением решила переименовать свой корабль в «Комсомолец». С тех пор Всеволод внимательно следит за развертыванием шефства комсомола над Рабоче-Крестьянским Красным флотом.

В брошюрах он рассказывает об этом патриотическом движении молодежи, широко привлекая для иллюстрации своих мыслей яркие примеры из жизни: «Комсомольцы рвались во флот всеми силами. Помнится, как однажды в зимний день к нам, в Балтийский флот, пришел тамбовский комсомолец Тихон Обивальнев. Он почему-то не попал в партию, которая отправлялась во флот, и решил идти самостоятельно. Весь путь из Тамбовской губернии до Ленинграда он проделал пешком. Парень шел по морозу 19 суток, голодал, ночевал в поле, но все-таки своего добился. Товарища Обивальнева во флот приняли».

А спустя несколько лет в радиогазете «Красный моряк», говоря о практической помощи комсомола флоту, Вишневский с удовлетворением отметил: «Сегодня шесть лет шефства. Первый пыл, конечно, остыл. Он сменился ровным постоянным хорошим огнем работы. Такой огонь держат в топках кораблей умелые кочегары...»

Как вспоминал Николай Чуковский, во время финской кампании, в декабре 1939 года, они с Вишневским встретились в Политуправлении Балтийского флота. Всеволод Витальевич предложил зайти к нему и почти сразу же заговорил о войне, о международном положении. «Так бывало всегда и потом, — писал Чуковский, — при всех наших встречах до сорок пятого года, — оставшись со мной наедине, он говорил не о личном, не о бытовом, а о мировом, всеобщем, историческом — о войне. Никогда мне не приходилось встречать другого человека, для которого мировое, всеобщее было бы до такой степени своим, личным. Это была у Вишневского удивительная черта, определившая и всю его судьбу, и все его творчество, резко отличавшая его от других людей».

Такая особенность мировосприятия обусловила и частоту обращения к международной тематике в журналистском и литературном творчестве. И даже в дневниках, которые велись Вишневским в годы Великой Отечественной войны регулярно, немало страниц отводилось анали-

зу, рассмотрению различных вариантов, поворотов «большой», международной политики. Все это необходимо было прежде всего для «внутреннего пользования», ему словно чего-то не хватало, если не была ясна обстановка в мире. Ну и конечно же, во имя практических нужд — для подготовки устных речей и радиовыступлений, статей для печати.

Однако, пожалуй, только в двадцатые годы выход его размышлений на международные темы был столь щедрым по числу публикаций в газетах и журналах.

Революционное движение в странах капитала, порою скрытые, но всегда агрессивные, своим острием направленные против Страны Советов военные, дипломатические и пропагандистские маневры и кампании империалистических государств-хищников — об этом писал Вишневский в статьях и обзорах «На Балканах разгорается пожар», «Опасность не изжита», «Морская конференция в Риме», «Не забывайте, сэр, о 19-м годе!» и ряде других.

Он учится дорожить фактом, документом, цифрой. Стремится писать экономно, кратко. Уже после двух-трех лет газетной практики его профессиональное умение заметно возросло. Статьи двадцатых годов построены, так правило, на широкой фактической основе, события в них поданы крупно.

Английский морской журнал «Нэвэл энд Милитэри Рекорд» поместил 27 июня 1928 года статью, из которой ясно, что англичане пытаются втянуть Германию в антисоветский блок. Вишневский дает полный перевод и вначале предоставляет читателю возможность самому подумать над содержащимися в статье фактами и мыслями. Затем выдвигает свою точку зрения, вскрывает намеки и особые обороты, характерные для английских политических писаний. Избранная для этого форма весьма любопытна — условный монолог — обращение Великобритании:

«Германия, развивай свой флот, стереги Балтику от Красного флота. Англия в этом случае не будет препятствовать развитию морской германской силы».

Любой флот (и торговый и военный) нуждается в базах. «А баз у тебя, Германия, в океанах нет. Были и все вышли. Так вот, если будешь послушной, может быть, тебе и устроим. Какую-нибудь колонию выделим. Только старайся...».

В конце статьи, а называлась она «Поднатчики из

Лондона», автор окончательно разоблачает тех, «кто сует в руку нож» Германии для нападения на СССР.

Пожалуй, ни одна дискуссия на флотские темы в то время не обходилась без участия Вишневского. Да и любой газетный материал, задевавший за живое, вызывавший несогласие, внутреннее сопротивление, побуждал его браться за перо. В марте 1928 года в «Красном Балтийском флоте» был напечатан очерк Б. Рундольцева «В штормах». Прочитал его Всеволод и вспыхнул. Как же может автор предлагать такое: «Если во время гибели корабля от каких-нибудь причин в тихую погоду еще можно спастись, спустив шлюпки и выбрасываясь в кругах и спасательных поясах, то в бурную погоду такие меры совершенно бесполезны. Уж если до этого дошло, то лучше уходи в каюту и жди спокойно, когда окажешься на дне морском».

Спустя несколько дней «КБФ» помещает взволнованный, страстный отклик — статью «Не надо уходить в каюту». Приведя ряд цитат из очерка Рундольцева, Вишневский возмущается позицией автора, напоминающей рапорт князя Меншикова, посланный Петру Великому после шторма в Ревеле и гибели ряда судов в ноябре 1716 года. Меншиков, в частности, писал: «Когда так воля божеская благословила, и мы сему элементу противиться не можем. К чему можно взять за экземпляр (пример) случай одного испанского короля, который, увидев, что около трехсот кораблей, отправленных против англичан, штормом разбило, такой ответ учинил: «Я-де отправил оный флот против неприятеля, а не против бога и «элемента».

Вот так «столкнув», сопоставив две выдержки — из очерка Рундольцева и донесения двухвековой давности, — публицист делает вывод: и там и здесь — покорность и смирение. «Отвергаем их. Надо всегда держаться до конца, надо свирепо защищать корабль. Если он гибнет — до конца бороться за свою жизнь, за спасение имущества». История флота дает множество разнообразных примеров того, как моряки «хорошей выделки» добивались успеха в схватке со стихией. «Кое-кому из стариков памятен случай с одной из балтийских подлодок. Лодка затонула «всерьез и надолго». Уже не было, казалось, никаких средств спасения. Оставалось действи-

тельно ждать смерти и удушья. Но и тут человеческое упрямство, человеческая мысль нашли выход из положения. Люди начали выбрасываться (выстреливаться) наверх через торпедные аппараты...

Думается, что правило «держись до конца» является и правилом краснофлотцев. «Уходить в каюту», если бьется в груди сердце, если мозг еще командует телом, — мы не будем. Так, друзья».

Да, правило это было незыблемым для тех, кто закалился в боях революции и гражданской войны. «Свирепо защищает свой корабль», упорно борясь за жизнь, за место в строю, Николай Островский. Он добьется своего и, когда роман увидит свет, скажет: «Из бесполезного партии товарища стал опять бойцом». От поколения Вишневского, прошедшего первую мировую и гражданскую войны и начавшего строить новую жизнь, третье десятилетие XX века потребовало величайшего напряжения всех духовных и физических сил. И уж он-то, Вишневский, определенно «не уходил в каюту», он всегда в гуще решающих событий.

Если попытаться определить особенности его журналистского творчества, то, пожалуй, главными будут убежденность и политическая целеустремленность; публицистическая заостренность, достигаемая различными средствами, в том числе меткой иронией, переходящей порою в сарказм, страстным отстаиванием своей позиции, широкое использование принципа беседы с читателем, приемов прямого обращения, разговорной речи; живой и сильный темперамент, выказывающий себя и в статье, и в коротенькой заметке.

Он приобрел известность как журналист, и читатели «Красного Балтийского флота», «Красной звезды» и других военных изданий, разворачивая свежий номер газеты или журнала, искали на их страницах подпись «Вс. Вишневский» — чаще всего он именно так подписывает свои статьи и очерки. Как-то его спросили: «А почему «Вс.»?

— Отец научил, — лукаво улыбнулся Всеволод. — Как-то давно вместо него в своем гимназическом дневнике нужда заставила расписаться... Ну, отец больно отодрал меня за уши и сказал: «Помни, всегда помни, что ты не В., а Вс. Вишневский...»

Есть писатели, которые успешно, а то и с блеском проявляют себя на поприще журналистики, но словно

стесняются, стыдятся раскрытия этой грани своего дарования. Вишневский же, напротив, не уставал повторять, что он не «узкий литератор», и всегда гордился тем, что журналистика для него — и любовь и профессия на всю жизнь.

Именно журналистика с ее реальным, не отдаленным во времени — сегодняшним и сиюминутным политическим и социально-психологическим воздействием на массы, ее непосредственной близостью к действительности и способностью влиять на эту действительность привлекала, захватывала Вишневского. Прирожденный оратор, трибун, еще с девятнадцати лет он познал неповторимую прелесть духовного слияния с аудиторией: «Это ощущение аудитории для меня всегда в жизни было огромной, большой школой, зарядкой, которая повышала качество работы... Оно неоценимо, и это ощущение близости к аудитории надо беречь как одно из самых дорогих и святых. Радио вновь дало мне это ощущение и повысило его...»

Вишневский просто не мог пройти мимо, не заметить рождения и бурного роста радио как новой ветви журналистики. В 1928—1929 годах он редактировал радиогазету Балтийского флота «Красный моряк». Как и другие программы того времени, она во многом походила на печатную газету (тогда еще радио, не открыв своих, заимствовало газетные жанры): здесь были и передовая, и статья, и хроника, и рассказ, и корреспонденция. Любопытно, что передачи нередко начинались как телефонный разговор:

— Алло! Военморы Балтфлота и рабкоры Совторгфлота порта и Госречпароходства! «Красный моряк» ждет ваших корреспонденций. Становитесь в ряды радиокóров...

На одном из листов плана очередной передачи рукою Вишневского записаны задачи: надо «повысить процент военных моряков и морских специалистов — авторов», «увеличить количество времени на музыку — до 40—50%...». У микрофона должны выступать люди, представляющие особый интерес для данной аудитории; музыка — далеко не последний фактор в идейно-эмоциональном восприятии передачи — таков ход его рассуждений.

Он и сам вел специальную рубрику в радиогазете — «Рассказы старого моряка». Это были небольшие новел-

лы с острым, динамичным сюжетом, каждая из которых чаще всего раскрывала один боевой эпизод гражданской войны. И читал он их у микрофона сам, нередко на ходу придумывая новые, неожиданные даже для себя продолжения.

И манера чтения, и способность к импровизации у Вишневского были поразительными. Как-то в середине тридцатых годов в лагере военной части неподалеку от Ленинграда он читал по тетрадке свой рассказ. Николай Тихонов так передает впечатления слушателей: «Он захватывал как артист, который вошел в роль, растворился в ней и вам передал не происшедшее с другим, а именно с ним и вы уже не сможете отделить его от рассказа...» Когда вечер подходил к концу, Тихонов, опоздавший на эту встречу, решил посмотреть первые страницы рассказа. Каково же было его изумление, когда в тетрадке, которую перелистывал его друг, он не обнаружил ни одного слова!

В программе «Красный моряк» Вишневский выступал и с публицистическими обращениями к радиослушателям. Одно из них — «Ленинград и угроза с моря» — начиналось в обычном для него напористом ритме: «За время существования нашего города — а он существует третий век — ни разу нога вражеского солдата не ступала на его улицы и площади! Сейчас наш город — первый город Революции. И тем более неприступным должен быть он. Бессмертный образец героических дней обороны Питера в дни Юденича должен воодушевлять нас. Враг никогда не войдет к нам!»

Что ж, история доказала правоту Вишневского. Но тогда, в 1928 году, он, конечно, не мог знать, что предстоят 900 блокадных дней, что ему самому суждено сыграть значительную роль в обороне Ленинграда от фашистских захватчиков и что могучим, разящим оружием в этой борьбе станет обычный микрофон, а резонанс его страстных радиоречей тех лет будет приравнен к его популярности кинодраматурга.

4

В двадцатые годы в творчестве Вишневского нет-нет да и прорывался наружу стиль, властно заявивший о себе еще в первых его литературных выступлениях — роман-

тически приподнятый, пафосный. Таким был, к примеру, очерк «Октябрь» («КБФ», 1922, 13 ноября), проникнутый верой в скорое торжество мировой революции:

«Октябрь стал весной!

...Плещут о гранит волны, рассказывая о прошлом. Порывом ветра развернутый флаг бросает вызов в даль и туман.

Слушайте, вы! Мы придем еще, люди рабочих окраин, и наша песнь смешается с выстрелами. В страшной борьбе мы рассеем мировой туман и выше поднимем флаг Победы, ярко озаренный солнцем рабочей весны».

В этом же стиле написано эссе «Как выросла Красная Армия» — патетический гимн защитникам революции, добывшим победу ценою крови, ценою собственных жизней.

«В историю пролетарской революции, в историю великой эпохи, положившей начало строительству нового мира, войдут они рядом:

— *Красноармеец и военный моряк!*

Огненными буквами выжжет время в сознании миллионов трудящихся славную повесть о подвигах, которым нет числа, о героях, имена которых никому неведомы. И эти подвиги без числа, и эти герои без имени навеки останутся незабываемыми, навеки сохранятся в сознании миллионов под одним грозным многоликим именем:

— *Красноармеец и военный моряк!..*

Рядом шли они, прорубаясь вперед, все вперед, через толщу сомкнувшихся врагов. Захлебывались во вспененно-кровавом разливе, задыхались в кольце, восемью тысячами верст охватившем их новую Родину, социалистическую Родину! Падали и вновь поднимались, и, напружинившись стальным гневом, обрушивали на врагов свои удары. Во имя высшего блага — блага революции, миллионами молодых жизней утверждали право на жизнь сотен миллионов.

— *Красноармеец и военный моряк!»*

В приведенном отрывке автор выдвигает и страстно отстаивает давно занимавшую его мысль о единении пехоты и моряков, которые прежде нередко враждовали между собой.

В 1924 году в Ленинграде скромным тиражом в три тысячи экземпляров выходит в свет первый сборник рас-

сказов Всеволода Вишневского «За власть Советов»[1] — свидетельство того, что рамки журналистики становятся для него тесными и что художественная литература (хотя он и не признается себе в том) уже владеет его помыслами и устремлениями.

В предисловии к сборнику автор так объясняет свой замысел: «Во время гражданской войны многочисленные морские отряды, бронепоезда, флотилии вели свою напряженную боевую работу во всех концах Республики в таких условиях, которые совсем не способствовали писанию мемуаров... Так пронеслись шквалом годы борьбы. К началу мирного строительства моряков-фронтовиков уцелело немного...»

Он берется за перо, чтобы исполнить долг памяти: сохранить для потомков хотя бы частицу подвигов моряков. «Я излагаю только те события, участником или близким свидетелем которых был сам». Таким образом, в предисловии подчеркивается, во-первых, документальность рассказов, а во-вторых, их автобиографичность. Чаще всего повествование ведет сам автор, иногда в этой роли выступают бывалые моряки, как, например, рулевой Сагура (боевой друг Вишневского по Волжской военной флотилии), начинавший очередную быль так: «Если у вас есть охота послушать меня, то я расскажу, как однажды наша подлодка «Акула» делала выбор между двумя смертями...». Такой прием усиливал достоверность повествования, эмоциональную силу его воздействия.

Ранние произведения Всеволода Вишневского некоторые исследователи называют документальными рассказами, другие — очерками. С нашей же точки зрения, это своеобразные воспоминания-репортажи — уж очень в них силен «эффект присутствия» автора, ярко выражено его активное участие в описываемых событиях.

В основу рассказа «Бронепоезд «Грозный», например, положен конкретный эпизод из боевой биографии Вишневского. И фамилия командира бронепоезда подлинная, и автор рядом с другими бойцами отстреливается от наседающих белых, роет насыпь руками и укладывает шпа-

---

[1] На титульном листе сборника надпись «Посвящается моему другу А. В. З.». Первый слушатель и читатель Антонина Зернина высоко ценила способности Вишневского (уже после смерти ее сестра Ольга писала Всеволоду: «Тоня часто говорила мне о Вас, о Ваших писательских талантах...»), всячески поддерживала и вдохновляла его на поиск и труд в этом направлении.

лы вместо взорванных рельсов. Вишневский не прячет свои чувства, свое авторское «я» — оттуда, из лета 1919-го, он словно ведет репортаж.

Стремление автора во всей подлинности донести до читателя факты истории, сообщить время и место действия, названия или номера частей и отрядов, настоящие фамилии бойцов и командиров явственно и в рассказах: «Задание выполнил», «В боях на суше», «Красные моряки в тылу Врангеля», «Бушлат матроса Семененко», «К белым с подпольными», «В кольце произвола».

Однако в это время написаны и другие произведения (их меньше), которые в полном смысле слова можно назвать рассказами — пусть и на документальной основе.

В рассказе «Как дрались балтийцы» сражается, погибает Моряк — борец за осуществление революционной воли народа, один из массы таких же моряков. Это была, пожалуй, первая попытка Вишневского ввести в литературное произведение в качестве героя коллектив.

Рассказ начинается эпически:

«Ходили слухи, что их было пятьсот, тысяча, две. Никто определенно все-таки не мог сказать, сколько их было, но я думаю, что их было только триста... Их звали разно: жители — «флотскими солдатами», красноармейцы дружески — «братвой», а враги — «водяными чертями».

Официально они назывались Балтийский экспедиционный отряд...

Боевой дух их был неиссякаем. Можно было подумать, что в каждом из них внутри находится какой-то особенный мощный аккумулятор энергии. Казалось, что потери не отражаются на них. Их осталась половина, но каждый дрался за двоих...»

Так они шли и шли до конца, до последнего боя при переправе через реку Белую. Матросы выполнили задание, но попали в западню и все до одного погибли.

Спустя несколько лет Вишневский напишет рассказ «Гибель Кронштадтского полка» (1930), затем — «Оптимистическую трагедию», и в каждом из этих произведений тема самопожертвования во имя победы будет решена по-новому. На хранящемся в архиве оригинале другого рассказа («Вместе с буденновцами») есть приписка рукою автора — «Впоследствии — эпизод Первой Конной». Вообще последовательное развитие одной и той же темы или сюжета — характерная черта творческого мето-

да Вишневского. Однако он «не просто повторяет, как справедливо заметил Петр Вершигора, полюбившуюся ему тему, характер, конфликт, расширяя объем или охват событий, но, как бы двигаясь по спирали, вновь и вновь и, главное, под иным творческим ракурсом разглядывает глубоко заинтересовавший его жизненный факт».

Первые рассказы Вишневского после их публикации почти не были замечены критикой. Лишь журнал «Юный пролетарий» и газета «Красная звезда» откликнулись заметками библиографического характера:

«Пожалуй, можно поставить в вину автору чрезмерную протокольность изложения, слишком сухую газетно-репортерскую фразу, но все эти недостатки искупаются несомненной искренностью и правдивостью повествования: бронепоезд, вывезенный находчивыми моряками по шпалам, заменившим им рельсы, из-под неприятельского огня; героическое наступление Балтийского экспедиционного отряда на Колчака, стоившее жизни всем его участникам, — все это подлинно наше недавнее прошлое» («Красная звезда», 1924, 12 октября).

Ранние литературные произведения писателя, как правило, содержат в себе зерна как будущих его достижений, так и неудач. И у Вишневского некоторые рассказы явились как бы заготовками для соответствующих эпизодов «Первой Конной», киносценария «Мы из Кронштадта», причем таких эпизодов, где героическому неизменно сопутствует трагическое. Стремление отображать острые конфликтные ситуации и быт, воссоздавать характеры и строить диалоги, творческие искания и издержки — словом, все, что называется литературной учебой, наличествовало в первых сборниках его рассказов.

Однако ни журналистика, ни литература не поглотили Вишневского в эти годы полностью, он продолжает профессионально совершенствоваться в военном деле и за несколько лет самостоятельно осваивает программу Военно-морской академии РККА, а с декабря 1924 года активно участвует в работе Военно-морского научного общества. Видимо, его способности к исследовательской и преподавательской работе были замечены, так как летом 1926 года руководство академии поручило ему подготовить специальный курс для слушателей ВМА — «Работа печати в военное время».

Как обычно, перед началом нового для себя дела Вишневский принимается за изучение первоисточников, не

пренебрегая и самыми древними по времени написания. (Итогом одного такого исследования, в частности, явилась статья, напечатанная в двенадцатом номере «Красного флота» за 1926 год под заголовком «Военная политработа в древние и средние века».) Надо учесть, что в двадцатые годы книг по истории и теории печати было мало, а посему для подготовки курса Вишневский вынужден был обращаться не только к русским, но и к зарубежным источникам.

Черновые наброски — 234 страницы убористого текста — свидетельствуют о том, что тогда же Вишневским была задумана специальная книга по журналистике, в основу которой легли бы лекции о роли печати во время войны, прочитанные в ВМА.

Вначале дается широкий исторический обзор: возникновение печати, ее роль в войнах, которые вело человечество. Специальный раздел — о газетах, плакатах, листовках, воззваниях, прокламациях времен гражданской войны. Особое внимание автор обращает на задачи контрпропаганды, выделяя при этом необходимость изучения социальных, религиозных, культурно-бытовых и прочих особенностей противника. Сохранились и другие материалы, относящиеся к теме «Печать и война», — расширенные конспекты лекций, отдельные выписки, знакомство с которыми дает представление о том, как Вишневский понимал ключевые проблемы журналистики: специфику жанров печати, оперативность, точность, документальность и т. п. Вот, например, как звучат тезисы лекций для слушателей Военно-морской академии:

«Извлечь наиболее существенное, может быть, неожиданное, оригинальное, важное из вопроса. Избегать пошлых, плоских рассуждений, встречавшихся уже...

Простота и ясность. Не упрощенчество, а простота. Отсутствие витиеватых узоров, изощренных конструкций, иностранных слов, понятий, имен, ссылок...»

Интересны и рассуждения о заголовке в газете: он должен быть эстетически привлекательным, он важнейший элемент архитектуры газеты, он дает известный отдых, паузу для читателя.

«Режиссура. Мастерство нужно, — пишет Вишневский. — Литературно объединить технический, художественный вкус...» Любопытно, что спустя почти полвека в Болгарии вышла в свет солидная монография Димитра Георгиева под названием «Режиссура на вестника»

(«Режиссура газеты»), в которой излагается концепция взаимосвязи и взаимодействия содержания, литературной формы, художественного оформления и техники (верстки) газеты. Так что и в научном аспекте мысль Вишневского, несомненно, была перспективной.

В лекциях курса «Печать и война» есть и такие разделы, как «Печать и немецкое шпионство», «История печати Англии в период мировой войны», «Печать и военная тайна». Приводя убедительные примеры из газет 1904—1905 годов, Вишневский делает убедительный вывод о том, что во время русско-японской войны в отечественной печати царила «поразительная вакханалия болтливости и легкомыслия».

8 апреля 1927 года приказом РВС В. В. Вишневский назначен старшим руководителем Военно-морской академии с исполнением обязанностей по научно-издательскому отделу. Как это отразилось на круге его интересов? На первый план вышли задания научного характера: по изучению истории, нынешнего состояния вероятных противников на море. А во-вторых, за ним остались и журналистские заботы: редактирование журнала «Красный флот», затем переросшего в массовый журнал «Краснофлотец» и, наконец, «Красноармеец и краснофлотец».

Затем с 1929 года работа в «Морском сборнике», одном из старейших русских журналов, где Вишневский по обыкновению стал главной «тягловой силой». Он занимается и редактированием, и привлечением новых авторов из числа ученых, специалистов, политработников, и заказом иллюстраций из жизни флота, непосредственно за ним закреплен отдел «Заметки на свободных страницах» (разные случаи из морской практики, любопытные цифры и факты).

По просьбе Политического управления Военно-Морских Сил он принялся писать брошюру о боевых делах флота в годы гражданской войны и окунулся в море архивных документов. Эта трудоемкая и кропотливая работа увлекала его, приносила удовлетворение, особенно ощутимое, когда, пользуясь порой и противоречивыми источниками, получаешь возможность познать, как когда-то все происходило *на самом деле*.

Немало времени и сил поглощала в этот период общественная оборонная работа, в которой для него нет мело-

чей. Вишневский не чурается организационных хлопот: составляет планы работы военно-морской секции Ленинградского областного совета Осоавиахима, занимается созданием учебных пунктов, выявлением «всех имеющихся по городу плавучих средств в/м образца», является инициатором шлюпочных походов по маршрутам Ленинград — Севастополь, Ленинград — Одесса, выступает с докладами перед массовыми аудиториями и по радио.

А учебной станцией для будущих военных моряков, по мнению Вишневского, должен стать отслуживший свое минный заградитель «Амур». И Всеволод обращается к командирам и политработникам с призывом всячески содействовать превращению корабля в учебную базу, требовательно говорит о необходимости практического, а не декларативного шефства над кораблем: «Амуру» нужны книги, карты, инструменты, плакаты, диаграммы, схемы и пр., а также лекторы, преподаватели, механики, вахтенные начальники, инструкторы — люди, которые могут наладить работу кабинетов по всем специальностям.

В архиве В. В. Вишневского немало свидетельств и того, как широко понимал он военно-патриотическое воспитание. Адресованные ему письма Центрального военно-морского музея, например, рассказывают о том постоянном внимании, которое оказывал он музею: присылал в дар редкие фотоснимки, рисунки, документы, вырезки из газеты времен гражданской войны. В 1928 году музей, получив в этот раз от него личные вещи — солдатский пояс и матросскую бескозырку, ответил так: «Благодаря Вашему энергичному содействию Ревотделу музея удалось осветить боевую деятельность Волжско-Каспийской флотилии, бронепоездов и строительство РКК Черн. флота, а также пополнилась библиотека музея».

В эти годы Вишневским написаны и включены в программный список для слушателей ВМА труды по истории гражданской войны (часть из них была опубликована в виде статей о боевых действиях Волжской военной флотилии), вышла в свет брошюра «Эпизоды борьбы Красного флота» (1928).

Основные же усилия Вишневского были направлены на изучение военно-морского флота ряда иностранных государств: «Командный состав английского флота»,

«Юнги, матросы и унтер-офицеры английского флота», «Резервы личного состава английского флота», «Личный состав финского флота» (на эти темы были написаны и напечатаны статьи в «Морском сборнике» — 1928, № 11; 1929, № 4, 5, 11, 12). Толчком для выбора научных проблем такого рода, несомненно, послужила работа в печати: он немало потрудился для постановки зарубежных отделов и в «Красном Балтийском флоте», и в журнале «Красный флот».

Идет кропотливое изучение архивных документов, зарубежных источников в Главной морской, публичной библиотеках, Государственном книжном фонде. Именно в эти годы Николай Чуковский не раз встречал его в читальных залах: «Замкнутость, внутренняя сосредоточенность молодого Вишневского во многом объяснялись той огромной, внешне незаметной работой, которая свершалась в глубине его сознания. Он учился, учился неистово и жадно, на лучших образцах».

В библиографии к его статье «Юнги, матросы, унтер-офицеры английского флота», например, значится 21 название (есть и солидные книги, монографии) на английском и примерно столько же на русском.

«Нет особой нужды пояснять, что детальное знакомство с этими категориями чинов совершенно для нас необходимо и представляет далеко не академический интерес», — начинает статью Вишневский. И дальше дает развернутый анализ социально-классового состава нижних чинов английского флота, рассматривает систему рекрутирования в матросы и дофлотской подготовки молодежи, методы вербовки во флот; вопросы обучения морскому делу, материального снабжения и т. д. и т. п. Когда читаешь научные обзоры Вишневского, невольно возникает ощущение: автор не бесстрастный ученый и не только во имя обогащения информацией о вероятном противнике он пишет все это, нет, он еще и «примеряет», а что из опыта крупнейшей морской державы может и должно пригодиться для строительства родного флота.

И другая статья — «Командный состав английского флота», эпиграфом к которой заверстаны слова: «Сражаются не пушки, а люди», носит социолого-профессиональный характер. Построена она на материалах английских статистических справочников и специальных журналов. Путем кропотливых выборок, различных данных, сжатых служебных характеристик, даваемых «Navy

List» (справочник 1927 года) индивидуально тысячам офицеров, автор составил характеристики различных групп и категорий английского морского офицерства. Дан тщательный анализ этих групп — по двенадцати признакам (определение национального и социального состава, данные об интеллектуальном и физическом развитии, о военно-морском стаже и возрасте офицеров и т. д.). Особое внимание уделено группе строевого офицерства — наиболее привилегированной и подтверждающей, что вся масса офицеров в социальном отношении состоит из аристократии, буржуазии, интеллигенции.

Рассматривает Вишневский и морально-политический облик английского офицера, у которого с детства воспитывали уважение к флоту, понимание того, что господствующий на морях господствует над мировой торговлей, над богатствами мира. Затем, штудируя морскую британскую историю, кадет пропитывается духом великодержавного высокомерия. И экономическая география формирует «британское» миросозерцание, он изучает торговлю Британии, ее экономику вообще и убеждается в том, что метрополия может жить самостоятельно только 7 недель. Прервись морской подвоз — голодная смерть. И будущий офицер проникается сознанием важности флота, реально ощущает значение своего выбора.

Ценность исследований Вишневского была немалой: об английском флоте, например, до появления его статей в «Морском сборнике» за три десятилетия было опубликовано всего два очерка.

Именно в период сильного увлечения военно-морской наукой у Вишневского появляется уверенность в том, что избранный путь верный. Он возобновляет ведение дневника, и 1 июля 1928 года в нем появляется такая запись: «Я много читаю. Сам прохожу университетский курс, — в 1918 г. променял его на фронты. Теперь беру с выбором, нужное. С 1921 г. я сделал, как видно, очень много. Я рад, что В.-м. академия берет мои работы как пособия... Рад, когда бывшие генштабисты выслушивают некоторые мои советы и поправки. Рад, что окончившие Военно-морскую академию предлагают мне совместно разработать некоторые вопросы, — я вижу, что прошел хорошую дистанцию».

Оглядываясь на пройденное, Вишневский скажет впоследствии о том, что на рубеже тех двух десятилетий он «вполне наметил свой путь — путь офицера Генерально-

го штаба». А в мае 1929 года ему предложили переехать в Москву для работы в морской группе. Однако с ответом медлил, так как считал, что работу по изучению вероятных противников на море целесообразнее вести в Ленинграде. В сентябре того же года он получил новое предложение — военно-морской отдел Государственного издательства — поближе к литературе. Но нет, и теперь Вишневский отказывается, выстраивая целую систему аргументов против: не закончена работа по изучению «главного противника» на море (нельзя останавливаться на полдороге); только что им получен заказ ПУРа на книгу «Наши вероятные противники на Балтийском море» и т. д. и т. п. «Я позволю себе в заключение указать также на крупные личные затруднения (здесь он имел в виду заботы о шестилетнем Игоре, воспитывавшемся Людмилой Зерниной. — *В. Х.)*, которые возникнут в случае моего перевода в Москву и будут весьма мешать моей деятельности. Впрочем, этот личный мотив можно не принимать во внимание», — писал он в рапорте на имя ответственного редактора «Морского сборника» 14 сентября 1929 года.

Как-то редакция «Ленинградской правды» обратилась к руководству Военно-морской академии с просьбой проконсультировать одну рукопись. Задание передано Вишневскому, и вот он со смешанным чувством знакомится с главами из трилогии бывшего графа Алексея Толстого «Хождение по мукам» (рукопись называлась «Гибель Черноморского флота»). «Я дал до 20 поправок, — записывает Всеволод Витальевич. — Толстой — способнейший малый. Этот эмигрант, «перелет» волнующе пишет о наших делах, о 1918... Мне не верится, однако, в его искренность. Как странно — Ал. Толстой живописует моряков, от которых бежал когда-то...» *(Из дневника 1 июля 1928 г.)*.

Вишневский с удивлением читал эти страницы: он словно рассматривал себя самого времен гражданской войны со стороны да еще глазами бывшего противника (как многие тогда, он не простил еще Алексею Толстому его временное эмигрантство). И одновременно проза эта обладала особой притягательной силой таланта настоящего художника.

Да, любое прикосновение к прошлому, к страдному времени революционных битв и боев гражданской войны каждый раз вызывало не столько «военспецовское», сколь-

ко эмоциональное отношение. В один февральский вечер 1928 года Вишневский заносит в дневник после просмотра фильма «Морские силы в СССР»: «Вторая часть, где показана гражданская война, меня разволновала очень сильно. Меня затрясло, когда я вновь увидел — пусть в инсценировке — походы и бои, эшелоны и рельсовые пути, уносившие моряков вдаль. У меня покатились тихие слезы, мне было сладко, грустно и, м. б., немного стыдно за эту чувствительность. Нас, стариков, было человек 20... Зажегся свет, и мы были вновь непроницаемы и деловиты, обмениваясь замечаниями, не обнаруживающими того, что мы только что испытали».

Приближалось десятилетие Красной Армии, и ветераны гражданской войны, которых жизнь разбросала ныне в разные края, потянулись друг к другу. Всеволод получает письма от Тихона Василенко и рассудительного комендора Овсейчука, от Попова, пишущего в несколько приподнятом тоне, и хладнокровного Авксентьева.

Петр Попов объявился в 1928 году, когда перебрался из Нижнего в Москву, на работу в Наркомпочтель (Министерство связи), куда его рекомендовал давно уже трудившийся в этой организации Иван Папанин. Писал Попов редко, но даже в немногих письмах явственна его глубокая привязанность, пожалуй, даже своего рода влюбленность в «Володечку», которого он называет и другом и братом: «У меня мысль о тебе как о гениальнейшем человеке, которому так легко дается литературное творчество, что уже можно видеть и отметить из первых твоих проб...»

Как мы помним, жизненные дороги Папанина и Вишневского разошлись после освобождения Крыма, когда последний возвратился в Новороссийск. Встретились они спустя несколько лет, хотя, и будучи на расстоянии, всегда помнили друг о друге. Между прочим, и в переписке и в разговорах при встречах сохранились обращения молодости — Ванечка, Володечка... Подобная несколько шутливая применительно к ним, давно уже вышедшим из того возраста, когда так называют, и именно поэтому трогательная форма обращения широко бытовала в матросской среде в годы гражданской войны. «Всеволод» же вообще непривычно звучало для солдат и матросов, и было им естественно перейти на уменьшительное «Володечка», а не «Волечка», как его называли в кругу родных.

Иван Папанин менее сентиментален и более требователен. В двадцатые годы, когда он бывал по делам в Ленинграде или встречался со Всеволодом в Москве, редкий разговор не заканчивался прямым упреком и одновременно вопросом: «Как ты думаешь быть с партией?» А предшествовали этому жаркие споры о политике — внутренней и международной, о том, как строить военный флот, о науке — военной и мирной, об освоении Северного морского пути. Поверялось сокровенное, и планы Папанина выглядели весьма определенными. Он широко улыбался и как бы между прочим говорил о своей мечте: «Хорошо бы на макушку Земли забраться, а?»

...В один из вечеров собрались четыре моряка в тесном номере московской гостиницы. Глаза у каждого сияли, каждый требовал внимания и завоевывал его. И в этой обстановке срабатывают их отличительные черты: хитрость, оперативность Папанина; невозмутимость и хладнокровие Попова; практичность и расчетливость Авксентьева; опыт, азарт Вишневского. «Мы живем все еще чудесными годами 1918—19... — ночью, после того, как друзья разошлись, записал Всеволод. — Несказанное, неизвестное большинству наслаждение...

Мы шли — мы, Конная армия — на Ростов. Гремели... И я писал (Вишневский имеет в виду дневники, погибшие в Новороссийске в 1920 году. — *В. Х.)* о громах каждого боя... Это были «метеорологические» сводки. Был, я помню, неповторимый дух войны. Слова бежали быстро, горячо и охотно. Мне стыдно — я потерял многое из тогдашнего...

Были ласковые женщины в Долгинцево. Здесь же были расстрелы — за Мишу Донцова, матроса со «Спартака»...

Один наш вечер сегодня — лучше романа Бабеля и других таких же писателей. Они жадно и болезненно сидели бы, слушая наши рассказы...

Падали глыбы эпического...

Мне было неудобно встать и начать записывать. Я хотел слушать равным. Ибо я — равный...»

Так, казалось бы, уходя от литера́туры, искусства, Вишневский к ним приближался.

Хотя Вишневский как будто и выбрал научную военно-морскую стезю, но к литературному труду его попрежнему тянуло. Особенно интересовали отношения людей, социально-психологические мотивы их поступков,

причины конфликтов и способы, пути преодоления их. Летом 1929 года, путешествуя по Крыму и некоторое время находясь на берегу моря, в доме отдыха, Вишневский наблюдает поведение знакомых и незнакомых мужчин и женщин. Он видит скрытую борьбу за лидерство, за «роль премьерш»; с горечью отмечает мещанскую атмосферу этого дома, который оказался судилищем недостатков людей, заслоняющих для судей их достоинства. «Правда, на моей дорожке, — с удовлетворением пишет Вишневский, — никто не вертится, не мешает мне лично. Отдавлю лапы». Независимость всегда и везде, развитая с детства, а затем культивируемая сознательно, была той чертой его характера, которая не может не вызывать симпатий, но и которая являлась для него постоянным, неисчерпаемым источником неприятностей и огорчений: далеко не всякому, с кем приходилось ему в жизни сталкиваться, эта черта была по душе.

В середине марта 1929 года, придя на службу, в редакцию «Морского сборника», Вишневский получает письмо за подписью руководства Центрального Дома РККА с просьбой оперативно выполнить творческий заказ: написать для недавно организованного Ансамбля красноармейской песни краткий, хорошо звучащий текст на темы: «Балтфлот» и «Волжско-Камская флотилия».

Он уже немного знаком с этим ансамблем — во время одной из командировок в Москву видел его первую работу «22-я Краснодарская дивизия в песнях». История части давалась живо и увлекательно: боевые эпизоды, рассказываемые чтецом, перемежались песнями. Для составления текста были использованы воспоминания бойцов, фронтовые газеты, листовки, воззвания, приказы, дневники.

Что ж, задача понятна, и к тому же она увлекает Всеволода. Песни, и старинные и новые — революционные, он собирал и записывал с юношеских лет. Дело спорилось, и примерно за месяц Вишневский написал «Красный флот в песнях» — «поэму», как он назвал свое произведение (точнее жанр определен в Собрании сочинений писателя, где подзаголовок гласит: «Героическая поэма — оратория»). Автор решил несколько усложнить по сравнению с предыдущей постановкой ансамбля форму представления, введя двух чтецов. Собственно, ведущий был один, второй же являлся его собеседником, представителем массы красных моряков. «Зачем я их дал? Это

сказители. Их речь напряженно-пафосна, агитационна, иногда лирична; они бережно, хорошо подводят к тому, что дает вокальный ансамбль (подлинную матросскую песнь), они дают эмоциональное переключение; они мобилизуют внимание; они связывают эпизоды, они прославляют музыку словом. Мы видим, таким образом, и их художественно-политическое, и их техническое назначение. В этой вещи я воскрешал образы своих любимых героев. В этой вещи я нащупывал пути своего творчества», — писал Вишневский.

От первых октябрьских боев за Зимний до каспийской операции против белогвардейско-английских кораблей — таков исторический масштаб оратории. Судьбы флотов и судьбы моряков — все на документальной основе, но в ярких героических картинах, написанных сочным, созвучным времени, близким и понятным рабочим и крестьянам языком. В ком из прошедших военную страду не отзовутся, например, такие слова Ведущего, представляющего матросскую массу: «Да, было!.. Стволы винтовок как положишь на влажную землю — так зашипят, как сало на сковороде...»

Завершается оратория картинами созидания советского Военно-Морского Флота — временем, когда он «уже заговорил басом» и его маневры на Балтике вызвали недовольство буржуазных стран. «Знатно заработали на флоте, — говорит Ведущий. — В гаванях грохот стоит, пневматика стрекочет, молоты бьют. Дымом тянет, краской пахнет... Хорошо! Поднимается флот. И уже на синих просторах вновь вьются алые флаги... Здравствуй снова, родимое море, здравствуй, милое!..

Хор

Пусть сердится буря, пусть ветер неистов, —
Растет наш рабочий прибой.
Вперед, комсомольцы, вперед, коммунисты,
Вперед, краснофлотцы, на бой!»

После летней поездки двадцать девятого года Ансамбля красноармейской песни ЦДКА на Украину, Северный Кавказ и Дальний Восток, в Белоруссию газета «Красная звезда» среди других проводит такой характерный красноармейский отзыв: «Игра производит сильное впечатление, заряжает энтузиазмом, вселяет веру в победу Красного флота и армии. Недостатков не нахожу. Михальцев». В «Правде» о постановке «Красный флот в песнях» сказано более подробно: «Текст написан ярким,

красочным языком (Вс. Вишневский), работа режиссера П. И. Ильина отличается усложнением формы, некоторой театрализацией (вполне уместной)».

Уже в первом творческом сотрудничестве с ансамблем Вишневский проявил себя как принципиальный, отстаивающий свою точку зрения автор, о чем руководитель ансамбля профессор А. В. Александров счел необходимым упомянуть в методических указаниях к постановке: «Ряд номеров введен не из-за их музыкальных достоинств, а исключительно из-за их исторической значимости, по настоянию Вс. Вишневского, участника гражданской войны».

«Красный флот» вошел в репертуар и других коллективов, в частности, Черноморского ансамбля краснофлотской песни, ленинградского молодежного рабочего театра «Стройка». Постановку последнего как-то смотрели участники сессии Академии наук СССР и, довольные, выразили свои впечатления такими словами:

«Сердечно благодарю театр «Стройка» за веселый, интересный, занятный и искусный спектакль. Акад. Карпинский».

«Вольтаж самый подходящий, большевистский и пламенный. Спасибо. Акад. Глеб Кржижановский».

Так уж случилось, что, несмотря на намеченный Вишневским путь как «офицера Генерального штаба в определенной области», литература и театр властно позвали к себе.

Как-то он совершенно случайно обнаружил считавшиеся утерянными дневники, записки, письма периода 1914—1915 годов. И вот он принимается за воспоминания о первой мировой и гражданской войне (завершит их в конце 1936 года, а напечатаны они будут во втором томе Собрания сочинений В. В. Вишневского).

Скорее всего и дневники, и сам процесс писания послужили новым побуждением к литературному творчеству. Видимо, с Вишневским произошло то же самое, что в свое время с А. С. Новиковым-Прибоем, который через много лет разыскал свой архив времен русско-японской войны. Известно, что когда Алексей Силыч обнаружил дневники, то свое состояние описал так: «Я еще не читал найденного материала, но достаточно было только

взглянуть на эти тетради, блокноты и листы бумаги с поблекшими чернилами, чтобы все то, что в них записано, начало воскресать в таинственных извилинах моего мозга... Перед внутренним взором души с поразительной ясностью возникли жуткие картины Цусимского боя с такими деталями, о которых я давно забыл».

За годы революции и гражданской войны Вишневским было накоплено много — «в памяти, внутри — на душе и в сердце, — дел, образов, идей». А теперь еще и проснулось нечто, хотя и ощущавшееся ранее, но не звучавшее, как теперь, приказом долга и памяти: «Ты можешь писать — пиши...»

5

Среди рукописей пьес, представленных на конкурс к 10-летию Первой Конной, внимание молодого критика Виктора Перцова привлекла одна — подписанная «Всеволод Вишневский». Фамилия эта ничего не говорила критику, и он, узнав, что автор — бывший моряк и пулеметчик Первой Конной — находится сейчас в Москве, решил познакомиться с ним, пригласил к себе.

Пьеса поразила профессионализмом, необычностью композиции, а главное — глубиной постижения революционного духа бойцов, знанием их языка и психологии.

Автор пришел раньше условленного времени. А дальше события развивались по обычным канонам таких встреч: критик говорил, пространно излагал свои взгляды на литературу. Автор же, как и подобает начинающему, скромно отмалчивался. Беседа не клеилась.

Но тут как нельзя кстати заявились друзья критика. Они попросили автора прочитать свое творение. И — о чудо! — плотный, коренастый, в морской тужурке, эдакий классический «братишка» преобразился. Лицо его побледнело, на щеке заметно выступил шрам. Лохматые кустистые брови то строго сходились над глазами, то дружно вскидывались кверху. Выражение глаз непрерывно менялось, становясь то пытливым, ироническим, то грустным, то задумчивым, то ненавидящим и жестоким. Чтец буквально жил жизнью героев пьесы, словно играя поочередно все роли: бросался в атаку, торжествовал миг победы, погибал. В иные моменты казалось, что лишь отсутствие пулемета мешает ему и в самом деле прошить очередью наседающие белогвардейские цепи...

Несколько позже один из слушателей, Сергей Третьяков, *в заметке в «Правде»* (1930, 31 *января*), которая называлась «Удивительная пьеса», так написал о своем впечатлении: «Автор читал ее неподражаемо хорошо. Он выстукивал по столу телеграммы, задыхался вместе с умирающими персонажами...»

Когда чтение окончилось, вспоминает Перцов, автор «Первой Конной» разговорился, и выяснилось, что он имеет сложившееся и весьма оригинальное представление о литературе. Зашла речь и о многом другом, и тут начинающий драматург, увлекшись, сделал нечто вроде обширного доклада о международном положении, показав при этом необычайную эрудицию. Спустя много лет в письме к В. О. Перцову Вишневский с улыбкой и теплотой писал: «Мне вспомнились Вы в начале 1930 года, наши беседы у Вас на квартире, среди полок с книгами — в новой для меня Москве, куда я принес свои требования, свой напор, свое бурление, свою правду...»

Знакомство читателей и зрителей с пьесой «Первая Конная» началось не с книги и театральных подмостков, как это обычно бывает, а с... исполнения всех ролей одним чтецом-актером — автором.

О его чтении уже тогда ходили легенды. Николаю Чуковскому, не присутствовавшему накануне вечером на читке Вишневским «Первой Конной», пораженные слушатели с восторгом рассказывали о пьесе, о необыкновенно выразительном чтении драматурга и уверяли, что во время воспроизведения сцены боя он выхватил наган из кобуры и стрелял в потолок...

— По-настоящему стрелял? — переспросил Чуковский.

— Еще бы! Конечно, по-настоящему!

Но Чуковский был скептик. Он посмотрел на потолок — разговор происходил в помещении писательской столовой, там же, где Вишневский читал свою пьесу, и спросил:

— Где же следы пуль?

Следов пуль на потолке не было.

— Но как же так? Ведь он стрелял!..

Так прокладывало себе путь к постановке первое драматургическое произведение Вишневского. Он читал его во многих аудиториях — в Ленинграде и Москве — еще до того, как принялись за работу режиссеры. Его не смущало, что зал иной раз бывал полупустым, как в один

из январских вечеров в Доме Герцена. Те, кто присутствовал тогда на чтении, конечно же, не могли знать, что по прошествии нескольких лет начинающий автор станет весьма популярным в стране писателем. А впрочем, сколько бы ни было в зале людей — все они в конце концов оказывались пленены пьесой в исполнении автора.

«Весь облик Всеволода Вишневского как писателя и человека сродни тому образу Ведущего, который занял столь важное место в его пьесах, — писал В. О. Перцов. — «Ведущий» нарушал «вежливую тишину» зрительного зала, добиваясь прямого общения с аудиторией, вовлекая зрителя вместе с эмоциями сопереживания в круг действия и содействия тому, что творилось на сцене. «Ведущий» — это «наша совесть, наша память, наше сознание, наше сердце» — так объяснил автор «Первой Конной» значение этого персонажа, который столь необычно вторгался в заповедный мир театральной иллюзии, где вся задача, казалось, состояла в том, чтобы заставить зрителя забыться и поверить в то, что развертывающееся перед ним действие не игра, а сама жизнь».

Именно поэтому так единодушно и горячо принимали пьесу конармейцы. 8 декабря 1929 года в одной из комнат музея РККА собрались члены комиссии Реввоенсовета СССР по подготовке празднования 10-летия Первой Конной и среди них — С. М. Буденный и Е. А. Щаденко. Вот каким запомнилось это чтение самому Вишневскому: «Я против обыкновения не волновался, разве чуть-чуть. Дали мне слово «для доклада». (Я наблюдал за собравшимися — крепкий народ, старая гвардия.)

...Взял с места. Кто-то еще сказал: «Вам пять минут». Читаю. Тишина, вытянуты шеи, кто-то прячет мокрые от слез глаза. Тихо-тихо... Я читаю и сам впервые постигаю силу вещи, раскрываю для себя все новое и новое.

То смех в крепко-соленых местах, то мертвая нервная напряженность. Ни единого замечания, кашля — все как загипнотизированные.

Наконец я кончил. Кончил сильно, встал, сгреб рукопись и тяжело сел на место.

Впечатление сильное...

Буденный говорил хорошо, ласково.

Кто-то говорит:

— И где он все это взял: точно, верно политически и художественно?

Я (с места):

— Взял на фронте — от Воронежа до Ростова — когда шли...

Тут же старые бойцы — люди практичные — вспыхнул спор о том, где ставить пьесу. Засомневались — под силу ли Театру Красной Армии — ведь он еще только рождается.

— Надо отдать Мейерхольду, — предлагали одни.

— Нет, — категорически возражали другие.

— Ставить параллельно в нескольких театрах, — настаивали третьи...»

Автор сидит спокойно, внешне выдержан, даже невозмутим, а сердце колотится бешено. Ему уже ничего не надо говорить — слушатели во власти его произведения.

В заключение Буденный рубит краткими, весомыми фразами:

— Признать пьесу чрезвычайно удачной в художественном и политическом отношении. Живые люди... Все этапы исторически верны... Это единственно удачная из всех прежних попыток... Всемерно рекомендовать к постановке в театрах...

А затем, обращаясь к Вишневскому и ободряюще улыбаясь, Семен Михайлович добавляет:

— Оставайтесь в Москве, шевелите пьесу, чуть что, мы им поддадим...

Окрыленный такой реакцией, Вишневский поверил в свои силы, начал действовать энергично. На заседании художественного совета Театра Красной Армии, например, когда один из участников обсуждения, ссылаясь на всевозможные сложности, предложил отодвинуть работу над «Первой Конной» на год, Всеволод резко, прямо в лицо выпалил:

— Ну. кройте — по-черепашьи...

Режиссер П. И. Ильин умно и тонко провел линию за то, чтобы немедля приступить к репетициям. Вишневский принял это как должное и, подняв сжатый кулак над головой, сурово и решительно произнес:

— Мы дадим вещь, которая шибанет теа-мир. Ведь пьеса из крови, слез и великого духа Красной Армии.

История «Первой Конной» примечательна многими обстоятельствами, но прежде всего рекордно коротким сроком написания. По плану, набросанному в ночь на

2 ноября 1929 года, Вишневский написал пьесу меньше чем за две недели, завершив ее 14 ноября. Спустя четыре дня, в ночь 10-й годовщины создания Первой Конной армии, рукопись отослали театру.

Писал он прямо-таки запоем, практически без перерывов. Спал не раздеваясь. Лишь изредка выходил на улицу, но и здесь пьеса не оставляла его. Так, однажды ночью на Литейном проспекте был написан эпизод, относящийся к польскому фронту.

В комнате Всеволода — на столе, диване, на окнах и даже на полу — в понятном только ему одному порядке разложены дневники, воспоминания и записные книжки фронтовых лет, выцветшие, побывавшие в десантах и атаках письма, клочки приказов, листовки Политического управления Первой Конной армии. Рядом — подшивки журналов «Война и революция», «Красный флот», книги по истории.

И позже снова и снова он сверял написанное с документами. В декабре, побывав в Музее РККА, Вишневский замечает в дневнике: «На рукоятке револьверов и обрезов и на эфесах шашек точно следы потных грязных рук... Знамена!.. Лица, лица, лица... Вот лавины бойцов. Рвань одежд. Лица, лица... Здесь по одной фотографии можно писать эпические вещи.

Я снова вижу героев своих рассказов и пьес».

С самой первой минуты работы над «Первой Конной» драматургом владело желание создать настоящую пьесу о Красной Армии, ибо то, что он читал и видел на сцене театра — а спектаклей в честь 10-летия РККА было поставлено немало, — почти все вызывало в нем чувство горечи и глубоко личной обиды: «Нет Красной Армии в театре, в кино, — сбоку, фоном, кусочками, вспомогательным материалом. А впереди — «герои». «Перекоп» в Театре оперы и балета. Липа. Тоска. Фальшиво-оборванный герой-боец среди чисто одетых статистов, живописно изучающих на бивуаке азбуку. Чужое. Совсем не настоящее...»

Подход у режиссеров при соприкосновении с темой гражданской войны один: «Изобразите, пожалуйста, такой-то бой и вообще... А в бою герой X спасет героиню Z и еще что-нибудь сделает. Красноармейская масса — материал для экспериментов философствующих. Это — оскорбительно...»

Таким образом, тема личности и народа, а точнее, на-

р о д а и личности, перед пишущим «Первую Конную» встала во весь рост.

Надо говорить о сути, и если это не сумели сделать профессиональные драматурги, сценаристы, режиссеры, долг старых бойцов выполнить задачу. Тем более важно сделать это сегодня, когда отдельная Дальневосточная армия Блюхера ведет бой против китайских милитаристов, а театральные и литературные снобы то и дело брюзжат: «Опять о гражданской войне, опять стрельба, белые, красные... Надоело...»

Позже Вишневский так расскажет о том, как рождался замысел: «Просто, отчетливо создался план: что пережил за 1914—1929 годы — пиши. И ни капли больше. Так определил: вся вещь — документ. Форма? О форме подумал. Я буду прям здесь: не хотим мы, бойцы, видеть Красную Армию и Красный Флот фоном, задником для психологических или сексуальных упражнений трех-четырех «героев» (даже командармов) и «героинь»...»

Первые наброски эпизодов. Писал страницу за страницей, отвлекаясь только для того, чтобы взять письмо, книгу, документ, помогала привычка исследователя и журналиста — быть скрупулезно точным. Напевая мелодии солдатских песен, вспоминал давно забытые слова. Диалог, речевые характеристики персонажей отшлифовывал, проигрывая тот или иной эпизод. Импровизировал, громко отдавал команды и распоряжения — и все яснее и яснее видел и слышал людей, которых он задумал изобразить.

«Первый раз в жизни у меня идет чистая, высокая, волнующая творческая работа, — записывал Вишневский в дневнике. — Я нервен, устал. В пьесу вкладываю себя — свое. Я тихо плачу, весь передергиваюсь от наплыва массы образов. Идут и идут новые эпизоды...

Я нахожу удивительным, непостижимым образом форму. Плетется сложный архитектонический узор.

Вижу слабые места черновика. В общем, весь месяц отдан пьесе. Книгу [1] свою о Финляндии застопорил...»

«Первая Конная» — это попытка рассказать о революции по-новому, отобразить в литературе и театре но-

---

[1] Здесь имеется в виду научная работа «Личный состав финского флота», которую Вишневский готовил к изданию отдельной брошюрой.

вые пласты жизни, истории. Тема вооруженного народа, тема рождения и кристаллизации под огнем нового общества — вообще сквозная, ведущая в творчестве писателя.

Вишневский разъяснял авторский замысел «Первой Конной» так: «Театр — новый, старые каноны прочь! Прочь топтание на часы — по актам. Прочь психологию героев, первопланные, значительные многоговорящие и многоиграющие фигуры. Пусть течет масса, а вне отдельными соц(иальными) ориентирами — некие типы: солдат, крестьянин, рабочий, офицер. Я хотел даже не называть их...»

И на самом деле: в перечне действующих лиц — «офицер», «рабочий», «командир», «казак», «ведущий» и лишь одно-единственное исключение — «драгун Иван Сысоев». Тем самым автор заявляет, что главное — в собирательных образах, типах, которые в целом представляют революционный народ и его врагов; что в основе пьесы идея коллектива. Не так важно, кто конкретно борется, главное — как и во имя чего.

И в драматургии (многолюдный и многокартинный «Шторм» В. Билль-Белоцерковского), и в прозе («Железный поток» А. Серафимовича) у Вишневского были предшественники. Вспомним, в романе Серафимовича все время действует масса, и сам автор о главном герое говорит так: «Кожух — герой и не герой. Он не герой, потому что если бы его не сделали люди своим вожаком, если бы они не влили в него новое содержание, то Кожух был бы самым обыкновенным человеком».

Драматург в «Первой Конной» видел не столько художественную хронику подвигов буденновцев, сколько драму о борьбе всего вооруженного народа за свое социальное освобождение. Вишневский хорошо помнил слова М. В. Фрунзе о том, что Конная как в фокусе собрала типичное для всей Красной Армии.

«Только куски, эпизоды — как мы всегда схватываем жизнь, сцепляя эти куски сознанием, — объяснит позже принцип развертывания действия Вишневский. — Искусственное сочетание, подгонка действия к трем дверям (единство места), на один акт не годится в данном случае. В беге эпизодов должно, я так полагал, увидеть самое острое, характерное».

Вишневский стремится передать движение истории, беря узловые моменты революции и гражданской войны.

Его драма тяготеет к формам прозаической эпопеи. В этом проявлялась общая закономерность развития литературы того времени — к эпическому жанру так или иначе приходили и другие писатели, в частности, Ал. Толстой, М. Шолохов.

В начале пьесы Ведущий говорит о дореволюционной России — нищей, голодной, а затем один за другим выстраиваются эпизоды, воссоздающие жизнь армейской казармы с ее муштрой, издевательствами, попранием человеческого достоинства, сцены, раскрывающие нравственное уродство эксплуататорского строя.

Вот одна из ярких картин забав унтер-офицеров (эпизод «Письма принесли»).

Солдаты в ожидании томятся, мучаются, мнутся. Наконец взводный, держа в руках письмо, якобы готов проявить милосердие:

«Взводный. Тар-ас Охри-ме...

Солдат. Я-а, господин взводный!

Взводный. Дурак, рази я усю фамилею твою досказал? Кудды ты лезешь, хохол проклятый!

Солдат *(испуганно)*. Виноват, господин взводный.

Взводный *(снова растягивая)*. Та-рас Ох-ри-мен...

Пауза. Охрименко стоит — не шелохнется. Взводный любуется им.

— Стой, стой, хохол. Ишь, письма захотел. Поди, от бабы?.. Сладкая у тибе баба, а?

Взводный ржет. Солдаты подражают взводному и ухмыляются, некоторые же стоят хмуро.

Взводный. Сладкая? Га-га-га... Смешно... Смешно, ребята?

Гул. Так точно, господин взводный!

Взводный *(взводу)*. Ну, смейсь!

Странный, послушный смех.

(Слушает. Потом выпаливает конец фамилии Охрименко.) «Ко!»

Охрименко *(бросается вперед и делает стойку, выпаливая)*. Я-а, господин взводный!

Взводный. Тибе, знаца, письмо! Эва! Тольки ты за письмо ета спляши.

Охрименко понуро и покорно начинает гопака. Солдаты понуро, тихо дают мотив.

Взводный. И — эх! Жги!

Охрименко бьет ногами еще сильнее. Взводный кружит перед носом солдата письмо, и тот, стуча каблуками, тянется.

— Ловчее!

Охрименко бьет еще сильнее.

Взводный. Так... ланно! *(Кричит.)* Стой!

Охрименко с ходу вытягивается в струнку.

Взводный. Возьми письмо. Ну-ка, что баба пишет? Читай!

Охрименко неумело разрывает конверт. Тишина. Глядит. Читает про себя. Хихиканье взводного.

Охрименко *(стоит молча. Потом тихо говорит)*. Отец у мене умер..., Згинет хозяйство... Малы дити...

Молчание. Взводный, заложив ногу на ногу, качает носком сапога.

Ведущий. Веселый гопак в казарме царской! Ух, как лихо пляшут, какие коленца выводят веселые хваты кавалерии царской!»

В следующих сценах бессловесная солдатская масса начинает прозревать. Вишневский показывает, как в солдатах первой мировой войны просыпается классовое самосознание, рождается протест против произвола и деспотизма. Вот уже Иван Сысоев взводному, который его со света сживает, «по роже дал», хотя после и пришлось стоять на бруствере окопа в роли живой мишени для неприятеля. Вот другой солдат, не веря призывам и заверениям Временного правительства, отказывается идти в атаку, на смерть и агитирует своих товарищей не участвовать в наступлении.

Старая армия расползается. По всей России — с Запада на Восток — эшелоны с окопным народом. «Домой, домой...» — одна мысль владеет всеми. В теплушке вагона — разговор, один из тех, которые ведутся на разбуженной от векового сна российской земле, — о белогвардейцах-корниловцах, Красной гвардии, о большевиках. Драматург строит диалоги удивительно точно — и с по-

зиции верности исторической правде, и с психологической точки зрения. Всей логикой повествования, построением и последовательностью сцен он утверждает: никогда — в переломный момент истории тем паче — нет, не может быть нейтральных. Взяться крестьянину за плуг, встать рабочему у станка время еще не наступило. Эту возможность, право на свободный труд, еще надо завоевать, защитить. Казалось, Ивану Сысоеву возвращение домой сулило мирную счастливую жизнь:

«Сысоев. Ай, хорошо дома! Целы кости довез... Ой, Ванька, бирегеть тибе бог... Но до чево ж народ сдурел... До чего сдурел... И што деется? Свой свово лупит, име, фамилие не спрашиваеть... И чево волтузятся — воздыху им мало в Расеи, што ли? В спокой надо приходить... Вот как бы я. Посев скоро, пасха... Ну, хошь ба нитральтет держали б... Кому нада — дерись, а нежелающие сами по себе...»

Но не удалось Сысоеву «в спокой» прийти, «кончилась медовая жизнь вернувшихся фронтовиков, — говорит Ведущий, — и было ей счету на дни. Нет, в гражданской войне не станешь в сторонку! Всяк задает вопрос: ты с кем. за что, за кого?»

На защиту обновленной революционной бурей Родины встали красногвардейцы, матросы, крестьяне — бывшие солдаты. Вишневский показывает сложности формирования регулярных, боеспособных, дисциплинированных частей, цементирующим ядром которых были рабочие-большевики, комиссары. Но немало вреда приносили горлопанствующие анархисты, мародеры, примазавшиеся к Красной Армии. Характерна яркая фигура одного такого демагога, нарисованная драматургом в эпизоде «Кого на испуг берете?». Чисто одетый боец в алых галифе, с револьвером в руках «выдает» подстрекательские речи в толпе вооруженных красноармейцев (повод — арест двух нарушивших дисциплину бойцов).

«Боец в галифе. Мы боссыи и голлыи. Оны в коже ходют. Мы страдаим. Оны на бархате сплят. За чьто, товарищи? А с нас насмешки строят, ни в чьто не ставят...

Гул: «Правильно!», «Правильно!»

Требуим: освободить невинных арестованных! Давай их сюда! Комиссара к ответу! Так, товарищи?

Гул: «Правильно!»

Вначале толпа словно загипнотизирована речами анар-

хиста. Да и то сказать, свой, товарищ — и вдруг арестован. Симпатии большинства на стороне смутьяна — подумаешь, не выполнил приказ...

Но вот появляется рабочий в простой гимнастерке — комиссар. Бесстрашный, убежденный в своей правоте. Громко, заглушая всех, говорит: «Не галдеть! Кого на испуг берете? Коммуниста-большевика на испуг берете?! По порядку! Говори один! В чем дело?»

Боец в галифе вновь закатывает свою хорошо отрепетированную истерику. Комиссар же, не пытаясь заигрывать с бойцами, говорит о необходимости железной революционной дисциплины: «Кто не выполняет приказа Советской власти, тот наш враг. Пособник атаманов... Невыполнение приказов поведет к развалу. Фронт рухнет. Офицеры вас передушат... Вы этого хотите?..»

Пауза, в толпе замешательство. Логика слов комиссара сильнее демагогии анархиста, и постепенно дурман его речи выветривается из голов красноармейцев, они вновь глубоко воспринимают, осознают правоту суровых и жестких слов комиссара: бьются они за Советы — крестьянские, рабочие; в бой их ведут большевики; кто нарушил приказ, тот изменяет общему делу и должен быть предан суду.

Завершается сцена лаконичным и точным комментарием Ведущего, который обращается к зрителям: «Так партия руками политических работников, не знавших колебаний и страха, выковывала регулярные полки, бригады, дивизии, корпуса, армии. Воля партии была выполнена, и армии — наши армии! — были созданы».

К слову сказать, эпизод этот во многом автобиографичен: на Украине, под Александровском, в 1919 году Вишневскому пришлось убеждать целый эскадрон красных кубанцев — они не хотели идти на фронт из-за того, что кони заморены...

Накал боев, самоотверженность, мужество революционного народа передаются в пьесе эпизодами трагико-героического характера. Таковы, например, романтически приподнятые, волнующие сцены «Под темным небом», «Смерть коммунара», в которых в полную силу звучит своеобразный голос драматурга.

В ранних рассказах двадцатых годов почти всегда присутствует автор — рассказчик, непосредственный участник события с его отношением к происходящему, с его эмоциями и чувствами. Ведущий в «Первой Конной» —

дальнейшее развитие публицистической, ораторской интонации в творчестве писателя. И еще одна особенность сценического стиля Вишневского — прямое, доверительное, в расчете на взаимное понимание и поддержку, обращение к зрителю.

Молодой драматург выказывает и незаурядное чувство юмора, создавая колоритные образы разбитных, любящих ядреное словцо и шутку, выхваченных из гущи народной конармейцев — эдаких Теркиных времен гражданской войны. Вспомним буденновского бойца (эпизод «В вагоне»).

Один из первых исполнителей этой роли в театре, Дмитрий Орлов, играл ее патетически, возвышенно. Михаил Жаров пошел по иному пути: веселый, жизнерадостный солдат, надвинув буденовку на вихры, надел перчатки и пошел в «атаку». Иллюстрируя наступление конницы, он ловко и точно по смыслу текста то обнимал молодку, то ласково поглаживал ее... Простая по замыслу и сюжету сцена «В вагоне» словно рождена была для исполнения на эстраде и по радио: Орлов и Жаров, например, играли ее в концертах и читали по радио не один десяток лет.

...Пышущий здоровьем, красивый, щеголевато одетый конармеец получил семидневный отпуск. В отличном настроении отвечает он на расспросы соседей по купе:

«Боец *(пьет чай — в перчатке, — оттопыря мизинец, потом одергивает гимнастерку)*. Впечатление у мине от Буденнова *(пауза)* ничево *(пауза)*, хорошее. *(Глядит на молодку.)* Да... Вот было... *(Постепенно попадает в русло воспоминаний и бросает «форс», становясь безыскусственным, но не забывая про молодку.)* Ростов — взяли. Белые у Батайска. Стали — упираются. Пробуим в лоб взять. У нас потеря. Какое дело, а? Ну, Конную в обход! Стоять мы постояли — тольки постираться успели... Тут та-та-та-та... Тревога. Седлать! Ну, седлаим. Ожидаются отважные бои, иттить на Дон — в степя. И только. Лишнево не класть, белье одеть чистое — на случай пуля тронет... Идем. За Дон. И шли несколько переходов. А там белы-ых... Ну, добре...

Пауза. К рассказчику подсаживаются ближе.

Да... А Деникин што? Зовет своих генералов от кавалерии, Павлова и прочих. *(Наивно-удивленно.)* «Как так — почему красные за Дон идуть? Чтоб я больше

имени Буденно-Ворошилова не слыхал. И только. Кто они такие, Буденно-Ворошилов?» — это Деникин спрашивает. «Нижние чины, вашесокдитство», — ответ ему генералы дают. «Как так, не може быть!» — «Виноваты — недоглядели... Тольки так и есть». Деникин усмехнулся и говорит: «Поймать! И только». — «Слушаемся!» Откозыряли генералы и покатились. Ну, покатились Буденно-Ворошилова ловить... Ну, добре... А мы и сами за Дон идем — на, мол, лови! У Шаблиевки сошлись. Лови, ну! А они не ловють. Осерчали мы — побили их... *(Лукаво.)* Грех... У Торговой ишо сошлись... *(Серьезно.)* Ох, бой был! С холоду лютые — смерти не видят — идуть белые. Останову нет. Прямо беда... Однако и тут их побили. И только. В степь их угнали. А мороз! Спасу нет. Утром мы в разведку. *(Начинает усиленно жестикулировать.)* Глянь — чернеет. Белые! *(Пауза.)* «Сдавайсь!» Молчат. «Сдавайсь!» Молчат. К ним! *(Пауза.)* Стрельбы нету. Што за хреновина!.. *(К молодке.)* Вино-ват!.. Подскакали. «Сдавайсь!» А они *(пауза)* все мертвенькие».

Чередуя трагическое и смешное, ведет рассказ молодой буденновец, постепенно завоевывая симпатии аудитории. И в этом и в других эпизодах явственно желание автора с целью типизации персонажей использовать богатую палитру речевых красок, черпая их из родников народной речи — речи бойцов, крестьян, рабочих эпохи гражданской войны. Ведущему же драматург нередко дает ритмическую прозу — поэтическую речь, в которой весьма заметно влияние и русских былин, и великого эпоса «Слово о полку Игореве». Здесь, как и в некоторых ранних рассказах, слышатся лирико-эпические интонации гоголевского «Тараса Бульбы» (не случайно это заметил и А. М. Горький в письме к Вишневскому). Драматург стремится проникнуть в сущность описываемых явлений, и этому он учится у Толстого. Новаторство и неутомимость в исканиях уживаются у Вишневского с внимательным отношением к опыту классической русской литературы.

Вишневский беспрерывно дорабатывал пьесы — и во время подготовки спектаклей театрами, и для очередных переизданий. Вообще можно сказать, что он не знал, что такое о к о н ч а т е л ь н ы й вариант своего произведения. Он стремился разрешить диалектическое противоречие, таившееся в самом замысле «Первой Конной»: максимальная документальность содержания («все, как бы-

ло!»), в чем проявилось его естественное, природное стремление к реализму и в известной степени неосознанная заданность в поисках новой формы. В пьесе заметно ощутимы и традиции демократического, массового агитационного характера театра времен гражданской войны.

Как показал дальнейший путь писателя, он, несмотря на временное увлечение формотворчеством, не пристал к кораблю эстетствующего формализма.

6

«Первая Конная» — широкая панорама социальных потрясений. Показ жизни и борьбы, непрерывного столкновения интересов классов и групп, поэтизация мужества и беззаветности трудового народа в борьбе за свободу, утверждение главенствующей роли коллектива перед отдельным «я» — все это вызывало горячий отклик в сердцах читателей и зрителей, строителей первых пятилеток — эпохи массового коллективного героизма на трудовом фронте. «Мало сказать, что «Первая Конная» имела огромный успех у петроградского рабочего зрителя. Этот спектакль превратил театр (Госнардома. — *В. Х.*) буквально в место паломничества, куда зритель пошел не самотеком, а стройными колоннами беспрерывных культпоходов. И, пожалуй, небывалый случай в летописях советского театра, когда аншлаг «Все билеты проданы» вывешен сразу на все спектакли до 1 мая», — свидетельствует газета «Рабочий и искусство» от 31 марта 1930 года.

Сразу после появления пьесы в печати вокруг нее развернулась полемика. Ее первым аккордом послужили такие явно с вызовом написанные Семеном Михайловичем Буденным слова: «Мне хочется указать на то, что только пулеметчик Вишневский, боец Первой Конной, один из могучего коллектива ее героев, смог создать эту вещь — нашу вещь — конармейскую... Боец рассказал о бойцах, герой — о героях, конармеец — о конармейцах». (Из предисловия ко 2-му изданию «Первой Конной», 1930.)

Некоторые литературные критики, да и писатели встретили новую пьесу в штыки, и тому были свои причины. Понять их сложно, если не принять во внимание трудности роста молодой советской литературы. В центре

всех споров о путях ее развития была проблема истоков, традиций, отношения к культурным ценностям, созданным предшествующими поколениями. При этом ,нередко противопоставлялись такие понятия, как традиция и новаторство; мастерство, талант и идейность; герой и масса, народ.

Как известно, в различного рода «р-р-революционных» теориях, смысл которых чаще всего сводился к тому, чтобы выбросить на помойку русскую, а заодно и мировую классику, недостатка не было. Однако претензии авангардистов были отброшены практически с порога В. И. Лениным, который в мае 1919 года на I Всероссийском съезде по внешкольному образованию сказал, что буржуазная интеллигенция «сплошь и рядом образовательные учреждения крестьян и рабочих, создаваемые по-новому, рассматривала как самое удобное поприще для своих личных выдумок в области философии или в области культуры, когда сплошь и рядом самое нелепейшее кривляние выдавалось за нечто новое, и под видом чисто пролетарского искусства и пролетарской культуры преподносилось нечто сверхъестественное и несуразное» [1].

Сторонники «нового» обещали «лабораторным путем» создать особую «пролетарскую культуру». И хотя в известном письме ЦК РКП(б) 1920 года «левое» искусство было осуждено, на протяжении последующего десятилетия наступление против реализма велось широким фронтом.

Один из исследователей раннего творчества Вишневского, Ю. Неводов, в книге, вышедшей в 1968 году в Саратове, в целом справедливо пишет о том, что молодой писатель «на протяжении сравнительно короткого периода успел переболеть многими болезнями времени, с известным опозданием восприняв и нигилистическое отношение к классике, и во многом наивные представления о новаторстве, и упрощенные взгляды на «социальный заказ». И над всем этим господствовало стремление к поискам стиля, отвечающего бурной, обновляющей жизни». Своего, неповторимого стиля, к которому он шел уже целое десятилетие и открыл его для себя и других в первой же пьесе, — добавим мы.

Однако и в упоминаемой здесь книге, и в ряде других изданий, в периодике конца двадцатых — и до середины

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 38, с 330.

тридцатых годов в особенности — Всеволод Вишневский представлен исключительно как ярый противник классической литературы и театра. Причина такого заблуждения кроется, по-видимому, в своеобразии характера Вишневского, который в спорах со своими многочисленными противниками и в пылу полемики нередко допускал преувеличения, перехлесты. Увлекаясь, он иногда приписывал своим произведениям несуществующие свойства и особенности, что принималось за чистую монету.

В самом деле, признавая только театр патетического и героического звучания, Вишневский отбрасывал (справедливость требует признать — только на протяжении нескольких лет своего вхождения в литературу) творчество ряда драматургов-реалистов, упрекал их в чрезмерной индивидуализации героев (они-де, герои, «по-старому выворачивают на протяжении 3—4—5 актов свое нутро», нарушая тем самым закономерность соотношения «я» и коллектива). «Не интересна личная драма Ивана, Петра, Сидора. Интересно *место* Ивана, Петра, Сидора в марше, в бою, в действии», — писал в 1930 году Вишневский. И ему верили, распространяя во всем объеме этот программный тезис на его собственные произведения.

Но подтвержден ли такой принцип ну хотя бы даже в «Первой Конной»? Разве движущиеся с непривычной, поистине кинематографической скоростью эпизоды, вобравшие в себя только самую суть, не дают нам представление о десятках и сотнях пусть и ограниченных социальными рамками, но личных драм иванов и сидоров? И разве Сысоев, несмотря на все декларации автора, не является главным героем пьесы? Не налицо ли здесь противоречие: в теории, в литературных спорах Вишневский громит «первопланных героев», выступает против «психологизма», а на практике — хотя и скупо, но вместе с тем емко и пластично — отображает внутренний мир человека? Это, кстати, понимал и сам Вишневский. В 1931 году он говорил: «Первая Конная» — вещь весьма рассудочная и при отсутствии «психологизма» тем не менее показывает настоящую психологию вокруг и внутри действия» (разрядка моя. — *В. X.).*

На рубеже двадцатых — тридцатых годов в полемике между театральными «консерваторами» (А. Афиногенов и В. Киршон) и «новаторами» (Н. Погодин и В. Вишневский) последний благодаря своему темпераменту занимал более решительную позицию, нежели его соратник, счи-

тая, что «новый материал требует новых выразительных средств». Николай Погодин аналогичную точку зрения обосновывал следующим образом: «Семейные страсти, семейственные перипетии сходят на второй план, уступая место социальным страстям, которые становятся не менее эмоционально действенными, чем первые».

«Консерваторы» на первый план выдвигали необходимость психологической разработки, индивидуализации героев и столь же яростно атаковали концепцию «публицистической драмы».

Довольно скоро позиция Вишневского станет мягче, терпимее. В 1933 году, например, он записывает в дневнике: «Перекинулся на фракции парой слов с Афиногеновым. С какой-то стороны он меня интересует, привлекает...» А вот еще одно свидетельство стремления понять другого: «Пленум писателей... завистники... критики... Чехов у Мейерхольда, Островский на экране, «Первая Конная» в Зеленом театре... сколько разных струй, и как в каждой из них своя жизнь...» (А. Афиногенов. Дневники, 1935 г.).

Вишневскому всегда, всю жизнь в высокой степени был свойствен юношеский максимализм. Не случайно Погодин четверть века спустя после их знакомства написал о том, что Вишневский его «поразил при встрече. Он показался мне человеком или необъяснимым, или вполне искусственным... Все суждения — на пределе, на гребне, крайние. И только через год-другой — а мы всегда были друзьями по идеям... друзьями без личной близости — я убедился, что Всеволод Вишневский — вечная юность, если не детство революции...»

И жизнь, и приход в литературу Вишневского во многом напоминают литературную судьбу Дмитрия Фурманова: оба прошли войну, оба ощутили жгучую необходимость рассказать о пережитом. Внимательное сопоставление произведений этих двух писателей показывает, сколь близки они по духу, по авторскому отношению к происходящему. Их идейную и творческую близость ощутили и современники: «Они (Фурманов и Вишневский. — *В. Х.*) умеют видеть правду как она есть и умеют рассказать о личном опыте боевых лет. Они оба непримиримые враги всякой лакировки, всякой успокоенности, всякого сглаживания углов» (журнал «Морской сборник», 1930 г.).

Совсем неудивительно, что в таком близком им по жизненному материалу произведении, как «Конармия»

И. Бабеля, каждый из них увидел и отметил слабости определенного плана:

Дм. Фурманов: «Нет массы. Нет подлинных коммунистов. Побудительные стимулы борьбы мелки».

Вс. Вишневский: «Бабель... односторонне, искривленно показал нас, буденновцев... Несчастье Бабеля в том, что он не боец. Он был изумлен, испуган, когда попал к нам, и это странно-болезненное впечатление интеллигента отразилось в его «Конармии».

В творческий спор Вишневского с Бабелем, точнее говоря в спор об их произведениях, было вовлечено много людей. Центральный вопрос, несомненно, заключался в том, как показана Первая Конная, — то есть речь шла о правде жизни и правде искусства, о том, как автор, художник относится к фактам, событиям, людям. В газетах и журналах возникали дискуссии о пьесе Вишневского, и, как правило, редко кто из авторов обходился без сопоставления ее с «Конармией» Бабеля. И уже тогда некоторые критики, в частности В. Перцов, отмечали, что Вишневскому совершенно несвойственна созерцательность. Помня, как гибли братья по духу, драматург с нескрываемой болью и мукой пишет сцену «Под темным небом»: «Прощайте, лихие, честные головы, братаны буденновские! Нет больше коней под вами, нет в руке острой шашки и не вьется красный штандарт над полком... Под темным небом кончается жизнь, в степи, где сызмальства знали простор, с табунами ходили, потом — мужиками стали, землю пахали... Умирать пришла пора. Сердца горячие остынут, и навсегда закроются глаза...» Не «удальство» и «профессионализм» [1] позвали из теплой хаты казака — за годы мировой войны он до смерти истосковался по степным просторам, по свежевспаханному полю. Нет, не это, а святая вера в неотвратимость борьбы за свободу, землю, равенство. Не «барахольство» (были и такие, Вишневский не забыл, как командир бригады бронепоездов Лепетенко приказал расстрелять мародеров), не «звериная жестокость» (в эпизоде «Отец и

[1] Бабель, размышляя о своей «Конармии», записал в дневнике: «Что такое наш казак? Пласты: барахольство, удальство, профессионализм, революционность, звериная жестокость». Цит. по статье Л. Ливщица «Материалы к творческой биографии Бабеля» («Вопросы литературы», 1964, № 4, с. 118).

сын» убедительно показано, как прозревает масса, как растет ее сознание, приходит понимание того, что безоружные, пленные казаки — «бутылки темные», они обмануты белогвардейцами), а революционная непримиримость и вместе с тем гуманность присущи бойцам Красной Армии.

Новаторский характер «Первой Конной» был замечен и одобрен Владимиром Маяковским: «Это — продолжение моей линии в драматургии». Видимо, он имел в виду главным образом публицистичность, открытость авторской позиции. А в некрологах, напечатанных в «Литературной газете» после гибели поэта, автора «Первой Конной» называли в числе его преемников. «Мне жизнь, — писал позже Вишневский, — не дала творческого общения с Маяковским, но он шел близко, рядом. Я перечитывал его в 1931 году и ощутил это до потрясения».

В одном из выступлений того времени Вишневский выразил надежду, что Театр Красной Армии подойдет к «Первой Конной» «как к вещи, требующей правдивой простоты, а не формальных экспериментов». Вот здесь-то, на наш взгляд, суть расхождений Вишневского и Бабеля.

И издательская, и сценическая судьба «Первой Конной» оказалась счастливой: только в тридцатые годы в нашей стране пьеса выпускалась шесть раз (1930 г. — дважды, 1931 г. — в «Дешевой библиотеке» ОГИЗа массовым тиражом 50 тысяч экземпляров, заметим, что и сегодня пьесы бóльшими тиражами не выходят); 1933, 1935, 1939 гг.). Впоследствии «Первая Конная» переведена на английский, немецкий, венгерский и румынский языки и шла на сценах театров Берлина, Будапешта и Бухареста.

Премьеру «Первой Конной» увидели ленинградцы в театре Государственного народного дома 23 февраля 1930 года. Первый режиссер — Алексей Дикий (кстати, он так увлекся «Первой Конной», что поставил ее еще в четырех театрах — в Казани, Днепропетровске, Минске и Москве). Сам участник гражданской войны, он близко к сердцу принял страсть, публицистический пафос пьесы и создал спектакль — оду, памятник, гимн.

На премьере в Московском театре Революции (с 1954 года — имени Вл. Маяковского) присутствовали

бойцы Первой Конной. После второго акта зрители оглушительными аплодисментами приветствовали автора пьесы и режиссера спектакля, всю труппу. Появившегося на сцене С. М. Буденного артисты подхватили и начали качать.

Театр Красной Армии хотя и начал работу раньше, но с премьерой на двадцать дней опоздал. Тому были свои причины (театр только создавался). Однако режиссер Ильин сумел, по мнению Вишневского, подобрать удачнейший типаж, дать спектаклю бойцовскую окраску, верно и чутко выразить лирическую приподнятость и торжественность пьесы. «Первая Конная» Вс. Вишневского, — писала «Правда» 23 февраля 1930 года накануне премьеры, которой открывается Малый театр Красной Армии, — несомненно, выдающееся явление в нашей драматургии. Это подлинно красноармейская пьеса: эпизоды из жизни Первой Конной даны с большой силой, правдивостью и убедительностью, причем очень ярко подчеркнут классовый характер Красной Армии».

Молодой драматург впервые работал с профессиональными театрами, но в отношениях с актерами и режиссерами он не был робок. Привлекали его врожденный такт, чуткость к мнению, порыву собеседника; умение включиться в совместный творческий процесс. Яростно отстаивая свои взгляды, Вишневский скоро убедился в том, что работа в театре является «взаимодействием элементов» — драматурга, режиссера, актера.

К нему присматривались, нет, скорее его разглядывали — иной раз бесцеремонно, с нескрываемым любопытством. Вот таким, например, запомнил молодого Вишневского оформлявший спектакль «Первая Конная» в Театре Революции художник И. М. Рабинович: «Небольшого роста, плотный не по годам, мягкий детский овал лица и вообще что-то детское во всем облике, но... свиреп! Ух как свиреп».

Иногда Всеволод, сам того не подозревая, вызывал огонь на себя — внешним видом, выражением лица, которое выдавало внутреннее состояние. Показателен в этом смысле портрет, нарисованный драматургом А. Файко: «Но тут я увидел (во время своего выступления в одной литературной дискуссии. — *В. Х.)* его самого, вернее — понял, что вот этот крепкий, но некрупный паренек в военно-морской форме, круглоголовый, с небольшим носиком и полуприкрытыми щелочками глаз и есть он, тот

самый Всеволод Вишневский, на которого я хотел сослаться.

На его губах играла какая-то неопределенная улыбка, не то снисходительная, не то насмешливая, и я вдруг на ходу изменил намерение и вместо Вишневского бабахнул двумя глубокомысленными цитатами... Улыбка на лице Вишневского превратилась из иронической в саркастическую. На щеке заметно выступил шрам, а сам Вишневский как-то вдруг нагнул голову, будто молодой бычок, собравшийся боднуть противника».

Спектакли, как и пьеса, оказались в центре театральной жизни: о них спорили, ими восхищались или отвергали их. На страницах периодических изданий помещались рецензии, развернутые отчеты о диспутах во многих театрах страны. В октябре 1930 года обсуждение пьесы и спектакля Театра Революции провела «Литературная газета».

Любопытно, что участвовавшие здесь представители театрального искусства, как правило, говорили лестные слова в адрес пьесы. Вот одно из таких высказываний (Королев, народный театр имени Крупской): «В одной Москве пьесу «Первая Конная» берут 5 театров (речь идет, видимо, и о самодеятельных. — *В. Х.)*. Значит, что-то случилось и в драматургии, и в театре, если мы все бросились на эту пьесу. Случилось то, что товарищ Вишневский написал чрезвычайно актуальную, новую, своеобразную, совершенную форму спектакля, дал чрезвычайно сочный, ценный материал. Вы поговорите с любым актером, который читает эту пьесу, — кроме радости вы ничего не видите».

Молодой, но уже известный критик, автор книги «Новейшие театральные течения (1898—1923)», заведующий литературной частью МХАТа П. А. Марков:

«Я очень хорошо знаю эту пьесу и очень ее люблю, потому что она дает богатый, замечательный материал для театра... Это тот очень редкий сейчас в театре материал, из которого можно сделать очень большую и значительную пьесу... Вся сила Вишневского в том, что он написал эту вещь чрезвычайно страстно». Главное в пьесе, по мнению Маркова, — героизм в простоте: только герои могли разбить многочисленные армии белогвардейцев и не помышлять при этом себя героями. Автор сумел передать естество народное.

Режиссер Дикий назвал пьесу «воспоминаниями бой-

ца, участника и очевидца, написанными с яростной силой таланта». И труппы, которые создавали спектакли под руководством А. Дикого, хорошо поняли идеи пьесы. Особенно удачен был спектакль театра Госнардома, где новизной, свежестью, исключительной художественной искренностью выделялись образы Сысоева и Офицера, которых играли блестящие актеры Борис Бабочкин и Михаил Астангов. Первый легко, без нажима, с хлестким юмором показал, как личные обиды и недовольство притеснениями переплавляются в классовое сознание необходимости решительного отпора врагам, — Бабочкин создал образ, олицетворяющий народный гнев и народную мудрость. А Офицер у Астангова умен, но этот ум — циничный, бесплодный, пронизанный холодным, все разъедающим скепсисом, только подчеркивающим духовную обреченность героя.

Алексей Максимович Горький писал Вишневскому: «Пьесу Вашу, т. Вишневский, прочитал раньше, чем Вы прислали мне ее. Хотел написать Вам — поздравить: Вы написали хорошую вещь...

Пьеса очень понравилась мне, и я рад, что она будет поставлена в МХАТе, там ее хорошо разыграют, а это как раз то, что надо».

МХАТ соблазняла возможность сотрудничества с молодым драматургом, вспоминает Марков, так как в этом неистовом человеке было **нечто**, что не могло не привлечь театр. Его многоэпизодное сочинение поражало соленой ядреностью, искренней жизненностью и при всей подчеркнутой агитационности заключало в себе такую необходимую театру глубину. Из мхатовцев больше всех увлекся Вишневским Н. П. Хмелев, в котором наивная детскость сочеталась с пронзительным пониманием искусства, изощренным мастерством и постижением человека. И хотя они были людьми очень разными по темпераменту — открытый, бурный, в чем-то прямолинейный Вишневский и затаенный и неожиданно вспыхивающий Хмелев, — их сближала непосредственность восприятия жизни.

Казалось, что дело споро шло на лад. Хмелев послал Вл. И. Немировичу-Данченко подготовленный к репетициям текст пьесы (режиссура была бы за Хмелевым с участием Маркова). Художник В. В. Дмитриев предложил очень верный по смыслу, сценически выигрышный макет (он, к сожалению, так и остался неосуществлен-

ным) и полностью отвечавший сложному впечатлению от пьесы, в которой Хмелев ощутил близкий ему трагизм в сочетании с силой жизни. Это был как бы вращающийся земной купол, покрытый нежной весенней зеленью, где-то, однако, отливающей желтизной. Купол делился на сегменты, которые, открываясь, обнаруживали внутренность вагона, платформу станции и т. д.

Но Вишневскому не терпелось: слишком медленно, на его взгляд, МХАТ приступал к работе, и он отдал другой экземпляр пьесы театру, способному поставить ее быстро. Руководство Художественного сочло поведение Вишневского оскорбительным: в те годы не очень принято было ставить одну и ту же пьесу в двух московских театрах...

В дискуссиях о пьесе и спектаклях «Первая Конная» Вишневский не один раз заявляет о том, что он не держится слепо и безрассудно за принятый метод («психологический» или «антипсихологический»), а готов прибегать к тем приемам, которые способствуют достижению социального результата, качественного эффекта, — в том числе и к глубокому психологическому анализу. Это важно, так как свидетельствует, что оценкой своего творчества, собственной практикой уже тогда, в конце 1930 года, он фактически опровергал многие теоретические постулаты противников классических форм и жанров, к которым и сам тогда принадлежал.

Вишневский по-прежнему живет в Ленинграде и очень часто наезжает в Москву, но уже не как инженер Научно-технического комитета ВМС, а как писатель. То его приглашают участвовать в праздновании юбилея Первой Конной, то на совещание писателей. Наконец 6 мая 1931 года командир РККФ В. В. Вишневский получил предписание: «С получением сего немедленно отправиться в распоряжение ЛОКАФ, куда Вы откомандировываетесь с оставлением в резерве РККА».

Как известно, Литературное объединение Красной Армии и Флота явилось организацией, куда вошли писатели, тяготеющие к военной, или, как тогда говорили, оборонной тематике, — Николай Тихонов, Леонид Соболев, Степан Щипачев, Владимир Ставский, Алексей Сурков, Борис Лавренев, Александр Прокофьев, Владимир Луговской и многие другие. Вс. Вишневский был одним из ини-

циаторов этого объединения, а также создания ежемесячного литературно-художественного и общественно-политического журнала ЛОКАФ, первый номер которого вышел в январе 1931 (с 1933 года журнал называется «Знамя»). Для этого издания, помимо его специфической тематической направленности, были характерны интенсивные поиски новых форм, стиля, и это делало журнал особенно близким Вишневскому.

В феврале 1930 года состоялось два важных события в его жизни. Пятнадцатого в два часа дня ему позвонил из Москвы Петр Попов и поздравил с награждением его за старые боевые заслуги орденом Красного Знамени. Спустя восемь дней председатель ЦИК СССР Михаил Иванович Калинин вручил в Кремле награду Вишневскому, вряд ли признав в нем того напористого и красноречивого юношу, который выступал вместе с ним в 1921 году в Новороссийске в защиту платформы В. И. Ленина — против троцкистов и децистов.

Тогда же Вишневский наконец делает то, о чем так часто они говорили с Папаниным, — пишет заявление о приеме в партию. «Ряд лет проверял себя — и неизбежно приходил к выводу: я органически, кровно связан с делом Октября, с делом партии.

...Считаю, что я обязан вступить в партию, с которой честно прошел большой путь. Мой уход в 1921 г. был тяжелым следствием надлома и громадной усталости после 7 лет очень больших испытаний, лишений. Не хватило тогда силы у юного человека.

Прошу принять в партию. Иду с готовностью, зная, что буду тем же бойцом, каким был с 1917 года». Рекомендовали Вишневского Иван Дмитриевич Папанин, Петр Петрович Попов и еще несколько партийцев со стажем с 1917—1919 годов.

О разносторонности и в то же время целенаправленности способностей Вишневского очень хорошо сказал Н. С. Тихонов: «Я не знаю такого второго писателя, который, как Всеволод Вишневский, был словно бы создан для революционных битв и событий мирового масштаба. Если бы не его таланты драматурга и импровизатора, он смог бы быть военным историком, офицером генерального штаба, политработником, занимающим самые ответственные посты».

Успех «Первой Конной» предопределил выбор писательского пути.

Часть III

«ДЕСЯТИЛЕТИЕ БЕШЕНОГО НАПОРА, ТРУДА, ДРАК, МУК И ПОБЕД...»

1

«Считаю себя как писателя порождением революции», — говорил Вишневский. В художественном отображении военного подвига драматург видел путь к философскому постижению жизни: своих героев он подвергает предельным испытаниям. Именно в таких критических ситуациях проходит проверку сила, воля, надежность человека — этим во многом объясняются поиски писателем монументальной драматической формы и романтической образности.

В редкую минуту расслабления и передышки Вишневский с огорчением и даже каким-то отчаянием пишет в дневнике: «Неужели судьба моя — вечно война, о войне, о крови, уничтожении живого, о смерти... Или двадцать два года военной службы, — давление войн, — так безнадежно сильно в моем творчестве?

Эпоха войн и революций! Еще далеко до отдыха. Да и отдохнет ли человек вообще? Он вечный буян, искатель».

О первом поколении советских писателей хорошо сказал Александр Фадеев: «Когда по окончании гражданской войны мы стали сходиться из разных концов нашей необъятной Родины — партийные, а еще больше беспартийные молодые люди, — мы поражались тому, сколь общи наши биографии при разности индивидуальных судеб. Таков был путь Фурманова, автора книги «Чапаев»... Таков был путь более молодого и, может быть, более талантливого среди нас Шолохова... Мы входили в литературу волна за волной, нас было много. Мы приносили свой личный опыт жизни, свою индивидуальность. Нас соединяло ощущение нового мира, как своего, и любовь к нему».

Летом 1930 года Всеволод много сил отдавал созданию ЛОКАФа: ездил на маневры, в лагеря военных округов, на корабли Черноморского и Балтийского флотов, участвовал в разборе книг начинающих армейских и флотских писателей. Как член президиума ленинградского отделения ЛОКАФа, Вишневский руководил военно-литературными курсами, на которых училось свыше 60 писателей.

Собратья по перу слушали горячие, требовательные речи, в которых он призывал без промедления и всесторонне готовиться к защите Родины с оружием в руках. Сила Вишневского-оратора не только в огромном темпераменте, искренности и убежденности, но и в глубоком знании предмета разговора. Вот как обычно он строил свои выступления.

Крупными мазками рисуя панораму международной жизни, давая обзор военной мощи стран — потенциальных противников и анализ экономики своей Родины, ее оборонных возможностей, тут же «на ходу» делает выкладки: сколько понадобится боеприпасов, горючего, средств связи и т. п. Вишневский говорит о глобальном характере будущей войны — она будет вестись и на фронте, и в тылу, отсюда задачи писателей: «Нервы класса — вам следить за ними. Вам обеспечить их спокойствие, выдержку».

Страсть, напор, эмоциональная насыщенность — и точный расчет, экономические выкладки, практические советы, — вот, казалось бы, с трудом совместимые составные речей и статей Вишневского. И в этом выступлении, после громов и молний в адрес тех, кто пока не принимает близко к сердцу дело обороны страны, спокойное, деловое перечисление того, чему писателям необходимо учиться сегодня: «1) знание военной специфики, 2) знания политические, марксистская подготовка, 3) литературная подготовка, газетная, журналистская, 4) подготовка организационно-экономическая, 5) подготовка историческая, 6) языки, 7) стенография, 8) пишущая машинка, 9) фото, 10) рисование, 11) связь...»

Будучи членом редколлегии журнала «Знамя», Всеволод Вишневский почти с самого первого номера принимает живейшее участие в редакционной работе и фактически оказывает едва ли не решающее влияние на формирование журнала. Он — автор многих публицистических статей, таких, как «Предохранитель спущен» (о приходе

к власти Гитлера в Германии, 1934, № 3); «Вся литература готова к обороне?» (1933, № 10) и ряда других. В «Знамени» регулярно печатались Д. Бедный, М. Залка, В. Ставский, А. Сурков, Л. Соболев, Н. Асеев, С. Щипачев.

Начало тридцатых годов — это и самый активный, и насыщенный период участия Вишневского в литературной борьбе, время непрестанных поисков. По-прежнему он продолжает яростно выступать против направления «психологического реализма», потому что, по его мнению, на практике оно приводит к бездейственно-созерцательному изображению замкнутого мирка узколичных переживаний. Он отстаивает необходимость показа психологии, выраженной в действии конкретных коллективов, в классовой практике человека. Конечно, между этими, как виделось участникам спора, полярными точками зрения не было непреодолимой пропасти — все зависело от того, как теоретические принципы воплощались в творчестве того или иного писателя.

В поисках эстетики, отвечающей потребностям нового общества, Вишневский нередко провозглашал революционный аскетизм и практицизм. «Взять так называемые вечные нормы эстетики, — писал он в статье «Передовая цепь» (журнал «Советский театр», 1931, № 1). — Кто не воспевал море? Солнце? А я говорю — заткнись, не воспевай, потому что это солнце мешает мне стрелять в белогвардейцев, оно слепит глаза... Старые эстетические нормы рушатся. Происходит смешение целого ряда понятий. В основу мы кладем классовую целесообразность, утилитарность».

Само собой разумеется, такое заявление чересчур смело и не очень корректно, как и постоянно, везде и всюду отстаиваемая им мысль о том, что искусство нового типа непременно должно быть искусством монументальным, патетическим. Позже Вишневский понял: нужен и реализм, и революционный романтизм. Во второй половине тридцатых годов, став гораздо выдержаннее, он спокойно реагировал и на критические выпады. Так, в 1937 году в «Литературной газете» Шолохов, не назвав фамилии (Вишневский решил, что речь идет о нем), осуждал: «С первых дней революции он встал на ходули... Пишет ходульно, говорит ходульно...»

Почему же все должны писать одинаково? Отчего Шолохов не приемлет иного стиля? Не есть ли это проявление той самой болезни, которой он, Вишневский, переболел раньше?

Есть на страницах дневника и нотки обиды, но главное в ином — в весомом и внушительном утверждении: «*Мой стиль — моя жизнь*. Есть романтика, героика... Так жизнь мне дала. Это, видимо, *органика* моя...» И тут же, словно оправдывая Шолохова, Вишневский добавил: «В истории литературы самые зверские взаимоотрицания у писателей — явление постоянное: Толстой о Достоевском и Горьком (см. 1910 год — его дневники), о Шекспире и др. ...А нам, молодым и грешным, отрицать взаимно достоинства, манеры, стили и прочее и сам бог, очевидно, велит».

Исследователи литературного творчества Всеволода Вишневского справедливо отмечают его глубокое понимание и знание прошлого России, гражданской войны, умение заглянуть в будущее. Его произведениям свойственны и черты, роднящие их с произведениями В. В. Маяковского, — романтическая приподнятость интонации повествования; гипербола как излюбленный художественный прием; безбоязненная, откровенная публицистичность, стремление активно вторгаться в жизнь; непосредственность почти ораторского диалога с читателем и зрителем.

После издания «Первой Конной» Вишневский не проснулся в одно прекрасное утро знаменитым: ему приходилось пробиваться сквозь строй не понимающих и не принимающих его пьесу. Тем не менее пусть не сразу, но пришло и признание, и желание доказать правоту своих теоретических принципов творчеством. Это было важно для Вишневского вдвойне. Во-первых, потому, что он, по справедливому суждению А. Макарова, был не простым участником литературной борьбы за новые пути в искусстве, а одним из ее центров, причем не с разрушительным, а с созидательным знаком; а во-вторых, к середине 1930 года в его активе, кроме рассказов, была лишь «Первая Конная».

И как раз в это время, в начале августа, ЛОКАФ получил от Ленинградского театра оперы и балета предложение создать оперу на советскую тему. Задание пере-

дано Вишневскому, и он записывает в блокноте: «Ударить в стенах оперы по оперным штампам». Однако, несмотря на отдельные удачные куски, либретто не удовлетворило его, и он решил писать драму.

Творческим импульсом для написания пьесы послужил обычный факт, пробудивший воображение художника: поздним вечером по улицам Ленинграда проходила колонна моряков и пела. «Я посмотрел на этих людей, — рассказывал потом Вишневский, — и подумал: вот так и в бой ходило наше поколение и, вероятно, пойдет в будущем. Примерно так родился «Последний решительный», — пришла мысль: а если нас, двадцать человек, отрежут... Будем в сторожке сидеть, отстреливаться и, может быть, по радио подслушивать мир. И будет радио передавать что-нибудь с Запада или тоску какую-нибудь неподходящую...»

Авторский замысел Вишневский разъяснял в «Вечерней Москве» (27 декабря 1930 года) так: «Первое — дать пьесу — художественный рычаг для мобилизации масс на оборону страны. Второе — ударить по тошнотворной фальши «Красных маков», «Золотых веков» и пр., культивируемой, к сожалению, до сих пор еще в театрах оперы и балета. Нельзя смотреть без ярого протеста на оперный показ людей современности: на танцующих нелепых «красных матросиков», на «юнг-штурмгерлс» и пр. Надо высмеять такие вещи».

Пролог пьесы и явился откровенной пародией на «революционные», «политические» спектакли с их якобы усложненной, а на самом деле заранее известной интригой, с контрабандистами, «мужественными» опереточными краснофлотцами, «жестокой» схваткой красного командира и вожака контрабандистов... Пародия обрывается боевой тревогой и затем гневным монологом Краснофлотца, выражающего четкую авторскую позицию:

— Я из рядовых красных бойцов. Я выдвинут массой в театр и выполняю дело, нужное революции, а не эстетам и формалистам. Моя фамилия Вишневский. Имя Всеволод. Слушайте, вы, любители старых сладких форм. Мы сейчас покажем кусок нашей жизни, полный ее биения. Ее смех, ее слезы... Ее тяжелое и ее прекрасное. *(К труппе.)* По местам же стоять! Уберем прочь всю «экзотическую дрянь»! На сцену выйдут сейчас настоящие бойцы! И вы, мы все, заиграем по-настоящему!»

Далее идут картины мирной жизни, труда. Правда,

рисуются они как-то поспешно, ненатурально, что ли, — с помощью приемов распространенной в те времена «живой газеты». Зрителя призывают бороться против мелкобуржуазной стихии, разгильдяйства и распущенности, за дисциплину, за самоотверженное выполнение гражданского и революционного долга. Гораздо сочнее подан эпизод знакомства матросов-«жоржиков» с портовой девицей легкого поведения: драматургу удаются образы опытного, жаждущего свободы в анархистско-блатном ее понимании Анатоль-Эдуарда и попавшего под его влияние молодого Жан-Вальжана.

Таков был второй ход автора — самокритическое разоблачение индивидуалистических проявлений во флотской среде. Образ Алексея Семушкина (Анатоль-Эдуарда) нес на себе, по-видимому, еще одну смысловую нагрузку, — с его помощью Вишневский высмеивал довольно широко распространившуюся в те годы и выдававшую себя за «свежую струю» в литературе безудержную поэтизацию уголовщины, анархического индивидуализма различного пошиба беней криков, символом которых была «ничейная», «свободная» Одесса времен гражданской войны. Особенно показателен в этом смысле «монолог» захмелевшего «старичка»:

«— Эх, и врэм-мячко было — восэмнадцатый, дэвятнадцатый год. Ой, бож-же ж ты мой — житушка была. Одэс-сочка моя грым-мэла! Гэрои был-ли... Какые герои! Ай-ай-ай! У кныжечьках с любовью о ных пишьшут... *(Качнулся.)* Уыпьем за старый город Одесс и за его нэописуемых опысателей... *(Пьет.)* Одесс! Вольный, знаменитый город...»

В первом варианте пьесы и Семушкин, и его друг Ведерников — комсомольцы, и, когда отряд моряков отправляется на выручку, они умоляют («но дайте на раз, но дайте на день веры нам...») простить их и были прощены, взяты на границу. Затем драматург ужесточил свое отношение к этим образам: легкомыслие, пьянки в суровые предгрозовые времена граничат с предательством. Строй матросов сомкнулся, заполнив два пустовавших места, — гуляки отданы под трибунал.

И, наконец, когда все герои показаны — Вишневский одним ударом заканчивает с традиционным сюжетом и устремляется к главному — к тому, ради чего, собственно. и задумана пьеса — к раскрытию героики коллектива. Вечер самодеятельности в базовом клубе краснофлотцев и

пограничников обрывает вой сирен, боевая тревога: «Быть в часовой готовности!» С самого начала пьесе присуще предчувствие каких-то серьезных событий — теперь же оно заметно усиливается.

Вестник, занявший в «Последнем решительном» место Ведущего, всматривается в лица матросов, слушающих правительственное сообщение о том, что сегодня без объявления войны перейдена врагами наша западная граница...

Требуются десять человек для выручки пограничного отряда, окруженного врагами, но шаг вперед делает весь строй. Матросы во главе со старшиной Бушуевым пробились сквозь кольцо врагов к оставшимся в живых пограничникам, приняли на себя новые атаки агрессора.

Заключительные страницы пьесы свидетельствуют о стремлении писателя к отображению трагедийных коллизий жизни. Бойцы стоят насмерть. Они сопротивляются до последнего дыхания, зная, что отсюда, с самой первой заставы, начинается смертный бой народа за свободу, счастье, независимость. Двадцать семь человек орду захватчиков остановить не могут, но ценою жизни обретают бессмертие.

Радио доносит голос Москвы: объявлена мобилизация — ведь снова, как в годы революции и гражданской войны, решается вопрос о жизни страны. Бойцы передают из рук в руки последнюю папиросу... Снова залп и грохот. Стоны раненых, падает старшина. Он ранен. Он еще не верит происшедшему. «Ранен я... Да не может быть! *(И руки трогают тело... вот тут... вот тут... А боль парализует.)* Да что же это? *(И улыбка конфуза и какой-то вины медленно ползет по лицу.)*»

И когда уже все полегли смертью храбрых, старшина из последних сил углем, вывалившимся из разбитой печки, медленно и криво, падая и вставая, сдерживая муки, пишет на стене:

$$
\begin{array}{r}
162\,000\,000 \\
-27 \\
\hline
161\,999\,973
\end{array}
$$

Потом подползает к краю сцены и в зал остатком залитых кровью легких шепчет всхлипывая:

«— Прощайте, дорогие... товарищи... Мы как могли... Смерть пришла... Передайте... на корабль... до конца бы-

ли... *(Затих.)* Вы не сдавайтесь. *(Рванулся.)* Вставайте же... *(Упал, обессиленный, и шепчет угасая.)* Эх... Москва... Товарищи... родные... Последний же... решительный...»

Это было написано, еще когда Адольф Шикльгрубер не стал Гитлером — фюрером «третьего рейха».

Всеволод Вишневский понял природу всенародного, советского патриотизма и показал его пафос в заключительной сцене простой арифметической формулой, написанной погибающим Бушуевым, — задолго до того, как это чувство во всей полноте раскрылось в годы Великой Отечественной войны.

«Последний решительный» не явился для драматурга значительным шагом вперед. Однако пьеса сыграла большую роль в становлении и развитии его таланта, в преодолении заблуждений, отбрасывании ложных путей, и Вишневский очень любил это свое создание.

Почему же так? Может, эта любовь сродни чувству матери к собственному болезненному ребенку? Ведь ни на одно его произведение (включая и «На Западе бой») не обрушивался такой град больно хлеставших критических ударов, уколов, выпадов, издевок и насмешек, как на «Последний решительный». Когда сегодня читаешь эти статьи и заметки, просто поражаешься, недоумеваешь: откуда столько злости? Наверное, не одна лишь зависть к удачно дебютировавшему и быстро завоевавшему признание зрителей драматургу водила пером некоторых авторов.

При этом бросается в глаза, что с Вишневским не церемонились, нередко были к нему несправедливы и, зная его быстро вспыхивающую натуру, намеренно провоцировали на драку. И он молниеносно реагировал, считая, что «..замыкание, уход в себя — для трусов. Для тех, кто боится спора, боя, выяснений и пр. Я не боюсь ничего. Ни спора, ни разговора, ни боя (любого типа), ни дела». Неуемный темперамент позволял ему каждую минуту и в любом деле чувствовать себя бойцом и поступать по-бойцовски.

Шумный скандал разыгрался уже на премьере (6 февраля 1931 года), когда группа противников драматурга, оскорбленных высмеиванием оперы в прологе, попыталась освистать спектакль. Вишневский вскочил со своего места и, подлетев к рампе, закричал: «Не мешать! Смотреть спектакль до конца!» Но свист продолжался. Зрители потребовали: «Убрать свистунов». Как гласит прото-

коя 9-го отделения милиции, несмотря на сопротивление, хулиганы выдворены из зала. Ими оказались А. И. Вайнштейн (член ВАПМ — «Всесоюзной ассоциации пролетарской музыки») и Л. Н. Лебединский (ответственный секретарь ВАПМ).

Скандальный тон был перенесен на страницы печати — в журнал «На литературном посту». В основном суждения критиков не отличались оригинальностью: «провал», «беспомощное барахтанье», «тяжелое поражение». Некоторые авторы, отрицательно относясь к экспериментам Вишневского в области драматургической формы, позволяли себе и открыто враждебные высказывания, как, например, В. Киршон в статье «Метод, чуждый пролетарской литературе» («Советский театр», 1931, № 4). Как может смертельно раненный Старшина, возмущался критик, вычитать 27 погибших из 162 миллионов?! А кулаки? А люди, которые, возможно, останутся пассивными? Вульгарно-социологическому подходу Киршона далеки эмоциональный оптимистический взгляд в будущее, убежденность в морально-политическом единстве советского народа в годину смертельной опасности.

Чего только не находили в пьесе при ее разборе!

Чудовищное сплетение психологизма, чеховщины, эстетизма, ремаркизма, национализма, антисемитизма, кастового мышления, лакировки действительности, клеветы на действительность, упадочничества, нехудожественности и пр. и пр. ...Как было бы замечательно, если бы противоречивые оценки взаимно уничтожались!

Больше всего драматурга поразило то, что некоторые из этих критиков, дважды присутствуя на читках «Последнего решительного» — в «Литгазете» и на вечере в ГосТИМе[1], — дали тогда пьесе блестящую оценку. Ну да бог с ними, пусть в этом разбираются сами, с совестью своей наедине, а Вишневский бросается на защиту своего творения по существу.

Одни призывают его к изображению «живого человека», другие советуют включить в пьесу, хотя бы «при показе индивидуалистских моментов, спрессованные соцтипы». Что сие означает — неизвестно. Вишневский вначале пытается отшутиться, а затем отвечает по существу: «Хорошо — в следующую военную или флотскую пьесу, желая разоблачительно показать героев индивидуалист-

[1] Государственный театр имени Вс. Мейерхольда.

ского пошиба (у нас во флоте, кроме 55 процентов рабочих, есть 45 процентов крестьян и прочих, и среди этой массы есть такие «герои»), — я введу:

1) инженера-вредителя, 2) толстого кулака и 3) хитрого-хитрого подкулачника, ибо в них, как я замечаю, найдены в театре главные «спрессованные носители индивидуализма» (выражение товарища И. Гроссмана-Рощина).

Но стоит за шиворот выволочь на сцену не инженера-вредителя, не кулака и подкулачника, а, как делает ТРАМ [1], живого подлеца краснофлотца и даже (боже мой!) комсомольца — так начинается вой.

В пьесе многих задела непривычность приемов, положений, образов. Вот она, сила инерции. Но где есть инструкция, указующая пролетдраматургу: «Пиши, как пишет Киршон». А где же тогда возможность новаций, исканий, споров, драк?..

Я пишу и буду писать пьесы, в которых я сам ищу пути, нащупываю новые формы, отталкиваясь от цепкой противной трясины старых канонов. Так дал я «Первую Конную», так дал «Последний решительный», так дам и другие пьесы, каждый раз проводя их через низовые аудитории, где я встречаю поддержку. Подчеркну и то, что «Последний решительный» и до сдачи театру одобрен рядом общественных, краснофлотских и красноармейских организаций, что и дало мне право отдать пьесу театру».

Чтение собственных произведений, устные выступления вообще играли большую роль в жизни и творчестве Всеволода Вишневского. Из месяца в месяц, из года в год в общении с массами оттачивал он свое слово, безотказно выступал в воинских частях, рабочих клубах, Дворцах культуры, участвовал в творческих дискуссиях.

...На Путиловский завод он пришел в обеденный перерыв. Слушатели собирались медленно, и автор нервничал, то и дело поглядывал на старинные карманные часы. Прошло десять минут.

— Тридцать так тридцать. Аудитория подходит...

С завидной легкостью вспрыгнул на верстак и начал:

— Я — из рядов красных бойцов. Моя фамилия Вишневский. Имя Всеволод. Я покажу вам нашу жизнь, ее смех, ее слезы...

Присутствовавшему на читке «Последнего решитель-

---

[1] Театр рабочей молодежи.

ного» редактору заводской многотиражки А. Аренину порой казалось, что драматург в порыве вдохновения вообще импровизирует, а не читает. Мастерски меняя голос, интонации, Вишневский буквально играл каждого из персонажей. Чтение было продолжено назавтра, и на нем присутствовало уже полторы тысячи рабочих — из механических мастерских, турбинного цеха, новой кузницы, из литейного...

Оппонентам «Последнего решительного» Вишневский в который раз старается объяснить, что он взял простую и большую идею: мы готовы к вооруженной борьбе, и жертвы не остановят нас в марше к победе.

Уж в чем, в чем он не сомневался, так это в современности своих героев, особенно в финальном эпизоде. Но и здесь его не оставляет в покое Юзовский со товарищи: «Ой, глядите! У Вишневского вовсе не большевики, а царь Леонид, триста спартанцев, баталистские, внеклассовые манекены и прочее!..» На это он в сердцах бросает: объясните же, черт возьми, почему перед этими механистическими чучелами непролетарского драматурга и вообще бяки Вишневского встает потрясенный зал? Разве в этой мобилизации-демонстрации не проявляется классовая направленность пьесы, спектакля?..

Можно понять Вишневского, его чувства и огорчения. Но сил для «художественного полновесного удара», как писал один из симпатизирующих ему критиков тридцатых годов, у него еще не накопилось. И справедливо мнение А. Марьямова: драматургу еще неясна была позитивная программа — в этом причина неудачи: «Отвергая театр нарочитой условности, пародируя в острых интермедиях пышную пустоту оперных штампов, энергично разоблачая несоответствие бурному материалу современности узких традиций «интерьерной» психологической драмы, Всеволод Вишневский противопоставлял «обветшалым» формам неорганизованный драматический материал».

При всей своей импульсивности и непосредственности Всеволод Витальевич довольно быстро остывал, самокритично и даже, пожалуй, хладнокровно оценивал ситуацию, сопоставляя различные точки зрения. Более того — откровенно, во всеуслышание говорил об этом. Тринадцатого июня 1932 года во время творческого отчета на вечере, организованном ЛОКАФом и Всероскомдрамом, Вишневский, например, заявил: «Художественно сделана фигура Семушкина. Эта фигура сделана со знанием дела, со

вкусом. Она живет, и этот образ останется. И, кроме того, есть фигуры большие, которые вскрывают наши силы, обстановку на сегодняшний день. В этой пьесе есть настоящая зарядка. Но действительной картины страны, ожидающей войны, мне не удалось дать... Не хватило в этой пьесе идейной критики, большого показа гущи нашей жизни, не хватило показа людей флота...»

Пьесы для того и существуют, чтобы их играли на сцене. «Последний решительный», написанный драматургом-новатором, естественно было поставить режиссеру-экспериментатору. Тем более что Всеволод Мейерхольд и его театр испытывали настоящий голод по пьесам современной тематики, а выступления Вишневского в печати о необходимости ломки старых форм, его «Первая Конная» обещали, по крайней мере, общую платформу для творческого содружества.

Правда, бывалый солдат и моряк, агитатор, политработник, не принимающий ни эстетства, ни любования «красотами», ни смакования деталей и отдельных сцен, поначалу настороженно отнесся к Мейерхольду. Режиссер же проявил завидную активность: раздобыл экземпляр пьесы и прочел ее, а после читки автора, на которой присутствовал, окончательно убедился в том, что «Последний решительный» — сущая находка для ГосТИМа. При этом Мейерхольд сумел не только расположить к себе, но и очаровать драматурга.

Вишневский возвратился в Ленинград, где он все еще находился на военной службе, а Мейерхольд сразу же приступил к репетициям. 22 ноября 1930 года Всеволод Эмильевич писал: «Целую Тебя, дорогой Коммунар! Не волнуйся! Увлечен Твоей пьесой больше, чем тогда, когда слушал Тебя. Вещь Твоя близка мне очень.

Твой Всеволод».

Мейерхольд добивается того, чтобы за месяц до премьеры Вишневский был командирован в Москву (он необходим театру, режиссеру!), и с той поры работа велась совместно. Но и раньше драматург засыпал Мейерхольда письмами, записками, предложениями, которые раскрывали его идейно-эстетические позиции. «Разумеется, и сам Мейерхольд, и талантливые актеры Боголюбов, Ильинский, Гарин, Зинаида Райх и другие много сделали для успеха спектакля. Но они ничего не сделали помимо дра-

матурга и сверх того, что было в пьесе», — справедливо пишет исследователь драматургии Вишневского Г. Кормушина в статье «История одной переписки» («Театральная жизнь», 1959, № 13).

При всем своем доверии к режиссеру автор пьесы ни на минуту не был творчески зависим от него. И теперь, когда идут репетиции, Вишневский стремится помочь режиссеру и труппе «дотянуть» спектакль именно в плане более глубокого раскрытия образа положительного героя, который мыслится им как образ героя-коллектива. Утверждая пафос нового времени, драматург старается увлечь театр и постановщика. Это хорошо видно из его письма Вс. Мейерхольду от 25 ноября 1930 года: «Я думаю над тем, чтобы придать пьесе больше монументальности. Может быть, у меня заметна «военная увлеченность» — только флот, только застава. Поэтому надо дать «поднимающийся СССР» — массивом, глыбой, органически связав «заставу» со страной».

В письмах Вишневского отрицательные герои, разоблачение «старой» оперы упоминаются лишь в связи с необходимостью глубже и ярче показать новое, рождающееся в жизни. Опасаясь, что полемика с театрами может заглушить основную идею пьесы, он обращает внимание режиссера на следующее: «Дыхание дней заставляет еще внимательнее отнестись к ряду моментов... В отрывке (см. «Рабочую Москву», 25/XI) я дал усиление сцены в «Заставе № 6»; перекличку с Европой. Вообще этот момент, момент солидарности с западным пролетариатом, я обязан дать крепко в финале. В финал же, я думаю, нужно дать и лики врага, может быть, выступающие из мрака уничтоженной заставы...

Потом я вижу: может быть, следует после пролога не давать сразу толпу и бульвар, а может быть, мимическую, ритмизированную сцену «Военный корабль». Здоровые, сильные, горячие парни. Эта сцена оправдает больше гулянку на бульваре (диалектика!)».

Прекрасно зная морскую службу, психологию и быт военных моряков, обладая неисчерпаемой фантазией и жаждой поиска не просто хороших — лучших! — вариантов, Вишневский, по существу, дает режиссерскую партитуру многих сцен спектакля, предлагая детали декораций, освещения, звукового оформления, говорит о ритме и характере музыки. Как в этом, например, письме: «Всеволод Эмильевич! Шлю просимое.

1. Музыка бесстрастно выстукивает, и бежит текст Юза — буква вспыхивает за буквой на идущей ленте. «Пограничной комендатуре тчк Застава номер шесть ведет бой внезапно перешедшими границу передовыми частями противника зпт связь соседями нарушена зпт застава держится шлите резерв. Начзаставы шесть тчк».

Далее дается текст других сообщений — резких, быстрых, указывается, где должна быть пауза, а все вместе обеспечивает «нарастание и нервозность действия».

2. О названии корабля.

Название «Кронштадт». (В названии много содержания, ассоциаций и героика реабилитации за 1921 г.)...»

Вишневский был близорук и, так как очки не носил, на репетициях всегда садился в первом ряду. Он постоянно что-то придумывал, по ходу действия дописывал тексты. Самое удивительное, что, будучи грубым и нетерпимым по отношению ко многим авторам, Мейерхольд, по свидетельству С. К. Вишневецкой, близко знавшей всю «кухню» подготовки спектакля, как правило, принимал предложения Вишневского, не протестовал и не сердился, когда тот врывался на сцену и останавливал репетицию, меняя реплику или уточняя интонацию. Да и сам Мейерхольд как-то говорил (слова эти записаны А. Гладковым и процитированы в печати в 1961 году): «Когда я работал с Вишневским, мне очень нравилось, что он как бы боится слов. Дал нам великолепный сценарий «Последнего решительного», а потом приходил на репетиции и по горсточке подсыпал слова. Мы просим: «Всеволод, дай еще слов, — а он их держит за пазухой и бережливо отсыпает. И это вовсе не потому, что у него их мало — у него грандиозный запас, а потому, что он экономен по чутью вкуса и ощущению истинного театра».

Вошедшая в историю как классическая финальная сцена «Последнего решительного» (кстати, фотоснимок ее стал знаменитым: он обошел и отечественную и зарубежную печать) рецензентами той поры всецело ставилась в заслугу Мастеру, как тогда называли Мейерхольда. Но, наверное, и сегодня лишь немногим известно, что весь финал продуман, режиссерски увиден и предложен драматургом в упоминавшемся уже письме от 25 ноября: «На заставе», при угасании, чекист (или краснофлотец) ползет; куском мела на стене выводит:

150 000 000[1] чел. — СССР
—8 чел — Застава № 6

149 999 992 чел.!»

Честь и хвала режиссеру, а также талантливому актеру Н. И. Боголюбову, блестяще сыгравшему роль старшины Бушуева и особенно в последней сцене в точности реализовавшему авторский замысел. Но почему же так несправедливы те, кто после премьеры «Последнего решительного», не скупясь на лесть и похвалу, все удачи спектакля приписали режиссеру, в слабостях же обвинили автора пьесы?! Даже статьи печатались под заголовками «Поражение Вишневского и победа Мейерхольда», словно они были соперниками! Такой тон печати сохранялся и потом, когда ГосТИМ выехал на гастроли.

Бедный Вишневский! Он все еще ждал и надеялся, что истина восторжествует и об огромной, напряженной совместной работе с режиссером над спектаклем будет сказано в полный голос. А почта приносила новые, ничем не отличающиеся от старых рецензии. У него терпение лопается, и, несмотря на то, что весь уже в новой пьесе, он изливает душу в горьких строках, адресованных Мейерхольду: «Рецензии в бесконечный раз делают больно. Опять я ни при чем, пьеса плохая и т. д. И все, конечно, замечательно («чудово») и без автора. Зачем они, сволочи эти, авторы, только мешают? Почему они лезут и сбивают театры? Пусть бы театры и вели свою работу сами, без помех.

Замечательно! А?..

Опять и опять битие автора — и именно эта линия отъединения тебя от меня и наоборот требует бо́льшей решительности в ответах (в интервью, которые дает Мейерхольд. — *В. X.*).

Черт возьми, по харьковским газетам я уже не автор и один из режиссеров-ассистентов, а автор «схемы». За это надо дать по макушке. Я буду рад, если ГосТИМ сообщит в нескольких словах харьковцам, как по-новому делался спектакль» *(Письмо от 11 июля 1931 года)*.

Мейерхольд не стал опровергать, хотя сделать это мог он и только он, легенду о Вишневском как авторе «драматургической схемы». Хотя в личной переписке звучало совсем иное:

[1] В окончательной редакции даны более точные цифры.

«Дорогой друг! Прими от меня в сотый раз сердечную благодарность за ту громадную помощь, какую ты оказал театру моего имени в работе по реализации твоего замечательного драматургического опыта. Не верь критикам, верь мне — опытному технику сцены: ты в «Последнем решительном» показал себя превосходным драматургом. В советской драматургии у тебя все права занять первое место...»

В «Последнем решительном», как и в некоторых иных спектаклях, Мейерхольдом в большей степени движет дух отрицания, разрушения. Добиваясь частных удач во фрагментах, отдельных сценах, режиссер нередко обнаруживал неспособность дать цельное художественное произведение. «Видимо, — пишет исследователь театра А. Мацкин, — объяснение надо искать в том, что от декадентства Вячеслава Иванова, от философии модернизма Мейерхольд прямо шагнул к абстрактной социологии с ее грубой схемой исторического процесса. Прочтите его режиссерские комментарии к спектаклям даже сравнительно позднего периода, например к «Свадьбе Кречинского», и вы увидите, что *история* в них теряет свои краски и превращается в игру понятий, в цепь аналогий. Стесненный схемой, им самим сочиненной, талант Мейерхольда уходит в подробности, в отделку «кусков», в открытия частного значения. Добавьте к этому, что новое в искусстве, по мнению Мейерхольда, обязательно должно было ссориться с прошлым и удивлять («удивлять во что бы то ни стало»), а еще лучше — ошарашивать зрителей своей неожиданностью — отсюда тоже его интерес к частностям и невнимание к целому».

Как видим, идейно-эстетические взгляды Всеволода Мейерхольда и Всеволода Вишневского отличались, и притом существенно.

2

Критика в печати обычно не приводила его в состояние расслабленности, меланхолии. Напротив, стиснув зубы, он рвался в бой — обсуждения, споры, диспуты. А затем всегдашняя формула мироощущения и действия — «драться надо!» — усаживала его за письменный стол.

И в этот раз, не успели в театральном и литературном мире разойтись круги после приправленной скандалом премьеры «Последнего решительного», Вишневский не-

медля берется за работу. Весной 1931 года он пишет пьесу о Германии[1]. «Могу заверить, — сообщает он Мейерхольду, — ряд эпизодов уже решен — театрально остро, насыщенно. Я прибегаю к новым приемам, хочется сделать много. Кое-что решил и постановочно. (Плох тот драматург, который не глядит дальше рукописи.)»

Еще во время преподавания в Военно-Морской академии Всеволод Вишневский основательно изучал международные проблемы, и сейчас, когда над Германией да и над всей Европой нависла смертельная опасность «коричневой чумы», он задумывает боевое антифашистское произведение.

Спустя несколько месяцев Мейерхольд, которому понравились и тема и идея пьесы, просит присылать рукопись по частям: ему очень хочется скорее начать «строить макет».

Но у Всеволода дело продвигалось медленно. Новый замысел, по существу, являл собою пусть и несколько завуалированный, но все же отход от ранее широко декларировавшихся им принципов: здесь впервые поставлена задача написать «сцепленную от начала до конца в каждом движении пьесу» с индивидуальными, психологически разработанными образами.

С продумывания характеров действующих лиц Вишневский и начал. Вот первые наброски:

«1. Муж. Макс. Здоровый. Грубоватый. Прямой. Трус.

2. Она. Влюблена. Сексуальна. Хитра. Пуглива. С парнем — любовь... Сцена в полиции. Она колеблется. К парню... Решительный момент... К мужу...

3. Парень. Наци. Двадцатипятилетний здоровый — полуинтеллигентный тип. Смел. Жесток и т. д.

4. Карл. Интеллигент. Друг Макса. Преданность... Срыв...»

В Германии поднималась, становилась все сильнее волна нацизма и реваншизма. Финансисты, промышленники вскармливают лидеров фашизма, прокладывают им путь к власти. Речи Гитлера слышны не только в пивных — они уже звучат в эфире. Рабочие, их политические партии преследуются, страна лишается демократических свобод. Идет ожесточенная борьба различных социальных сил. Задуманная Вишневским пьеса должна стать предупреж-

---

[1] Впоследствии пьеса получит название «На Западе бой».

дением с ярко выраженной антифашистской направленностью. Драматург расширяет круг действующих лиц с тем, чтобы ввести представителей тех слоев немецкого общества, от которых зависел выбор дальнейшего пути. Так появляются образы одного из социал-демократических лидеров, созревших для предательства интересов народа, — Моске (в нем немало от подлинного Носке!); промышленного магната Гугенталя; так постепенно выдвигается на первый план зловещая фигура Жигайды — олицетворение наци.

Этот образ удался драматургу. Вожак коричневорубашечников откровенен, нагл и жесток. Если сегодня он выкорчевывает немецких коммунистов, то завтрашняя его мечта превратить в «зону пустыни» советскую землю, осуществить надежды гугенталей на разгром России. Жигайда всматривается в зрительный зал (и в этой пьесе Вишневский находит разнообразные способы установления прямой связи со зрителем) и в духе своего бесноватого фюрера, с презрением и ненавистью, бросает:

«— Вот с кем придется иметь дело. Эти — опаснейшие... Вот они сидят теплые, живые и с виду мирные... Вот они, работающие с бешенством и пьющие собственный пот; они торопятся, им некогда бегать за водой... У наших ушей уже скрежещет их вторая пятилетка, они настигают нас, они обгоняют нас, они будут давить нас... Проткнем им мочевые пузыри, сломаем им горло, выдавим из них желчь. Учитесь, парни, бить их наповал. Мы доберемся до вас, советские высокоблагополучия, ожидающие европейской революции. Вы узнаете, какие мы на деле...»

На пору написания этой пьесы выпала и новая, целиком захлестнувшая драматурга полоса учебы. На его письменном столе в эти месяцы соседствуют книги на русском и немецком языках, газеты и журналы, только что выпущенные в свет в Германии брошюры экономического и политического характера, путевые очерки, мемуары, стенограммы бесед и т. д. Среди многочисленных источников, к которым он обращался, стремясь войти в атмосферу жизни чужой страны, постигнуть особенности психологии, быта, общественных отношений, — произведения современных немецких драматургов, по преимуществу экспрессионистов. Его восхищает немецкий политический театр — драматургия Фридриха Вольфа (чьи пьесы он впоследствии переведет на русский язык, и они с успехом

будут идти в советских театрах), режиссура Эрвина Пискатора, творчество Бертольда Брехта.

Чем больше он размышлял, углублялся в анализ собственного творчества, тем больше осознавал, что показать жизнь народа, революционных масс и возможно, и даже необходимо через образы конкретных, индивидуальных, изменяющихся во времени людей. Однако увлечение немецкими экспрессионистами не прошло бесследно: Вишневский вдруг начинает фиксировать свое внимание не столько на обрисовке живых, реальных личностей, сколько на самой проблеме личности, как это делали экспрессионисты.

Схематичнее, беднее, чем образы врагов, вышли фигуры рабочих-коммунистов. Их речи риторичны, страсти приглушены. Не очень-то убедительно изображена душевная драма Анны: она мечется между любовью и долгом по отношению к мужу и чувственным влечением к Рудольфу Жигайде.

Часть творческой задачи, поставленной перед собой, а именно — создать политическую, антифашистскую пьесу Вишневский решил: эпизоды политической жизни страны полны страсти, высокой публицистичности. Образы, олицетворяющие силы капитала (немецкие промышленники Гугенталь и Гирш, их французский компаньон Бюсси де Рабютен), цельны, заострены до гротеска.

И в целом «На Западе бой» не следует относить к ученическим опусам, как это пытались сделать некоторые критики. Пьеса написана уверенной рукой, в 1933 году опубликована отдельным изданием. Тогда же, 14 февраля, состоялась премьера в Театре Революции в Москве (режиссер И. Ю. Шлепянов, актеры — М. Штраух, Дм. Орлов), несколько позже «На Западе бой» поставил С. А. Майоров в Бакинском рабочем театре.

Работая над рукописью, Вишневский был убежден, что они с Мейерхольдом создадут еще не один блестящий спектакль. На протяжении 1931 года в частых письмах Всеволоду Эмильевичу он делился своими идеями относительно будущей постановки. Как и обещал, прислал режиссеру пьесу в первой редакции и список авторов, которых полезно бы почитать труппе для вхождения в атмосферу пьесы и будущей постановки.

Драматург с нетерпением ждал мнения режиссера о пьесе. «Меня тревожат сроки, — пишет он 22 ноября Мейерхольду. — Октябрь, ноябрь потеряны. Я не буду искать причин. Сейчас мы не имеем даже теа-варианта. Резать массовки и оставлять в пьесе партию только игриво-камерно я не могу, не имею права... Я и ты — мы оба — обязаны в конце концов дать спектакль высокий, большой, политически верный».

Мейерхольд молчал. Художники спектакля — С. Вишневецкая и Е. Фрадкина — получили задание подбирать фотоматериалы по типажу, костюмам, мебели, но о режиссерском макете пока что ни слова. Репетиции начались, но свелись к читке пьесы за столом, и вел их не Мейерхольд, а режиссер А. Л. Грипич.

Остается лишь догадываться, почему Мейерхольд остыл к пьесе и к ее автору, а вернее — к автору и его произведению. Возможно, из-за того, что драматургу не удался образ Анны, роль которой предназначалась Зинаиде Райх. Как бы там ни было, но Вишневскому не говорили ни «да», ни «нет», что приводило его в бешенство. Правда, Мейерхольд время от времени предпринимал шаги, чтобы не рассориться с драматургом. Однажды вечером, будучи в Ленинграде, неожиданно явился в гости, наговорил множество комплиментов, и Вишневский, расчувствовавшись, дал ему первый вариант пьесы, чтобы режиссер мог сверить, насколько серьезно и с пользой он доработан (Мейерхольд делал вид, что возражает против правки первой редакции). Наконец в Ленинград пришла телеграмма: «Принимаю вариант № 2 горячий привет Мейерхольд».

И вдруг в начале января 1932 года Всеволод случайно узнает, что «Германию» репетируют по старому тексту, а параллельно ГосТИМ ведет работу над пьесой Н. Эрдмана «Самоубийца».

Такого Вишневский простить не мог. Тем более что свое отношение к этой пьесе он высказал в печати. Не менее категорично та же мысль выражена и в письме Мейерхольду (5 января 1932 г.): «Оказывается, ты удивлен «выпадом» против «Самоубийцы». Не только я, а и десятки партийных лит-теа-работников будут вести борьбу с «Самоубийцей». Пьеса тянет *вправо*, назад, пьеса *не наша»*.

Такая позиция вызвала у Мейерхольда откровенное раздражение, если не сказать больше. И упустить пьесу

Вишневского не хочется, и сдержать себя нелегко. Но тут драматургу сообщили, что Мейерхольд распространяет слух, якобы новый вариант «Германии» написан режиссером А. Л. Грипичем.

Это известие переполнило чашу терпения: расхождения завершились открытым разрывом.

В конце января 1932 года Вишневский переехал в Москву и поселился в маленькой однокомнатной квартире в проезде Художественного театра, почти напротив его здания. Теперь он был не один. В шумный вечер после премьеры «Первой Конной» в Театре Революции его познакомили с художницей Соней Вишневецкой. К этому времени она успела уже кое-что сделать в театре: в творческом содружестве со своей подругой Еленой Фрадкиной оформила несколько спектаклей в Киеве и в Театре имени Моссовета. Влюбилась она во Всеволода сразу — безоглядно и беззаветно, и это чувство пронесла через всю свою жизнь.

Как вспоминают близко знавшие их, они прекрасно дополняли друг друга. Вишневский на людях молчал, внимательно слушал, порой лишь едва заметно кивая или неодобрительно хмыкая и произнося короткие реплики. Софья Касьяновна, напротив, могла весь вечер говорить одна, часто пропуская мимо ушей слова окружающих. Одно никогда не ускользало от нее, если речь шла о Всеволоде. Она стремилась никогда ни в чем не дать его в обиду.

И когда к ней обратились с просьбой написать для сборника воспоминания о Мейерхольде, она назвала их точно и справедливо: «Всеволод Мейерхольд и Всеволод Вишневский». Да, они жили и творили рядом: два крупных художника. Никто из них не был при ком-то, оба нуждались друг в друге, и, как показало время, потом Мейерхольду Вишневского недоставало гораздо больше.

По мнению Вишневецкой, причина расхождений и разрыва в том, что они принадлежали к различным поколениям и никто не хотел уступать. Думается, суть не только и не столько в этом. Мейерхольда не устраивала художественная самостоятельность Вишневского, ему по душе было совсем другое: поклонение, беспрекословное послушание.

И еще: Вишневский не умел возвращаться к тому, от чего отказался раз и навсегда. На все попытки Мейер-

хольда отстоять исключительное право ГосТИМа на пьесу Вишневский отвечал так: он допускает возобновление личных отношений, но никогда не будет работать в театре «с идейно чуждым ему репертуаром», без необходимой принципиальной творческой договоренности. Дело дошло до арбитража в Главискусстве: Мейерхольд на заседании вновь согласился на последний вариант пьесы, на контроль за режиссурой со стороны бригады ЛОКАФа и т. д. Но Вишневский уже ни во что не верил и заявил, что работать с Мейерхольдом не будет. Страсти разгорелись с такой силой, что заседание арбитражной комиссии пришлось закрыть...

Пытался склонить Всеволода пойти на компромисс оргсекретарь Всеросскомдрама М. А. Россовский. И тоже безуспешно. Ответ Вишневского и категоричен и убедителен: «Ни мне, ни ему (Мейерхольду. — *В. Х.*) вы не можете «предписать». Я бы хотел, чтобы было понятно одно, как ни крутите, что творческая близость, я скажу любовь, у нас ушли...

Мейерхольд исключителен. Но я не хочу быть *Мейерхольдом*. Я хочу быть *Вишневским*. Мне три десятка лет, и я сумею, будь я проклят, сделать крупное дело. Я не могу органически подчиняться тончайшей старой культуре Мейерхольда... Я тогда теряю свое. Я все-таки больше, чем он, от нового, зычного, сильного.

«Последний решительный» в моей читке — одно, в постановке Мейерхольда — другое. Пусть пахнет от моего творчества грубой кожей, потом, кровью... Мейерхольд тонок, изящен. Он не матрос. Мы столкнулись. Это было неизбежно...»

Итак, завершалось трехлетие (1929—1931 гг.) напряженной творческой работы, неутомимых поисков и учебы, которое обеспечило высокую литературную, профессиональную культуру.

Естественное стремление к реализму, органически впитанное Всеволодом Вишневским, глубокое понимание силы и духовной красоты русской литературы перебороли в нем юношеский пафос отрицания традиций. Восьмого декабря 1932 года на обсуждении «Оптимистической трагедии» в Камерном театре, оглядываясь на пройденное, он говорил: «Был у меня круг мыслей боевой, с хорошими побуждениями достаточно смутного порядка, бы-

ло враждебное отношение к старой культуре и т. д. Это отношение у меня сохранялось довольно долго и в очень острой степени, хотя я сам вырос на старой культуре. Нужен был очень сильный нажим на самого себя, чтобы преодолеть ошибку». Он учился неистово и жадно, сознательно захватывая огромные пласты литературы, истории. Эта неутомимая жажда познания сохранилась на всю жизнь. И в сорок он скажет с сожалением: «Если б мне было двадцать лет, я кончил бы блистательно два, три вуза...»

Среди родников, постоянно питавших его крепнущий, расцветающий талант, одним из главных была классическая литература. Это и его любимые Гоголь, и Лев Толстой, и Шекспир, и Аристофан. Успевает прочесть он и новинки литературы, драматургии, а уж издания оборонной тематики проглатывает все подчистую. Заядлый книгочей с детства, Вишневский никогда не сдерживал эту свою страсть, только теперь у него появился и другой, «потребительский» подход. Если бы его спросили, как научиться писать, то он, наверное, слово в слово ответил бы как Уильям Фолкнер в аналогичной ситуации: «Читайте, читайте, читайте! Читайте все — макулатуру, классику, хорошее и плохое! Смотрите, как это сделано. Когда плотник изучает свое ремесло, он учится, наблюдая. Читайте!»

Советская литература тогда еще только зачиналась, ее коллективный опыт был небогат. Прокладывались новые пути, и здесь не обошлось без накладок, неверных или даже тупиковых направлений. Преодолевая ошибки, художники приходили к социалистическому реализму. В числе таких ищущих, тонко чувствующих законы развития общества, литературы, искусства — Всеволод Вишневский.

Хотя пьеса «На Западе бой» шла в театрах, сам Вишневский оценивал ее довольно самокритично, чувствуя некоторую умозрительность, заданность в разрешении конфликтных ситуаций и обрисовке образов. И естественно желание автора получить глубокий анализ его первого опыта освоения западного материала.

Однако ожидания Вишневского были тщетны. Разгромные и одновременно поверхностные рецензии на пьесу появились в «Вечерней Москве» и «Известиях». Автором статьи в «Известиях» был В. Киршон. Не взвесив сильных и слабых сторон произведения, он огульно рас-

критиковал пьесу. «Грубая, плоская статья Киршона, — записал в дневнике Вишневский. — Он безнадежен — он не художник».

Беды в этом особой не было бы, если б это был частный случай, досадная ошибка. Нет, Владимир Михайлович Киршон сам писал пьесы и, по мнению историков театра, «ловко укладывал внешние приметы и временем рожденные вопросы в привычные коллизии и маски», то есть начисто отрицал какое-либо изменение традиционной драматургической формы. Один из руководителей РАППа, затем член Оргкомитета Союза советских писателей, Киршон постоянно ведет борьбу с творческими принципами своего антипода — Вишневского.

В «На Западе бой» Киршон усмотрел подражание Джеймсу Джойсу и, не очень-то заботясь об истине и убедительности (не говоря уж о такте!), писал: «А если бы спросить Вишневского: «А ты Джойса читал?» — то он ответит: «Да нет, я не читал, а вот Левидов видал, как Таиров читал!»

Вокруг творчества Джеймса Джойса в то время велись жаркие, но весьма неглубокие литературные споры. И Вишневский (роман «Улисс» он прочитал в подлиннике [1], получив в 1932 году экземпляр книги из-за границы — русского перевода еще не было тогда), справедливо настаивает на необходимости научного и критического осмысления и оппонентом романов Джойса (коль уж он их затрагивает!): «Попробуй прочесть Джойса (трех периодов 1912, 1922, 1932—1933), дай анализ и выступи с публичной оценкой объекта, который так вас тревожит и раздражает. Это же элементарно! Как можно спорить да еще порочить другого, не зная — *почему* и *как* этот другой высказывается о Джойсе, более того — не зная, кто такой Джойс!»

Поистине конфуз получился у В. Киршона. Но Вишневский выходит за рамки конкретного случая, размышляет о принципиально важном — об отношении к классическому наследию, о том, что нет «запретной зоны» и в изучении текущей литературы, всех без исключения ее

---

[1] Знания языка В. В. Вишневский все время пополнял благодаря чтению художественной литературы. «Сейчас прочел по-английски «Killers» Hemingway (рассказ «Убийцы» Э. Хемингуэя. — *В. Х.*). Блестяще по скупости и простоте — и огромной силе подтекста». (Из дневника, 3 марта 1934 года.)

представителей: «...существует мир, человечество, классы, идет борьба. Есть искусство... Оно сложно, в нем непрерывные столкновения и изменения...

Наши учителя показали нам, как надо брать и потрошить противников. Не было «запретных» книг для Маркса, Ленина. В познании жизни надо брать все (дело уменья, конечно)».

Как много сказано! Здесь и широта взгляда, и сфокусированная программа чтения, и желание разобраться в творчестве сложных и противоречивых писателей. (Кстати, к Джойсу Всеволод вскоре охладел, а десятилетие спустя, перечитав гоголевский «Невский проспект», записывает в дневнике: «Из одной фразы Гоголя, в сущности, родился весь Джойс (фраза о восприятии проспекта воспаленным воображением молодого художника, когда он шел за незнакомкой)».

Никогда не забывал Вишневский и о недавнем, но теперь уже историческом опыте рожденного к жизни революцией самобытного искусства народных масс, опыте, который, собственно, и подтолкнул его самого к литературе и театру в 1921 году, когда он написал инсценировку «Суд над кронштадтскими мятежниками».

Размышляя над происхождением нового театра и драматургии, Вишневский приходит к выводу, что в их истоках — напряженное новаторское творчество безвестных командиров, политработников и бойцов — авторов агитпостановок, текстов инсценированных «судов» и т. д. «Отсюда вырастал Сергей Эйзенштейн, работавший в одном из агитпоездов на Северном фронте, — писал Вишневский в статье «За советскую пьесу». — В интереснейшей постановке «Свержение самодержавия», прошедшей в Петрограде в 1919 году более двухсот пятидесяти раз, исследователь найдет те элементы, которые позже использовали почти все основные режиссеры СССР. Здесь была и массовость действия, и использование всего зрительного зала, и две игровые площадки — одна для белых, другая для красных, и хорическое начало, и элементы сатиры, пантомимы и т. д.».

Такие черты, как политическая активность, приподнятость, патетика, были присущи молодой советской драматургии, ее лучшим представителям — Маяковскому, Погодину, Вс. Иванову, Афиногенову, Треневу, Третьякову

и, конечно же, Всеволоду Вишневскому. Именно они, осваивая классическое наследие и воплощая в своем творчестве чаяния, мысли и чувства революционного народа, создавали новые — классические произведения эпохи социализма.

Переболев отрицанием традиционной драматургии, пройдя трехлетие, полное целеустремленных и трудных исканий и учебы, Вишневский в своем творчестве вышел на качественно новый рубеж. Без преувеличения это ре- результат огромного духовного, нравственного и эстетического развития, мучительного и одновременно решительного преодоления влияний извне во имя обретения собственного неповторимого лица художника.

Все это Всеволод Витальевич глубоко осознал — и в этом его сила как художника. Спустя некоторое время, подводя итоги первых драматургических выступлений, он писал:

«Первая Конная» самостоятельна; отсюда удивление и пр.

Далее — некоторые театральные влияния, подсознательные: полемика с «Красным маком», «Разломом» и прочим и уже *плен* театра.

«На Западе бой» — еще сильнее: ученичество плюс поиски плюс давление РАППа и пр. Влияния — сильнее.

«Оптимистическая трагедия» — прорыв, *освобождение»*.

3

Раннее июльское утро. Молодой, коренастый, круглолицый моряк с орденом Красного Знамени на кителе стоит на палубе «Красной Молдавии».

Крымские берега: Севастополь, Алушта, Судак... Вот здесь они с Папаниным, пройдя нелегкий путь от Новороссийска, высаживались на удерживаемый врангелевскими войсками полуостров. Юг, Таврия, удивительное напластование исторических эпох. Старые кладбища. Некрополь Херсонеса. Под скромной плитой лежит римский воин Первого легиона. Простая надпись: «Прохожий, радуйся». Радуйся тому, наверно, что погиб воин хорошо, а ты, прохожий, живешь! Севастопольская кампания... Бои двадцатых годов...

Недавно на Черном море проходили маневры, а теперь боевые корабли занимаются переброской нефти из

Туапсе на юг Украины (надо обеспечить уборочную кампанию). Вишневский увлечен всеми этими будничными делами, но более всего — общением с ветеранами, оставшимися в кадрах флота: подолгу беседует с ними и слушает их голоса, их интонации.

И Черное море, и таврические степи станут географическим фоном новой пьесы: «Плавал я там три месяца, выбор был сделан специальный. Я пошел в плавание с будущими академиками РККА. Их было человек тридцать. Каждый день я мог наблюдать за поведением комиссаров... Этот метод работы дал мне очень много, точные ощущения людей страшно помогли, а воспоминания стали острее, отчетливее». Новая пьеса владеет им крепко — ее образы ни днем, ни ночью не дают покоя. Три акта залпом — в три дня, а затем, на протяжении пяти недель, переписаны набело. 28 августа автор впервые прочел пьесу Софье Касьяновне — в безлюдном месте, у прибрежной скалы близ Балаклавы.

Однако работа над пьесой, углубленная, кропотливая, продолжалась и после того, как она была опубликована в печати — вплоть до премьеры в Камерном театре, состоявшейся 18 декабря 1933 года. Практически два года — с учетом, конечно, того, что параллельно обдумывались и писались киносценарий «Мы из Кронштадта», главы эпического романа «Война».

А начиналось все так, как обычно у него бывало. 9 января 1932 года родилась сцена, несущая в себе зерно, зародыш основной, ведущей идеи будущей пьесы.

«Увидел ряд отрывков и ясно, как некогда в 1929 году финал «Последнего решительного» — увидел финал: умирание командира, большевика... Колоссальной силы человек. Смерть скрашивают матросы-бойцы, стараясь делать вид, что ничего особенного нет. Они рассказывают, шутят... Командир умирает медленно среди шуток и смеха, приказывая (приказ передается по цепи — всем) смеяться... Матросы смеются, смех нарастает, достигая силы буйного, вызывающего грохота. Среди смеха командир умер... Сняты фуражки... Сильнее смерти!..»

Спустя несколько месяцев в дневнике писателя появляются такие строки: «11 мая. Уже есть наметка трехактная, трехчастная. Уже появляется первая тема — «маленькая женщина», беседы, инструктивность, тема суда, тема боя, тема ревности, тема начала...» Его тянет прочь от монтажа эпизодов — к большой, новой для него

вещи. Он слишком хорошо помнит обвинения в фрагментарности своих предыдущих пьес — критики писали, что автор, мол, не владеет традиционной формой драматургии. И теперь ставит перед собой задачу: дать цельную вещь, «в которой будет много старой культуры», но которая все равно будет «повернута по-своему».

Приступая к работе над пьесой, художник задумался над многими вопросами бытия: почему, например, в некоторых произведениях говорится о страхе и не показывается бесстрашие народа, то, какой ценой добился он социального освобождения? Октябрьская революция сдвинула мир с его старых основ, но, чтобы «такое историческое чудо произошло», — подчеркивал В. И. Ленин, — необходимы были «централизация, дисциплина и неслыханное самопожертвование» [1].

Главный конфликт эпохи — непримиримое противоречие между новым и старым миром — разрешается драматургом трагедийно: отдельные люди, целые коллективы геройски гибнут, гибнут во имя высокой цели, светлых идеалов. В новой пьесе, как и в ранних рассказах, в «Последнем решительном», Вишневский исследует, отображает не войну саму по себе — это задача историков, — а возможности человеческого духа на войне.

Высший долг — служение Революции — этот определяющий мотив «Оптимистической трагедии» воплощен автором прежде всего в образе Комиссара. Действительность, которая предстает перед зрителем в первом акте, туманна, хаотична. Волею большевистской партии пробивает себе дорогу закономерность истории. Если до сих пор Вишневский писал драмы как бы без героев, то здесь сознательно на первый план выходит фигура представителя партии. Герои появились из массы и принесли с собой более глубокое осмысление жизни.

Современному читателю и зрителю, конечно же, знаком канонический текст пьесы, обессмертившей имя Всеволода Вишневского, и потому небезынтересно проследить, как, в каком направлении он менялся.

Хотя к этому времени Вишневский практически перестал выступать с декларациями теоретического порядка — нужда в них чаще всего возникает, если художник в собственном творчестве находится на перепутье, — в первом варианте пьесы, словно по инерции, еще сохра-

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 40, с. 241.

нялись второстепенные, побочные мотивы. Здесь мы находим интермедии, в которых автор продолжает начатый в «Последнем решительном» спор об искусстве, о мещанских вкусах в театре. Когда окончательно вырисовалась форма трагедии и когда Старшины хора — Ведущие — стали обращаться к современникам как представители ушедших, погибших во имя будущей счастливой жизни, интермедии были сняты автором, ибо они снижали героическую тональность пьесы. В окончательном ее варианте вместо целой страницы текста осталось несколько слов. Ведущие говорят лаконично и точно, фокусируя внимание зрителей на главном, призывая их задуматься над проблемами жизни, искусства.

«Первый *(рассматривая пришедших на трагедию)*. Кто это?

Второй. Публика. Наши потомки. Наше будущее, о котором, помнишь, мы тосковали когда-то на кораблях.

Первый. Интересно посмотреть на осуществившееся будущее. Тут тысячи полторы, и наблюдают за нами... Не видели моряков!

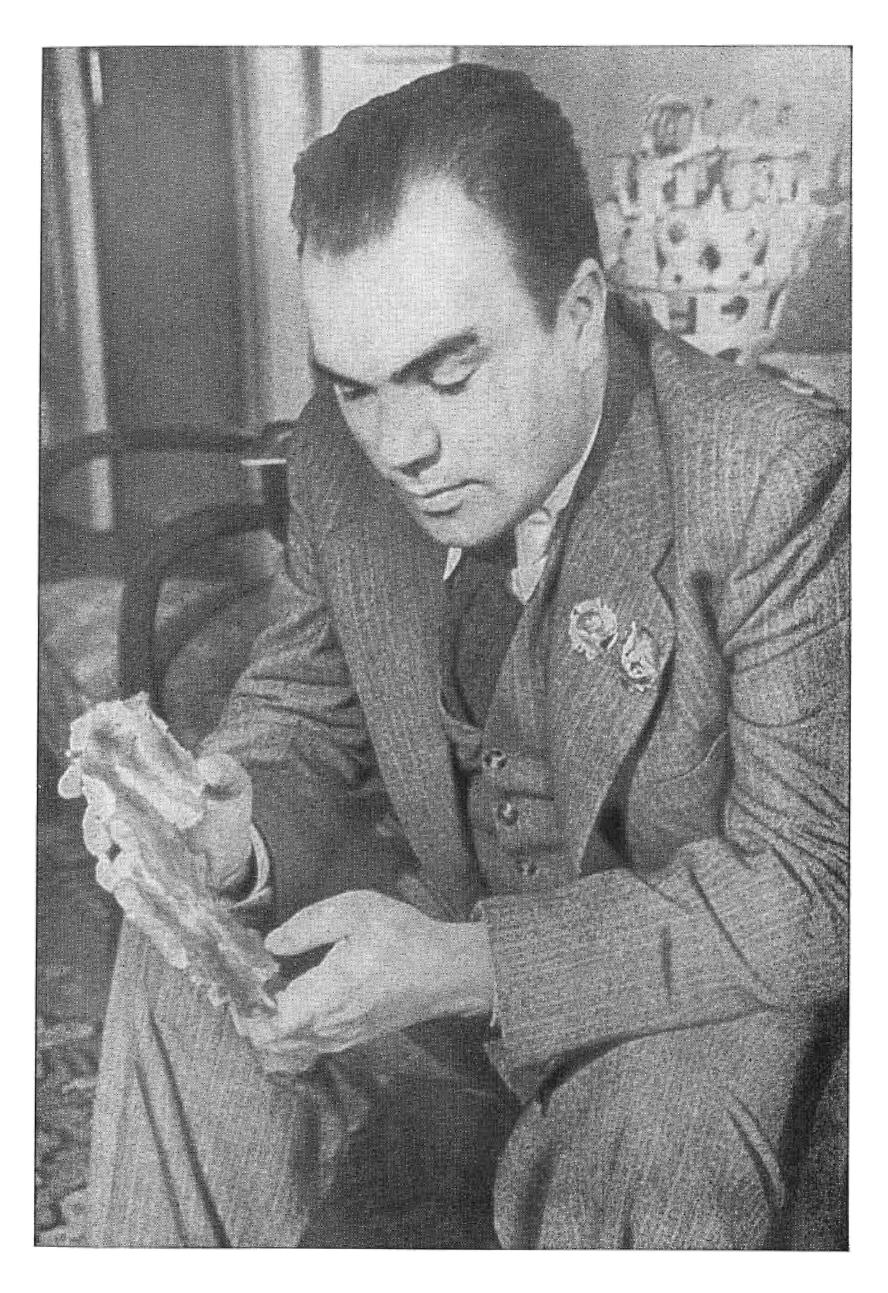
Второй. Молчат. Пришли посмотреть на героические деяния, на героических людей.

Первый. Тогда им проще глядеть друг на друга.

Второй. Какая вежливая тишина! Неужели нельзя встать кому-нибудь и сказать что-нибудь? *(Обращаясь к кому-то из зрителей.)* Вы вот, товарищ, что-то насупились. Здесь-де не военкомат, а театр... Вы, может быть, полагаете, что в данном случае у военкомата и у театра разные цели? Ага, не полагаете... Ну что ж, начнем! *(Как вступление к поэме.)* Отложите свои вечерние дела. Матросский полк, прошедший свой путь до конца, обращается к вам — к потомству».

Не объяснять зрителю, что перед ним новая драматургическая форма, а воплощать ее непосредственно на сцене — к этому приходит драматург. Стремление к реализму и очищение от второстепенного, в частности, от экспрессионистского налета в трактовке основных персонажей пьесы свидетельствовало о вступлении писателя в период зрелости.

Наблюдения за старыми бойцами, партизанами, беседы с ними — все эти впечатления лета 1932 года начинали трансформироваться в художественные образы. Ко-



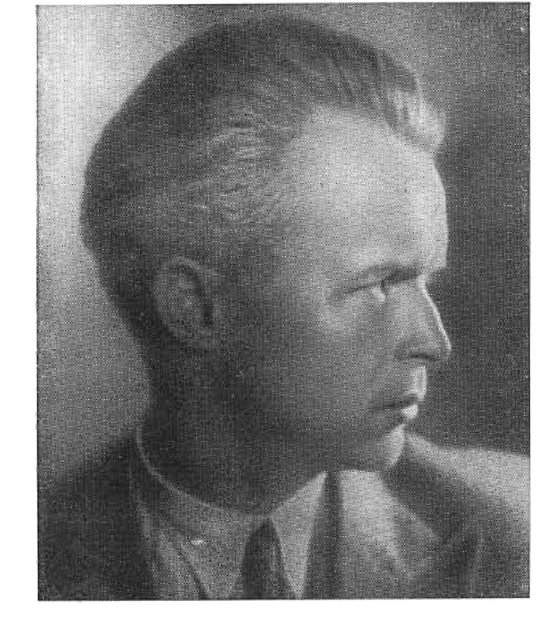
Осколок снаряда, едва не угодивший в Вишневского в бою в Испании. Август 1937 г.

Венеция. Лето 1936 г.

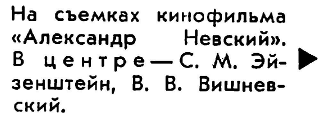
Вишневский в редакции газеты «Красная звезда» Среднеазиатского военного округа. 1935 г.

Доклад о международном положении. Дальневосточный военный округ. Июль — сентябрь 1939 г.

В. В. Вишневский и Н. К. Черкасов (справа) с пограничниками в районе озера Хасан. Июль 1939 г.



А. П. Довженко. 1930-е годы.



На съемках кинофильма «Александр Невский». В центре — С. М. Эйзенштейн, В. В. Вишневский. ▶



Фридрих Вольф. 1930-е годы.

Вс. Вишневский и Л. Соболев на финском фронте. 1939—1940 гг. ▶



В. В. Вишневский. 1942 г.

А. А. Фадеев, В. В. Вишневский и Н. С. Тихонов на фронте, в районе реки Невка. 4 июля 1942 г.

Вишневский среди разведчиков батальона морской пехоты. 1942 г.

На Выборгском направлении. Июль 1944 г.



Дружеский шарж. Кукрыниксы. 1944 г.

Вс. Вишневский, Н. Тихонов, А. Прокофьев после награждения в Смольном медалью «За оборону Ленинграда». 1943 г.



Василий Иванович Чуйков. Надпись на обороте снимка: «Всеволоду Вишневскому — в память о взятии г. Берлина от В. Чуйкова. 9.5.45 г.».

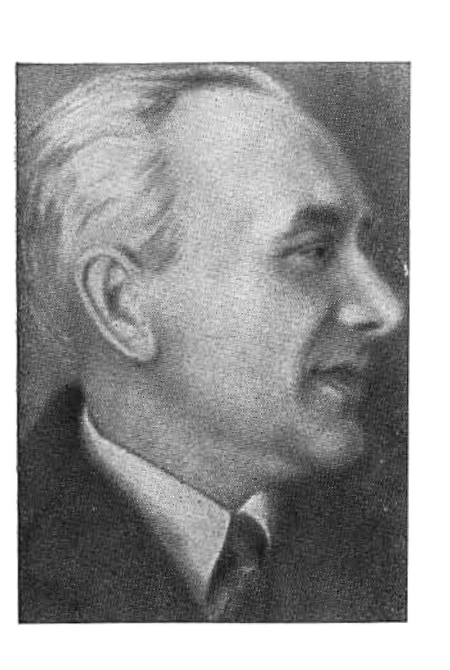
У стен рейхстага. Во втором ряду, третий справа — Вишневский.

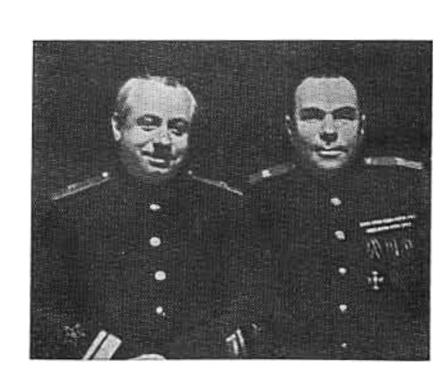


С. К. Вишневецкая.



В. В. Вишневский.





И. Д. Папанин и В. В. Вишневский 1945 г.

Ю. И. Яновский.

Беседа со студентами в Германии. Октябрь 1947 г.

В. Ф. Попов, М. М. Пришвин, Д. Н. Медведев и В. В. Вишневский. 1949 г.

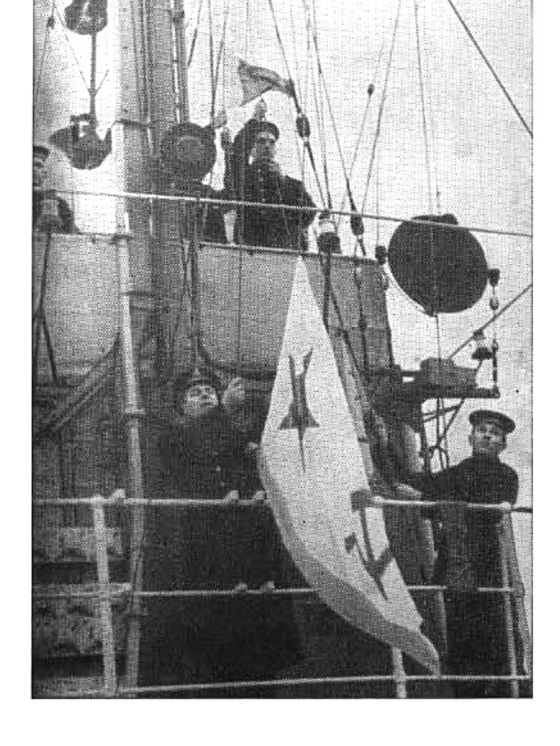
В. В. Вишневский среди матросов Балтийского флота. 1949 г.

В. В. Вишневский с М. В. Исаковским, А. В. Софроновым, А. А. Сурковым, А. А. Фадеевым и др. 1950 г.

За письменным столом.
1948 г.

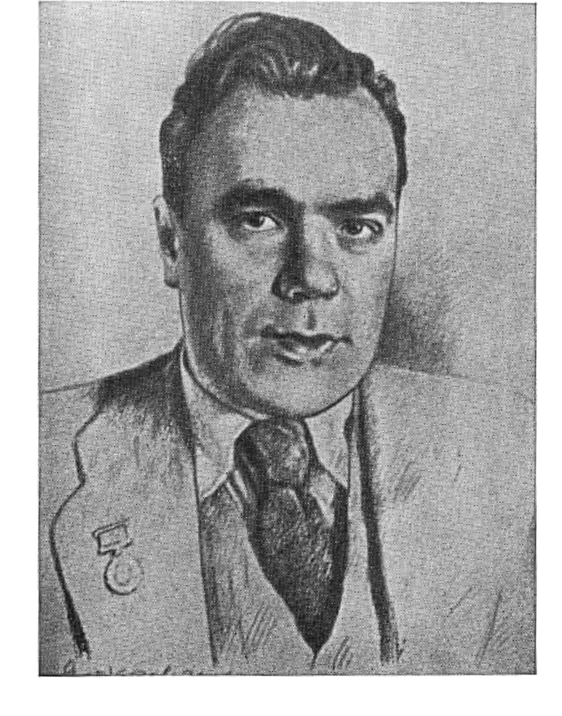
Книги В. В. Вишневского.





Подъем флага на военном корабле «Вс. Вишневский».

Пароход «Всеволод Вишневский».



Портрет работы художника А. Яр-Кравченко.

Скульптурный портрет работы С. Коненкова.



В. В. Вишневский. 19 декабря 1950 г.

гда в январе ему впервые пришла в голову идея пьесы (гибель Комиссара), то не было еще, как пишут некоторые авторы, готового прототипа.

В период работы над пьесой Вишневского заинтересовало землячество женщин — участниц гражданской войны. Он бывает на их собраниях, знакомится с письмами, документами и восхищается («материал необыкновеннейший»!); выделяет замечательные по своей содержательности и точности воспоминания Евгении Бош: «Она под Харьковом остановила эшелон матросов-анархистов, которые не выдержали огня и бежали. Подошла, вынула револьвер и сказала: «Пожалуйста, идите назад, я вас очень прошу об этом». Анархисты совершенно «опупели». Она сама их повела назад. Ей говорят: «Смотри — «дзыга». Она: «Что значит «дзыга»?» — «Снаряд». — «Ага, хорошо».

Встречи с людьми, архивные материалы, собственные воспоминания — из всего этого и произрастали живые черты Комиссара.

В статье «Автор о трагедии» [1] Вишневский подробно рассказывает предысторию другого персонажа пьесы — Алексея. Этот образ вобрал в себя впечатления самого автора, полученные в годы гражданской войны. Алексей — из моряков, исколесивших страну вдоль и поперек и ощутивших ее масштаб, побывавших в зарубежных плаваниях и видевших страны Азии, Африки и Европы. «В конце войны, — пишет Вишневский, — они попали в Америку, когда Россия вышла из войны. В Америке их раскассировали, и в одиночку они пробирались через Аляску, через Берингов пролив в Россию. Просочились через фронт Колчака и пришли к нам. Впечатления, я думаю, громадны. У Алексея вопросы — «что хорошо?», налет бывалости, кое-какие фразы и т. д. Сложность его типа из этого корня. Его корни анархические идут отчасти от «IWW» — «Индустриальных рабочих мира». Я не усложняю, — я говорю только о том, что было замечено мной за ряд лет».

Алексей — один из стержневых персонажей: он влиятелен среди матросов, и от того, чью сторону — Вожака или Комиссара — он примет, во многом зависит решение массы. Алексей — искатель п р а в д ы, и с т и н ы, и в

[1] Опубликована в книге Вс. Вишневского «Оптимистическая трагедия» (М.—Л., 1933) в виде послесловия.

этом он очередной тип в галерее классических образов русской литературы. Однако в первом варианте пьесы Алексей был показан автором еще и как воплощение власти «извечных сил плоти».

По основному тексту Алексей появляется в таком эпизоде. Сумерки, тоска, безысходность в душе Вайнонена, и вдруг из-за палубных надстроек доносятся команды:

«Ирр-на! Так... Носки врозь, пятки вместе. На ширину приклада. По раз-делениям!! На плечо!»

Финн приходит в бешенство: кому это старый режим в голову ударил?! Голос не унимается, и когда Вайнонен снова сердито кричит: «Надоело, я говорю, сат-тана!» — Рябой матрос успокаивает его: «Ты не волнуйся... Не тронь... Это Алексей с тоски сам с собой занимается».

Первоначально же было по-другому. Рябой объяснял:

«— Ты не волнуйся... Не тронь... Он женщину привел, раздел и занимается. Любит голых женщин военному строю обучать...»

Расхождение существенно: там до ужаса, до одури бессмысленное занятие, здесь — бездуховность, прожженный цинизм. Такой Алексей вряд ли столь настойчиво докапывался бы до корней происходящего — в мире, в стране, в полку, в себе самом — и не в состоянии был бы воспринять правду, которую раскрывал перед ним Комиссар.

Смерть и зарождение новой жизни неразрывны, «зов естества» вечен, даже если осталось несколько часов до казни. Во имя утверждения этой мысли Вишневский давал в первом варианте такую — предшествующую финалу — сцену:

«— Дневалишь? — окликал Алексей Комиссара, и сразу начинался разговор мужчины и женщины, обособленных в своей волнующей ночной близости, ощущающих себя на грани последнего своего часа, последних поступков в жизни.

Алексей. Слушай, вот тебе настоящее человеческое слово перед кончиной: полюби, а? От чистой души говорю. Смотри в глаза!

Комиссар. От чистой души? Ребеночек.

Алексей. Могу сказать иначе: полюби, ценю жизнь и способ, которым ее дают.

Комиссар. Оставь свою грусть.

Алексей. Ну, прости... Пять лет подряд — бой, бой,

бой... Тонул, горел... Что, может, подозреваешь — больной? Смотри, тело как стекло... Чисто. Зубы — а!.. Я берегся... *(С невыразимым отчаянием.)* Да что же, молиться тебе? Стосковался же по ласке.

И, отвечая, женщина погладила парня по голове, не то успокаивая, не то соглашаясь».

Затем следует ремарка, явно кинематографического свойства: «Огромные и родные мысли об острове и городе под бледным северным небом. Чугунные мостовые Кронштадта, каналы, гранит, двухвековые казармы и неисчислимые уходы наших отрядов и отзвук прощального вальса». Назначение этой ремарки очевидно — показать размах борьбы, огромное напряжение, напомнить о том, что впереди и новые победные, и трагические мгновения. А поэтому человеку нужна разрядка.

Последний возглас Алексея («У-ух, полк бы вернуть!») звучал фальшиво. Слишком неестествен переход от интимной, натуралистически выписанной ситуации к трагической действительности. После премьеры и нескольких спектаклей в Камерном эта сцена была изменена, и в окончательном варианте диалог Алексея и Комиссара предельно сжат, суров — они оба во власти ощущений боя, продолжающегося до последнего вздоха.

Клятва, повторенная обоими перед лицом смертельной опасности: «Держать марку военного флота», — естественное завершение основной философской идеи пьесы.

Наименьшие изменения при доработке внесены в образ Комиссара, что свидетельствует о его продуманности с самого начала. Черты характера, намеченные в первых сценах, укрупняются в критических ситуациях: в столкновениях с Вожаком и Сиплым раскрываются незаурядность ума, тактическая гибкость, душевная сила, стойкость и даже — так неожиданно для Вишневского — женская хитрость.

Как легко заметить, в предшествующих произведениях драматурга женщины вводятся лишь как эпизодические персонажи. А в «Оптимистической» в роли Комиссара — женщина! Такой поворот во взглядах Вишневского закономерен, он обусловлен углублением его идейно-эстетической концепции. Главное — быть коммунистом: хрупкая женщина проявляет огромную силу духа, и это благодаря закону контрастности значительно усиливает эмоциональное воздействие на читателя и зрителя.

Трезво анализируя обстановку, Комиссар умно и психологически тонко борется за прозрение тех, кто неосознанно и послушно идет за Вожаком. Пьеса построена на конфликте между волей партии, выразителем которой является Комиссар, и анархистскими элементами во главе с Вожаком.

В первые же минуты пребывания Комиссара на корабле ей устроили проверку. С разных сторон из полутьмы надвигались матросы — удивленные, дышащие злобой, разгоряченные предвкушением постыдного, наверное, и для них, но все одно притягивающего зрелища. Полномочный представитель толпы предлагает: «Давай, товарищ, женимся. Отчего вы удивляетесь? Любовь — дело в высшей степени почтенное. Продолжим наш род и побезумствуем малую толику...»

Недвусмысленные реплики, намеки, похохатывание — и кольцо сужается. И вот уже из люка снизу «неожиданно и медленно поднимается огромный полуголый татуированный человек. Стало тихо.

Комиссар. Это не шутка? Проверяете?

Полуголый матрос. Н-но... у нас не шутят. *(И он из люка кинулся на женщину.)*

Комиссар. У нас тоже.

И пуля из комиссарского револьвера пробивает живот того, кто лез шутить с целой партией. Матросы шарахнулись и остановились.

Ну, кто еще хочет попробовать комиссарского тела? Ты? *(Другому.)* Ты? *(Третьему.)* Ты? *(Стремительно взвешивает, как быть, и, не давая развиваться контрудару, с оружием наступает на парней.)* Нет таких? Почему же?.. *(Сдерживая себя и после молчания, которое нужно, чтобы немного успокоить сердце, говорит.)* Вот что. Когда мне понадобится, — я нормальная, здоровая женщина, — я устроюсь. Но для этого вовсе не нужно целого жеребячьего табуна».

Достигнута первая победа. Но это лишь завязка борьбы за души людей, которую начинают Комиссар и единственный на корабле коммунист — финн Вайнонен. Когда впоследствии автора упрекали в том, что не показана роль партийной ячейки, он отвечал: «У нас в 1918 году на многих кораблях ячеек еще не было. У нас на корабле был один коммунист (комиссар) Николай Маркин». А в пьесе Старшины публицистически приподнято

утверждают: каждый второй коммунист был под огнем, на фронте, но их роль определялась не количеством (всего двести восемьдесят тысяч), а силой убеждения людей, нравственным примером, личной храбростью и самоотверженностью. И умением понять настроения масс и каждого отдельного человека.

Когда между Комиссаром и Вожаком начинаются переговоры, Алексей, чувствуя неискренность, дипломатическую игру, не выдерживает и бросает обоим: «И ты лжешь, и ты лжешь...» Опытному политическому руководителю достаточно, чтобы понять — в этом сомневающемся матросе не все потеряно. Комиссар вызывает Алексея на откровенный разговор и, ведя его внешне иронично, легко, а по существу, жестко, сбивает с него напускную браваду и одновременно приоткрывает завесу над мучающими его вопросами.

«Ты куда это вчера из боя направлялся? Заманивал противника?» — в упор то ли спрашивает, то ли утверждает Комиссар. Постепенно выясняется, что на выборах Алексей голосовал «за список пятый номер» — за большевиков, которые, по его мнению, все-таки получше, чем другие, что бывалый матрос самолюбив и не во всем согласен с Вожаком. Мимоходом, по-женски лукаво Комиссар бросает: «Он тебя держит крепко», что, естественно, вызывает у Алексея взрыв возмущения: «Н-но, меня! Я боюсь этого бугая?!»

В конце концов незаметно для самого себя матрос открывает душу: «Слушай, ведь в нас старое сидит. Сами только и ищем, где бы чего разжиться, приволочь, отхватить. И во сне держимся за свое барахло! Моя гармонь, мои портянки, моя жена, моя вобла. Человека за кошелек казнили. Мало — двоих. Исправится ли человек? Переломит ли он себя? Этакая маленькая штучка — «мое». На этой вот штучке не споткнуться бы». Радуясь, что разговор получается, комиссар направляет его в нужное русло. Когда Алексей высказывает сомнения относительно крестьянства («мужик не откликнется»), Комиссар мягко, но настойчиво убеждает: «Пойдет... Не сразу, понятно... мы ему и время дадим: «посиди, посиди, подумай»... Хозяйство будем поднимать. Россию на свет, на воздух выведем. Дышите, люди!»

В кульминационном моменте действия, когда Комиссар, взвесив все «за» и «против», выступает против Вожака в открытую, именно Алексей ставит решающую точку. Взяв

в руки чистый лист бумаги, по которому Комиссар сымпровизировала текст составленного именем пролетарской революции смертного приговора Вожаку, посмотрел, повертел им и сказал: «Написано, как сказано». И раздвоившаяся уже ранее матросская масса, припомнив Вожаку казнь ни в чем не повинных людей (высокого матроса, старухи, офицеров, возвращающихся из плена домой), принимает сторону большевиков. С этого мгновения можно начинать счет жизни нового, революционного полка.

Да, коммунисты рисковали своей жизнью: если бы погиб Комиссар, на его место встал бы Старый матрос, питерский рабочий; если убили бы и его — следующим говорил бы Вайнонен... Словно подводя черту под этим диалогом, один из Старшин дает намеренно сухой, уставной комментарий: «Комиссар и коммунисты обязаны при любых обстоятельствах самоотверженно и стойко, показывая личный партийный пример, сделать все и не ссылаться на трудности».

«Оптимистическая трагедия» наиболее яркое произведение, выявившее своеобразие таланта писателя, особенности новой сценической эстетики, принесенной им в театр. И совершенно справедлива мысль Г. Кормушиной о том, что Вишневский остро и решительно поставил вопрос о трагедии в связи с новым содержанием героя. Она пишет о том, что после «Оптимистической трагедии» правомерно говорить о «театре Вишневского»: «Сила характеров, идейная значительность подтекста позволяют говорить о театре героических характеров, выражающих национальный дух русского народа. Новое в жанре трагедии — ее исторический оптимизм, но родился он на русской почве».

4

Теперь уже общепризнано, что «Оптимистическая трагедия» принадлежит к золотому фонду советской драматургии.

Однако жизнь ее как литературного произведения начиналась до предела трудно. 15 октября 1933 года Вишневский удрученно записывает в дневнике: «Какая-то атмосфера неуловимых и уловимых нападок, иронии, неопределенности, замалчивания... «Оптимистическая трагедия» идет с боем — через молчание и выжидание; пре-

мьеру в Киеве замолчали наглухо; книгу и публикацию в «Новом мире» замолчали; в обзоре «Литературной газеты» Оружейников прошел мимо». Правда, Всеволод тут же внутренне собирается, «ощетинивается» и сам себя успокаивает, дает наказ: «...А я буду еще работать, писать все полста лет — если не убьют на новой войне. (Бабка жила до 80, отец в 55 — крепок)».

Что же осложнило путь пьесы к читателю и зрителю? Репутация известного, но «шумного» драматурга? А может, новаторский — не сразу понятый и принятый — характер произведения? Или иные, более частного порядка обстоятельства?

Например, такое. В январе 1933 года рукопись еще нигде не опубликованной и не поставленной пьесы была дана Вишневским для прочтения одному из секретарей Оргкомитета Союза советских писателей. Факт передачи еще «горячей» рукописи, разумеется, свидетельство если не близких отношений, то в любом случае большого авторского доверия. Но вдруг произошло то, чего Всеволод никак не мог ожидать: его «приятель» обрушился на автора пьесы с трибуны второго пленума оргкомитета. Чего только он не наговорил! Вишневский дает «хор безликих людей», не в силах отразить богатство социальных отношений; оправдывает анархическую стихию... Вот так, одно выступление — и готов первый «критический паспорт» всесоюзного звучания, полученный «Оптимистической трагедией».

Возможно, об этом не стоило бы упоминать, если бы не сохранился ответ критику, датированный 18 марта 1933 года. Это замечательный документ, показывающий, как любое суждение по поводу творчества драматурга становилось толчком, побуждением для обогащения его новыми знаниями, как Всеволод умел переступать через личное. Здесь мало говорится о пьесе (она уже опубликована) — ее прочтут, поставят спектакли, и тогда спор, по существу, будет продолжен. Вишневского всерьез занимают вопросы теории — сказанное по поводу его произведений он связывает с общими задачами литературной критики, в данном случае ведет речь о ее назначении и уровне.

Были бессонные ночи, мучительные раздумья художника об истинной идейно-эстетической ценности своего произведения. За помощью он обращается к неизменным советчикам — к книгам. В частности, к переписке Марк-

са и Энгельса с Фердинандом Лассалем по поводу его пьесы «Франц фон Зиккинген» — изучает убористые, набранные нонпарелью и занимающие около двадцати страниц объяснения Лассаля и четко выстроенные, глубокие оценки Маркса и Энгельса. Вишневский старается понять и показать, как классики достигают единства идейно-эстетического анализа произведения.

И Маркс и Энгельс (последний произносит «критическое слово» лишь после того, как четыре раза прочитал драму) прежде всего дают оценку художественной специфики (композиция, приемы создания образов, особенности языка и стиля). «Энгельс, — обращает внимание Вишневский, — далее устанавливает степень исторической верности трагедии, отмечает удачные — в этом плане — сцены, характеристики, отмечает приемы автора (ввод биографии Гуттена); дает совет усилить нарастание трагического момента в третьем акте, повторно объясняет, почему шекспировские приемы дадут более верное политическое звучание. Он оговаривает, что данные его советы, однако, необязательны и есть десятки других способов улучшить, дополнить политически слабые места. Энгельс подчеркивает также необходимость взаимной критики в интересах партии».

Главное пожелание Вишневского критику: попробуй сравни свой метод (по стенограмме пленума и по отчету в «Литературной газете») с методом, который применяли классики, и ответь: почему, призывая художников к высоким образцам, ты лично этих высоких образцов не придерживаешься?..

Но если абстрагироваться от боли и обиды, причиненных неожиданным и необъективным выступлением, то надо признать, что оно принесло и пользу. Драматург еще и еще раз написанное им подвергал проверке идейно-эстетическими критериями, предъявленными Марксом и Энгельсом к трагедии «Франц фон Зиккинген». Вишневского укреплял в правильности его творческой позиции такой, например, совет Энгельса: давать персонажам «характеристику, которая в то же время прямо вытекает из характера... действующих лиц *как типичных представителей*»[1]. Противопоставляя абстрактно-демократическому пафосу шиллеровских драм реализм Шекспира с его живостью и действенностью, Маркс и Энгельс предъявляли

[1] Маркс К. и Энгельс Ф. Об искусстве. М., 1976, т. I, с. 24.

к драме требование широкого и всестороннего изображения исторического действия, уходящего своими корнями в народную почву. Революционная трагедия должна отображать борьбу, интересы, идеи широких народных масс, драма будущего объединит в себе, считает Энгельс, высокую идейность с более богатым и полнокровным «шекспировским» реализмом.

Приняв Марксову терминологию, можно сказать, что «Последний решительный» Вишневский в основном писал «по-шиллеровски», превращая индивидуумы в «простые рупоры духа времени». Теперь же для драматурга пришла пора «шекспиризирования»: он настойчиво стремится к созданию полнокровных художественных образов.

И еще об одном задумался Вишневский: Зиккинген погиб потому, что восстал против существующего строя как рыцарь, как представитель гибнущего класса. Он и его соратники должны были погибнуть, потому что они «совершенно так же, как *образованное* польское дворянство 1830 г., стали, с одной стороны, проводниками современных идей, а, с другой стороны, на деле представляли интересы реакционного класса» [1]. Трагическое противоречие: Зиккинген оказался между крестьянами и дворянством — одни стремятся к освобождению, а другие решительно против.

А почему он, советский писатель, написал трагедию? Но разве жизнь не дает оснований для таких произведений? «Я думаю, — заявил Вишневский в своем выступлении на вечере, организованном секцией драматургов Оргкомитета ССП и посвященном обсуждению спектакля Камерного театра, — что даже и в бесклассовом обществе жизнь будет построена отнюдь не на одних улыбках — жизнь остается жизнью, страсти не будут сняты. Верю в тему преодоления борьбы, в дерзания людей!» В письмах профессору А. А. Гвоздеву он так же темпераментно — на примере своей пьесы — показывает неизбежность трагедийного начала.

В самом деле, трагедия у Беринга — идет служить тем, кто давит его класс, уничтожил семью; трагедийна ограниченность Боцмана, оставившего Сиплого в строю, трагичен просчет Вожака, понадеявшегося сломить, «приручить» Комиссара... Измученные войной, германским

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Об искусстве. М., 1976, т. I, с. 20.

пленом, истосковавшиеся по родине и близким офицеры, чувствуя, что жизнь их на волоске, вкладывают свою последнюю отчаянную надежду в обращение к Вожаку и матросам. «Я думал, — говорит первый офицер, — что наша русская революция будет светлой, человеколюбивой... Здесь, в нашей России, куда мы, наконец, вернулись, сверкнул первый проблеск человечности... Отнеситесь же к нам человечески доверчиво, чисто...»

Но тщетно: в Вожаке все человеческое мертво... Решение расстрелять офицеров, их гибель — это ли не двойная трагедия — и для Вожака, и для них?

И, наконец, судьба Комиссара. В первом варианте пьесы погибал весь полк, в окончательной редакции — Комиссар. Это трагедия, но трагедия оптимистическая: жизнь Комиссара отдана во имя народного дела, подвиг ее торжествует над смертью.

Таланту Вишневского гражданственность присуща внутренне: горе, страдания, печаль — все это есть на самом деле, все должен познать человек, заглянуть внутрь самого себя, быть способным понять чужую боль, сострадать ей... Да, и эти переживания обогащают духовно, делают человека сильнее.

Репутация новатора и забияки в литературных спорах и дискуссиях во многом повредила Вишневскому. Гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Ему наносили удары и справа, и слева, и заслуженные, и не очень. На него рисовали шаржи Кукрыниксы и другие карикатуристы, чаще всего изображали в морской форме, вооруженным не меньше, как... дальнобойным орудием. Стоило ему выступить с резкой критикой Вс. Мейерхольда за включение в репертуар ГосТИМа пьесы «Самоубийца» Н. Эрдмана, как тут же в «Литературной газете» появляется фельетон И. Ильфа и Е. Петрова «Когда уходят капитаны», авторы которого высмеивали Вишневского следующим образом: «Вот вы тут сидите и ни черта не делаете, — сразу начинает здоровяк в капитанской форме, — а между тем происходят события огромной важности. Мейерхольд сползает в мелкобуржуазное болото! Если я человек живой, так сказать, сделанный из мяса, я это так не оставлю...»

Постоянное участие в литературной полемике, напористость, категоричность, прямота в отстаивании своих взглядов (порою и небесспорных) косвенно влияли и на оценку его произведений. Как ни явны были слабые

места в первом варианте «Оптимистической трагедии», но ни пьеса, ни ее автор не заслуживали такой острой критики со стороны А. М. Горького, какая прозвучала в статье «О бойкости», опубликованной 28 февраля 1934 года в газете «Правда» (кстати, пьеса тогда уже шла на сцене Камерного театра в доработанном, классическом варианте).

Михаил Жаров, спустя три с лишним десятилетия вспоминая авторскую читку «Оптимистической трагедии» в театре, не преминул заметить, что если бы Горький слушал ее, то он, вероятно, не стал бы ругать Вишневского в статье «О бойкости». В стенограмме речи «Автор о трагедии» «я» выпирает чуть ли не в каждой фразе, в живом же виде оно было лишь поводом для вздоха, для динамического движения речи рассказчика. Печатное слово не могло передать интонацию живой речи, а для Вишневского эта интонация была не менее важной, чем содержание.

Да и потом дело не только в особом, развившемся в годы гражданской войны строе ораторской речи, которая на всю жизнь сохранится у Вишневского. Когда на Волге в 1918 году вызывали добровольцев разведчиков, он одним из первых произносил: «Я!» Когда в сложных идеологических и литературных битвах необходимо было выступить, он всегда открыто, обнаженно говорил: «Я считаю», «Я убежден». И впоследствии, когда фашистские пираты сбросили бомбы на мирные города нашей страны, он первым прибыл в здание Союза писателей и сказал: «Я иду на фронт...»

Может быть, не всем нравится такое «яканье», что ж, для Вишневского оно каждый раз было прямым выражением его гражданской позиции, чего, кстати, иные «скромники» почему-то избегают.

При перечитывании сегодня статьи Горького, а она на две трети состоит из справедливых, но общего характера суждений, создается впечатление: Вишневский «подверстан» случайно. В понятие «бойкость», включающее и легкомысленное, поверхностное, непродуманное отношение к людям, к различным явлениям жизни, он ну никак не вписывается.

Драматург обвинен, во-первых, в «яканье», во-вторых, в отрицании классиков (в том числе и любимых им Гоголя и Толстого!), в-третьих, в злоупотреблении натуралистическими выражениями в речи персонажей, в-чет-

вертых, Горькому неясен смысл названия «Оптимистическая трагедия». («При чем здесь «оптимизм»? Ведь погибают не враги!»)

Ответное письмо Вишневского пропитано горечью, усталостью и вместе с тем искренним желанием как можно больше объяснить: «Алексей Максимович! Честное слово, все это гораздо проще, прямее выглядит, если хотя бы проверить, поговорить лично. Вы ни разу ведь со мной не говорили. Не знаете меня, моей жизни, сути...»

Вишневский не стал объяснять то, что, по его мнению, ясно из окончательного текста пьесы, и по существу критики отвечал кратко: «Жалею искренне, что Вы не заметили в «Оптимистической» новых матросов, новых партийных сил. Кстати, Вы имели старый экземпляр (первое издание пьесы — 1933 г. — *В. Х.)*. Для театров я дал новый проверенный текст. Многое излишнее, например, необходимую летом 1932 года полемику с рапповской критикой, душившей за одно упоминание о романтике, — я снял...»

Был тверд он и в отношении частностей. Признав, что, возможно, не соблюл пропорций в языке отдельных персонажей, заявил: «За лексику и идеи своих отрицательных героев (Сиплый и К°) я не могу «отвечать», как и вы Вы за ряд своих героев. Взятые же из контекста в статью реплики, «афоризмы» и тому подобное могут, конечно, быть иногда несимпатичны...»

А. М. Горький упрекал драматурга в заимствовании у И. Вольнова эпизода с кражей кошелька в первом акте. «Имя Ив. Вольнова я узнал лишь из Вашей статьи, — сообщает драматург. — Случай, мной описываемый, был на миноносце Шлиссельбургского отряда (командир т. Шефнер) в 1918 году».

Конечно, Вишневскому обидно — и вдвойне — после премьеры в Камерном театре, получившей высокую оценку и зрителей и критиков. Но даже в этом случае он в состоянии приглушить личное: «Обложили» Вы меня для примера. Дело понятное. Здоров, крепок я, — ничего! Напишу новую пьесу. А настоящее новаторство нужно!..» И «Оптимистическая трагедия», с одной стороны, в согласии с богатыми традициями отечественной драматургии раскрыла сложные общественно-политические и социально-психологические конфликты через живые и полнокровные образы; с другой — явилась произведением новаторским, ставящим вечные проблемы жизни и

смерти в новой плоскости — революционной романтики и социального оптимизма; произведением, в котором с наибольшей силой зазвучал неповторимый голос автора — патетически приподнятый и одновременно философски напряженный.

При рассмотрении драматургии Всеволода Вишневского его современники иной раз удивлялись тому, как легко и свободно льется речь его героев. Что ж, если творения художника так воспринимаются — завидна его участь. Однако, без труда прочитывая подтекст таких комплиментов (самородок, что поделаешь — от бога дано), сам Вишневский, как правило, помалкивал и ухмылялся: он-то знал, какой огромный труд таит в себе каждая реплика и каждое слово.

В этой связи примечателен один штрих из истории создания «Оптимистической трагедии».

Известно, что текст ведущих и ремарки в ней играют большую идейную и смысловую роль. Вспомним граненые, поэтические, волнующие внутренним ритмом строки из финала трагедии: «Комиссар мертв. Полк головы обнажил. Матросы стоят в подъеме своих нервов и сил — мужественные. Солнце отражается в глазах. Сверкают золотые имена кораблей. Тишину оборвал музыкальный призыв. Ритмы полка. Они зовут в бой, в них мощь, они понятны и не вызывают колебаний. Это обнаженный, трепещущий порыв и ликующие шестиорудийные залпы, взлетающие над равнинами, Альпами и Пиренеями. Все живет... Всюду движение, шуршание, биение и трепет неиссякаемой жизни. Восторг поднимается в груди при виде мира, рождающего людей, плюющих в лицо застарелой лжи о страхе смерти. Пульсируют артерии. Как течение великих рек, залитых светом, как подавляющие грандиозные силы природы, страшные в своем нарастании, идут звуки, уже очищенные от мелодии, сырые, грубые, колоссальные — ревы катаклизмов и потоков жизни».

Некоторые критики (в частности, Л. Никулин в «Литературной газете») утверждали, что тексты Старшин и ремарки написаны под сильным влиянием творчества Леонида Андреева. Комментируя эти предположения, весной 1934 года (в письме режиссеру Бакинского театра С. А. Майорову — смелому экспериментатору и талантливому художнику, поставившему почти все пьесы Вишневского) он в сердцах выплескивает то, о чем, как ему казалось, могли бы догадаться и другие: «Я опубликую

в конце концов ответ критике: «Изучите ранних пролетарских поэтов. Именно из их образного ряда взяты, как сплав, образы и музыкальное построение ремарок и отчасти тексты Старшин. Я укажу на поэтов: Морриса, Потье (автор «Интернационала»), Аду Негри, Фрейлиграта и наших: Герасимова, Маширова, Кириллова, Гастева. Их произведения — полные «космических» образов, напора, смутных порывов, исканий — крайне характерны для 1917—1919 годов... (студии, Пролеткульт, «космизм»). Перечитайте названных поэтов, и Вы увидите, как я строил рамку пьесы: музыкально-романтическую плюс фактуру стиха 1917—1919 годов. Для Старшин понимание этой фактуры — понимание духа революционной поэзии — необходимо!»

Выходит, в поисках языкового ключа к «Оптимистической трагедии» освоены, «переварены» десятки поэтических сборников...

Стиль и язык писателя рождались в среде петербургской интеллигенции, затем — в матросской и солдатской, в рабочей и красногвардейской, в академической военно-морской среде. Выработке своего почерка способствовала и интенсивная журналистская деятельность, регулярное ведение дневников. «В подоснове языка, — писал Вишневский в журнале «Театр и драматургия» в 1934 году, — несомненно, был языковый материал русских писателей периода XIX и начала XX века и отчасти французов и немцев. Во время гражданской войны сильное влияние оказали монументальный, романтический и патетический стили военного коммунизма. Эти влияния постепенно вошли в мою органику, так как совпали с периодом моего формирования. Мне было семнадцать-восемнадцать лет».

Первое чтение «Оптимистической трагедии» в Камерном театре состоялось в погожее сентябрьское утро 1932 года, по возвращении Всеволода с Черного моря в Москву.

Камерный и его художественный руководитель Александр Яковлевич Таиров в ту пору находились в состоянии творческого кризиса. Одна линия театра — трагический спектакль, направленный против мещанской идеологии и мелких чувств, ею порождаемых; другая — спектакль-арлекинада с его жизнерадостностью и жизнеутверждением. При всем этом Камерный своими спектак-

лями, как, например, оперетта Лекока «Жирофле-Жирофля», «Принцесса Брамбилла» по Гофману, «Адриенна Лекуврер» Скриба, «Федра» Расина, определенно тяготел и к чистой театральности.

Это понимал Таиров и настойчиво искал путей возрождения театра. Приглашая в труппу М. Жарова, он выразил свои намерения так: нужны актеры для создания *театра высокой героики и высокой комедии. И в первую* очередь как воздух нужны пьесы.

Первые попытки оказались неудачными. И «Патетическая соната» Н. Кулиша и «Неизвестные солдаты» Л. Первомайского, хотя эти постановки и для режиссера и для актеров явились своеобразными вехами на пути перестройки, приобщения к современной тематике (впервые, к примеру, на сцене Камерного сыграна роль революционера-большевика), публикой были встречены прохладно, а критикой — сурово.

На диспуте о «Неизвестных солдатах» — а он был многолюден и горяч — в ответ на замечание о том, что театр запаздывает с перестройкой и что новый спектакль мало в этом смысле прибавляет, Таиров сказал:

— Театр должен иметь свою драматургию, которой нет. Переходить на рельсы реалистического театра — не значит начать перестройку. Мы ждем наших пьес и пойдем своим путем.

И Таиров не сидел сложа руки в ожидании своего автора. Во всяком случае, узнав, что Вишневский работает над новой пьесой, он горячо одобрил его замысел и заранее, еще до написания, заявил о согласии включить ее в репертуар Камерного. Такая поддержка — и моральная и творческая в этот момент, после разрыва с Мейерхольдом — важна была для драматурга.

Таирова и Вишневского нельзя назвать в полном смысле этих слов художниками-единомышленниками. Но при постановке «Оптимистической трагедии» оба проявили завидную выдержку и такт: уважая творческую манеру и художническое ви́дение друг друга, вдохновляя, заражая энергией всю труппу, автор и режиссер были едины. Это засвидетельствовал в своих воспоминаниях Жаров. Правда, в одном своем суждении Михаил Иванович не прав (хотя внешне, наверное, все именно так и выглядело) — в том, что все предложения режиссера драматург реализовал. Напротив, вокруг изменений, вносимых Таировым, как правило, разгоралась ожесто-

ченная борьба, в этом мы сможем убедиться несколько позже.

А во время написания пьесы Вишневский информировал Таирова о том, как движется дело. Как-то прислал открытку с видом Южного берега Крыма и надписью на обороте: «Запасайтесь! Пусть в спектакле будет много света, нам нужен песок, солнце, нужны моряки, пишите в штаб, к Ворошилову, чтобы вам дали двести комплектов обмундирования».

Такое для Камерного было в новинку.

И вот — авторское чтение, то, что современники называли «театром Вишневского» (завлит МХАТа П. Марков вполне серьезно высказывал претензии: «читка Всеволода мне мешает, может, театр сделал бы лучше, иначе, а автор навязывает свое...»). Впрочем, актеры на Вишневского в обиде не были. М. Жаров, И. Ильинский и другие свидетельствуют, что у Всеволода Витальевича весьма своеобразная манера читать пьесы, секрет которой заключался в его способности к мгновенному внутреннему перевоплощению. Он почти не повышал и не понижал голоса, оставаясь тем же Всеволодом Вишневским — человеком с узкими, как щелки, глазами, курносым, круглолицым, с виду добродушным. Однако каждое слово, произнесенное, будто процеженное сквозь слегка стиснутые зубы, наполнялось особой значительностью и точностью передачи собственного смысла и подтекста. Через три-четыре минуты слушатель всецело отдавался прямо-таки гипнотическому воздействию речи Вишневского. У него была такая сила ви́дения того, о чем он говорил, что слова его, возбуждая воображение, заставляли наблюдать происходящее как на экране.

Драматург, закончив читать, опустил глаза и сидел неподвижно. Воцарилась тишина. Ни аплодисментов, ни возгласов — все продолжали жить той трагедией, которая разыгралась здесь и участниками которой все вдруг себя почувствовали. И только залетевший в окно звук затормозившего трамвая на Тверском бульваре вывел присутствующих из оцепенения: раздались аплодисменты. Встал Таиров, поднял руку, призывая к тишине, и сказал:

— Друзья мои, запомните этот день. Это — исторический день...

Друзья! Мы обрели наконец драматурга, не только по-настоящему талантливого и сильного, но и стоящего

на общих с нами позициях в смысле дальнейшего пути и задач советского театра!

После этих выразивших общее настроение слов актеры, возбужденные, загоревшиеся жаждой деятельности, окружили Вишневского.

Затем Таиров объявил:

— С завтрашнего дня начнем работать над пьесой. Я объявляю пока четыре роли, которые уже согласованы с автором. Комиссара будет играть Алиса Георгиевна, Алексея — Михаил Жаров, Вожака — Сережа Ценин, Сиплого — Виктор Кларов...

5

А. Я. Таиров и руководимый им театр после многих лет экспериментаторства к этому времени пришли к утверждению искомых ими начал. Один из незыблемых принципов режиссера — непрестанное движение, обновление искусства, его динамическое развитие. В противовес приземленно-«натуралистическому» театру Таиров исповедовал динамический, романтический реализм. Образы, создаваемые на сцене Камерного, не должны быть статичными, а развиваться на глазах у публики; они призваны нести с собой большие обобщения. Отсюда постоянное, с годами усиливающееся стремление Таирова заглянуть внутрь человека, ослабление внимания к внешнему, к чисто техническим приемам режиссуры, ведущим так или иначе к формализму. Отсюда тяга к трагедии, воплотившаяся в создании ряда спектаклей («Федра», «Гроза» А. Н. Островского, пьесы О'Нила — «Косматая обезьяна», «Любовь под вязами», «Негр»). «Для меня как руководителя Камерного театра, — писал Таиров в ноябре 1945 года, — театра прежде всего героико-романтического, встреча с драматургом Вишневским явилась одним из самых счастливых и плодотворных событий творческой жизни». А вот мнение П. А. Маркова: «Таиров встретил автора, который отвечал одушевлявшей его мечте о современной романтической трагедии. Вишневский сочетал глубинное знание жизни, острую политическую направленность с романтической приподнятостью и отважным взглядом на жизнь...

Таиров, в свою очередь, во многом помог Вишневскому. Он избежал некоторой декламационности Ведущих,

свойственной этим образам, освоил и сделал органичной их патетику, сохранив все драгоценные качества Вишневского: живую душу современности, знание морского быта и психологии человека».

Приступая к работе, Таиров сделал доклад труппе Камерного театра (5 декабря 1932 года), в котором продемонстрировал глубокое и созвучное его собственным представлениям о новой трагедии понимание произведения Вишневского. Режиссер считал, что вся эмоциональная, пластическая и ритмическая линия спектакля должна быть построена по своеобразной кривой, ведущей от отрицания к утверждению, от смерти к жизни, от анархии к сознательной дисциплине. Это трагедия, говорил он актерам, потому что весь тонус действия находится на грани максимального кипения. В пьесе нет покоя, нет обыденного состояния людей, здесь бушуют и плавятся человеческие страсти, страсти отдельных людей и масс, брошенных в водоворот, порожденный социальными сдвигами Великого Октября.

Но это трагедия оптимистическая, потому что смерть не является завершением всего круга изображенных в пьесе явлений. Явления и события, доходя до своей предельной точки, опрокидывают смерть и утверждают жизнь, ее силу, ее обновляющее и организующее начало, в этом оптимизм трагедии.

Александр Яковлевич, опытный, умный режиссер, тонкий аналитик, работал с актерами, раскрывал сущность всего произведения, каждой сцены, фрагмента, образа. Он наметил самые важные, кульминационные моменты спектакля, общую тональность, характер стилевых решений. В отличие от Мейерхольда с его удивительными «показами» Таиров действовал на актеров главным образом словом. И его понимали, и вместе с ним и драматургом вся труппа трудилась с огромным вдохновением.

В Камерном подобрался отличный ансамбль актеров: помимо названных выше, в спектакле участвовали Г. Яниковский — подчеркнуто вежливый, элегантный Командир, прячущий внутреннее смятение за маской скептического равнодушия, И. Аркадин — кадровый служака Боцман; Н. Чаплыгин и И. Александров (Старшины) через флотскую лихость давали почувствовать и матросскую гордость, и торжество, и затаенное горе. Вожак в исполнении С. Ценина — олицетворение силы физической и силы жестокого разума; Сиплый В. Кларова —

трагичный, охваченный злобой и страхом, мстительный человек. М. Жаров играл Алексея на огромной амплитуде чувств — от безнадежного отчаяния до простодушной доброты и убедительно показывал, как тот закономерно приходит к пониманию революции.

Художник Вадим Рындин в соответствии с новым для Камерного театра скорбным, суровым, героическим и вместе с тем проникнутым светлым лиризмом звучанием спектакля предложил лаконичное, строгое оформление: сцена — округлая, вьющаяся спиралью, возникала как дорога, по которой будет двигаться матросский полк. Ограниченная лишь горизонтом, она была свободна от каких-либо мелочных подробностей. Плоскости декорационной конструкции в сценах на кораблях передавали архитектонику палуб и площадок, возвышения — боевые рубежи. В неровном, тревожном освещении появлялись матросы, становясь элементом декоративного оформления, но они же делали конструкцию живой и трепетной.

При таком решении становятся более выразительными движения, жесты актеров, и это было очень важно для Таирова, считавшего, что пантомима должна органически входить в ткань спектакля. Не зря же после гастролей Камерного театра в Европе одна из газет писала: «Единство между словом и жестом составляет новую форму зрелища». «Ритмы полка», о которых говорил Вишневский в ремарках, передавались в спектакле при помощи пантомимы, отражая внутренние борения, сомнения, а затем единство и сплоченность матросской массы. В знаменитой сцене прощального флотского бала в вальс включаются новые и новые пары, и зритель видит сложность людских взаимоотношений, понимает чувства людей, заостренные, усиливающиеся перед разлукой, — через рукопожатия, легкое касание пальцев, плеч.

Для Таирова сцена прощального бала имела исключительное значение. В беседе с участниками Всесоюзного совещания режиссеров и художников (25 июля 1944 года) он вспоминал о том, как родился образ спектакля: «Долго мы с Вишневским работали над пьесой, ходили по Тверскому бульвару целые ночи и ощущали как-то ее сущность, но я долго не мог ее увидеть. Я принадлежу к той категории режиссеров, которые, не увидев спектакль, не увидев какие-то его основные моменты, не могут работать дальше... В «Оптимистической трагедии» я увидел прощание моряков со своими девушками, я увидел

вальс, я увидел, как пара за парой выходят моряки с девушками в прощальном вальсе, перед тем как уходить в бой. Это движение пары за парой, по существу, родило все декорации спектакля». Действительно, Таирову удалось добиться сочетания излюбленной им стройности и законченности с динамикой действия.

Спектаклю «Оптимистическая трагедия», поставленному Камерным театром, суждено было стать одним из крупнейших произведений героического жанра на советской сцене. Он получил всеобщее признание и оказал плодотворное влияние на последующие постановки пьесы в нашей стране и за рубежом. Об этом спектакле (а он прошел на сцене Камерного театра свыше 800 (!) раз), создана целая литература: не только статьи в печати, но и книги, научные работы и воспоминания, особенно после того, как миновала полоса искусственного замалчивания драматургии и театра Вишневского. И каждый автор, естественно, избирает свой угол зрения и тон повествования.

Однако, коль скоро этот спектакль принадлежит истории советского театра, очень важно, чтобы при очередных публикациях не искажалась истина, чтобы вновь выходящие издания тщательно сверялись с архивными документами.

Вот что, к примеру, говорится в книге А. Г. Коонен «Страницы жизни» («Искусство», 1975): «Как-то вечером я зашла в кабинет к Александру Яковлевичу. Вишневский и Таиров шагали по комнате и перебирали разные варианты названия. Всеволод почему-то очень боялся определения своей пьесы как трагедии. Он говорил, что за самым словом «трагедия» в его представлении стоит что-то театрально возвышенное: алебарды, пики, горы трупов на сцене. Таиров пытался объяснить ему, что все же он написал трагедию.

— Да, я понимаю, что это трагедия, — возражал Вишневский. — Но пьеса-то оптимистическая.

— А почему бы именно так и не назвать пьесу — «Оптимистическая трагедия»? — вмешалась я.

Всеволод вскочил и, заключив меня в объятия, воскликнул:

— Ура!

И тут же на первой странице пьесы красным карандашом жирно начертил: «Оптимистическая трагедия»...»

Конечно же, спустя много лет мемуарист, даже если

он непосредственный участник событий, может и забыть детали, подробности. Но, видимо, не так сложно было бы при подготовке рукописи к печати заглянуть хотя бы в опубликованные в Собрании сочинений дневники писателя.

Еще в Крыму, до первого чтения пьесы труппе Камерного театра, подзаголовок «Оптимистическая трагедия» к названию «Из хаоса» стал названием, а после драматург последовательно и настойчиво отстаивал правомерность жанра трагедии в советской литературе и театре.

Как-то Таиров обратился за помощью к Вишневскому как к военному специалисту. Отсюда и началось их более близкое знакомство и общение, а страницы дневника драматурга раскрывают ход подготовки спектакля «Оптимистическая трагедия».

«20-го вечером рассказал Таирову черновой план трагедии. Все тянет прочь от монтажа и тому подобного — к целой, крупной вещи. Вижу героику матросов. Это будет новая форма» *(22 мая 1932 г.)*. И дальше в дневнике идет не «пьеса», а трагедия, где уж тут — «боялся» этого определения...

«Отлично, бодро: у Таирова экспликация «Оптимистической трагедии». Широко, интересно взял» *(5 декабря 1932 г.)*.

«Труппа меня встречает отлично. Литовский [1] ведет «тайную агитацию» против «Оптимистической трагедии», что-то вынюхивает, боится... (Киршон для него спокойнее, ближе). Театр-де закроют, может быть провал. «Кампания» его понятна: осложняет дело. Пьеса стоит споров и драки. Отзывы очень разные — и я рад этому. Малышкин в восторге от трагедии и послал ее Гронскому в «Новый мир» для январского номера [2].

Таиров говорит: «Не боюсь, справимся». Он по-своему будет идти и решать. Я буду следить. Дело ответственное. (Вишневский подчеркивает творческую самостоятельность и режиссера и драматурга. — *В. Х.)*

Напряжений достаточно, иногда что-то пугает меня, но я думаю, что надо все выдержать. Я могу — я дол-

---

[1] Литовский Осаф Семенович (Уриэль) — театральный критик, драматург, в то время начальник Главреперткома.

[2] Пьеса опубликована в февральском номере «Нового мира» за 1933 год.

жен. Отступать перед напором благополучных критиков не буду. В конце концов — тогда не стоит работать. Кроме того: они мелки и малоценны; моя работа, я чувствую это, что-то даст. И эта объективная сторона обязывает меня» *(26 декабря 1932 г.)*.

Может, кому-нибудь последние строки этой записи покажутся самоуверенными. Нет, это глубокая убежденность и радость художника — «получилось»! Ведь именно в эти дни он осознает, что приходит «благословенное недоверие и неудовлетворение» — те самые чувства, которые заставят его напряженно работать еще целый год — вплоть до самой премьеры. Работать, чтобы что-то свершилось.

«Камерный театр читает «Оптимистическую трагедию» уже месяц — за столом. Таиров говорит: «Будет, выйдет эпохальный спектакль». Хватит ли остроты и «грубости»? Посмотрим.

Образы сделаны по моим указаниям и рисункам. (Акварель отдал С. К. [1]). Актеры читают ряд указанных мною книг. Помнят *мои* читки...

Таиров дает античный рисунок: серое, коричневое, черное плюс белое матросов на вальсе с печальным и эротическим налетом. (Книппер уже написал вальс)» *(Ночь на 27 января 1933 г.)*.

«ГРК» [2] мешает «Оптимистической трагедии». Вечная тема: остро, смело... Трудно работать. На читке у Бубнова [3] клялись в любви и благословляли, сейчас мешают...» *(11 февраля 1933 г.)*.

А тем временем в Киевском русском театре (ныне — имени Леси Украинки) кипит работа: здесь параллельно с Камерным идут репетиции «Оптимистической трагедии». Драматург то и дело вносит исправления в рукопись пьесы и посылает их Л. Курбасу, художественному руководителю театра. Вскоре, в марте 1933 года, получает приглашение на премьеру. Зрители и автор впервые увидели «Оптимистическую трагедию» (режиссер В. А. Нелли-Влад, художественное оформление С. К. Вишневецкой и Е. М. Фрадкиной). Вот что записал Вишнев-

---

[1] Софья Касьяновна Вишневецкая — жена Вишневского.

[2] Главрепертком.

[3] Нарком просвещения.

ский после премьеры: «Оптимистическая» — в Киеве — опять показывает силу реалистических ходов, мысли. Спектакль для меня убедителен — с кровью. Актеру нужна живая ткань... Актеры очень захвачены, благодарили...» *(23 марта 1933 г.)*.

Об игре Любови Ивановны Добржанской — а именно она была первым Комиссаром — драматург с удовлетворением говорил:

«В Киеве просто сделали — по-настоящему — эту роль. Убеждала: *своя!*»

Спектакль был, как и впоследствии в Камерном, решен строго и лаконично: единая конструкция с ярким куполом и трехступенчатой дорогой через всю сцену. Эта конструкция, данная в разных ракурсах, превращала сценическую площадку то в набережную, то в подземелье, то в уходящую вдаль (вернее — ввысь) дорогу. Так уходил на казнь — в бессмертие — матросский полк во главе с Комиссаром (финал первого варианта пьесы), а из оркестра поднимался освещенный солнцем новый полк. Л. И. Добржанская вспоминает, как она волновалась на премьере, зная, что в зале находится автор, как обрадовалась, услышав от него, что спектакль ему нравится, как поздним вечером сидела вместе с В. Нелли-Владом и С. Вишневецкой и жадно впитывала в себя и то, что говорил Вишневский, и то, как он говорил. У нее не возникало ни малейшего сомнения: он рассказывает именно то, что было на самом деле и в чем он сам лично участвовал. И одновременно Добржанская проверяла себя: так ли она играет Комиссара?.. Знакомство с драматургом, пусть кратковременное, но запомнившееся, ощущение его индивидуальности помогло актрисе усилить роль.

Это отступление, прервавшее рассказ об участии Вишневского в создании спектакля Камерного театра, необходимо. История ведь педантична и суха, она требует безукоризненной точности. А если нет ее, то из статьи в статью, из книги в книгу перекочевывают приблизительные, а то и неверные сведения и факты. «Я знала и ту, — пишет, к примеру, Наталия Сац, — что вдохновила Всеволода Вишневского на создание образа женщины-комиссара в «Оптимистической трагедии», видела и первую исполнительницу этой роли, незабываемую Алису Коонен».

Кроме того, что Вишневский является автором «Оптимистической трагедии, здесь все не соответствует истине.

Ну, насчет того, кто первый сыграл роль Комиссара, вроде бы все ясно. Никогда не было и конкретной «вдохновительницы» — главный герой в черновых набросках был мужчиной... Да, автор перечислял несколько конкретных фамилий женщин — участниц гражданской войны, с биографиями которых он познакомился во время работы над пьесой. Но при этом не уставал подчеркивать: образ Комиссара — *собирательный, обобщенный*.

Но вернемся к спектаклю Камерного: прежде чем загремят возвестившие о победе фанфары, немало еще препятствий придется преодолеть.

Второго апреля 1933 года новое обсуждение пьесы в Наркомпросе. И драматург и режиссер держатся достойно и уверенно. Первый подробно рассказал об успехе спектакля в Киеве (как здорово, что премьера состоялась!). Второй же — совершенно неожиданно для своего мягкого характера — потребовал доброжелательного рабочего отношения к «большому, самому лучшему произведению Вишневского».

Кажется, пронесло. Резюме Бубнова однозначно: прочитать пьесу еще раз, если надо — сделать купюры. Пьеса интересная, острая, проблемная. Чуть замешкаемся, и перехватят другие театры. В интересах Камерного надо дать, помехи со стороны Главреперткома прекратить.

Хотя стало ясно, что затея «угробить» спектакль провалилась, Литовский после беседы с наркомом, попросив драматурга остаться, обратился к нему тихо и вкрадчиво (был он, как запишет в дневнике Вишневский, «омерзительно лицемерен и лжив»):

— Дело не в тебе, а в Таирове. Я напечатаю хороший отзыв о пьесе...

«Не мытьем, так катаньем», — подумал Вишневский. Как всегда в минуты возмущения, кровь прилила к щекам.

— Клин между нами хотите вбить, да? Не выйдет!..

Камерный театр продолжал работу.

«Полуторачасовая беседа с Таировым. Он в следующей стадии работы над «Оптимистической трагедией». Спокойнее, деловитее, оппортунистичнее, чем прошлой осенью. Прислушивается, тонко ведет к компромиссам, срезает осторожно мои мысли...

Был и второй разговор по тексту: Таиров дал конструкцию по эпизодам, наметил свои линии. Я боюсь, что это опять примитивная перестройка масс.

У меня масса не перестраивается — вот в чем дело. У меня люди своеобразно — каждый по-своему — доходят до правды.

Вижу, что будет борьба с Таировым — надо готовиться. Благополучный спектакль мне неинтересен.

Я не отрицаю таировских данных, но смелости, риска нет» *(20 сентября 1933 г.).*

Вряд ли здесь Вишневский прав: скорее всего Таиров просто стремится к собственному, отвечающему его видению пьесы спектаклю. А что касается близости столкновения с режиссером — это Всеволод почувствовал верно.

Правда, на репетициях драматург сидел тихо, не вмешиваясь, все предоставляя делать режиссеру. И если в процессе работы назревали конфликтные ситуации, Вишневский делал все, чтобы восстановить равновесие.

Весьма любопытный в этом плане эпизод приводит М. И. Жаров. Однажды, во время репетиции ключевого разговора Комиссара и Алексея, Жаров, выйдя на сцену, вдруг обнаружил, что Коонен не находится, как прежде, «в одной плоскости с ним» (дуэт велся стоя, в профиль к публике), а у задней сцены-ширмы. Таким образом, чтобы состоялся диалог, актер волей-неволей вынужден встать спиной к публике.

— Простите, Александр Яковлевич, что Комиссар будет теперь всегда стоять там? — спросил Жаров.

— Да, я хочу попробовать, — раздался голос из зала. — Продолжайте.

Жаров пытался продолжать, но все слова роли внезапно вылетели из головы, и он, сказавшись нездоровым, ушел. За кулисами Вишневский спросил его:

— Ты что?

— Я ухожу из театра. Так репетировать я не буду. А иначе они не дадут, все равно затрут!..

— Да ты не горячись! Подожди! Я тебя прекрасно понимаю. Твоя запальчивость доказывает, что ты болеешь за эту роль. Но доверься мне. Я сижу в зрительном зале и все вижу. Поверь, Алексей и Комиссар — фигуры для меня одинаково дорогие... Подожди премьеры — посмотришь, как будут тебя принимать! И увидишь, что это роль, которая нужна и тебе лично, и театру, в котором ты работаешь. Понял?

Но Жаров уже закусил удила и твердил:

— Нет! Уйду! Уйду!

— Ну, смотри. Подумай, о чем я тебе сказал, и не

делай глупостей, — продолжал уговаривать Вишневский. — А дома посмотри вот эту книгу, которую я хотел подарить тебе на генеральной репетиции. Но ладно, так и быть...

У себя на квартире Михаил Иванович вынул из кармана книгу — то было первое издание «Оптимистической трагедии». На титульном листе наискосок четкими буквами написано: «Матросу Жарову с творческим огнем и уверенностью в его российском таланте. Вс. Вишневский, 18 авг. 1933 г.». На следующий день и Таиров и Жаров остыли — после откровенного разговора между ними облако неожиданного осложнения рассеялось, и работа продолжалась с прежним увлечением.

К тому времени на сценах многих театров разгуливали эдакие лихие матросики. Вишневский не преминул предупредить Жарова:

— Боже сохрани тебя играть «братишку». Надо убрать все, что мы видели шестнадцать лет о флоте... Дать подтянутость кадровых старых моряков, силу, строгость плюс страсти, а не разнузданность, бесшабашность плюс страсти. И помни, что я всегда здесь, с вами, если тебя что-то не греет, что-то неясно и непонятно, спрашивай! Требуй! Работать будем вместе!..

Он чутко откликался в тех случаях, если актера что-либо не «грело». Так, когда Алиса Коонен попросила дать ей больше слов в диалоге о собственности, Вишневский переписал его заново.

Поправки и изменения, вносимые в текст, вызвали у драматурга двойственную реакцию: пьеса становилась «потише» (что огорчало), но реалистичнее — что теперь им самим воспринималось со знаком плюс. Вишневский боялся упрощений, сглаживания конфликтов. Ему казалось, что задуманный режиссером спектакль у́же литературного замысла. И в то же время зря приписывают Вишневскому лавры отпетого упрямца. Критик А. Анастасьев, например, сообщает как общепризнанное: «Мы знаем, что Вишневский был неуступчив, иногда упрям, нетерпим к критике». Но ведь если внимательно рассмотреть хотя бы подробности доработки, как потом выяснится, главной пьесы его жизни, то окажется: вовсе не отбрасывает Вишневский аргументы своих критиков. Напротив, изучает их доводы, с убедительными — соглашается.

«Как-то мы с ним, — вспоминает П. А. Марков, — засиделись до рассвета у А. Я. Таирова... Мы с Таировым —

каждый по-своему — защищали свои художественные принципы, а Вишневский нападал на нас обоих вместе и на каждого порознь с лихостью и яростью отточенного полемиста, что не мешало нам втроем сходиться на общем признании целей искусства. Он действительно обладал даром неистового агитатора, агитируя порой там, где, может быть, его горячность была лишней, он громил, случалось, воображаемых врагов, что нередко вызывало ласковую иронию у его друзей и нервную раздраженность у противников. Он был искренен до такой степени, что его непосредственность казалась подчас маскировкой или позой. На самом деле в нем совсем не существовало позы, а порою лишь проскальзывало почти детское хвастовство своим молодечеством».

Да, Вишневский поражал своей прямолинейной требовательностью, особенно если речь шла о защите идейных позиций, о борьбе против лицемерия, предательства, лавирования в человеческих отношениях. Тут он в своем стремлении драться был неукротим.

В сентябре 1932 года на вечере драматургов в Теа-клубе Вишневский говорил о своей работе, о путях преодоления рапповского наследия, упомянул о Камерном театре, слегка «зацепил» Мейерхольда. Тот вспыхнул и отреагировал сразу же, выдавая свою ревность. Все поняли: из-за того, что трагедия отдана Таирову. Мейерхольд стал пространно говорить о пролетариате, о читках пьес на заводах. «Я срезал его, — запишет позже Всеволод в дневнике, — повторяя: «А «Самоубийца»? А «Самоубийца»?» Он побледнел, скомкал речь... Он еще что-то выкрикивал. Я заорал: «Арапство!» Взбесился и вылетел из зала, хлопнув дверью, и разрезал палец о дверную задвижку...»

И в подготовке спектакля Камерным, как в классической драме, наступил кульминационный момент, когда возникла необходимость защитить принципиальные вещи. Именно характеру испытанного и стойкого бойца, уверенного в своей художественной правоте и непреклонного в борьбе за нее, мы обязаны тем, что «Оптимистическая трагедия» — и как пьеса, и как спектакль — состоялась.

В последний день октября Вишневский снова записывает в дневнике постоянно тревожащую его мысль-ощущение: Таиров боится Главреперткома и смягчает материал пьесы. 20 ноября выясняется, что попытки «выправить» смелые места зашли далеко: снята сцена самосуда

(высокий и старуха)); Сиплому — анархисту, матросу с 1905 года — дана «кулацкая» линия; Беринг — перестраивающийся «спец»; священнослужитель — уже сволочь, шпион. Даже фразу «Я женщина здоровая»... убрали — нельзя... В общем, ускользают резкость, размах, дерзость, и получается обычный шаблонный спектакль во имя конъюнктуры.

Теперь Вишневскому ясно: надо настаивать на своем, надо попытаться переубедить Таирова. Удалось ведь ему в конце концов повлиять даже в таком деликатном деле, как уточнение нюансов игры Алисы Георгиевны. Она, входя в роль, перепробовала много разных ходов и почувствовала трудность в отыскании зерна роли. Еще бы — женщина-комиссар 1918 года! Это не Клеопатра и не Адриенна Лекуврер... Иногда в игре Коонен — чеканность, секс, искусственная улыбка. Побольше простоты, силы, идущей от внутренней убежденности, естественности в игре — советовал Вишневский. И Таиров и Коонен согласились с ним, игра актрисы заметно окрепла.

Итак, надо писать ультиматум (вот так переубеждение!). Да, да, ультиматум, утром 23 ноября Всеволод пишет его — А. Я. Таирову и себе.

Отступать некуда обоим. Существует два варианта: первый — отказывается от «перешивок», но он будет рассматриваться как демонстрация и, следовательно, обречен на провал. Второй — сделать лейтмотив вещи реалистичнее, сохранив все эпизоды, трактовку образов. В 3-м акте дать более крепкий рисунок, меньше истерик. Без условной окраски, а реалистически, как вызов, ответ пленных матросов врагам.

«Этот вариант, — пишет Вишневский, — дает *дыхание* опасности и смерти, вскрывает *поведение людей*, дает их глубины, доводит все *почти* до конца... Тексты старшин о гибели полка можно сократить: «Подумать величественно и просто о том, что для нас смерть, борьба...» В данном моем варианте остаются все нити, вся ткань, вся игра... И *оптимистический* сильный конец...

Сделать все можно в три дня...»

На этом же листе дневника приписка карандашом: «23. Вечер. Таиров обижен, но все принял! Так и пойдет». Правда, спустя шесть дней режиссер снова дрогнул, и Вишневский опять отстоял и его, и себя, и самое главное — спектакль: «Звонил Таиров. Его паника, отсутствие художнической крепости поражают. Он уже предлагает:

не дать ли комиссару прорыв в бой из плена? Не поменять ли командира и комиссара местами?

Отказался и твердо заявил о борьбе за концепцию и художественную четкость».

Так и пошло. Спектакль родился, став выдающимся явлением театральной жизни.

На премьеру спектакля 18 декабря 1933 года приехали Леонид Соболев, Иван Хабло, многие другие товарищи и друзья с Балтики, Волги и Черного моря. К концу первого акта — как раз на сцене прощальный бал — взрыв аплодисментов. В антракте Владимир Иванович Немирович-Данченко, улыбаясь, несколько бесцеремонно спрашивает Вишневского:

— Это — лучший акт?..

После второго акта в ложу врываются Пудовкин, Олеша, Штраух, Зархи, Файко... Жмут руки... Возгласы:

— Гражданская война реабилитирована в театре...

— Ждали пятнадцать лет...

Это успех! Третий акт — весь бой на аплодисментах. Финал — плачут... Видят, что «апофеозно», но плачут — и Немирович-Данченко, и многие другие. После спектакля К. Е. Ворошилов от имени бойцов РККА объявил благодарность драматургу и театру.

«Победа огромная, сильная, принципиальная, — с удовлетворением записывает Вишневский в дневнике. — Я повернул Камерный театр. Театр этого хотел, искал. Встреча, в конечном счете, дала отличный результат. Таиров показал себя как практик, организатор, режиссер, политик. Дошел до конца — хотя и не без трудностей, боязни, страхов... Ставка была огромная».

И еще два знаменательных отзыва мы находим в дневнике.

Первый — Демьяна Бедного: «Страшная пьеса, сильная... Сколько вы работали? Видно, как отжат текст, скуп.... Музыкально все. Пьеса сделана — вперед, будет необычайно работать в случае войны...»

Второй — из уст Зинаиды Райх — Таирову, на приеме: «Искренне поздравляю. Вы знаете, я прямая. Без зависти, не как-нибудь — поздравляю». Всеволод Мейерхольд стоит рядом молча.

На протяжении репетиций Вишневскому время от времени кто-либо из «доброжелателей» сочувствовал: конечно, трудно с Камерным... Вот если бы ты с Мейерхольдом помирился, тот сделал бы... Да и сам Мейерхольд публич-

но высказывался: Вишневский — талантливый драматург, но странный человек. Делает ошибки, с Таировым работает напрасно, губит себя...

Театр и автор вступают в некое «таинство брака» — супружество, и ни тому, ни другому не может быть безразлично, с кем он вступает в брак. В счастливом браке родилось прекрасное дитя — спектакль «Оптимистическая трагедия», ставший этапом в развитии советского театра. Каждая столичная газета считала своим долгом откликнуться на постановку. Приведем лишь принципиально важный отзыв «Правды», на страницах которой Ф. Панферов и Б. Резников писали: «Оптимистическая трагедия» — новый тип пьесы и спектакля... Он насквозь агитационный. Но если это агитация, то агитация, поднятая на высоту подлинного искусства...

«Оптимистическую трагедию» надо отнести к тому типу новых постановок, которые двигают наш театр вперед... Ни для кого не секрет, что Камерный театр переживал в последние годы некоторый перелом. Он искал новые формы, искал новую пьесу, чтобы, не теряя накопленного мастерства, стать вровень с эпохой. Он нашел новые формы... в простоте».

Посмотрев «Оптимистическую трагедию» в 1934 году, Жан-Ришар Блок назвал ее «самым ярким и свежим театральным переживанием, новым, грандиозным спектаклем не только по остроте подачи, экспрессивности драматургической манеры, но и прежде всего по своей социальной выразительности».

Спустя несколько месяцев после премьеры театр отмечал свое двадцатилетие. На торжественном вечере был объявлен приказ наркома просвещения А. С. Бубнова о присвоении почетных званий народных артистов А. Я. Таирову и А. Г. Коонен и заслуженных — ряду актеров, в том числе и М. И. Жарову — за роль Алексея в «Оптимистической трагедии». Для творческого коллектива это означало, что он идет по верному пути.

Однако ошибочным было бы думать, что «Оптимистическая трагедия» — и пьеса и спектакль Камерного — сразу были признаны выдающимися. С нескрываемой горечью пишет Вишневский А. Я. Таирову 7 июля 1934 года о том, что пресса «поливает его разными жидкостями» — все за ту же «Оптимистическую трагедию», находя ее «сценически беспомощной».

Писатель не мог терпеть лицемерия, двуличия, не раз

говорил о нравственной позиции критика. После первых спектаклей «Оптимистической трагедии» в Камерном, когда уже «раздались выстрелы» то в режиссера, то в драматурга, он с недоумением и даже какой-то растерянностью записывает в дневнике: «Убойная статья Сольца. Горше всего то, что Сольц 30/XII крепко, увлеченно говорил о пьесе...» С годами Всеволод Витальевич перестанет так болезненно воспринимать подобные вещи — не потому, что свыкнется, просто будет стараться их не замечать.

Уже не одно поколение волнуют слова: «Отложите свои вечерние дела. Матросский полк, прошедший свой путь до конца, обращается к вам — к потомству»...

Нет смысла перечислять театры, где «Оптимистическая трагедия» поставлена (и ставится сегодня), легче назвать те, которые пока еще к ней не обратились. Тысячи советских людей, посмотревших спектакль, правильно поняли его идейно-художественный смысл, воспитательную, мобилизующую направленность. Они писали в газеты безыскусные отзывы, как, например, молодой моряк Панов: «В этом году я ухожу в ряды доблестной Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Для нас, допризывников, будущих бойцов, постановка спектакля «Оптимистическая трагедия» имеет колоссальное значение. Она показывает, как наши отцы и братья боролись и умирали на фронтах гражданской войны. Она воспитывает острое чувство классовой ненависти к врагам и укрепляет веру в великую партию большевиков, сумевшую побеждать врагов и завоевывать массы» *(«Полярная правда», 9 мая 1936 года, г. Мурманск)*.

Пьеса была переведена на многие языки мира, и очень скоро ею заинтересовались зарубежные режиссеры. В 1936 году состоялась премьера «Оптимистической трагедии» в Праге (ее постановщик во время оккупации был казнен фашистами); а 16 октября следующего года — в революционном Мадриде. «Спектакль должен был начаться в 5 ч. 30 м., — сообщал корреспондент «Литературной газеты», — но уже задолго до этого времени на небольшой площади перед театром толпился народ.

Семьсот метров отделяют театр от траншей. В любое мгновенье неприятель может обстрелять его. А между тем театр переполнен. Зритель страстно, как нечто свое, род-

ное, переживает пьесу. Его волнует судьба отряда советских моряков: ведь это же его собственная «оптимистическая трагедия»...

1 июля 1948 года — премьера пьесы в Берлине (ее перевел на немецкий Фридрих Вольф), позже спектакль был удостоен премии имени Гёте; в 1950 году «Оптимистическую трагедию» поставил в Париже «Независимый театр». Читая немецкие газеты, Всеволод Витальевич с радостью и гордостью говорил: «Моя «Оптимистическая трагедия» начала вторую жизнь».

Вот лишь несколько знаменательных вех последующей сценической и экранной судьбы его творения.

1955 год. Постановкой Ленинградского академического театра драмы имени А. С. Пушкина после некоторого перерыва «Оптимистическая трагедия» возвратилась на сцены советских театров. Режиссер Г. Товстоногов и Ю. Толубеев за исполнение роли Вожака стали лауреатами Ленинской премии. По этому поводу Николай Константинович Черкасов писал: «Как ленинградец и как артист театра имени А. С. Пушкина, я счастлив, что два наших товарища первыми среди деятелей драматического искусства удостоены Ленинской премии. Но еще радостней для меня то обстоятельство, что спектакль «Оптимистическая трагедия», рассказывающий о великом подвиге партии коммунистов, создавшей первое в мире социалистическое государство — светоч мира во всем мире, — идет уже более трех лет, и каждое его представление превращается в демонстрацию горячей любви к родной Коммунистической партии».

1957 год. И через несколько месяцев после премьеры «Оптимистической трагедии» в будапештском театре имени Шандора Петефи невозможно добыть билет.

1963 год. На экраны страны вышел кинофильм «Оптимистическая трагедия» (сценарий С. Вишневецкой и С. Самсонова — он же режиссер), в главных ролях снялись артисты М. Володина (Комиссар), В. Тихонов (Алексей), Б. Андреев (Вожак), В. Санаев (Сиплый).

1967 год. Малый театр сумел достичь глубоко философского звучания пьесы, остроты мировоззренческого спора, публицистического накала, присущего этому произведению. Артистические удачи спектакля: Р. Нифонтова (Комиссар), Е. Весник (Алексей), В. Коняев (Вайнонен) — были отмечены в печати, а М. Царев — исполнитель роли Вожака — получил Государственную

премию. Позже экранизацию этой постановки осуществило телевидение, выпустив двухсерийный фильм-спектакль.

1968 год. В дневнике Вишневского есть немало записей, подчеркивающих необычайную музыкальность пьесы: «Вечером слушал Верди и Листа. Как-то хорошо думалось об «Оптимистической трагедии»... Финал — на борьбе музыкальных элементов...» Не раз встречаются указания режиссерам в ремарках: «Музыкальное вступление. Рев, подавляющий мощью и скорбью»; «В тишине чья-то безмерная человеческая тоска. Она может быть выражена музыкально...»

Совсем не случайно композитор Александр Холминов, разрабатывая тему великих свершений социалистической революции и гражданской войны, тему рождения нового человека, новых взаимоотношений между людьми, обратился к пьесе Вишневского. И вот опера «Оптимистическая трагедия» с успехом идет в Ленинграде, Свердловске, Фрунзе, Днепропетровске, а на сцене Большого театра СССР восхищает зрителей блестящим исполнением партии Комиссара Ирина Архипова.

1975 год. Делегаты I съезда Коммунистической партии Кубы горячо принимают Комиссара и его соратников в исполнении артистов Гаванского политического театра имени Бертольда Брехта (автор перевода на испанский — директор театра Рауль Масиас, режиссер — заслуженный деятель искусств РСФСР В. Монахов). Кубинские актеры работали над ролями самозабвенно, с огромным подъемом.

К 60-летию Советской власти наши театры вновь играли пьесу о легендарном матросском полке и его Комиссаре.

6

Летом 1933 года, когда контуры спектакля «Оптимистическая трагедия» в Камерном еще только вырисовывались, Всеволод Вишневский неожиданно написал сценарий «Мы из Кронштадта». Правда, неожиданностью это могло казаться лишь со стороны: тяга к познанию и всестороннему отображению мира, его просторов, движения, поиск новых художественных средств закономерно привели его к искусству кино.

В последний день уходящего 1929 года — переломного в его судьбе — Всеволод набрасывает черновой план и от-

дельные эпизоды киноперевложения «Первой Конной» и отправляет его в Совкино.

В частности, был записан и финал, предвосхитивший ставшие известными всему миру заключительные кадры «Мы из Кронштадта»: «Крым наш... Белые в Константинополь бегут. Вихрь по степи, летит Конная... Море... К берегу. «Стой! Дальше некуда». Стоят конники — двое односельчан — Сысоев и друг его: «Вроде кончили?» — «Вот здорово! Вода дале не пущает...» Прибой. Кони пятятся. Треплет значок эскадронный ветром... Глядят на море богатыри: «Ну, сюда больше не соваться, хребтину переломаем, кто сунется».

Все это было отослано с сопроводительным письмом — по-детски непосредственным, настойчивым, каким-то безотчетно радостным и проникнутым верой в то, что, «идя от эмоциональных восприятий, даваемых пьесой, режиссер, если он *наш,* если его сердце забьется как наше, при чтении, сделает вещь эпическую».

Экран привлекает Вишневского своей масштабностью, да и тема Красной Армии еще всерьез в кино не решалась. «Давайте дадим, — призывает он в заключение. — Я весь загораюсь от мысли работать для этого — я ведь октябрьский боец, партизан, прошел весь путь. Следил за кино — ждал: Довженко, Эйзенштейн, Пудовкин... Но нет и нет Красной Армии. До сих пор! Ну, давайте же!»

Несмотря на то, что «киногеничность» первого крупного произведения Вишневского очевидна, его темпераментное обращение не вызвало ответного импульса. Однако замысел создания фильма по «Первой Конной» долго не давал покоя писателю. Так, в конце тридцатых годов он пишет сценарий и вместе с Ефимом Дзиганом делает режиссерский вариант.

О том, что рамки театральной сцены становились тесны для Вишневского, свидетельствует ряд его высказываний. В октябре 1930 года в одном из своих выступлений о пьесе («Последний решительный») он опасается: как театр справится, например, со сценой газовой атаки?..

Ограниченность возможностей театра остро ощущал Вишневский и во время постановки «Оптимистической трагедии», а иные ремарки в этой пьесе можно было адресовать скорее режиссеру кино, нежели театральному. Его упрекали в какой-то отвлеченной символике, а ведь истин-

ный смысл ремарок состоял в том, что автору очень хотелось дать ощущение необъятности природы, шума морского прибоя, словом, ощущение потока жизни, грандиозности бытия.

Приход к новому для себя искусству Вишневский объяснял и многими иными факторами. Во-первых, с кинематографией он был знаком давно, и не только как зритель (нередко бывал на занятиях у отца, Виталия Петровича, преподавателя кинодела, одного из первых отечественных специалистов в этой отрасли); во-вторых, начав активно работать в литературе и театре, он пристально всматривался в новую, еще только рождавшуюся, но тем не менее властно, прямо-таки молниеносно захватывающую людей музу. Ему не терпелось сказать *свое* — после фильмов «Мать» и «Звенигора», «Броненосец «Потемкин» и «Арсенал».

К этим годам относится и возникновение дружеских отношений с С. М. Эйзенштейном и А. П. Довженко, что в известном смысле объясняется тягой Вишневского к кино. Такие разные художники и люди приходили в маленькую квартиру на Нижнем Кисловском и вели ожесточенные споры об искусстве нового времени, о том, что отомрет, а что является определяющим, чему суждено развиваться и крепнуть. Обычно не очень охотно высказывающий свои мнения и оценки автору Эйзенштейн однажды заговорил о том, как он видит на сцене «Оптимистическую трагедию». Например, хор он решил бы в военных движениях, античным условным планом, усиливая разные построения в зависимости от сцен: тревожные, спокойные; бой показал бы так, как его видит хор, — отражение боя на поведении хора. Бал, считает он, надо давать без женщин — это трагичнее. Прощается каждый сам с собой (в паре с другим...). Не все принимал Вишневский, но подобные разговоры о творчестве были полезны для обоих.

С первых дней знакомства (а состоялось оно в конце 1932 года) Довженко отнесся к Вишневскому с нескрываемым любопытством. Сближала их и одна общая черта характера: оба тяжело переживали нападки критики, и оба щедро подвергались им почти за каждое новое произведение.

Обратившись к историко-революционной теме, Довженко в марте 1935 года попросил:

— Всеволод, пиши для меня «Щорса». Пиши один, хочешь — вместе со мной. Воля, желание твое...

Со свойственной ему нетерпеливостью и одновременно основательностью Вишневский взялся за дело: изучал книги о гражданской войне на Украине, организовал несколько встреч со старыми бойцами-богунцами. Однако, увидев, как загорелся Всеволод, Довженко вдруг воспылал ревностью: ему опять, как это бывало и раньше, захотелось делать своего «Щорса», и в этот творимый им мир доступа нет никому. В мае он сообщает Вишневскому: «Я должен писать один».

Конечно, в такой ситуации нельзя было не обидеться: ведь и Вишневский уже нащупывал свое творческое решение темы. Но Всеволод долго сердиться не умел еще и потому, что, как правило, не уходил в себя, в собственные обиды, а стремился понять другого. После просмотра довженковского кинофильма «Аэроград» он записывает в дневнике с искренней дружеской заботой: «Сашко[1] осунулся, устал. Два года работы. Нервы...»

Спустя месяц Довженко признается:

— Я мучился все время: как работать без тебя, как с тобой... *(Ночной разговор 7.XII.35.)*

Считая Довженко самородком, одной из наиболее интересных фигур в кино, Вишневский не одобрял его пристрастия к символам. Он — поэт, живописец, а потом уже кинематографист. И когда ставит фильм, то в вечной борьбе начал автор — режиссер в нем побеждает первый.

Главное же — то, что, несмотря на обидную историю со «Щорсом», питало их продолжавшуюся всю жизнь дружбу, точно выразил Вишневский: «...Мне внутренне дорог цельный образ (Довженко. — *В. X.*), хотя гипертрофия «я» — бывает отталкивание, иногда ревность... Но я иду своим путем. И он мне признался — я в нем сижу внутренне. Наши встречи сильны, откровенны мыслью».

В то время сценарий вообще был в опале. Многие режиссеры, в их числе и Эйзенштейн, относились к нему нигилистически: сценарий — лишь эмоциональная канва впечатлений для режиссера и оператора, главное же — съемка, монтаж.

---

[1] Так называли А. П. Довженко друзья и близкие. Любопытно, что это уменьшительное имя в первые годы его работы в печати (в середине двадцатых годов) явилось и псевдонимом, за которым скрывался ежедневно выступающий на страницах украинской республиканской газеты «Вісті» художник-карикатурист.

Прежде чем засесть за написание киносценария, Вишневский считал своим долгом в совершенстве овладеть спецификой нового вида искусства — иначе он просто не взялся бы за дело. Но, естественно, и здесь писатель остается верен основным темам и идеям своего творчества. Обдумывая сценарий (название его родилось сразу — «Мы из Кронштадта», тема и характер художественного воплощения — тоже: «надо дать новое освещение гражданской войны — реалистически укрупненно»), Вишневский находился в состоянии особого творческого возбуждения: «Я пока слушал шум, движенье самих событий... Я восстанавливал для себя эпоху, слушал ее голоса, прежде чем начинать разбираться в голосах отдельных людей... Сюжет идет от столкновения массивов. Для меня сюжет — сама история...»

И драматург действительно строит сценарий просто, следуя за поворотами истории, в частности, за перипетиями героической обороны Петрограда в 1919 году. По его представлениям, фильм должен дать прежде всего большие понятия: «гражданская война», «интервенция», «голод», «армия», «тыл» — рабочие.

Первый вариант был написан за несколько недель пребывания на Кавказе — в Цихисдзири. Наметки воплощались и в картинах зрительного ряда: «Кронштадт. Панорама (рыбаки...). Матросы на берегу. Парк. Тема вальса или старой песни. Гул орудий вдали. Наступает двадцать одна держава. Корабельная жизнь 1918—1919 годов. Угольная погрузка. Голод. Отчисление пайка голодающему Питеру. Часовые. На холоде смена часовых. Один стоит босой, но поворот делает по всем правилам устава. Обращение к морякам. Комиссар: «Граждане!» С кораблей уходит часть людей. Комиссар перед боем, ячейка. Фронт. Бой. Полк. Оркестр. Раненые тоже идут в бой. Отстреливается пулеметчик. Крестьяне, их участие. Состояние голода. Пленный белый солдат. Моряки в плену. Диалоги. «Ты кто?» — «Герой, скиталец морей, орлиное племя, альбатрос». Расстрел. Холодно. Пар изо ртов. Моряки идут обнявшись. Как держатся матросы и как белые. Выброшенная волной фуражка. Параллельно бою полка — в море три эсминца. Весть в базе. Бешенство. Двойной подъем. Эскадра готовится. Десант. Финал. Один встречает другого. «Постой, как тебя?» — «Мы из Кронштадта».

И в новой для себя области искусства Вишневский продолжал ту же линию, что и в театральной драматур-

гии и прозе, — эпическую. «Я считаю, — говорил он, — монументально-героический, эпический, трагический фильм основной линией развития советского кино». В сценарии «Мы из Кронштадта» он стремился найти образное экранное воплощение подвига народа в революции и гражданской войне: «Вещь должна быть пронизана неукротимостью, волей, ясным пониманием цели. На фоне голода и истощения зимы 1919 года эти человеческие чувства будут особенно выразительны».

Он вспоминал свою жизнь, жизнь своих товарищей — мертвых и живых. Из глубины памяти возникали давно позабытые эпизоды, встречи, диалоги — так ясно, словно это было вчера. Постепенно шло уточнение замысла, и только намеченные линии, образы приобретали индивидуальные особенности и краски. Основательно входил Вишневский и в специфику кино, изучая и решая по-своему проблемы света, темпа, настроения картины. От сумрака — к солнцу и шторму в финале; от некоторой замедленности и задумчивости — к сокрушающей динамике; от давящего, тоскливого настроения, от голода, врагов — к предельному взлету чувств.

Вскоре дальнейшую конкретизацию получают основные идеи сценария: организующее начало партии, единство армии и флота, боевая дружба. «Затем вопросы партийно-боевой этики, поведения в плену, перед лицом смерти, — ставит перед собой задачи Вишневский. — Вопросы поведения раненых. Надо глубочайше разрабатывать эти проблемы в предвидении войны».

В основу сценария положены события критических дней октября 1919 года, когда В. И. Ленин обратился к защитникам города: «Товарищи! Наступил решительный момент... В несколько дней решается судьба Петрограда, а это значит наполовину судьба Советской власти в России...» [1]

Город-крепость Кронштадт стоит на бессменной вахте, охраняя Петроград. Генерал-лейтенант Юденич наступает с суши, и отряд моряков-добровольцев отправляется на помощь красноармейцам и ополченцам. Заняв участок фронта на побережье, матросы вместе с пехотинцами отражают атаки противника. Однако силы неравны, часть матросов окружена и попала в плен. Только одному из них, Артему, удалось во время казни бежать. Он до-

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 39, с. 230.

бирается до Кронштадта, и новые отряды матросов успевают прийти на выручку в момент, когда обескровленный пехотный полк из последних сил сдерживает натиск врага. Сокрушительный удар с тыла, разгром белогвардейцев, лавина убегающих врагов... Как помечено в черновике сценария, финал решен в стиле ставшей классической темы сброса интервентов в море: в Черное и Белое моря, в Тихий океан.

Надо сказать, что финальная сцена долго не давалась; было записано множество вариантов, однако ни один из них не нравился автору. И здесь, как порою бывало прежде, немалую роль сыграли воспоминания, лично пережитое. Как мы знаем, на Балтике Вишневский не воевал, но в 1920 году, под Новороссийском, участвовал в атаке особого отряда добровольцев-коммунистов и комсомольцев города, поспешивших на выручку Пензенского пехотного полка. Через Абрау-Дюрсо отряд подошел с фланга, неожиданно атаковал, прижал противника к морю. Об этом Вишневский рассказал в одной из передач радиогазеты «Красный моряк» в 1928 году, а спустя шесть лет на тексте новеллы сделал пометку: «Тема удара — сброса в море!»

Таким и вошел финал в историю кинематографа — истинная вершина фильма, символический катаклизм, освобождающий от напряжения, непрерывно нараставшего в предшествующем действии и в то же время безукоризненно точный с военно-оперативной точки зрения. Десант соединился с пехотой: «Моряки бегут сквозь сдающиеся ряды белых. Подняты руки офицеров.

Матросы гонят белых к обрыву.

...Обрыв у моря.

Белый полковник у обрыва. Остановился в ужасе. В давке его столкнули в море. Вопль...

Матросы настигают белых. Артем впереди.

Матросы вырвались к обрыву. Белые в смятении срываются с обрыва. Матросы сталкивают их беспощадно в море.

Артем и матросы над обрывом.

Победа!

Артем. А ну, кто еще хочет в Петроград?!

Суровое, прекрасное лицо Артема».

Работа над сценарием оказалась своеобразным подведением итогов пятнадцатилетнего военного, журналистского и литературного пути. Вишневский вновь и вновь

проверяет возможность одухотворения таких понятий, как «город», «крепость», «полк». «Я убежден, — писал он, — что новые исторические масштабы дают возможность как-то по-новому увидеть взаимоотношения коллективов, масс. Образный, игровой потенциал этих коллективов, этих объектов и субъектов истории, я убежден, может давать огромнейшее эмоциональное и идейное воздействие».

После ознакомления с черновыми вариантами «Мы из Кронштадта» режиссер Ефим Львович Дзиган недвусмысленно высказал свои пожелания о необходимости фабулы, интриги в сценарии. Драматург пошел навстречу, но весьма своеобразно — построив сквозное действие на ложном «треугольнике»: в центре внимания — симпатии Артема Балашова к женщине, которую он принял за подругу пехотинца, их соперничество. Значительно позже выяснится, что это жена командира, и таким образом будет отброшен последний повод для неприязни к пехотинцу. Такое построение пропитано авторской иронией по отношению к привычным, штампованным интригам современной ему кинематографии.

Неужели же судьба города, судьба революции недостаточно драматична?! — словно спрашивал Вишневский.

При развертывании подлинного сюжета индивидуальные линии Артем — пехотинец — женщина становились пунктирными, едва видимыми — их оттеснили общее движение, схватка революционного народа с врагом.

— Помните, что у меня за сюжет, — заострял внимание режиссера писатель. — Любовную линию я дал ложную. Вражда матроса и пехотинца — она иллюзорна, я ведь ее постепенно снимаю...

По конфликту сценарий напоминает драму, а по манере повествования — эпос. Скупо, двумя-тремя штрихами, деталями Вишневский рисует запоминающиеся образы низкорослого матроса (Артем), политкаторжанина Антона Карабаша, пехотинца, гитариста, латыша (командира полка — из латышских стрелков). Автор знал, кто, на каких участках дрался, название того или иного корабля или полка вызывали в его памяти конкретных людей — их внешний облик, вкусы, привычки, мысли, язык. Всеволод воскрешал их любимые характерные словечки и выражения, песни, мотивы тех времен.

В сценарии все сильнее звучит тема гуманизма. Так,

в водовороте военных событий появляются дети — символ светлого, человечного, — ради их будущего счастья сражались и погибали бойцы революции. «Глядя на какого-нибудь карапузика, — комментирует Вишневский ввод сцен детского дома, — который впервые видел наган и, уставившись, серьезно и удивленно спрашивал: «А что это?» — я думал обо всем дальнейшем течении жизни этого человечка, о том, что он, рожденный в годы войны, доживет, возможно, до самого конца XX века и увидит бесклассовое общество...»

16 июля 1933 года Вишневский прочитал сценарий близким друзьям. Довженко сказал, что можно (он сам бы сделал) снять «мировой фильм»; дать грубую правду о 1919 годе — так о гражданской войне еще не говорили. И подробно объяснил свою точку зрения: «Здесь все построено на массе. Масса все время ведет действие... Такой сценарий труднее, чем «сюжетный». Тут очень мощные, сильные литературные образы... Картина десанта — страшная, предельно грубая в хорошем смысле слова. Центральный бой дан на сильном голосе... История потопления моряков чрезвычайно драматична. Здесь острое разрешение и глубоко психологический материал. Каждый гибнет по-своему... Мой вывод: сценарий вызовет споры. Теперь все твердят о фабуле, а этот сценарий идет иными путями».

На разнообразные отзывы о сценарии Всеволод реагирует в этот раз сдержанно: не тратит времени на споры, а поправляет текст, углубляет характеристики персонажей. Много усилий прилагает для того, чтобы режиссер Е. Дзиган, оператор Н. Наумов-Страж пополнили свои знания в области морского дела, прониклись атмосферой событий, которые разворачиваются в сценарии. Вот одна из записей дневника в те дни: *«20 августа 33 г.* Изучаем Кронштадт (с Дзиганом. — *В. Х.*) — архитектуру, топографию. Музеи, быт. Были на южном берегу. Планирую поход в море, полет (для съемочной группы)».

Однажды Вишневский вернулся из штаба флота и радостно сообщил Дзигану:

— Завтра в шесть тридцать утра идем с тобой на подводной лодке в район маневров!

И они пошли в поход...

О совместной работе над фильмом подробно и не один раз рассказывал в своих воспоминаниях Дзиган. Необычным было даже само их знакомство. Режиссер пришел к

драматургу и предложил экранизировать «Оптимистическую трагедию».

— Что привлекает вас как режиссера кино в этой пьесе? — ничуть не удивившись, словно к нему каждый день обращаются с подобными предложениями, спросил Вишневский.

Режиссер отвечал подробно, стараясь увлечь собеседника богатейшими возможностями киноискусства.

Вишневский долго молчал, а затем отрубил:

— Делать сценарий по пьесе не буду. Я напишу новую, самостоятельную вещь для кинематографа...

Было бы, вероятно, ошибочным считать, что вопрос о выборе режиссера не вставал перед ним после того, как сценарий был написан. Да и готовых дать совет в этом плане всегда находится немало. А после читки сценария в нескольких аудиториях по литературной Москве пошла гулять острота Мих. Левидова, который на многолюдном собрании высказал автору свое восхищение сценарием в такой форме:

— Новый жанр в кино — эпопея, поэма!.. На вас, Вишневский, хочет ехать в бессмертие очередной режиссер... Вашу вещь не сделают... Разве что один Довженко...

О том, как Вишневский стремился разъяснить постановщику свой замысел, добиться сходного видения, единого ощущения духа, ритма будущего фильма, свидетельствует свыше 80 писем, отправленных им Дзигану с мая 1933 по 1935 год. В них — подробнейшие мотивировки отдельных эпизодов, уточнения текста, логические обоснования действий, взаимодействий персонажей фильма, режиссерские разработки мизансцен, цветные чертежи батальных сцен; требования «вымерять математически» каждый кадр, порядок их чередования. Целые страницы посвящены поиску выразительных средств, описанию пейзажа, звукового оформления, света, ритма и т. п. По сути, это дневник постановок. Однажды Дзиган, отвечая на очередное послание, написал ответ карандашом. Это вызвало искреннее возмущение Всеволода, при встрече он не замедлил его выразить:

— Как вы не понимаете! Наша переписка может оказаться весьма полезной для изучения проблемы взаимоотношений драматурга и режиссера... А карандаш со временем сотрется...

7

Как и прежде, в работе с режиссерами независимо от их ранга Вишневский предлагает не только текст, но и свое видение сцен. Еще Мейерхольду он писал определенно и категорически: «Я не хочу быть автором, пьесы которого идут, но который ничего не знает о сути этих работ, их типе, плане, качестве, сроках и т. д.» И здесь, постигая специфику киноискусства, которое и само-то еще познавало себя, Вишневский верен своему стилю работы: он должен знать все о кино и обязан сделать все, на что способен, чтобы фильм получился. Не беда, что он тратит в десятки раз больше сил, чем другие (в архиве сохранилось восемь (!) вариантов сценария), — только бы полностью выразить чувства и мысли, владеющие им. При этом Вишневский всегда помнит и о самостоятельности режиссера, справедливо считая, что надо внимательно относиться к художественным правам каждого из участников работы над фильмом.

Писатель творил на виду у всех, охотно делился своими замыслами, читал даже незавершенные вещи. И конечно же, широко использовал уже имевшийся опыт советского кинематографа. Вот каковы, на его взгляд, главные идеи лучших современных ему картин:

«В «Броненосце» — взрыв масс.

В «Арсенале» — бесстрашие, отрицание смерти.

В «Конце Санкт-Петербурга» — эволюция человека, масс.

В «Земле» — пантеизм, вечность.

В «Иване» — трагедия крестьянства + проблеск к новому.

В «Чапаеве» — личная трагедия + батальность.

В других — «Дезертир» и тому подобное — мелко...»

25 июля 1935 года Всеволод пишет Дзигану: «Работаю, как каторжник, головные боли начались». Не удаются сцены с пехотой, и он опять и опять возвращается к отработке этих эпизодов. Погружен в фильм «до забвения». Но при этом предельно честен, строг к себе и принципиален: «Перебираю, пристально ищу, что *плохо у меня,* что плохо у Вас или актеров. Эта выверка нужна сейчас, как никогда. Есть еще время *переснять,* исправить».

Как всякий большой художник, Всеволод Вишневский был творчески щедр. Выслушав очередные вопросы, сомнения, он предлагал все новые и новые варианты текста.

«Ты скажи, — просил он Дзигана, — что ты не чувствуешь, не видишь, не принимаешь. Дай свои предложения, а я детонирую».

Детонировать... Это слово из лексикона военных моряков означает: взрываться — некоторые вещества детонируют от удара, укола, трения. Вишневский творчески взрывался от импульса мысли, направленного на решение задачи, которой он в этот момент жил.

Как-то во время обсуждения сцены ухода отряда на фронт режиссер выразил пожелание: хорошо, если кого-либо из матросов будут провожать родные. Автор живо откликнулся:

— Кто именно?

— Может, мать Артема?

— Нет, нет... Не Артема, а гитариста...

И Вишневский тут же набросал весь диалог, вошедший в канонический текст сценария.

Благодаря сильно развитому дару импровизации драматург нередко во время публичного чтения находил более точные слова, реплики и даже целые сцены. Так родился — на глазах многочисленной аудитории в помещении Союза писателей — знаменитый диалог «пскапского» с комиссаром морского отряда.

...Атака белогвардейцев отбита.

«Вдоль окопа ведут взятого в плен солдата.

Крики матросов:

— Буржуя ведут!

Комиссар посмотрел на пленного. Спросил по-английски:

— Do you speak English? [1]

Солдат озирается, молчит — он испуган.

Комиссар спрашивает по-немецки:

— Sprechen sie deutsch? [2]

Солдат молча смотрит на комиссара и матросов.

К комиссару наклоняется бородатый матрос:

— Может, португал?

Пленный наконец произнес:

— Мы пскапские, мобилизованные.

Матросы улыбнулись.

Комиссар. Какого полка? Кто командир?

Пленный. Не знаю... нам в Петроград велено.

Комиссар. Ага, в Петроград?

---

[1] Вы говорите по-английски? *(Англ.)*

[2] Вы говорите по-немецки? *(Нем.)*

Пленный. Ага...»

Режиссер и сценарист совместно нащупывали и постановочные и актерские решения. В начале тридцатых годов звуковая кинематография, приходя на смену немому кино, только начинала свой путь, и некоторые художники пребывали в растерянности, о ближайших перспективах говорили с явным беспокойством. Главную опасность для нового искусства усматривали в прямом возвращении к «истрепанным театральным приемам», к «тирании слова и звука», которая с помощью механического посредника станет еще ощутимее. Надо было осознать, как звук, звуковой образ, звучащее слово на экране может стать мощным художественным выразительным средством.

Над всем этим глубоко задумывается Вишневский, хотя, казалось, его роль в создании фильма уже сыграна: литературный сценарий есть, он принят на «ура!». Даже отзыв обычно сдержанного кинематографического руководства благоприятен: «новое слово»... Свежесть, полнокровие, постановка вопросов смелая...»

Именно Всеволод Вишневский первым из писателей захотел увидеть в процессе работы над сценарием все компоненты будущего звукового фильма как единого художественного целого. Он посылает Дзигану многостраничные заметки, которые можно было бы объединить в один труд под названием «О звуке»: «Изучение фильмов показывает, что немое кино давало интим. Звуковое кино в массе нарушает это. Оно дает вторжение звука в лоб — форте. Надо найти теплоту, игру звука, от интима, пианиссимо до форте. Надо дать два-три-четыре плана звуков, добиваться полифонии, а не долбить примитив: либо говорят герои, либо им произвольно подыгрывает музыка. Звук должен быть органическим игровым компонентом. Он должен по-особому окрашивать действие, вторгаться, как драматический элемент....»

И одновременно беспокоится о воплощении в фильме конкретных звуковых решений: «До сих пор Вы и я искали приемов, звуков от микроскопического до рева орудий; игры приемов... Нашли ряд вещей. Но что сделано для нахождения нужных фактур звука, для возведения их в искусство?.. Надо искать и звуки воды, и свисты снарядов (каждый по-своему в зависимости от веса, температуры, атмосферы), храп спящих (каждый по-своему), топот ног по граниту, чугуну, земле (каждый по-своему)... Где вы достанете эти подлинные звуки?..

Надо добиться архитектонической ясности звуковой драмы, то есть борьбы звуковых начал...»

Как решить, например, выход десанта и Балтийского флота в шторм? Какие звуки борются с какими и как? Над этими и многими другими вопросами задумывается Всеволод. Тон его писем требователен: в творческом коллективе от каждого зависит немало, а свое собственное поле он пашет с самозабвенным трудолюбием.

В звуках, красках Вишневский ищет и реалистической точности, и эпической широты. Он настойчиво советует оператору Н. Наумову-Стражу, композитору Н. Крюкову, художнику В. Егорову обращаться и к картинам маринистов, и к газетам революционной поры, напоминает о живительной силе непосредственных личных наблюдений, непрерывном накоплении собственного опыта, точных знаний. Вишневский исповедовал принцип: цельная вещь складывается в том случае, если все ее составные досконалыны, в подробностях увидены художником.

— Учитесь делать быт по Толстому, — говорил он Дзигану. — Ищите выразительные жесты, действия...

И подбрасывает свои варианты решения, сохранившиеся в его памяти бывалого солдата картинки с натуры:

«Напишите себе военную партитуру на 100 бойцов. Что делают в бою эти 100 человек? Кто как ранен? Кто где сидит, лежит, бежит? Чьи, когда реплики? Чьи, когда, какие взгляды, жесты, реакции (на огонь, на стон, на взрыв и так далее)?

...Бой пехоты крайне устремленный, упорный, осмысленный. Например:

1) У красноармейца расщепило винтовку (осколком), взял у убитого хорошую.

2) Оглушило, засыпало песком, лицо черное, человек почти ослеп. Как он промывает, прочищает глаза и снова бьется...

3) Как раненый рассматривает свою кровь. Течет из головы (из носа, рта...) — капает на ладонь. Боец смотрит... и вновь стреляет.

4) Убитый упал с папироской. В передышке боец, увидев, просто берет изо рта убитого эту папироску: «Подымим, что ли?»

5) Идут раненые... Один боец-коротышка: «Пишите!» (Потом и его ранило!)...»

Выразительна одна из фотографий периода съемок

«Мы из Кронштадта». На ней изображен Г. Бушуев (Артем): на минутку подошел он к Вишневскому, а тот, улыбаясь, почесывая характерным жестом затылок, как будто говорит: «Понимаешь ли, какая штука... Нет, не то у тебя получается...» Советом, дружеской критикой, а то и показывая, как заправский режиссер, драматург нередко помогал и другим актерам — В. Зайчикову, исполнявшему роль Комиссара, П. Кириллову (Валентин Беспрозванный), Олегу Жакову (Командир-латыш), Р. Есиповой (Женщина). Его особенно волнует то, как под воздействием исторических событий изменяется психология, сознание людей. Вишневский нацеливает весь коллектив на современную трактовку характеров, в этом плане интересно пожелание Дзигану: «Говорите о роли с Бушуевым сутками, раскрывайте ему смысл! От него будут требовать: «Давай героя 1935/1936 года! Давай живого сложного героя РККА!»

«Истории вообще — нет без сегодняшнего дня!»

И Бушуев сумел воплотить в образе Артема сильные и яркие черты народного характера, сыграв незаурядную, самобытную, резко очерченную личность.

Обращаясь к опыту классиков драматургии, Вишневский призывал своих товарищей к «шекспиризации» образов сценария: надо дать картины наитруднейшей борьбы бойца, коллектива с собой, с врагом, со стихьями. Такая творческая установка поможет воссоздать образ эпохи в целом. Так считал писатель, и многого в этом направлении достигли актеры, работавшие с полным напряжением. А некоторые из них даже рисковали жизнью. Например, Зайчиков в сцене гибели Комиссара, захлебываясь, лежал связанный под водой, а когда вытаскивали — идеально изображал мертвого, не шевеля ни одним мускулом и не дыша...

Удивительной точностью, простотой и ясностью поэтического языка автор достигает неотразимой силы художественного воздействия на читателя и зрителя. Язык Балашова грубоват, отличается резкостью интонаций, что соответствует его натуре, содержит немало оборотов народной речи; Мартынов говорит литературно и в то же время понятно, просто, употребляя политические термины, иногда — приподнято, патетически; в репликах моряков много иронии, юмора, присущих характеру русского человека: «Мне кажется, барон, вам готовится непри-

ятность»; «Двигай, кочегарная сила», «Иди, Антоша, объяснись с Юденичем...»

Критика уже в тридцатых годах отметила высокую художественность сценария: «...Язык персонажей лаконичен и лапидарен, он расцвечен матросскими и бытовыми словечками, резкими и необычайными выражениями. Он создает атмосферу напряженности, атмосферу необычайности не только в ситуациях сценария, но и в речевых ее характеристиках...»

Однако в самый разгар подготовительных работ к съемке вдруг пришло предписание Главного кинофотоуправления (ГУКФ): все приостановить. Причина? Некоторые специалисты, с горечью отмечает в своем дневнике Вишневский, считают сценарий «несоветским». Об уровне и характере критики тех, кто жаждал «подправить» сценарий, можно судить по страстному ответу Всеволода Витальевича на Всесоюзном производственном совещании 20 декабря 1933 года, в котором он твердо отстаивал цельность, высокую идейность и правдивость своей работы:

«Я показываю то, что имело место в жизни, то, что является исторически верным и типичным. Вы комиссара хотите видеть центральным героем, а у меня замысел иной. Вы хотите, чтобы матросы целовались с пехотинцами сплошь, а я знаю, как было в жизни. Мои матросы есть матросы. У них кровь черна от угольной пыли. Было много тяжелого в нашей службе, в нашей жизни, в наших душах до 1917 года. Менять это в угоду критике не буду. Нам нужно точно, средствами нашего искусства сказать правду о нашей жизни, правду о нас самих. Корни старого очень сильны в людях... Смешно от меня требовать этакий энтузиастический Кронштадт. Разве вы не понимаете, что я даю Кронштадт с его глубочайшими старыми корнями. Разве вы не понимаете, что я говорю людям: смотрите, какой темной и страшной была раньше жизнь, как трудно было, дерясь с врагом, еще драться с самим собой. Вы подходите сейчас ко многому с позднейшими мерками. Меня многие обвиняли в тех же грехах, о которых говорилось здесь, и за «Оптимистическую трагедию». Но я не уступлю.

Меня интересует самый первичный процесс, хочу видеть, как зерно падает в землю и как пробивается первый росток. И я слежу непрерывно за душами, за сознанием своего низкорослого матроса и его друзей. Это и

есть замечательнейший процесс перерождения людей. Забыли вы разве те годы? Вы требуете, в сущности говоря, какого-то другого сценария о Питере, о политотделах и т. д.».

Но в ответ — полное непонимание, нежелание вникнуть в творческий замысел. Сценарий явно «пускали на дно». Взамен помощи и поддержки из ГУКФа присылались канцелярские заключения и бумаги. Единственно, что мог противопоставить автор, — экземпляр журнала «Знамя» (1933 год, № 12), где был напечатан сценарий, заявивший о своем рождении как прообраз фильма.

И все же под давлением писательской, кинематографической общественности работы над фильмом «Мы из Кронштадта» возобновились. Правда, стычки с кинодирекцией продолжались почти до последнего дня монтажа («снято темно», «мрачно», не хватает «солнышка» и т. п.), но Вишневский и Дзиган не поддавались атакам администраторов.

Дело близится к завершению. Вишневский смотрит снятые и уже смонтированные кадры, всем своим естеством вновь переживая судьбы героев: нередко во время просмотра по его лицу текут слезы. А ведь сентиментальным человеком его никак не назовешь. Впрочем, это ничуть не мешало Всеволоду замечать даже малейшие неточности, фальшь, неудачно снятые кадры. Чувство художественной правды у него было развито необычайно.

Незадолго до сдачи фильма Вишневский писал Дзигану: «В материал Ваш верю. Матросов поняли Вы редкостно... Сердце мое бьется неровно, взволнованно. Даже Зайчиков стал покоряюще прям, вот волевой большевик. А казнь (тьфу-тьфу, не сглазить!) войдет в историю киноискусства, как думается мне, и атака с «Интернационалом», и ход раненых, и десант, и финал...»

Мечта Вишневского сбылась: пожалуй, ни в одном своем произведении он не смог достигнуть таких высот отображения движения масс, воссоздать такое дорогое для него время столь правдиво и достоверно. Весь фильм, как и задумывал автор, воспринимался как ожесточенное, непрерывное — день и ночь! — сражение революционного народа с врагами, нападающими отовсюду. Вслед за «Броненосцем «Потемкин», «Чапаевым» и дру-

гими классическими советскими лентами «Мы из Кронштадта» вот уже более четырех десятилетий живет активной жизнью, при каждом своем появлении на экране неизменно собирая полную аудиторию: в кинозал приходят и смотревшие его ранее, и новые зрители — молодые. Мужество, стойкость, бесстрашие революционных матросов и красноармейцев запечатлены в фильме на века.

Об этой картине огромного идейного, публицистического накала, выдающегося мастерства и удивительных художественных свойств сказано и написано немало, отсчитывая от самых первых откликов.

Печать была единодушна — теперь хвалили и те, кто год-два назад в глаза или за глаза ругал сценарий и пророчил фильму провал.

Приведем хотя бы несколько отзывов сразу после выхода фильма на экраны.

«Никакими беглыми заметками нельзя исчерпать художественную силу и непередаваемое впечатление фильма. Советская кинематография, все наше искусство по праву гордятся «Чапаевым». Они могут с таким же правом гордиться новой своей победой... Во всем фильме ясно чувствуется стиль, темперамент и масштаб Вишневского...» («Правда», 1936, 3 марта).

«Фильм «Мы из Кронштадта», — писал Фридрих Вольф, — мог родиться только в Советском Союзе... Голливуд мог бы собрать у себя всех знаменитостей, мог бы зафрахтовать несколько эскадр американского флота, затратить несколько миллионов долларов — и тем не менее ему никогда бы не удалось создать фильм, проникнутый тем величественным пафосом, которым дышит фильм «Мы из Кронштадта» (газета «Кино», 1936, 6 марта).

И зарубежные газеты поместили рецензии, статьи о советской картине, называя ее крупнейшим произведением киноискусства.

«Картина напоминает фильм «Броненосец «Потемкин» и по драматизму и по масштабу. Это захватывающее зрелище. Трагизм картины проникнут штрихами мрачного юмора и непреклонным боевым духом и с начала до конца приковывает напряженное внимание зрителя. Рассказ ведется просто, сильно, сжато. Каждая сцена хорошо продумана кинематографически» («Нью-Йорк пост», 1936, 1 мая).

«В «Чапаеве» прославлен героизм Красной Армии; в фильме «Мы из Кронштадта» так же величественно прославлен Красный флот» («Нью-Йорк таймс», 1936, 2 мая).

«В сравнении с этой картиной голливудские пропагандистские фильмы кажутся тепличными растениями» («Дейли ньюс», 1936, 7 мая).

Не обошли создателей фильма ни слава, ни награды. В 1936 году постановлением Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР «за заслуги в деле развития кинематографического искусства, выразившиеся в создании кинофильма «Мы из Кронштадта», В. В. Вишневский и Е. Л. Дзиган награждены орденами Ленина. (Кстати, это было первое награждение такого рода — не в связи с юбилейной датой, а за художественное произведение.) Шедевр советского кино был отмечен главным призом на Всемирной выставке в Париже, а в марте 1941 года удостоен Государственной премии.

Фильм вышел на экраны, когда в Западной Европе уже разгоралась вторая мировая война, и потому образы и события, показываемые в нем, приобрели особую международную остроту и актуальность. Больше всего радовало Вишневского то, что картину смотрели рабочие Запада, бойцы интернациональных бригад, сражавшиеся в Испании. Высочайшей похвалой для него были слова, сказанные Долорес Ибаррури: «Испанский матрос Антонио Коль был первым, кто с успехом атаковал танки ручными гранатами. Потом бесчисленные группы антитанкистов последовали его примеру, и все они утверждали, что если бы они не видели фильма «Мы из Кронштадта», то не посмели бы бороться против танков».

Как вспоминает очевидец, советский кинооператор Б. К. Макасеев, кинокартина в течение двух с половиной месяцев не сходила с экранов осажденного Мадрида. На улицах города были расклеены плакаты: «Мадрид — это Петроград», «Защищайте Мадрид, как русские рабочие защищали революционный Петроград». Задолго до начала утренних сеансов в кинотеатре, занимавшем нижний этаж отеля «Капитоль», собиралась толпа вооруженных бойцов. Во время демонстрации «Мы из Кронштадта» в момент, когда матрос падает в море, кое-кто из зрителей не выдерживал и... стрелял в белых на эк-

ране, так огромно было эмоциональное воздействие фильма.

А на фронте можно было видеть, как, готовясь к атаке, бойцы передают друг другу после затяжки сигарету. Когда им предложили пачку — отказались и объяснили, что сигареты у них есть:

— Ведь так было у вас, когда вы делали революцию, — и недоумение рассеялось. Стало ясно, что бойцы смотрели фильм «Мы из Кронштадта».

Триумф фильма, пожалуй, не очень удивил Вишневского. В общем-то он его ждал, и сознание победы пришло к нему спокойно — без «опьянения», без головокружения. Однако удача заставила еще и еще раз докапываться до ее истоков: «Чем больше думаю, тем больше постигаю великую неисчерпаемость темы народа...» А затем с еще большей определенностью добавляет: «...Ни на секунду не забывай об общечеловеческом... Оно в «Кронштадте» было понято и в Москве, и в Мадриде, и в Нью-Йорке, и в Шанхае... Почему? Потому что были эпические страсти, события, борьба народов, их сынов, простых людей за свою честь, свободу, идеи. Это — в эпоху войн и революций — и есть *общечеловеческая тема».*

«Мы из Кронштадта» — этапное произведение и для советского кинематографа, и для самого Всеволода Вишневского. Отныне он вошел в историю кино как достойный представитель эпически-монументального жанра, по-своему развивающий традиции Эйзенштейна и Довженко.

Весной 1936 года Вс. Вишневскому и Е. Дзигану вместе с Р. Есиповой и С. Вишневецкой была предоставлена трехмесячная командировка в Европу. Первый просмотр «Мы из Кронштадта» состоялся в Праге. В зале находились друзья и враги, и это проявилось в реакции зрителей: овации, молчание, выкрики, шиканье, демонстративный уход одиночек. Раз десять взрывались аплодисменты, хотя здесь они не в моде.

Затем — Вена, Париж, Лондон, Рим, Варшава...

В Париже накануне премьеры не обошлось без конфликта с властями. Министр внутренних дел господин Сарро, посмотрев фильм, потребовал, чтобы кинокадры с пением «Интернационала» были вырезаны. Вишнев-

ский ответил: национальный гимн СССР неприкосновенен. Тогда разрешение было дано, но с припиской — в случае, если в кинотеатрах возникнут инциденты, вопрос будет пересмотрен.

Перед началом сеанса в кинотеатре «Marivеаu» (там, кстати, специально для показа «Мы из Кронштадта» переоборудован экран — в момент атаки он становится шире) к Всеволоду снова подходят двое из департамента: «Мсье Вишневски... Во избежание эксцессов кое-какие выражения не могли бы вы изъять из фильма?» И конечно же, получают решительный отказ — даже в Нью-Йорке фильм идет полностью, без купюр...

Он волновался, словно перед боем, находясь лицом к лицу с врагом: ведь в зале в основном состоятельная и чиновная публика. Его просят сказать несколько слов: общество желает видеть «господина Вишневского». «Я знаю, — напишет он впоследствии в путевых дневниках, опубликованных в журнале «Знамя», — если я начну говорить, то сейчас, сию же минуту, я скажу многим в этой публике то, что говорилось на демонстрации (бастующих рабочих. — *В. Х.)*. Я любезно отклоняю предложение: «Говорить будет фильм». Улыбка очарования. Я отвечаю еще более очаровательно...»

А на следующий день «Пари суар» отметит, что публика «сидела почти в религиозной тишине». Сдержанность парижского света почти час боролась с идеями, духом фильма. И, наконец, прорвало — зал разразился овацией, возгласами: «Exclusive! Formidable!» [1]

Вишневский достойно и независимо, с чувством гордости за свою страну представляет ее новое искусство. Нередко в отношении к нему и его товарищам, помимо всегда присутствующего прямо или скрытого уважения, проскальзывали ноты заигрывания, особенно это ощущалось после просмотра кинокартины.

Во время пребывания в Париже Вишневский подолгу беседует с главным редактором газеты «Юманите», депутатом от коммунистической партии в парламенте Полем Вайян-Кутюрье, по приглашению Пабло Пикассо приходит в его мастерскую, знакомится с последними работами художника. Совершенно неожиданно для

---

[1] Исключительно! Грандиозно! *(Франц.)*

себя Вишневский узнал, что его просит зайти некоронованный король литературного авангарда Джеймс Джойс. Больной, почти ослепший человек, он, как тут же выясняется из разговора, ничего не знает о Советском Союзе. А то, что ему известно, почерпнуто из арсенала «желтой» прессы.

Полувыключенный из жизни писатель тем не менее не хочет оставаться в стороне от важных событий: он слышал о фильме «Мы из Кронштадта» и хотел бы его посмотреть: «Если сяду в первом ряду — увижу...»

Характерно, что в путевых заметках Вишневского не осталось и следа от былого увлечения творчеством Джойса. Просто одна из встреч в ряду других, и все они дают острое ощущение, что значат Москва, Советский Союз для Европы, для мира.

В Париже Вишневский видел многотысячные демонстрации рабочих, майские митинги на площади Бастилии, у стены Пер-Лашез, на месте расстрела бойцов Коммуны. В Марселе — огромный бастующий порт, красные флаги на судах, набережной и темные пятна крови на асфальте — фашиствующие молодчики убили рабочего, распространявшего коммунистические газеты. Прощаясь с Францией, Всеволод записал: «Война — ее следы, ее дыхание в Европе — повсеместны. Денно и нощно ее образы, слова, воспоминания преследуют людей». Это — о первой мировой.

Но не менее ощутимо предчувствие новых кровавых столкновений. В Париже, в день 1 Мая на экранах показывали гитлеровские парады, а на бульварах продавали фиалки и ландыши. Люди хотят мира, покоя, труда, благополучия. Вишневский тут же фиксирует: военной машине фашизма противопоставлять ландыши смешно. И огромные европейские массы с их тягой на берег речки, к удочкам, цветам представляются ему как несчастное, трагическое сборище...

А на Родине «Мы из Кронштадта» смотрели целыми коллективами. Тревогу авторов фильма зрители поняли и разделили.

Во всю свою огромную идейно-художественную силу кинофильм звучал и в годы Великой Отечественной войны: его смотрели на фронте и в тылу, черпая нравствен-

ную поддержку и вдохновение, зримо ощущая преемственность и неразрывную связь поколений.

Государственное издательство политической литературы в самые трудные дни сорок второго года, сочло необходимым выпустить отдельным изданием литературный сценарий «Мы из Кронштадта» — с полной убежденностью, что он будет воевать. Книгу предваряли проникновенные строки Николая Тихонова, который писал о подвигах бойцов, принявших эстафету революционного мужества:

«Мир увидел, как цепи кронштадтских моряков, скинув бушлаты, в полосатых тельняшках, с гранатами в руках и у пояса — другого оружия они не взяли с собой — шли в атаку под огнем автоматов и пулеметов. И враг дрогнул, не выдержав этого молчаливого удара...

Над Кронштадтом закурчавились дымки зенитных разрывов. День и ночь набрасывались немецкие самолеты на Кронштадт, и железный город отбивал все их атаки. Новый Артем спрашивал, смотря на залив, в воде которого догорал стервятник с черными крестами на боках:

— А ну, кто еще хочет в Ленинград?

Прекрасный фильм «Мы из Кронштадта» был продолжен самой жизнью».

8

Идея одного из самых крупных, однако до сей поры по достоинству не оцененных произведений Всеволода Вишневского родилась декабрьским вечером 1935 года и в дневниковой записи сформулирована так: «Мысли о сценарии «Россия», — окруженная, бьется (18—19-е годы). Именно — Россия!» В этом замысле получил свое дальнейшее развитие основной идейно-художественный принцип писателя: народ — главная движущая сила истории. «Я считаю, — говорил он, — что в фильмах надо ставить основную большую проблематику: проблематику народа, его судьбы, его возможностей, его духа. Почему это необходимо? Не только потому, что у нас по-новому возродилась тема Отечества, Родины, тема становления нашей мощи, но и потому, что с начала 1933 года укрепляется наш главный противник: перед нами — германский фашизм».

Весь 1936 год ушел у него на обдумывание новой вещи. И во время завершения работы над «Мы из Кронштадта», и в зарубежной поездке вынашивал он свое произведение (что это будет — сценарий или пьеса, он еще не знал). Ясно было, о чем оно: о русском народе, о лучших чертах его характера в борьбе за социальное освобождение — о мужестве, отваге, героизме и самопожертвовании, стойкости и выносливости. «Национальная тема — тема глубочайшая... Помню, как до слез перечитывал страницы дневника Достоевского, — какая исступленная любовь к России! Она мучит, вечно тревожит — эта любовь, эта мысль о сущности народа, его пути, его будущем, его назначении. Она огромна, эта тема, и замечательно сплетается с темой интернационализма», — читаем мы в путевых заметках писателя «На Дальнем Востоке». «Мы, русский народ» — неистовый разряд, более мощный, чем прежние», — говорил он осенью 1937 года, сразу же после возвращения из Испании.

Вишневский занят обдумыванием нового произведения, но это вовсе не значит, что он ведет кабинетную жизнь затворника. Как всегда, много дней проводит на колесах, в пути, ведет большую общественную работу по линии Союза писателей, не снимает с себя редакционных нагрузок в «Знамени».

Вишневского неотступно преследует ощущение близящейся войны: вот-вот обрушится она, и жизнь пойдет иначе. *«Потрясающего напряжения будет война,* — выделяет в дневнике эти слова Всеволод. — Тяжелые жертвы. Первая мировая война — 10 миллионов убитых. — Эта возьмет 30—50!» *(Ночь на 7 ноября 1936 года).*

Он слушает по радиоприемнику речь Гитлера перед молодыми солдатами, она, в сущности, звучит как объявление войны Советскому Союзу.

«Я — вождь! — в припадке беснуется фюрер. — Закрыв глаза, бросимся в пучину войны! Я поведу вас! В России 20—30 миллионов безработных, голод... Мы, немцы, призваны дать русским культуру...»

Маньяк... Ничего другого не скажешь.

В эти годы Вишневский немало делает для подготовки коллег-литераторов к грядущим боям. Осенью 1936 года он возглавил бригаду писателей на маневрах частей Московского военного округа. Эта обязанность была ему по душе, и по прибытии в район учебы он ввел в своем «подразделении» обычную воинскую дис-

циплину: рабочий день, как и у красноармейцев, начинался в шесть утра. После зарядки Александр Исбах обязан был с картой в руках докладывать о дислокации частей, об их предстоящих передвижениях, о теме будущих занятий. По вечерам же «тактический разбор» впечатлений прожитого дня делал сам «командир бригады», как назвали Всеволода Витальевича его товарищи.

Часть писателей он направил к «синим», других — к «красным». В обязанности литераторов входило: всесторонне освещать течение маневров, писать заметки, корреспонденции в центральные газеты, дивизионную многотиражку, боевые листки полков. Вот, подстелив демисезонное пальто и расстегнув неизменно белоснежный воротник, старательно трудится Александр Серафимович. Хотя ему уже семьдесят три года, он ни в чем не отстает от молодых и до щепетильности точно выполняет приказы...

Вскоре Вишневский отправляется в Кронштадт, где проходят учения Балтийского флота. Неделю на линкоре «Марат», как когда-то с М. В. Фрунзе, — теперь рядом с Климентом Ефремовичем Ворошиловым. Вот одна из ежедневных записей о наркоме: «Думал о простоте, о видимой простоте истории: вот люди, обыкновенные люди — простые их слова означают события, готовность к войне и пр. В простоте этой таится многое».

На разборе маневров Ворошилов своим выступлением сразу раздвинул рамки обсуждения, напомнил аудитории о характере современной войны, придирчиво разобрал действия десанта, авиации, торпедных катеров. Нарком был прямолинеен, суров и в то же время ироничен. Чувствовалось, что многое из морской специфики им усвоено. Все это с нескрываемой симпатией отмечает Вишневский в своем блокноте.

На море Всеволод чувствует себя хорошо: с каждым днем становится бодрее, флотская жизнь дает отличный настрой мысли. Шестой день в походе, а мог бы так плавать месяц, два, три — пока есть бумага, чернила, книги... И нет давящих, однообразных городских ощущений.

По-семейному уютна атмосфера вечеров, проведенных на «Марате». Нарком, флотские командиры, матросы усаживались на палубе, и начиналась беседа — о жизни, о текущих политических событиях, о международной обстановке. Иногда беседа переходила в импровизирован-

ный вечер художественной самодеятельности, где каждый мог показать все, на что способен.

Радист А. Лебедев как-то прочел написанное — очевидно под впечатлением фильма — стихотворение «Мы тоже из Кронштадта».

Всеволод растрогался, подошел к моряку и, крепко обняв, расцеловал его. И тут же по просьбе матросов по памяти прочел рассказы «Матросы», «Похороны». Его чтение было встречено овацией. А Ворошилов, вспомнив «Оптимистическую трагедию» в исполнении автора, заметил:

— Замечательно читает... Артисты так не могут... Я слушал три часа — не заметил, как время пролетело...

Пришлось Всеволоду читать и отрывок из пьесы.

В конце 1936 года, в первые месяцы следующего года роман-фильм начал приобретать конкретные очертания. Всеволод не раз откладывал рукопись в сторону, переключаясь на другие дела, хотя думать о романе не прекращал. Как всегда, много читает. Он плачет над книгой Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир», удивляясь тому, как писатель глубинно понял Россию. Вместе с автором капитального труда о войне 1812 года, «пруссаком, умницей» военным историком Клаузевицем, размышляет о стратегии Кутузова, о Бородинском сражении («уступили 1—$1^1/_2$ тысячи шагов, в плане кампании на измор, выматывание — все было сделано верно...»).

Ход раздумий приводит Вишневского к мысли, которая неоднократно повторяется в его дневниках: тяготы, испытания, выпавшие на долю русского народа с первых шагов его истории, огромны. О России надо писать поэму.

В мае 1937 года Всеволод Витальевич неожиданно получил письмо, написанное хотя и слегка изменившимся, но сразу вспомнившимся почерком, и, пробежав его, сделал приписку: «Это мой товарищ по окопам 1915—1917 гг. Двадцать лет о нем не знал, не слышал...» Емельян Козлов выражает автору кинофильма «Мы из Кронштадта» свою благодарность и восхищение коротко и ясно, без малейшего намека на старую дружбу. Только обратный адрес учителя Городецкой школы из Белоруссии, пожалуй, излишне подробен для рядового отклика зрителя.

А через две недели (видимо, Вишневский ответил тут же) Емельян Николаевич Козлов посылает новое письмо: «Не могу описать моей радости. Рад! Бесконечно рад! Хочу видеть тебя (тогда «тебя») в костюме 16—17-х годов и обнять. Благодарю все, что сберегло Вашу дорогую, полезную жизнь!..»

Картина «Мы из Кронштадта» помогла встретиться, хотя бы заочно, со многими милыми его сердцу людьми, с которыми жизнь разлучила давным-давно. Так объявился Семен Кабанов, в свое время по-отцовски поддержавший пятнадцатилетнего солдата-добровольца и крестьянской, народной мудростью на многое открывший ему глаза. Прошли годы, но Кабанов сохранил свой торжественно-витиеватый слог: «Достопочтенный товарищ и искренний старый друг Всеволод Витальевич! Привет Вам от старого друга, если я не ошибаюсь. Пользовавшись слухом печатного слова, что Вы состоите в ряде русских писателей, я откровенно сознаюсь, что Вы — мой друг и соратник в подвигах и походах Германской войны с 1914—1917 годов...» Позже, говоря о прототипах «Мы, русский народ», Вишневский назовет имя своего друга, он фигурирует в сценарии то как Ермолай, то как Чертомлык.

Все это пробуждало воспоминания окопной жизни и помогало вызревать новому произведению. 10 апреля 1937 года Всеволод завершил правку «поэмы» (так он называет рукопись в дневнике). Назавтра же читкой перед небольшой аудиторией (присутствовали, в частности, С. Эйзенштейн, Н. Охлопков, Г. Рошаль, В. Строева, С. Вишневецкая) «поэма» заявила о своем появлении на свет. Автор волновался, но читал с подъемом и, как водится, находил новые детали в игре и в поведении персонажей. После окончания чтения — поздравления, восторженные возгласы.

Охлопков:

— Ты понимаешь, что ты написал? Это же здорово, замечательно...

Эйзенштейн:

— Огромный рост после «Мы из Кронштадта». Не шаг, а целая дистанция. Монументально! Доказано, что можно вот такие вещи делать: без обычных построений... Дана эпоха.. Да, это Россия. Название оправдано... Это подлинно народная драма, это выше «Чапаева» и «Кронштадта» намного...

И сам Вишневский спокойно, удовлетворенно помечает в дневнике: «Я вижу, что впечатление сильное». Мысли его забегают вперед: что дальше? Кто поставит? Как? Еще не раз возвратится он к тексту, в частности, ярче выпишет линию Ленина, партии большевиков, проследит их роль и влияние буквально в каждом эпизоде.

Но в основном вещь готова, и Вишневский, отдавая ее в печать, определяет жанр: роман-фильм.

«Мы, русский народ» опубликован в ноябрьской книжке «Знамени» за 1937 год, в журнале «Интернациональная литература» (на английском и французском языках). Отдельной книгой вышел в Чехословакии в переводе Юлиуса Фучика. Роман-фильм прочитал Ромен Роллан и не замедлил поделиться своими впечатлениями в письме в редакцию «Интернациональной литературы». «Я с радостью отметил, — пишет он, — ...новый тон в современной советской литературе — тон радостного героизма, непобедимого оптимизма. Это искусство еще несколько молодое, еще немного незрелое, не без некоторой угловатости. Но ценность его в радостном порыве мужественной молодости».

В 1938 году «Мы, русский народ» выпущен отдельной книгой массовым (почти полмиллиона экземпляров!) тиражом в «Роман-газете» и в Гослитиздате, причем книга разошлась мгновенно. Видимо, уже в названии читатель почувствовал, что речь идет о самых актуальных и самых главных проблемах времени, о народе и конкретном человеке, о необходимости внутренней мобилизации духовных сил для отпора агрессору.

...Обычный пехотный полк, один из множества, которое, собственно, и называется старой русской армией. Взят период на изломе — с января 1917-го по февраль 1918 года, когда империалистическая война перерастала в гражданскую и армия вследствие классовой дифференциации переживала процесс расслоения, внутренних столкновений и борьбы. Последние бои с немецкими войсками на третьем году войны, когда из 16 миллионов, призванных на службу, треть уже погибла. Не хватает оружия, боеприпасов, а солдат гонят в атаку, на несколько рядов колючей проволоки. Так ведь было и в жизни самого Вишневского — в наступлении под Стоходом.

Писатель дает объемный портрет полка, его историю, трагедию, поиски верного пути, типы людей — предста-

вителей народных низов и их врагов. Действие за действием разворачиваются события 1917 года: первые битвы за РСФСР, первые бои с немецкими оккупантами, рождение новых полков — Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Намечая личные линии героев, драматург напряженно обдумывает форму. Сквозь всю вещь он ведет тему стремления к миру, к труду как вековой порыв народа, как искание правды.

Роман продолжал патриотические традиции русской литературы — от «Слова о полку Игореве», «Задонщины», былин о русских богатырях, и потому писатель с самого начала сознательно встал на путь создания эпических образов-символов. Так, испытанный большевик Яков Орел — воплощение народной силы и мощи, в его поступках персонифицируется героика масс. Вместе с тем в новом произведении Вишневский гораздо полнее использует достижения «психологической» прозы и кино.

Писатель внимателен к работам коллег, он искренне радуется успеху других: «Вчера видел «Депутат Балтики»; светло, чисто, прекрасно сделан фильм!» — записывает в дневнике. И тут же: «Ищу свой ход...»

Роман спорит и с идеологическими противниками. «Острейшая полемика с врагами, — пишет драматург Дзигану, — по вопросам истории России, истории революции... Фильм этот ударит по теориям об «обломовцах», по троцкистско-бухаринцам и пр.». Автор рисует целую галерею конкретных героев (первого плана — тех самых, против которых он в свое время так яростно выступал в литературных дискуссиях). Среди них — образ солдата-правдоискателя Ермолая (он близок и Сысоеву из «Первой Конной», и Ивану Шадрину из погодинского сценария «Человек с ружьем», написанного примерно в это же время), в котором воплощены характерные черты русского крестьянства, его думы и чаяния, стремление к свободе, счастливой жизни. «Да, господи, боже мой, — с болью и надеждой восклицает Ермолай, — неужели же не найдется такой человек, который бы правду сказал, который бы к совести воззвал, который народу бы путь указал?..»

И отношение простых людей к вождю революции дано в основном через Ермолая. В сцене его допроса есть такая любопытная деталь.

«— А вот слышал я, — отвечает поручику Ермо-

лай, — говорят, сам Степан из могилы встал Ленину помогать.

— Какой Степан?

— Разин Степан.

— Ты спятил, старик. Из могилы люди не встают, а вот ты и твои приятели в могилу лечь можете.

Старик вздохнул:

— Вечная память будет... Ленин и верные товарищи его уже сколько лет идут на муку и на раны...»

В этом эпизоде налицо перекличка с Шолоховым, который также использовал народную легенду о В. И. Ленине. Во второй части «Тихого Дона» казак Чикмасов говорит Бунчуку: «Нет, Митрич, ты не спорий со мной: Ильич-то — казак... Чего уж там тень наводить! В Симбирской губернии таких и на кореню не бывает».

Удались автору и другие образы — весельчака, удалого парня Алешки Медведева, в котором есть что-то от русской вольницы; бывшего одесского биндюжника Соломона Боера, по-своему приходящего к правде, которую несет партия большевиков; полковника Бутурлина — серьезного, умного, выдержанного, умеющего владеть собой противника; штабс-капитана Головачева — представителя лучшей части русской интеллигенции, переходящей на сторону революции. Каждый из этих персонажей в чем-то полемизировал с общепринятым в литературе тех лет либо с тем, что возносилось в качестве образца, порой и неоправданно, критикой. Вишневский шел на полемику сознательно, об этом свидетельствует его разъяснение читательнице Вере Скребиной из Тамбова относительно прототипов романа: «В ответ на галерею типов купцов, коммерсантов и пр., в ответ на Остапа Бендера и Беню Крика (бабелевского) я дал образ еврея-героя, еврея-большевика».

Все персонажи сценария гораздо теснее, нежели в «Мы из Кронштадта», увязаны сюжетно — взаимоотношениями между собой, хотя и здесь в основе построения — события самой истории революционной борьбы.

После неудачной атаки, когда «лаптем немца побить не удалось», и возвращения полка на исходные позиции, Орла берут под стражу. В бою, видя бессмысленную гибель безоружных солдат, он в сердцах бросил: «Армия царя идиотского...» — а фельдфебель донес. Военно-полевой суд скор на расправу, но привести приговор в исполнение не удалось: стихийное выступление солдат, сов-

павшее с получением известия о Февральской революции в Петрограде, и героическое поведение самого Орла спасли ему жизнь. Затем — эпизоды создания комитетов в полку, празднования Первого мая, а также спровоцированного полковником Бутурлиным погрома винокуренного завода. В результате Орел и его единомышленники арестованы. Их мужественное, стойкое поведение в тюрьме, бегство, возвращение в полк и борьба за его судьбу, за то, чтобы не допустить захвата немецкими оккупантами родной земли, составляют содержание следующих эпизодов романа.

Солдаты поверили в то, что настал мир и можно идти домой — к женам, детям, к земле. Но оказывается, бросать винтовки рано: положение на фронте осложнилось, как говорит Орел полковнику, случилось «большое несчастье»:

«— Человек, посланный нами в Брест, изменил.

— Что?

— Отказался выполнить указания правительства... Он предательски заявил: «Ни мир, ни война» — и все бросил.

Полковник спросил:

— Кто этот человек?

— Троцкий.

Полковник думал свое: «Так, так...»

— Значит, если он так сделал, немцы начнут наступать?..»

Произошла трагедия: полк, покинувший позиции, был обезоружен кайзеровскими войсками и расстрелян. Но на место погибших держать рубежи Отчизны встали крестьяне с винтовками, дробовиками, самопалами, с топорами, косами, вилами. Преграждая путь немцам, жители ближней деревни открыли плотину, и холодная весенняя вода затопила все вокруг. Враг остановлен, а с приходом подкрепления — питерских рабочих — разбит. Вишневский дает картину всенародной войны: «Немцы были опрокинуты. Их гнали к селению. Они пытались задержаться в канавах, у заборов. Петроградцы перемахивали через канавы. Целыми отделениями и взводами опрокидывали заборы и сшибали ворота. Кипело все селение. Люди выбивали оттуда немцев. Женщины выплескивали на них кипяток. Псы срывались с цепей и кидались на преследуемых. Стоял грохот и дым. Петроградцы ползли по крышам, швыряя гранаты...»

Финальная картина удивительна своей выразительностью и монументальностью, огромной силой обобщения. Вышибая захватчиков с родной земли, шла тяжелым шагом своим русская пехота, в крови и истории своей хранившая битвы и победы на Неве и Чудском озере, победу Куликова поля, битвы в Ливонии, на Волге и на Днепре, битвы Урала и Сибири; пехота, хранившая в памяти победы Петра — Лесную, Гангут и Полтаву, суворовский Измаил и Требию; пехота, дважды бравшая Берлин, знавшая Бородино и Севастополь... «Шла пехота народа, который веками мятежно гремел, добывая себе и другим свободу и не отрекаясь от нее ни на плахе, ни на костре. Шли праправнуки Степана Разина и Пугачева, шли потомки декабристов, шли братья Коммуны, шли люди, которые в огромной истории своей пережили и поражения, для того чтобы больше их не знать. Шел здоровый народ, народ-страстотерпец, народ-победитель, великий и гениальный».

9

Солнце залило Москву, и Тверской бульвар, как ни странно, давал иллюзию простора в тесном городе, к которому Всеволод все еще привыкал. Здесь, на бульваре, он замечал и небо, и плывущие по нему белые, едва различимые облака, и пышно распустившуюся зелень, и мчащие по асфальту машины.

Он устало опустился на скамейку. Сегодня был у врача: давление подскочило за отметку 150. «В вашем возрасте, молодой человек, — осуждающе покачал головой профессор, — нужен режим, движение — не меньше двух часов в день ходить. И самое главное — спокойствие». Держа в руках свежий номер «Красной нови», Вишневский с горькой иронией подумал: «Вот именно, спокойствие...»

Больше всего возмущала, переворачивала душу несправедливость. Теперь, когда пройден, прямо скажем, значительный путь в литературе и есть уже трезвость самоанализа, строгость оценок, он просто не мог так грубо, жестоко ошибиться — дать в печать сырое произведение.

Вчера просматривал архив и на одном из листков, среди черновых набросков повести «Быль», относящихся

к июню 1917 года, встретил такую запись: «После Васькиной критики пришлось переделать! Всев. Вишневский». Чутко реагировал на критические замечания одного из дружков-солдат начинающий автор. Но ведь и «Васькина критика» не переходила рамок дозволенного в товарищеских отношениях. А здесь — его творчество зачеркнуто целиком...

Всеволод смотрел на прохожих, и ему вдруг подумалось, что Тверской бульвар с его «литературными» и «театральными» зданиями близок ему. Здесь он впервые читал «Первую Конную», и здесь же «распинали» его после премьеры «Последнего решительного», здесь слушал он блестящие по форме доклады Андрея Белого, здесь рапповцы и налитпостовцы не раз наносили ему удары. А ныне вот в «Красной нови» А. Гурвич: «Мультипликационный эпос» — так называется его статья о романе-фильме. Целых двадцать страниц разноса, ничего себе!..

Ну что же, не он один подвергается нападкам. Вот ведь и поэму Маяковского «Хорошо» сразу после выхода в свет какой-то критик назвал «картонной»... А «Как закалялась сталь» Островского с его потрясающе искренней простотой и грубоватой правдой жизни? Смертельно больной писатель вынужден был дать телеграмму в редакцию «Литературной газеты»: «Прочел вульгарную статью Дайреджиева. Болен, однако отвечу ударом сабли...»

Может, и ему, Вишневскому, как в былые годы, публично дать отпор?

Нет, теперь он не будет тратить на это силы и нервы. Несправедливость упреков критика слишком очевидна. Отвечать надо только творчеством — даже если выбросят сценарий «Мы, русский народ» из планов киностудии.

Как могло статься, что новое, бесспорно талантливое произведение одного из ведущих драматургов страны, автора фильма, триумфально идущего на экранах страны и всего мира, так быстро, прямо-таки молниеносно «зарублено»?

Первым подал голос В. Перцов статьей «Эпос и характер» («Литературная газета», 1938, 30 января). Критик, хорошо знающий творчество писателя, на сей раз неизвестно по какой причине абстрагировался от своеобразия его художественной манеры, стиля. Рассуждения Перцова прямо-таки удивительны, их скорее можно было

бы отнести к высказываниям теоретического плана раннего Вишневского, но никак не к роману-фильму. Драматургу свойствен, по мнению автора статьи, «валовой, оптовый подход к своим героям», он не умеет расслышать «поступь человеческих коллективов в шаге человеческой судьбы». В «Мы, русский народ» Вишневский выступил не как реалист, а как космист (читай — романтик. — *В. Х.)*. Кстати, критика раздражает и само название романа. Вот, к примеру, Дм. Фурманов и братья Васильевы — они-то скромно назвали свои произведения именем одного человека, и в этом (?!) и проявилось их внимание к индивидуальной судьбе. (Ну а как же тогда получился блестящий фильм, названный «Мы из Кронштадта», а не, скажем, «Артем Балашов»?)

Странно и то, как столь опытный критик мог не понять образа Якова Орла — он-де «не человек, не характер, а отвлеченный тезис, декламационный выкрик или барельеф в отрицательном значении этого слова». Орел статичен, не дан в развитии, а где это видано, «чтобы большевистский руководитель не нуждался в учебе, не вырастал на работе, чтобы действительность не поправляла и не формировала его?».

Что тут скажешь? Последняя фраза — беспримесная дань конъюнктуре. На все иные вопросы, упреки и недоумения четкий, всесторонний ответ дает сам текст романа. если, конечно, читать его внимательно и непредвзято.

Да, Вишневский создал образ человека, сформировавшегося на протяжении многих лет подпольной революционной борьбы, закалившегося в тюрьмах и ссылках. Орел и в самом деле мало меняется, но это обосновано авторским замыслом. Именно на примере Орла писатель испытывает «пределы человеческих взлетов и падений, пределы человеческой выносливости»: сильный, могучий человек, солдат и он же — веселый, хитрый, находчивый «солдат Яшка, медная пряжка». И вместе с тем он — живой человек, богатый душевно, честный, отзывчивый, ищущий, ошибающийся. Высокий героизм и мягкий юмор — в лучших традициях народного эпоса решен этот образ.

Когда обескровленный полк откатывался назад, не кто другой, а Орел бросился под разрывы снарядов и пулеметный огонь, чтобы вынести раненого солдата Вятского. А когда тот в порыве благодарности за спасение

предлагает Орлу заменить его собою и тем самым дать шанс уйти от военно-полевого суда, большевик просто и решительно отвечает:

— Нет, друг, что ж, я на тебя, безвинного, свою смерть сброшу...

Когда солдаты, уставшие ждать мира, решили послать делегацию для переговоров с немцами — «чтобы в глаза друг другу поглядеть — и разойтись по домам», — Орел отговаривал их от этого неверного шага, но не смог отговорить. И тогда решил отправиться вместе с делегатами. Противник встретил парламентеров огнем, два человека погибли, остальные вынуждены возвратиться... Конечно же, это была ошибка, и ответственность за нее пала на Орла. Иван Чортомлык закричал:

— Власть вам дали, а вы управиться не можете?..

Совершенно справедливо, что для романа в «Мы, русский народ» слишком мало описаний, психологических характеристик, мотивировок тех или иных ситуаций или поступков. Некоторые фразы, если их воспринимать как чистую прозу — прямо-таки находка для недоброжелательной критики Например, следующая портретная характеристика Орла: «Папаха была чуть сдвинута на правую бровь, а лицо его, *как вечный лик русского пехотинца,* было просто (курсив мой. — *В. Х.*)». Перцов тут же с укоризной замечает: «В том-то и беда, что Яков Орел не лицо, а лик». Ну а если все-таки помнить, что перед нами не только (и не столько!) роман, сколько сценарий и читать выделенное курсивом место глазами режиссера — как указание на типаж?!

Новое произведение Вишневского сложилось как жанр, родившийся на стыке двух муз — литературы и кино. В. Перцов и его коллеги в гораздо большей степени, чем того требовала справедливость, игнорировали вторую часть авторского определения жанра — фильм. Если бы они заглянули в текст сценария «Мы из Кронштадта», то «выловили» бы множество мест, рассчитанных непосредственно на кинематографическое прочтение (например: *«Залпы сотрясают материк.* На воздух взлетают целые строения, взводы и бронемашины») и аналогичных тем, которые они считают неправдоподобными в романе-фильме: «Одинокие, затерянные среди *лесов* и *полей,* стояли три товарища», «Свет начинал заливать *всю Россию»* и т. п.

Конечно, главным образом для кино, для тех, кто бу-

дет ставить фильм, дана и такая развернутая поэтическая сцена, которую надобно воспринимать как метафору.

...Взят Зимний. Октябрьская революция свершилась. «Орел подошел к окну и сказал дрогнувшим голосом в ночной простор, туда, где был полк, где были люди:

— Товарищи, вернулся Ленин... Советами взята власть... Да здравствует народная власть! Да здравствует наш товарищ Владимир Ленин!

За окном во тьме раздалось «ура!». Оно шло из самой глубины сердца. Люди срывали с себя шапки. «Ура» перекидывалось, и рос такой громовый клич, которого еще никто никогда не слышал. Это за все тысячелетия, за все свои боли и обиды, за все поражения и оскорбления, за всех своих замученных, утопленных, повешенных, сожженных, четвертованных и колесованных, за умерших в голоде и в кандалах, за все свои надежды, за все свои глухие ночные слезы, за свое великое терпение, за свою ни с чем не сравнимую стойкость, за себя, за Россию, за русский народ — гремел «ура» сам русский народ. Тысячи солдат с оружием шли, бежали к штабу. Осенний сырой ветер развертывал новые знамена, бедные, своими руками сделанные. «Ура» гремело и ширилось минуту, другую, третью, четвертую...»

А критику А. Гурвичу эта сцена сказала только то, что «голосок у народа зычный»...

Справедливости ради надо отметить: В. Перцов нашел в новом сценарии Вишневского и положительное (то, что вмещалось в его, критика, понимание «писателя-реалиста», то есть было лишено романтической приподнятости, патетики). В частности, ему понравился образ Вятского — забитого, робкого солдата, в котором просыпается несбыточное честолюбие, и в результате он становится предателем (вот здесь есть «индивидуальная судьба»!), а также ряд «острых, сильных, смелых» сцен, прежде всего эпизод с передачей Петровского знамени полку, выступавшему на защиту Отечества. И заканчивалась статья довольно оптимистически: известно, мол, что Вишневский участвует в работе над картиной, а значит, улучшит сценарий.

Со многим Всеволод не мог согласиться, и желание объяснить, доказать свою правоту подтолкнуло его в тот же день написать критику ответ, в котором он ведет речь о сплаве романтического и реалистического начал, а также дает развернутый, всесторонне аргументирован-

ный разбор специфики своего творчества и последнего произведения как части целого. Письмо помогает понять, почему на последующие критические выступления он отвечать не стал.

«Касательно космизма... — пишет Вишневский, — Вам он кажется наивным и т. п. Мы шли в бой, зная, что наступят глубочайшие перемены отношений, вкусов, критериев. За это и стоило биться: за глубочайшие изменения порядков, нравов, психики, за смелейшее расширение сферы мышления. Все это легло в основание нашей молодости, за все за это отдана кровь. И ничьи критические замечания, никакие зигзаги литературной жизни не заставят отказаться от добытого... У каждого свое эстетическое восприятие мира. Мои работы дают известный результат... Как всегда, помимо критических замечаний и прочего, критика расписывается уже «потом» в том или ином успехе и пр. Я работаю в непрерывной полемике и борьбе.

Жаль, что Вы не рассмотрели строения «Мы, русский народ». Это строение испробовано отчасти и в «Первой Конной», и в «Оптимистической трагедии», и в «Мы из Кронштадта». Центральная фигура давалась на несколько романтизированном отвлечении... Может быть, это отзвук первых восприятий, пришедших в 1917 году, — комиссаров, коммунистов, с их собранностью, аскезой, горячим идеализмом, упорством и убеждением: все сделаем...

Это моя жизнь, моя правда — и ничто и никто тут мне не учитель. Жизнь показала мне, что правда есть правда. Мадрид и Москва показали мне, что не пропало ни одно слово ни у старшин хора, ни у комиссара, ни у одного из бойцов (в «Оптимистической трагедии». — *В. Х.)*...

Жизнь!! Это трудно рассказать, когда кругом скопище далеких, угрюмых (а порой проживших жизнь совсем не так, как ты или твои братья, двинувшиеся сейчас на страницы) критиков и теоретиков...

Я возвращаюсь к непосредственной теме. Вы не заметили, что в «Мы, русский народ» дано больше, чем в других моих работах, людей из массы, написанных просто. Тут через них быт, «реализм» и соединяются с мечтой, с абстракцией, с идеей... Алешка, Боер, Ермолай, штабс-капитан, знаменщик и прочие и прочие — вся живая масса полка — все это живет, бьется, ищет, умирает, воскресает...»

Спустя почти два месяца в дневнике Вишневского появляется скупая запись, точно и емко запечатлевшая суть и характер случившегося: *«20 марта «Литературная газета» начала проработку «Мы, русский народ»*[1]. Удар нанесен обдуманно, злобно и неожиданно... В развитие статьи В. Перцова... Я чувствую, что кто-то сводит счеты, бьет из-за угла».

И тут же Всеволод философски добавляет: «Стою на ногах твердо, размышляю, наблюдаю эти литературные нравы...» Всерьез комментировать, спорить с подобного рода выступлениями он не счел нужным. Да и что ответить, если на огромной площади (статья заняла два подвала в газете) критик обвиняет писателя во всех смертных грехах: он-де не умеет искать романтику в реальной жизни, приукрашивает историю, прибегая к напыщенной риторике и ложной патетике. К. Малахов упрекает Вишневского в нарушении исторической правды, в том, что он неверно изображает настроения солдатской массы.

Автору статьи явно не нравится, что роман-фильм «задуман как гигантская эпопея гениального народа», что «полк ведет себя стихийно и стадно» (при этом критик игнорирует тему организующего влияния Орла и других большевиков). Вульгарно-социологическим схематизмом пропитаны и остальные замечания К. Малахова. Способ его критики прост: дается цитата из И. В. Сталина о своеобразии исторического периода 1917 года и к ней подверстывается соответствующая (с его точки зрения не отвечающая мысли вождя!) сцена из «Мы, русский народ».

И приговор вынесен... Всеволод Витальевич, правда, через несколько дней на обсуждении сценария «Мы, русский народ» в клубе Государственного института кинематографии, говоря о своем произведении, лишь мельком упомянет статью К. Малахова («Я абсолютно отметаю выступление «Литературной газеты», потому что это попытки политически дискредитировать и на ходу сломать работу, которая нужна»). И посетует: почти год потерян для работы над фильмом, подготовку которого просто необходимо форсировать. «Фильм должен выйти на экраны и устремить свой удар прямо по Берлину — по Гитлеру: вот как мы били и будем бить противника!» — эти

---

[1] Опубликована статья К. Малахова «Замысел и выполнение».

слова были встречены аплодисментами: присутствующие понимали, принимали близко к сердцу мысли и чувства оратора.

Зато, когда Вишневский выступал в других аудиториях — перед своими братьями-литераторами либо перед кинематографистами, иной раз в ответ — перемигиванье, ехидный шепоток: «Опять? Значит, Карфаген надо разрушить?..» Его оппонентам, завистникам или просто недалеким людям «ужасно» надоели речи Вишневского, смысл которых сводился к одному: надо готовиться к защите Родины с оружием в руках.

Работая над романом-фильмом «Мы, русский народ», Вишневский был уже опытным мастером кинематографа: три года напряженного труда над «Мы из Кронштадта» явились для него превосходным университетом — он хорошо освоил специфику, суть производственного процесса. Он по-настоящему влюбился в молодое, прекрасное, могучее, притягательное киноискусство и с уверенностью смотрел в будущее: накопленные знания и опыт должны принести свои плоды.

Увы, этому не суждено было свершиться.

Окончательным «зубодробильным», «нокаутирующим» ударом, или, как скаламбурил Александр Макаров, решительным боем неугомонному автору «Последнего решительного», явилась «зверская проработка в «Красной нови». А. Гурвич буквально повторил многие тезисы малаховской статьи, только гораздо ужесточив формулировки, сделав их грубее и обиднее для автора. Критик совершенно игнорирует при оценке романа-фильма главные эстетические критерии: во-первых, что это произведение эпически-монументального, романтического жанра, а во-вторых, что оно — исходный материал для кинофильма, адресованный и режиссеру и актеру. Наверное, небезынтересно привести образчики того «убойного стиля», которым в совершенстве владеет критик.

«Сокровенный мир человеческой души из романа-фильма Вишневского попросту выключен, и потому *люди предстают перед нами чрезвычайно наивными, примитивными, грубыми, бездумными. А ведь они призваны представлять нас, русский народ!* (курсив мой. — *В. Х.*)», — возмущается А. Гурвич.

Особую неприязнь у него вызывает главный герой романа — фронтовик, вожак масс, большевик. Критик не стесняется в выражениях, не гнушается ничем, чтобы со-

крушить и образ художественного произведения, и автора, его создавшего: «Человек этот ничего общего с явлением природы не имеет. Его произвела на свет не женщина, а кустарная мастерская доктора Копелиуса. Сделанная из непромокаемых и несгораемых тряпок марионетка (в другом месте Ванька-Встанька. — *В. Х.*) эта имеет огромное преимущество перед живыми людьми: она не подвержена никаким воздействиям, ни физическим, ни духовным. Вы можете ее оскорблять, бить, можете прострочить ее пулями и даже засыпать могильной землей — все равно автор дернет за нитку, и марионетка снова подымется на должную высоту...»

«В романе-фильме Вишневского нет человеческого содержания, нет того, что заставляет нас относить произведения искусства к области духовной культуры...»

Полно! Позвольте, да кто такой, собственно говоря, этот Вишневский?! Так, видимо, должен воскликнуть читатель, проглотив все эти критические пассажи. Именно эту цель преследовали гурвичи и малаховы: преградить путь новому произведению, остановить развитие видного художника — ведь удар был рассчитан точно (это Вишневский сразу понял) —по своеобразию его таланта и по его мировоззрению. Не случайно в последующем на страницах «Литературной газеты» и «Красной нови» в адрес писателя прозвучало: «квасной патриотизм».

Реагировал на эту критику Вишневский и болезненно, и как-то устало, апатично. Наверное, это было вызвано тем, что совершенно неожиданно для него никто не встал на защиту его романа. В литературных кругах статью Гурвича между собой, в кулуарах осуждали все. «Открыто выступать у нас не мастаки», — с горечью записывает Всеволод в дневнике 20 июня 1938 года.

Высоко оценил сценарий С. М. Эйзенштейн, судивший его по законам экранного искусства, а не только литературы.

«Что пленяет в этом произведении? Здесь цельность и монолитность коллектива, плотного, как единый организм, неразрывны с галереей монументальных эпических образов и фигур. Они корнями уходят в коллектив и растут из него разветвлением, раскрывая чувства и мысли людей. Они эпичны, монументальны. Но совершенно так же, как они сумели сохранить единое кровообращение с массами, они умеют сохранить свою бытовую и жи-

вую реальность, нигде не влезая на ходули и котурны, нигде не застывая монументами, статуями командоров там, где место живым, полнокровным командирам...

Образы людей, ситуаций, событий не могут не врезаться в сердце зрителя своим трагизмом. Не могут не пленить его чувств и эмоций красотой своего подвига. Не могут не покорить читателя дыханием истинного социалистического патриотизма страны, которая является родиной всех трудящихся мира».

Эйзенштейн хотел осуществить постановку «Мы, русский народ», не раз писал о своем желании в дирекцию «Мосфильма». Ему отказали. Некоторое время постановкой картины занимался Е. Дзиган, но вскоре она оказалась законсервированной.

Так роман-фильм Всеволода Вишневского «Мы, русский народ» — искреннее, взволнованное произведение о любви народа к своей Родине, о готовности встать на защиту завоеваний Октября — остался жить лишь книгой (только в 60-е годы режиссером Верой Строевой поставлен кинофильм под тем же названием).

Тем не менее место этого произведения в литературном наследии писателя весьма значительно. «Мы, русский народ» — фильм (если бы он состоялся в те годы!) — мог бы встать в один ряд со «Щорсом» и «Александром Невским», с «Чапаевым» и «Мы из Кронштадта». И сегодня, спустя десятилетия, роман-фильм продолжает жить: он идет на экране, по нему ставятся спектакли. Центральный театр Советской Армии в 1976 году вновь обратился к произведению драматурга, стоявшего у колыбели этого театра.

Всеволод же Витальевич так и не смог смириться с судьбой кинoромана «Мы, русский народ» и незадолго до смерти в речи перед ленинградскими писателями 23 мая 1950 года сказал: «Если бы по роману этому был сделан фильм типа «Мы из Кронштадта», он показал бы великую силу русского солдата и помог бы народу. Сейчас понимаешь, как тогда «сработали» космополиты в преддверии Великой Отечественной войны».

10

Новый материал требует новых изобразительных средств — таков девиз творчества Всеволода Вишневского.

Записные книжки писателя помогают восстановить, как мучительно долго, целых десять лет, искал он наиболее подходящую форму для своего единственного крупного прозаического произведения, как приходил в восторг от находок и огорчался, переживал, терпя неудачу.

Вишневский задумал создать своего рода «кардиограмму» времени: от еле слышного шепота двоих до вселенского дыхания века. Не роман, нет, традиционная форма для такой цели не подойдет. Это будет эпический документ — «художественная пролетарская энциклопедия» войны. В соответствии с замыслом на книжных полках писателя — труды историков первой мировой войны, сборники документов, комплекты журналов. Пометки на полях, закладки, выписки, сопоставляющие, оценивающие записи... *Как художник и исследователь Вишневский стремится развернуть панораму* движения истории, воссоздать картины классовой борьбы, революционного пробуждения масс накануне и в ходе мировой войны. В огромном количестве сохранившихся в его архиве планов, черновиков отразилось напряженное обдумывание содержания и формы книги, которая так же, как и его пьесы, фильмы, должна была духовно вооружить советских людей.

«Война» — эпическое произведение, «Война» — поэма истории. Надо драться... Я должен. Должен! Если осталось полгода, год до новой войны, надо успеть!» — торопит себя, приказывает себе Вишневский, когда позади осталось почти пять лет работы. Однако его не удовлетворяет текст, и еще столько же лет он будет вынимать папки с рукописью, снова и снова выверять ее. В конце концов так и не решится отдать в издательство.

Вот одна из дневниковых записей, показывающая направление поисков автора: «Читаю письма Флобера. Думаю о приемах «Войны». Надо во что бы то ни стало дать очень светлый, бодрый, оптимистический, парадоксальный тон описания гражданской войны в «Войне»... Сквозь времена — в большое устремление! Гражданскую войну — как небывалый подвиг, затмевающий «Илиаду». Больше брать от Эллады Средиземного и Черного морей — давать грандиозные извержения счастья, радости...» *(20 апреля 1933 г.)*.

Вишневский все время задумывается над тем, как надо писать, чтобы писание это было созвучно времени. Читатель требует простоты. Какой? Шолохов, Новиков-

Прибой работают в традиционных жанрах, надо искать новые: «Прочту еще раз ряд вещей — «Цусиму», «Гидроцентраль», «Поднятую целину» и пр., — чтобы уяснить, что не нужно, что одобряю, в чем дело...»

Надо особо отметить, что искания писателя в области формы, отвечающей новому содержанию, ничего общего не имели с джойсовским, «чудовищным», как считает Вишневский, эгоцентризмом и пессимизмом, неверием в человека, отрицанием его социальной и нравственной ценности. В противоположность Джойсу автор «Войны» стремится дать широту человеческих ощущений, отразить мысли и чувства народа, его революционный оптимизм.

Вишневский избирает путь энциклопедической насыщенности материала, что, по его мнению, предоставляет возможность глубоко проникнуть в суть социально-исторических условий, породивших и питающих войны. Писатель экспериментировал, соединяя элементы драмы, прозы, документы эпохи. Здесь, к примеру, можно найти и статистические таблицы, показывающие динамику развития промышленности России, и поименные списки придворных чинов, и цифры грузооборота российских железных дорог в 1913 году, и рекламные объявления, и количество забастовок, и число участвовавших в них рабочих, и т. д. и т. п.

Каждая глава включает в себя год жизни страны с 1912-го по 1917-й: проводы новобранца из рабочей среды в армию; заводской цех, в котором изготовляют оружие, балансы доходов заводчика и картины человеческого страдания; ложное обвинение рабочего в краже и его самоубийство; монолог пожилого металлиста о революционных событиях 1905 года; стычка большевиков и меньшевиков на митинге — во всем чувствуется пульс времени, все вместе воссоздает картины жизни России, всех ее слоев и классов.

В «Войне», как и в некоторых других произведениях Вишневского, весомо присутствие автобиографического материала. Подросток, сбежавший на фронт из обеспеченного питерского дома, — конечно же, это сам автор. В госпитале разведчик-доброволец читает соседям по нарам письма, пришедшие из орловской деревни, из донецкого шахтерского поселка. В беседах между боями, на маршах, в эшелонной теплушке — везде будущий писатель узнает родной народ, сам становясь его частью

и вместе с ним приходя к чистому и животворному роднику ленинской правды.

Фронтовая жизнь освещается как бы изнутри, глазами одного из миллионов окопников. Солдаты обсуждают свои судьбы, как умеют.

Старая армия крошится и расползается: в семнадцатом году десятки тысяч солдат разошлись по домам — им не за что было драться. Когда они осознают новые цели, потянутся к новым законам жизни, тогда родится новая, Рабоче-Крестьянская Красная Армия.

В 1939 году Вишневский обрадованно заносит в дневник: «Финал «Войны» найден! Ура! Идет вал: штурм Зимнего. (Силы неизмеримые.) Убитый (матрос) улыбается. Это улыбка в века — Архимеду: точка опоры найдена!..» Такой финал был одновременно и реалистическим, и исполненным большого философского смысла. Написать уже продуманный эпилог Вишневский не успел — помешала зимняя кампания против белофиннов, затем — новые командировки, работа в «Знамени», сорок первый год.

Но и в дневниках последующих лет он возвращался к «Войне», связывая незаконченное произведение с темой Ленинграда — города-крепости, города-героя. «Мне представился год работы, а может быть, и больше... Все написанное — все черновики, архивы... и моя большая первая настоящая книга прозы — «Война»... Надо дожить, дойти...» Эти строки написаны 13 декабря 1942 года, и хотя Всеволод Витальевич проживет еще восемь лет, но года для завершения эпопеи у него так и не найдется.

Мечты о прозе не сбудутся: все, что он считал подходами к овладению этим жанром, так и останется подходами. Пришла полоса внутренних переоценок, исканий, которые обычно предшествуют новому взлету творческой фантазии. Он как-то по-особому трепетно относится к прозе: она должна давать абсолютную правду, а сейчас так — изнутри, свое, пережитое — не выливается залпом, одним рывком, как бывало прежде.

И еще одна причина того, что «Война» оказалась неоконченной, — рождение новых тем, идей у Вишневского намного опережало возможности их реализации. Это он понимал и щедро делился своими замыслами с другими. Но его самого такой непроизвольно складываю-

щийся, непрерывно меняющийся калейдоскоп тем (нередко тут же начинается разработка образов, диалогов, сцен) очень отвлекал.

У Вишневского была привычка подводить итоги каждого прожитого года. Как правило, они фиксировались в записной книжке с соответствующими выводами и комментариями. Вот каким был, например, обычный 1934 год (кстати, об этом Всеволод докладывал партийной группе ССП 26 февраля 1935 года):

— писательская работа — «Война», «Мы из Кронштадта», перевод с немецкого пьесы «Флорисдорф»;

— общественно-политическая работа — связь Союза писателей с РККА (член оборонной комиссии), член редколлегии «Знамени», руководитель литературного объединения Военной академии имени Фрунзе, участие в работе землячеств — ветеранов Первой Конной, лектор, докладчик МК партии;

— журналистские выступления в «Правде», «Известиях», «Литературной газете»;

— работа с молодыми — редактирование, консультации в основном начинающих драматургов;

— поездки по стране — Урал, Украина, Кавказ, Балтика.

Видимо, далеко не все перечислено в этом отчете, но тем не менее и на коллег интенсивность жизни и труда Вишневского произвела впечатление. Его работу одобрили, рекомендовали провести творческую читку (что-то вроде творческого вечера по нынешним понятиям) и вместе с тем постановили: общественные нагрузки уменьшить...

Правда, вряд ли какие-либо решения могли облегчить его положение — ведь он сам не привык отказываться от поручений, не откликаться на просьбы.

Как-то в минуту душевного отчаяния, когда круговерть дел, не позволяющая расслаблений, не допускающая и к письменному столу, где ждет хозяина начатая рукопись, на глаза Александру Фадееву попалось письмо известного архитектора В. П. Стасова, адресованное жене. Наверное, оно настолько отвечало внутреннему состоянию писателя, что он не поленился перенести на страницы блокнота следующую цитату: «По свойству моему, или, лучше сказать, по моей натуре, мне нужно для исправления моей должности по моей профессии *совер-*

шенное спокойствие духа, без которого я не только с честью, но и с успехом упражняться не могу, а потому прошу, так как от должности моей зависит все благополучие наше и наших детей, оставлять меня, когда я в кабинете, в совершенном покое». Фадеев сделал приписку: «Старик был прав, — о как он был прав!..»

Неизвестно, как отреагировал бы на эту мысль Вишневский, вполне, однако, очевидно, что его характеру было свойственно еще одно редчайшее качество: он мог приходить в состояние совершенного душевного покоя в любой обстановке благодаря своей целеустремленности, огромной силе воли, умению быстро переключаться с одного занятия на другое, выкладываясь каждый раз при этом полностью. Всегда была перспектива, задача — главная, дальняя или ближняя, и это мобилизовывало его, не позволяло брать верх расслабленности, меланхолии. И всегда были срочные, «горящие» дела, которых, кроме него, никто не выполнит.

В этот раз — перевод с немецкого пьесы «Христиан Бэтц» Фридриха Вольфа. На правах друга автор не только просит, но и настаивает. «Есть трагедийный матерьял, — записывает Вишневский после прочтения книги. — Очень испорчен дроблением, публицистикой и т. п. Я выправлю. Дам к 10/XII крепкую вещь в 3 акта...» *(18 ноября 1933 г.).*

Эмигрировав из Германии, Вольф приехал в Москву, и на первых порах Вишневский приютил его в своей маленькой комнате.

«Дружба с русским человеком — это особая дружба,— вспоминал Вольф в 1951 году. — Большое дыхание у этого народа, неукротимый и терпеливый дух! Всеволод был истинным сыном своего народа.

Как товарищ он делал для меня все, что мог, — шла ли речь о срочном переводе — в течение буквально нескольких ночей — моей пьесы «Флорисдорф» для Вахтанговского театра или о том, чтобы получить мне квартиру...»

И впоследствии они жили в доме № 8 на Нижнем Кисловском и часто встречались. Фридрих Вольф был свидетелем и участником долгих ночных споров об «Оптимистической трагедии», о кинофильме «Мы из Кронштадта». Отношения друзей предполагали искренность и прямоту. Так, Вольф, посмотрев на сцене Театра Революции пьесу «На Западе бой», откровенно сказал автору

о том, что, по его мнению, она гораздо слабее «Первой Конной». Всеволод широко улыбнулся своей добродушной, озорной улыбкой и отпарировал:

— Если ты не пишешь о борьбе берлинских рабочих, то приходится это делать мне...

Познакомились они заочно, причем инициатива принадлежала Вишневскому: художественные поиски начала тридцатых годов привели к импонировавшей ему драматургии Вольфа — публицистической, идейно острой, агитационной, приподнято романтической. Всеволод пишет в Германию (17 февраля 1932 года): «Дорогой товарищ! Будем знакомы. Я русский пролетарский драматург...

Сейчас я работаю над переводом Вашей пьесы [1]. Так как я бывший матрос (сейчас морской командир), то в перевод вношу эквивалентный дух, запах, словечки и т. п. В ряде мест я даю театру указания о корабельном быте и помогаю им развернуть пьесу в большую социальную трагедию. Работаю я с режиссером А. Диким, который поставил «Первую Конную», идущую третий год по всему СССР».

Переводя пьесы Вольфа, Всеволод, естественно, привносит в текст и новые краски. Особенно это ощущалось в работе над «Флорисдорфом», когда он с согласия автора провел некоторую реконструкцию сюжета, чтобы придать ему больший динамизм, усилил героическое звучание некоторых ролей. «Персонажи «Флорисдорфа» «сами» будут жить, бороться и т. п., — сообщает он Вольфу. — Через неделю я еще раз с ними поговорю, подискутирую, поварьирую, «поампутирую» и т. д.».

В произведениях Ф. Вольфа звучит трагический лейтмотив борьбы западного пролетариата и крестьянства за свое социальное освобождение, в них слышен голос бойца и политического оратора — о путях, которыми надо идти, и ошибках, которые оплачены кровью, а также призыв к новому бою, к преодолению всяческих колебаний. Одна из пьес («Матросы из Каттаро») с документальной точностью, крупными трагедийными штрихами воспроизводит историю революционного восстания, рассказанную автору самими его участниками, социальная трагедия «Флорисдорф» посвящена событиям венского восстания.

Минет десяток лет, и Вольф переведет на немецкий

---

[1] «Матросы из Каттаро».

язык сценарий «Мы из Кронштадта»[1] для фильма, выпущенного на экраны новой, возрождающейся Германии. «Рад, что этот фильм понравился берлинской публике, — видимо, в первую очередь демократической... — отвечал на письмо Всеволод. — Как слушали господа англичане этот фильм, где показано нещадное избиение английских наемников...» *(1 апреля 1947 г.).*

Войдя в литературу как автор талантливых пьес, Всеволод Вишневский не мог остаться в стороне от широкого круга явлений и процессов литературной жизни.

Ему решительно претила групповщина, кружковая замкнутость. В каждой конкретной ситуации он всегда поступал согласно своим идейно-творческим принципам и убеждениям. После принятия постановления ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» начались столкновения между отдельными группами писателей. Вишневский наблюдал эти столкновения вблизи и тогда же, в апреле 1932 года, записал в дневнике: «Вероятно, все это будет мелко и смешно, но сейчас вокруг этого бурлят страсти: борьба за руководство и за будущие пути. Я верю, что надо драться за новое внегрупповое руководство».

Именно такого рода поправки были внесены Вишневским в резолюцию, принятую в 1932 году коммунистической фракцией Всероскомдрама: пресечь всякие рецидивы кружковщины, обеспечить развертывание творческого соревнования, установить прочные связи с научными учреждениями, армией и флотом. комсомолом.

Всеволод Вишневский — самобытная, яркая фигура на литературной орбите тридцатых годов. Его место и роль определялись и содержанием, духом, пафосом творчества, и тем, что он не чурался любой черновой организационной работы. В Союзе писателей руководил воен-

---

[1] Позже Ф. Вольф сделает и перевод «Оптимистической трагедии». Он так объяснял Вишневскому характер своей работы: «Теперь и немецкая «Оптимистическая» безусловно первый класс, — в этом ты можешь быть уверен. Я прежде всего внес в нее необходимую «атмосферу» с помощью немецкого солдатского плюс матросского языка...

Если не считать стилистику и «аромат», то драматургически я изменил очень немногое. Для нас на Западе моя сокращенная концовка лучше: прежняя была бы слишком мелодраматична, — доверься мне в этом. Твою пьесу я понял до конца только теперь, когда занялся ею глубоко. Она мне очень понравилась».

ной комиссией, а также периодически проводимыми курсами корреспондентов, на которых писатели обучались ратному ремеслу; принимал участие в международных конгрессах.

Запомнилось всем и его выступление на I Всесоюзном съезде писателей. Привыкший к многочисленным аудиториям, на сей раз он заметно волновался. Одет был как обычно — в форме военного моряка и, обращаясь к своим коллегам, словно представлял собою Вооруженные Силы страны. Вишневский говорил об оборонно-воспитательной роли литературы, о теме армии и революции, об актуальности и действенности художественного произведения. Не отрицая творчество таких писателей, как Юрий Олеша, признавая талантливость их «абстрактных хрустально-прозрачных построений о будущем», он обращается к ним с призывом: «Друг мой Олеша, и все идущие за ним, — пишите о хрустале, о любви, о ненависти и прочем. Но при этом всегда должны мы держать в исправности хороший револьвер и хорошо знать тот приписной пункт, куда надлежит явиться в случае необходимости. Это полезно и необходимо *(Смех. Аплодисменты.)»*.

В один из дней, когда проходил съезд, Горький пригласил к себе большую группу делегатов, в их числе — Вишневского. Они говорили о Довженко, фильм «Земля» которого напоминает Алексею Максимовичу полотна Рубенса. Присутствовавший на этой встрече К. Е. Ворошилов вспомнил «Оптимистическую трагедию», а Горький, испытывая некоторую неловкость, выразил сожаление по поводу резкости своего отзыва на пьесу. Много говорили об угрозе войны, и нарком сказал Вишневскому: «Вы должны написать книгу о современном Красном флоте...»

Когда съезд завершил работу и избранное им правление (в него вошел и Вишневский) собралось на свой первый пленум, Горький специально остановился на важнейшей проблеме: «...Есть еще одна работа, которая требует нашего, по моему мнению, немедленного участия, — эта работа на оборону». Эта «отрезвляющая», как назвал ее Всеволод, речь была встречена тишиной в зале. И впоследствии Алексей Максимович резко и горячо ставил вопрос о создании и выпуске оборонной литературы. Так, в октябре 1935 года он пишет А. С. Щербакову: «Готовится война, ее уже начали в Африке,

завтра она может разразиться в Средиземном море, а вслед за тем вспыхнуть и на Востоке. Я напоминаю Вам об этом, чтоб сказать: оборонной литературы у нас нет, а ведь, если помните, о необходимости ее говорилось давно...»

Что ж, Всеволод Вишневский в поте лица трудился на этой ниве, и не его вина, что на экранах страны не появился высокохудожественный, с мощным зарядом патриотизма фильм «Мы, русский народ»... Не только собственными произведениями участвовал он в благородном деле создания оборонной литературы, но и как журналист, заместитель, а затем ответственный редактор «Знамени». В журнале активно сотрудничали писатели, чья творческая судьба тесно связана с военно-революционной тематикой: Николай Тихонов и Леонид Соболев, Владимир Луговской и Петр Павленко, Алексей Сурков и Борис Лавренев.

Вишневский умел и принципиально критиковать товарищей по перу, и бережно относиться ко всему, что отмечено печатью таланта. Он всегда был готов прийти на помощь, его письма начинающим авторам свидетельствуют о доброжелательности и щедрости.

«Много говорил с Н. Виртой, — записывает Вишневский. — Есть хорошее, но много сырого, у Вирты нет широкого опыта, молод... Придет опыт со временем». Благодарный автор посвятил пьесу «Земля», написанную по мотивам романа [1], В. В. Вишневскому и спустя много лет подтвердил его дневниковую запись своими воспоминаниями: «Член редакционной коллегии «Знамени», куда я, надеясь, главным образом, на чудо, отнес книгу, Всеволод Вишневский роман прочитал, вызвал меня, вернул рукопись и приложенные к ней замечания на семи страницах. Это были дельные советы, многие из них углубляли психологические линии романа — я принял их безоговорочно».

Надо заметить, что в письмах Всеволода Витальевича молодым никогда не было ни снисходительности и поблажек, ни брюзжания и придирок. Анализ и добрый совет. В успехе любого писателя он видел общий успех советской литературы, и поэтому его так уважали и ценили соратники, друзья. Леонид Соболев, например, прямо го-

---

[1] Речь идет о романе Н. Вирты «Одиночество», опубликованном в журнале «Знамя» осенью 1935 года.

ворил, что книгой «Капитальный ремонт» он обязан Вишневскому, который с присущей ему напористостью и страстностью вдохновил на большое полотно, не позволив ограничиться рассказом. Как-то Всеволод сделал блестящий обзор творчества драматурга Алексея Файко и тут же, мимоходом, подсказал ему тему, которой тот сразу загорелся...

Драматург И. Прут, известный впоследствии пьесами на военно-исторические темы, в частности, написавший драму «Князь Мстислав Удалой», подробно рассказал о том, как на протяжении многих лет Вишневский бескорыстно уделял ему свое время, которого всегда не хватает. Предельная прямота и требовательность, абсолютная непримиримость к недостаткам и слабостям и в то же время необычайная доброта — таким предстал Вишневский в этих воспоминаниях. Вот лишь несколько штрихов: «...Моим первым и самым строгим, моим самым безжалостным критиком был Вишневский. За малейшее вкусовое отступление, за ничтожнейшую литературную бестактность, за самый крошечный промах или неточность он ругал меня вдохновенно, обрушивая на мою голову всю Ниагару своего могучего темперамента, увлеченно уничтожая мною написанное, но тут же — не менее увлеченно — дельно советуя, как исправить ошибку или драматургическую слабость. Он находил для меня какие-то особо обидные слова: «Больше никому не показывайте этот несусветный кошмар! Что вы написали? Это же только могло присниться пьяному! Где спички? Сжечь этот ужас немедленно!» Но одно Вишневский твердо знал: в моем сознании такие гневные окрики обернутся только пользой для дела...»

...Юноша-строитель завода «Ростсельмаш» написал для только что организованного театра рабочей молодежи пьесу. Называлась она «В решительном бою», в ней шла речь о родном заводе, герои ее сидели тут же, в зале, да и на сцене были те же самые рабочие — строители, токари, фрезеровщики, литейщики. Долго не смолкали аплодисменты — исполнители и автор были счастливы. А потом к автору подошел инженер и спросил:

— Анатолий, ты, видимо, очень любишь драматурга Вишневского?

— Да, конечно... — ответил юноша. Мог ли он ответить иначе — ведь пьеса многим напоминает «Последний решительный».

Но была ли в том беда? Вишневский пробудил, зажег искру творчества в молодом человеке, и совсем не случайно Анатолий Владимирович Софронов и спустя несколько десятилетий с благодарностью вспоминает об этом.

11

Сырое мартовское утро. Снег тает. Еще темно, а на военном аэродроме готовятся к взлету пять четырехмоторных самолетов АНТ. Спокойно, без лишних слов механики и пилоты делают последнюю проверку машин, пассажиры еще раз просматривают грузы, с которыми они отправляются на выполнение необычного задания. Негромко, уверенно отдает команды плотный невысокий человек в полушубке и унтах. Пройдет совсем немного времени, и его узнает не только страна, но весь мир.

Прощание — тихое, сдержанное, суровое, словно проводы на фронт. Один за другим красно-рыжие самолеты взмывают ввысь, стремительно проносятся над головами.

— Счастливо... — прошептал Всеволод и остро почувствовал грусть, даже какую-то обиду: в этот напоминающий давнишний прорыв в тыл Врангеля рейс его друг отправился без него. Несколько дней назад они встретились у Вишневских, и Иван Дмитриевич Папанин подробно рассказывал о предстоящей экспедиции. Вспомнили отсутствующего Петра Попова, написали ему письмо. Он уже два года осваивает Арктику, и общение с ним затруднено — в основном выручает радио [1]. Попов вместе с одиннадцатью специалистами высадился на необитаемом острове Русский и оборудовал там полярную станцию. Зимовщики обязаны провести географическое описание поверхности острова, осуществлять регулярные гидрологические и метеорологические наблюдения.

— Обскакал меня Петечка! — деланно сокрушался Папанин. — Ну ничего, зато я дальше прыгну...

---

[1] Вот одна из радиограмм, относящихся к 1935 году: «Родной Володя рад теплой коллективной телеграмме вместе с Тосей (находившаяся в Москве жена Попова, во время болезни Вишневский ей оказывал помощь. — *В. Х.)* благодарю друга отзывчивость помощь крепкую связь Коллектив острова взаимно шлет тебе привет отдельной телеграммой Отсутствием смены остался второй год привет браткам-партизанам родным целую Соню тебя твой Петя».

Иван Дмитриевич был возбужден и не скрывал своего счастья: наконец-то свершится давнишняя мечта.

А Вишневский все время, пока папанинцы заняты проведением научного эксперимента на Северном полюсе, переживает и волнуется вместе с ними.

«— Алло, товарищи Папанин, Кренкель, Ширшов и Федоров! Слушайте, говорит Москва! Здравствуй, родной, дорогой Иван Дмитриевич! Темно у тебя сейчас на льдине. Течение и ветер несут вас в пролив между Гренландией и Шпицбергеном. Вся страна знает вашу жизнь и про вашу палатку знает...» — Это ведущий с Красной площади репортаж, посвященный 20-летию Октябрьской революции, Вишневский поздравляет полярников и своего друга с праздником.

И в Мадриде, вглядываясь в незнакомое небо, Всеволод отыскивает вечный символ Севера — Полярную звезду. Там дом, там Питер, а еще дальше — Ванечка...

Воображение Вишневского не без юмора рисует следующую картину: «Самолеты во тьме и мгле, Чкалов над Папаниным, а Папанин, кряхтя, вылезает из будки и как начальник захолустной станции «Северный полюс» пропускает самолет по рейсу на Америку».

Всегда Всеволод чувствует поддержку верных товарищей — и Папанина, и Попова, получает их письма, телеграммы. «Это люди — до гроба, — записал он в дневнике *18 марта 1941 года.* — Ни мне от них ничего практически не надо, ни им... Это связь душ, это молодость».

Автомашины, в которых ехали участники II Международного конгресса писателей-антифашистов, сделали кратковременную остановку в селении Мингланилья. Местные жители тесным кольцом окружили писателей и приветствовали их пением «Интернационала». В толпе старики, женщины и дети, — мужчины ушли на фронт. В Мадриде делегацию из Советского Союза (в нее входили Алексей Толстой, Владимир Ставский, Александр Фадеев, Агния Барто и Всеволод Вишневский) встретили представители республиканских властей. Были здесь и корреспонденты советских центральных газет Илья Эренбург и Михаил Кольцов, а также Роман Кармен, снимавший фильм о гражданской войне в Испании. Гости смотрели в революционном театре драму Гарсиа Лорки, затем конгресс продолжил работу в полуосажденном Мадриде. Так получилось, что после речи Вишневского (6 июля 1937 г.) на антифашистский конгресс пришли

бойцы. Они только что выбили врага из Брунете и принесли с собой знамя, захваченное у фашистов.

Старый солдат не мог не воспользоваться возможностью выбраться на передовые позиции, и 7 июля вместе со Ставским, в свое время прошедшим фронты революции, и Эренбургом отправился в район Брунете. Последний раз Всеволод был в бою зимой 1920 года: знакомые звуки, события, ощущения. Странно только, что напор воспоминаний сильнее окружающей реальной действительности. «Видел много, остро, — напишет он спустя несколько дней Софье Касьяновне. — Наиболее замечательна пехотная цепь под палящим солнцем, в хлебах. Это цепь из «Мы из Кронштадта».

Шли хорошо, и я шел... Прорвали фронт. Захватили местечко... С нами был немецкий батальон Тельмана... У меня — подъем и спокойствие.

Чему быть, того не миновать. Шел с алой гвоздикой в петлице... Был как-то в сложном переплете воспоминаний, наблюдений и действия».

Главным чувством, охватившим его тогда, было: вот начало войны — народ против фашизма. Пулеметный огонь, снаряды — все как и двадцать лет назад, — зной, поля, трупы...

Заключительные заседания конгресса вскоре перенесли из Испании в Париж, и Вишневский выступил с новой речью, которая встречена овацией еще до того, как закончен перевод. Казалось, все присутствующие понимают русский язык:

«Мы были в революционной Испании: в городах, деревнях, окопах... Наш конгресс слился с буйным и стремительным порывом испанского народа. Армия Мадрида наступала и гнала фашистских фалангистов, рэкетистов, германских и итальянских наемников. В рядах наступающих шли и немцы-интернационалисты, батальон Тельмана, шли гарибальдийцы, шли полки героических внуков Домбровского, шли югославы, болгары, шли американцы и англичане, шли, наконец, порывистые и горячие французы. За Испанию поднимаются лучшие люди Европы, лучшие люди мира...»

Закончил свою речь Вишневский страстным призывом к братьям по перу: «Наш конгресс собрался в грозовую пору. Опасность надвигается все ближе... Вы видели лик новой войны в Испании. Готовьтесь к тому, чтобы выдержать испытания, еще более глубокие и серьезные,

проверяйте и тренируйте себя для тщательной и большой борьбы на больших пространствах. Судьба может сделать так, что всем нам придется вновь встретиться на фронтах. Еще более укрепим себя идейно, профессионально, технически и физически для грядущей борьбы. Поставим себе целью влить в наши ряды новые сотни новых друзей, писателей мира... Не будем терять ни одного дня! Пойдем вперед без страха, отшвыривая врагов, изменников, трусов».

Поездка в Испанию всколыхнула Вишневского, возвратила к работе над сценарием «Мы, русский народ», так как встречи с участниками боев за свободу народа еще раз подтвердили высокую значимость его творчества. В один из дней состоялась встреча советских писателей с членами ЦК Испанской коммунистической партии, и Долорес Ибаррури, обратившись к Вишневскому, сказала: «Фильм «Мы из Кронштадта» пришел в самый опасный момент... Как он поднял наших бойцов! Этого мы не забудем...»

Трагедия Испании долго не давала покоя писателю, и, видимо, счастливой случайностью оказалось последовавшее в декабре 1938 года предложение написать сценарий документального кинофильма «Испания». У Вишневского оставалась масса невылившихся, невысказанных впечатлений об увиденном во время пребывания в этой стране. К тому же по неизменной своей привычке он всегда, где бы ни находился, запасался впрок: записями в дневнике, книгами, картами, снимками, рисунками.

Вишневский охотно согласился работать над сценарием, решил делать большой траги-оптимистический — в своем стиле! — фильм о народе, об Испании, ее борьбе. В сценарии верно переданы масштабы борьбы, изуверство фашизма, предательство лжедемократии, создан собирательный образ героического народа. Перед зрителем проходит Испания мирных дней, затем — 1936—1938 годов; он видит и друзей и врагов; поля, берег океана, города, быт народа, мятеж Франко; видит современный бой, его подлинные звучания, армию, интербригады, пленных, убитых, стариков и младенцев. «Испания» спорила со «щемящим, объективистским, пессимистическим», как оценил его. Вишневский, фильмом «Испанская земля» Йориса Ивенса и Эрнеста Хемингуэя.

«Из разрозненных документов, — после выхода «Испании» на экран писал Петр Павленко, — создано пре-

красное поэтическое произведение. То обстоятельство, что в основе лежит документ, волнует особенно сильно, потому что нельзя сыграть все те страшные сцены мужества, упорства и страдания, из которых создана картина». Сразу после общественного просмотра «Испанию» хвалили Георгий Димитров и Хосе Диас, а Фадеев сказал: «Гениальный фильм».

Приобщение к новому для драматурга документальному кино принесло удовлетворение. К тому же документалистика привлекала своей оперативностью и действенностью. И летом 1940 года, получив задание срочно написать сценарий, Вишневский едет в освобожденную Бессарабию. После множества встреч с людьми, изучения исторических документов и материалов писатель нащупывает решение будущего фильма: в него должна войти сама история, ее музыка, ее аромат, ее ширь, он должен вскрыть вечное бытие народа — вековые этапы народной жизни. Прежде чем снять пляски крестьян, считал драматург, надо показать их судьбу, историю и цену земли, на которой они пляшут, и кровь, пролитую за эту землю. Тогда и танец приобретает смысл, все нужные краски и оттенки. В сценарии убедительно и широко раскрывается тема единения народов нашей страны, показано, как в своей борьбе против иноземных захватчиков народ Бессарабии получал постоянную помощь со стороны братских — русского и украинского — народов. «Тема Бессарабии, — писал Вишневский, — это тема великого русского народа, славянских древних далей... Тема нашествия азиатов и готтов...»

Однако сценарий «Земля бессарабская» поставлен не был: не по душе пришелся тогдашнему руководству «Мосфильма», да и у режиссера Э. Шуб и оператора Э. Тиссэ возникли возражения против широкого исторического экскурса. Очень жаль, но делать прямолинейную однодневку — сравнение дня вчерашнего и сегодняшнего, по сути, фильм-репортаж Вишневский просто не мог.

Вторая половина тридцатых годов оказалась для него в творческом отношении заметно беднее, если судить по завершенным (и поставленным или экранизированным) произведениям. В самом деле: финал «Войны» так и не дается ему, два сценария «зарублены», пьесы писать перестал.

Но была ли жизнь Вишневского в эти годы менее напряженной и трудной, чем прежде?

Нет, его ненасытная натура находит выход своей энергии на ином поприще: наука, публицистика, редакторское дело, политическая, агитационная работа. «Окон» в труде, в занятиях он не признавал.

Правда, отход от художественного творчества был нелегок, в чем-то вынужден, и главную роль в этом сыграл уничтожающий удар критики по сценарию «Мы, русский народ».

Но не только это обстоятельство рождало творческие муки и сомнения. Страницы дневника этого времени свидетельствуют о его постоянном, глубоко требовательном отношении к себе, о попытках разобраться в сложных перипетиях жизни и искусства: «Горький о «трагически прекрасной эпохе» — о сознании современных людей, о противоречиях и страшной их силе и глубине, и о вреде показа этих противоречий с точки зрения воспитательно-политической и тактической...

Я проверил ряд своих мыслей. По-настоящему ценят «Оптимистическую трагедию». Ее функция серьезна. А я иду дальше... (разрядка моя. — *В. Х.*)» *(ночь на 27 января 1935 г.)*.

«Хотелось бы и античностью заняться, и опытными работами по психологии быта и нек. исследовательскими работами. А потребность иная — война...» *(3 августа 1935 г.)*.

«Надо сделать усилие и оторваться от театра и кино, хотя бы на время. Это может кончиться плохо — поглощение театром. Он жрет, давит, суживает, подминает и уменьшает» *(ночь на 13 сентября 1935 г.)*.

Но, как бы он ни открещивался от театра, все одно сцена притягивает его. Вишневский и впоследствии продолжает следить за всем, что происходит в театре. Перед поездкой в Испанию он побывал на репетиции «Одной жизни» (спектакль по роману Николая Островского «Как закалялась сталь») у Вс. Мейерхольда и записал свои впечатления. «Смесь слабой драматургии и сильнейших режиссерских мизансцен: смерть музыканта-еврея, его бред, видения... Музыкальная агония... Эта репетиция была, в сущности, символичной: умирание театра Мейерхольда. Вспомнил мои выступления против М. в прошлом, — я чуял, что он делает не то...»

Эйзенштейн и Софья Касьяновна уговорили Вишнев-

ского помириться с Мейерхольдом, и они втроем побывали у него дома. Всеволод Эмильевич заметно постарел, однако был таким же подвижным, остро реагирующим на все. Он очень тепло отозвался о «Мы из Кронштадта» и корил Вишневского за то, что тот не отдал ему в свое время ни «Германию», ни «Оптимистическую трагедию». «Умер Маяковский, ты от меня ушел, Эйзенштейн, к сожалению, пьес не пишет, а с другими — не получается...»

Иногда Всеволода Витальевича охватывает тревога: ему уже 37 лет, а сколько еще надо написать, сделать! Ведь пьесы он рассматривает как пробы, как начало. А главное еще или в нем, или частично написано (но не опубликовано) — главы романа... В прозе Вишневский видит свое будущее (правда, иной раз это звучит словно заклинание).

Из всех созданных им образов наиболее близок характеру, устремленности самого автора, пожалуй, Артем Балашов: «Низкорослый матрос — *моя* тема, отраженный образ упорства, творчества, житейской линии моей. Без поклонов, без угодничества, без торопливых поддакиваний... *Свой путь!»*

Поздней весной и летом 1938 года Вишневский отправился в поездку по тем местам, где в двадцатом пролегали маршруты Конармии: Москва, Майкоп, Краснодар, кубанские станицы, Ростов, Донбасс, Днепропетровск, Умань, Тетиев, Липовцы, Бердичев, Житомир, Киев. Вновь он ощутил огромнейшие просторы, жизнь, труд и плодородие и вновь говорит себе: вести эпически документальную линию — от природы, от натуры. Он работает над сценарием: «Изнутри поднимается тема «Первой Конной»... Весна, молодость, задор... Надо — во имя дела, во имя обороны страны — сделать огромное усилие — и опять вперед, по-молодому...»

В сценарии Вишневский в определенной степени пробовал уйти от романтики. Сказались давние сомнения, предыдущий творческий опыт — ведь и «Оптимистическая», и «Мы из Кронштадта» в ходе доработки становились реалистичнее. Ему хочется достигнуть большей глубины: «Подлинная жизнь, она какая-то простая, и в этой простоте, в глубине ее пафос. Иногда он прорывается наружу, иногда жизнь приподнято-торжественна, общий же процесс документален, натуралистичен, если

воспользоваться терминологией прошлого века». Запись эта, сделанная в дневнике 11 августа 1938 года, знаменательна.

Как известно, съемки фильма «Первая Конная» не успели завершить до июня 1941-го. Кадры из него в военные годы использованы во многих документальных и художественных картинах, а особенно часто появлялся на экране великолепный фрагмент несущейся по полям многотысячной армии конников Буденного.

Интерес к личности писателя огромен во все времена, ведь, как сказал Вишневский, «настоящая литература — это всегда душа, сердце одного, вместившее в себя мир». Дневники Всеволода Витальевича дают яркое представление о непрерывном процессе самопознания, о повседневно чинимом писателем суде над собою. Он п здесь искренен, прям, как по отношению к кому-либо другому.

В записях 1938—1939 годов все чаще встречается слово «зрелость», и это справедливо: пришла пора уверенности в своих силах, которая невозможна без мастерства. Но вместе с тем именно в этот период он снова и снова — без малейшей успокоенности, с возросшей силой требовательности проверяет себя, свой путь в искусстве.

Несмотря на обстановку, создавшуюся вокруг романа-фильма «Мы, русский народ», в результате чего уничтожены два года труда, надежд, Всеволод нашел в себе силы собраться, заняться другими, нужными Родине делами. С тяжелым и горьким чувством записывает он в дневник такие строки: «От ударов, от всей этой швали не дрогнул, шел вперед. Не поддавался и тягостно-доносительским настроениям, которыми переболели тысячи людей... Помню эти взгляды на собраниях, эти молчания, эту неприкрытую людскую трусость, взрывы склок, сведения счетов, бездну грязи, которая была провокаторски поднята. И это одолел народ...»

Не раз он задает вопрос: почему мы, советские писатели, пишем приторно, причесанно? Может, высказывает догадку Вишневский, «это попытка прорваться к идеалам, все ·увидеть в лучшем свете?..». «Мы живем мечтой о новых людях. Новый человек — это дороже, более редко, чем любые ценности мира».

И теоретически, и с позиции здравого смысла Виш-

невский объяснял себе, что сейчас, видимо, не до объективного изображения жизни, ибо она сложна, безмерно трудна, а *«высшие веления борьбы требуют песен, труб!»*.

Справедливости ради отметим, что сам он так и не создал ни одного песенно-бравурного произведения.

В целом же, оглядываясь на пройденный путь, писатель в 1948 году добрым словом вспомнит тридцатые годы: «Мое творческое (литературное) десятилетие (1929—1939 гг.) было продуктивным и «работает» по сей день».

1939 год начался для него с тяжелой утраты — зимой умерла мать. А в октябре скончался отец. Особенно часто вставал перед глазами отец, каким он помнился с детства, — огромный, сильный, бесконечно родной и любимый... И в последние годы так хотелось вновь видеть его, поцеловать крепкую большую руку, расспросить обо всем пережитом. Хотелось все собрать воедино, осмыслить, понять историю семьи — частицы народа. А виделись редко, урывками.

Старшее поколение уходит. Сейчас решающее слово скажет его поколение и новое, молодое, родившееся вместе с Советской властью.

Всеволод подумал о матери, и вновь заныло сердце: так и не собралась она в Москву. А ведь хотела непременно побывать, увидеть новую большую квартиру в доме 17/19 по Лаврушинскому переулку. Он приглашал ее в гости, подробно описал. как разложил свои книги, архив, какой прекрасный вид на Москву-реку, Кремль открывается с балкона шестого этажа. Он просил мать писать воспоминания о своей жизни с 1900 года и раньше, хотел как-то вывести Анну Александровну из мрачного состояния, ею владевшего: старость, одиночество.

На страницах дневника все чаще записи о войне, о международном положении. Всеволод много ездит по стране, и нынешний год не исключение: два месяца на Дальнем Востоке, затем — Балтика, а в ноябре 1939-го идет добровольцем во флот — начались военные действия на финской границе.

Тем, кто знал Вишневского, наверное, и в голову не пришло бы сказать: «Всеволод — в творческой командировке, собирает материал...» Да и его собственный рассказ о том, как проходила, к примеру, поездка по Дальнему Востоку, ничего общего не имеет с представлениями

о неспешном изучении людей, их характеров, конфликтных ситуаций: «Сделал 25 тысяч километров. Был на границе Кореи и Маньчжурии. Непрерывно в пограничных районах, работал в частях. Сделал уйму выступлений: о России, ее боевом пути, о флоте, о гражданской войне, о Западе, о литературе. Плавал, летал, бродил по сопкам, ходил в секреты в маскхалатах, был в окопах, в джунглях и пр. и пр.

Задания выполнены. Много писал. Инструктировал. Организовал литгруппы. Читал. Беседовал. Словом, был военно-литературным культурным комбинатом. В родной стихии!»

В своей, казалось, до краев заполненной литературным творчеством жизни Всеволод всегда выкраивал время для публицистики. Когда-то, переступив порог редакции «Красного Черноморья», навсегда неразрывно связал себя с редакциями газет и журналов, радиовещания; ему суждено было написать около 2000 статей, очерков, корреспонденций, рецензий, листовок. Остановимся на минутку и проведем несложный арифметический подсчет. Окажется, что Вишневский выступал в периодической печати и на радио на протяжении всей жизни начиная с 1921 года в среднем один раз в 5—6 дней... Редкая интенсивность труда даже для профессионала — занимайся он исключительно журналистикой!

И в тридцатые годы Вишневский пишет серию художественно-документальных очерков-портретов — о Кирове, Щорсе, Железнякове, Городовикове, Папанине. В журнале «Знамя» печатаются его путевые дневники «В Европе» (обзор политической и культурной жизни ряда стран), написанные по впечатлениям поездок на Запад. Статьи, очерки о делах армии и флота публикуются в «Правде», «Красной звезде». Именно в эту газету он передавал корреспонденции с Дальнего Востока. Говоря о героях прошлых боев у озера Хасан, он воссоздает и нынешнюю тревожную обстановку на границе: «Шагая в июльский зной след за следом по маршрутам 40-й и 32-й дивизий, я думал о том, что в дни Хасана Красная Армия оберегала не только три сопки, не просто землю, оберегала не только принципы новой великой державы, но и ее великую красоту. Когда-нибудь дети и внуки наши создадут новые национальные заповедники, и в них будет скромно упомянуто: «Защищен Красной Армией для народа...»

Тихо и напряженно вокруг. Два мира — лицом к лицу» («Красная звезда», 1939, 5 августа).

Четыре десятилетия минуло со времени написания этих строк, а как пронзительно злободневно звучат они сегодня! Вспоминаешь провокаторский удар маоистов на Даманском полуострове, кровавую агрессию, развязанную против социалистического Вьетнама, — и еще и еще раз осознаешь, сколь священно и незыблемо понятие защита Отчизны.

Начиная с лета 1936 года предчувствие близости войны становится одной из главных тем блокнотов Вишневского. Вот одна из таких записей: «Все существо обострено, гляжу вдаль.

1. Трагическая война, Европа.

2. Видимо, новый цикл истории, жизни... Какой она будет?

Мы сейчас вкладываем огромные материальные ценности, силы в оборону... Тень войны *над жизнью...» (7—8 ноября 1936 г.).*

Он не приемлет утешительных мнений о том, что капитализм умирает, — механическое повторение этих слов вредно. Нет, капитализм яростно борется, изобретает, торгует, строит, хочет жить. «Фазу явного своего превосходства, — мы (если доживем) ощутим, когда против любой вещи, метода противопоставим свои лучшие, более рациональные, более эстетичные... Высшая культура неминуемо победит, подчинит себе низшую... История это подтверждает. Трагедия социализма, — считает Вишневский, — в том, что он в окружении врагов. Они портят, калечат наши замыслы, идеальные порывы, планы. У нас, не по нашей вине, меньше доброты, любви, света, радости, чем могло бы быть».

Поездки по стране «омывают» мозг, дают возможность почувствовать просторы страны, влюбиться в них снова и снова. И тут же — увидеть времянки, торопливость и неряшливость в труде, — темпы сказываются на качестве, на отделке. «Нужно рождение новой эстетики, — замечает Вишневский. — Страна, отставшая на века, должна непрестанно нагонять. Делать все прочно... Трагедия нашей эпохи именно в том, что на ней тень старого мира... Мы подчиняем все высшей задаче: войне — обороне. Отсюда жестокость, суровость, поспешность, грубоватость... Это сказывается и на искусстве...»

Новый человек... Ему так мало дано исторического времени: только блеснула заря революции, великие наши надежды 1917—1918 годов, а потом пришла жесточайшая проза борьбы, быт, тяготы, давление врагов. Сделаны первые шаги для перевоспитания человека, первые удары резца — все еще лишь в первичном процессе. Мы можем только мечтать о своем идеале нового человека, пока его образ, тип новых связей, нового общества в его развернутом виде — мирном, чистом, лиричном, трудовом — еще не создан, — размышляет писатель.

Жизнь Советской страны молода, и художник, журналист должен изучать ее с пристальным вниманием с тем, чтобы описать различные стороны социалистического бытия: и момент рождения ребенка, и семейную радость, и труд, и все оттенки человеческих отношений. Вишневский призывает газетчиков на самых выразительных фактах и явлениях жизни раскрывать поступки, поведение и настроение людей.

«Минутами невероятная усталость, сознание того, что война уже третий или четвертый раз в жизни, что уже не молодость... Но всякий раз, когда были острые минуты, старый задор брал верх. Знаю, что сумею пойти прямо, вперед, отчаянно, по-былому, добровольческому, кинуться...»

Как в эту скоротечную войну. Николай Чуковский, встретивший его в первые же дни после начала военных действий в Политуправлении Балтийского флота, был поражен, как быстро Вишневский разобрался в обстановке, как глубоко комментировал происходящее. За минувшее десятилетие (а встречались они с переездом Всеволода в Москву редко) он, что называется, «вошел в возраст», короткое его туловище стало еще шире, лицо — круглее. Небольшой, плотный, Вишневский нес свое полнеющее тело с легкостью сильного, уверенного человека. В общении, в небольшой компании он вел себя просто, даже как-то незаметно, молчаливо-настороженно и совсем не походил на вдохновенного оратора на собрании — с резкими короткими жестами, энергичными, клокочущими фразами. Одет он был в морскую форму с нашивками полкового комиссара на рукавах и тремя орденами на груди, что вызывало уважение.

В эти месяцы Вишневский интенсивно работает как журналист, принимает участие в морском десанте и опе-

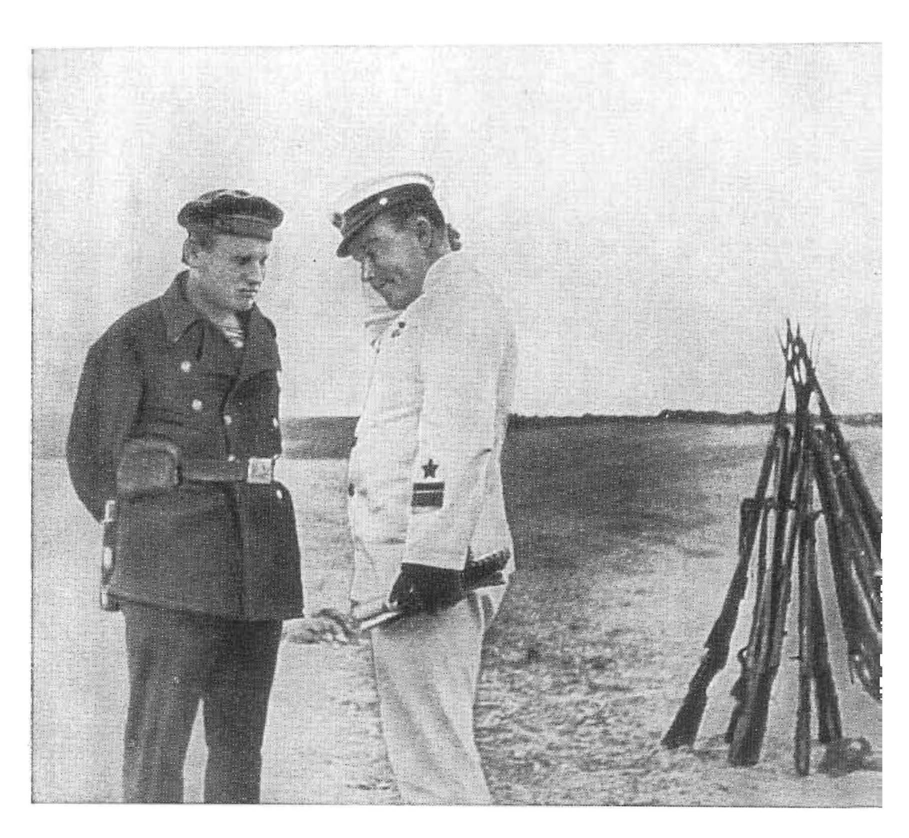
радиях пехотных частей, как стрелок совершает вылет на истребителе. Его статьи с театра боевых действий публикуются в центральной прессе, в «Ленинградской правде», «Красном Балтийском флоте». В своей родной газете вместе с Лебедевым-Кумачом и Соболевым он ведет постоянный сатирический раздел «Полундра». Здесь же, в действующей армии, трудились и другие писатели, в том числе Н. Тихонов, В. Саянов, А. Твардовский.

Не забывает он и радио. Его радиоречи вызывали множество откликов, особенно у молодых людей. «Уважаемый товарищ Всеволод Вишневский! — писал комсомолец из Тамбова В. Кулаев 1 марта 1940 года. — Только что прослушал ваше выступление, записанное на пленку. И из содержания, и из волнующей слушателей интонации голоса видно, что вы — страстный советский патриот, готовый на все, лишь бы сохранить в чистоте честь русского народа, честь советского народа, по храбрости и талантливости с которым никого нельзя сравнить».

На все, что происходило на фронте, Вишневский смотрел еще и глазами военного специалиста. И с этой точки зрения финская кампания вызвала у старого солдата невеселые размышления, резкие критические оценки, боль и тревогу. Еще отчетливее, еще определеннее, чем события Хасана, столкновение с Финляндией прозвучало как историческое предупреждение: «Парады, громы, «Если завтра война» и прочее могут жестоко нас наказать...»

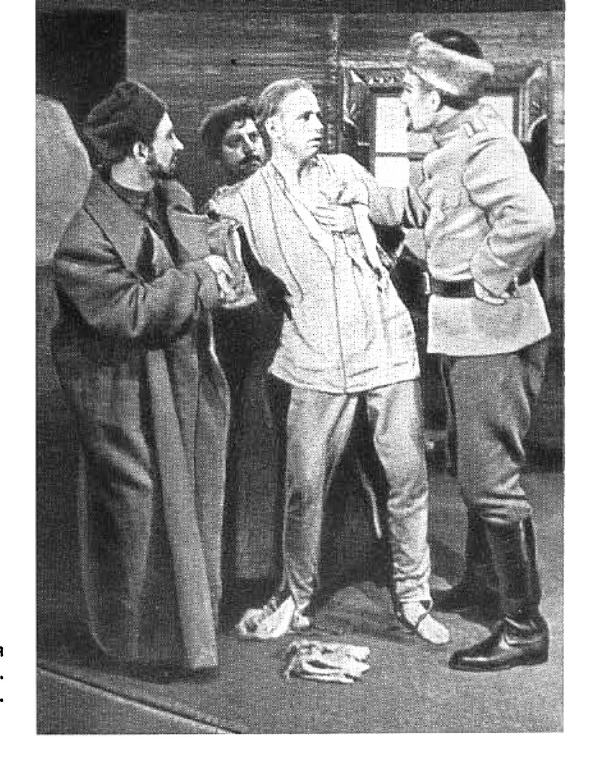
Он видит, как скопом, тактически неграмотно воюют и какие в результате огромные потери. Как плохо в госпиталях и на железной дороге, как хромает снабжение, и думает: помимо самоуспокоенности, растяпистого отношения к делу, к борьбе, наверное, и в этих сферах есть свои гурвичи и малаховы, сознательно или нет тормозящие подготовку к обороне и ставящие палки в колеса, когда война уже началась. Вишневский вдруг осознал, как мало еще сделано и что надо работать, удвоив, утроив усилия, и совершить резкий поворот к выучке, дисциплине, организации. Сбросить жирок с души, отмести рутину: преимущества социализма доказываются не декларациями, а реальным качеством труда, быта, организации, военной силы, науки, искусства.

«Нам нужна — всему народу — большая доза смело-



Вишневский и актер Г. М. Бушуев, сыгравший роль Артема, на съемках фильма «Мы из Кронштадта». 1935 г.

Сцена из спектакля «Первая Конная». Театр г. Галле (ГДР). 1952 г.





▲

Сцена из спектакля «Первая Конная». Каунасский музыкально-драматический театр. 1958 г.



Сцена из спектакля «Первая Конная». Театр Красной Армии. Февраль 1930 г.

Сцена из спектакля «Последний решительный». Театр имени Вс. Мейерхольда. 1931 г.

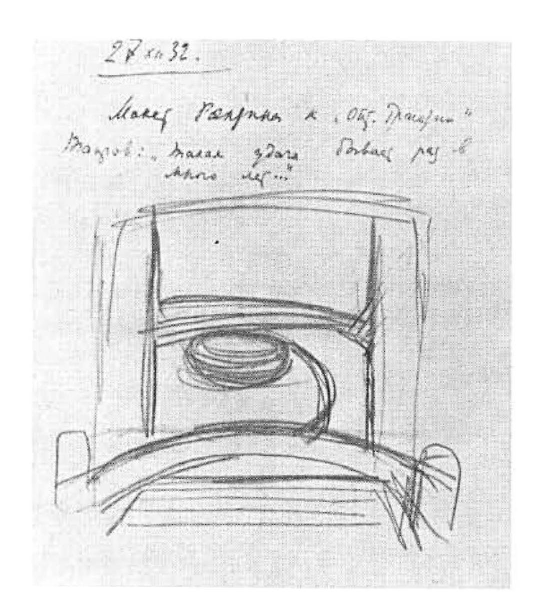
Финальная сцена спектакля «Последний решительный». В роли старшины Бушуева—Н. И. Боголюбов.

На репетиции спектакля «Последний решительный». Второй слева — Вс. Э. Мейерхольд, в центре — Вишневский.

Сцена из спектакля «На Западе бой». Театр Революции. Москва, 1933 г.



Любовь Ивановна Добржанская — Комиссар в спектакле «Оптимистическая трагедия» Киевского русского драматического театра. Март 1933 г.



Эскиз макета декораций к спектаклю Камерного театра с надписью Вишневского: «27 декабря 1932 г. Макет Рындина к «Опт. трагедии». Таиров: «Такая удача бывает раз в много лет...»



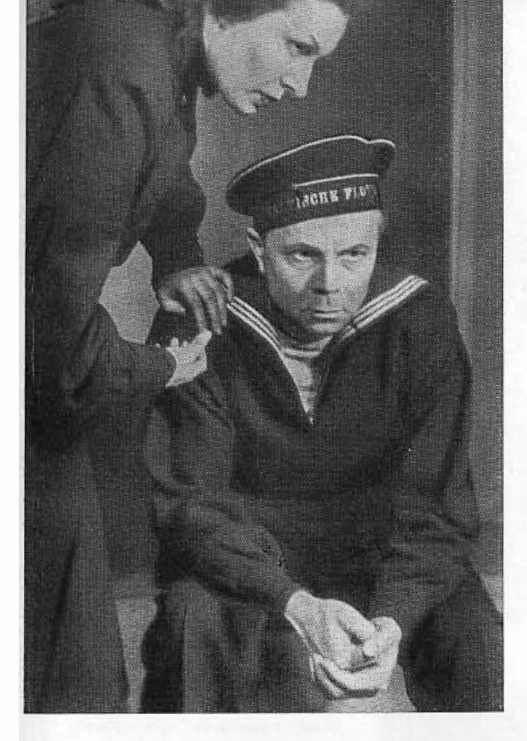
Алиса Георгиевна Коонен в роли Комиссара в спектакле Камерного театра.

Сцена из спектакля «Оптимистическая трагедия». Камерный театр. Декабрь 1933 г.



Михаил Иванович Жаров в роли Алексея в спектакле Камерного театра.

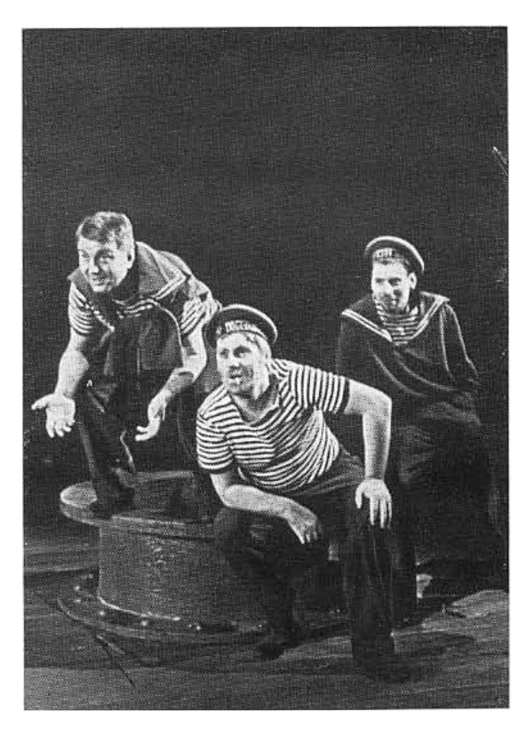
Сцена из спектакля Камерного театра «Оптимистическая трагедия».



Сцена из спектакля «Оптимистическая трагедия» Берлинского Дома культуры. 1948 г.

Сцена из спектакля «Оптимистическая трагедия». Ленинградский академический театр драмы имени А. С. Пушкина. 1955 г.

Сцена из спектакля «Оптимистическая трагедия», поставленного Парижским Независимым театром. 1951 г.



Сцена из спектакля «Оптимистическая трагедия». Братислава. 1957 г.



Р. Нифонтова в роли Комиссара. Спектакль «Оптимистическая трагедия» Малого театра. 1967 г.



И. Архипова — Комиссар. Опера «Оптимистическая трагедия». Большой театр Союза ССР. 1968 г.

Кадры из кинофильма «Мы из Кронштадта». Атака.

«Эй, хозяин, вылазь...»

«Мы пскапские...»

«А ну? Кто еще хочет в Петроград?»

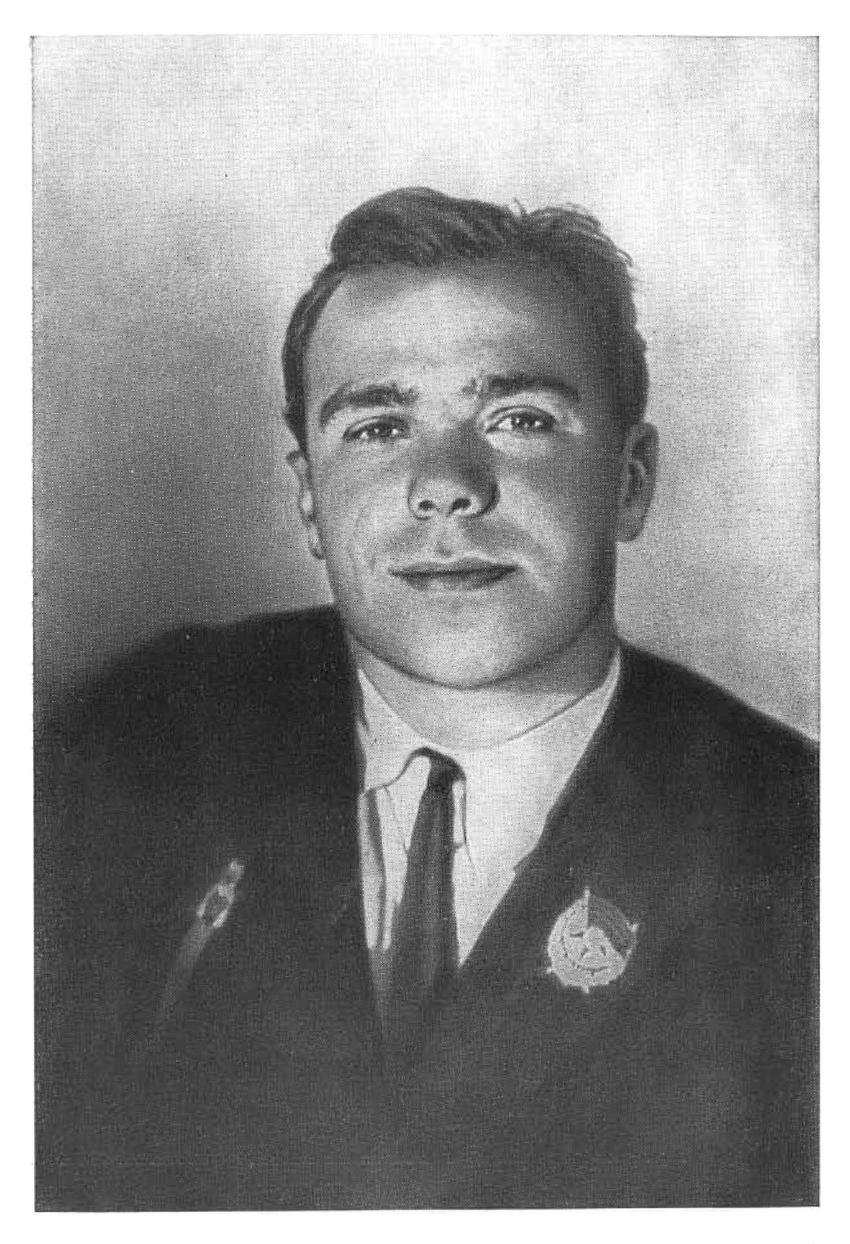


Сцена из спектакля «Раскинулось море широко». Ленинградский театр музыкальной комедии. Премьера — 7 ноября 1942 г.

Сцена из спектакля «Незабываемый 1919-й». Центральный театр Советской Армии. 1950 г.



Сцена из спектакля Центрального театра Советской Армии «Мы, русский народ». 1977 г.



В. В. Вишневский.

сти мысли, — записывает Всеволод в дневнике. — Литература делает мало... Писатели тоже в общем потоке комментаторов, воспевателей и пр. ...За эти вещи неминуема расплата, если вовремя дело не поправим, в крупном масштабе». И далее следуют строки, в которых выражено, может быть, одно из наиболее горьких откровений: «Кругом много привычных деляг, чиновников... Я жалею, что эти люди в партии, в армии, во флоте... Я протестую против того, что они смеют говорить о деле Ленина...» *(январь 1940 г.)*.

Переход к мирной жизни происходил замедленно. Да и воспринимался он как нечто временное, зыбкое. Всеволод Витальевич, давно приучивший себя к чтению (свободно, без словаря!) английских, французских и немецких газет, ощущал это состояние обостреннее, чем другие. На страницах дневника все чаще встречаются размышления о международных делах, взвешиваются шансы противоборствующих сторон: «До бессонницы, до головных болей мучаюсь над американскими и европейскими газетами и журналами, над географическими картами, над радиохаосом, над письмами и документами живых близких людей, ныне сидящих, бродящих где-то во Франции (Ф. Вольф и другие антифашисты). Как настойчивы демократическо-христианские аргументы, как напористы, нетерпеливо-жадны нацистские статьи, речи... Сколько обвинений, проклятий... Ныне схватка жестокая. Она едва начинается...» *(5 апреля 1940 г.)*.

А вот еще одна любопытная запись — из области прогнозов: «Думаю, что, может быть, у нас возникнет контакт с США. В опасности и они и мы будем искать взаимной поддержки. Какие парадоксы истории!..» *(21 мая 1940 г.)*.

Вишневский много читает, с особым наслаждением — прозу. Он — в непривычном для себя состоянии: ничего не пишет, весь в напряженнейшем ожидании огромных событий. Еще и еще раз перебирает пережитое и спрашивает: неужели он становится вялым, равнодушным? Нет, не так. Пожалуй, точнее будет сказать: литературные споры да в известной мере и среда его интересуют все меньше и меньше. Сейчас он вроде солдата на побывке или на отдыхе, в резерве: надо оглядеться по сторонам, восстановиться, подготовиться к новым боям.

Именно об этом говорил Всеволод Витальевич на со-

вещании писателей-фронтовиков в ПУРе, состоявшемся 8 апреля 1940 года. Быть в состоянии мобилизационной готовности для писателя, журналиста, редактора — значит глубоко проникнуть в дух современной войны, изучить, понять врага, чтобы разить его в самые уязвимые места. Военному корреспонденту придется и сражаться, и делать под огнем свое профессиональное дело - ведь газеты, радиоузлы, народ будут ждать от него информации, правды о войне. И он, советский литератор, должен суметь быстро продиктовать, перекричать, если будут мешать — или бомбардировка, или шум моторов, или атмосферные разряды, или радиопомехи, — свою корреспонденцию, очерк, заметку. В общем, сегодня времени терять нельзя. «Поступитесь рядом своих частных литературных интересов, — призывает Вишневский, — и займитесь серьезной оборонной стажировкой». В одном из журналов второй половины тридцатых годов его назвали «живым военно-революционным ферментом нашего искусства». Как известно, ферменты - сложные вещества в организмах и во много раз ускоряющие химические процессы. Что ж, удачное сравнение!

Однажды на встрече с ленинградскими писателями Всеволод Витальевич говорил о предстоящей войне, стараясь передать напряженность международной обстановки. И вдруг стало темно — в зале, в доме, на набережной, во всем городе. В кромешной тьме — ни растерянности, ни секундной паузы — он продолжал: «Вот так погаснет свет, когда начнется война без объявления войны и на Ленинград упадут бомбы, и я прошу вас помнить об этом, и действовать, быть солдатами...»

Молодое поколение тридцатых годов искало в литературе предсказания о будущем: все понимали, что отпущенная историей передышка непродолжительна. Может быть, наиболее остро и полно чувствовали это Николай Тихонов, Всеволод Вишневский и Петр Павленко. И не только чувствовали, но своими произведениями обращались к современникам: не давайте себе свыкнуться, смириться со всеми опасностями, которые грядут. Боритесь против войны, боритесь за мир. Каждый из названных писателей не изменил этой теме до последних дней жизни.

Вишневский хочет писать о людях современности, об отцах и детях, о философии и делах сегодняшнего дня, о столкновении двух социальных систем, об исторической обреченности фашизма. Сохранилось немало заготовок,

показывающих, в каком направлении работала авторская мысль. «Моя новая пьеса — отрывок из всемирной истории», — отмечает драматург в записи от *8 июня 1941 года.* И здесь же идут заготовки диалогов.

«— Что предстоит нам?

— Крещение огнем нового поколения в неизбежной войне. Жестоко отсеется всякая мелочь, трусы, эгоисты, бездумные.

— Ты рассчитываешь на некую новую Лигу Наций?

— Не знаю, но какая-то всемирная организация должна быть, или человечество действительно ничего не стоит.

— Рузвельт сядет за стол со Сталиным и Черчиллем?

— Абсолютно возможно.

— И подуют над миром благодатные южные ветры? Мир?!

— Мир, в котором, может быть, будет готовиться третья империалистическая война...»

Он уехал на дачу в Переделкино и упорно работал, отрываясь от бумаг только затем, чтобы не пропустить очередные сообщения радио. 21 июня замысел пьесы определился окончательно: «Пишу эпическую народную пьесу — как будем бороться с германским фашизмом. Оттенки 1812-го и Севастополя — тема вечного народа. Сочетать русские, украинские и другие начала плюс модернизм тотальной войны, трагизм, юмор... Мы — русские. В нашем сердце стучит кровь всех народов мира, кровь борьбы, мщения — *правды!»*

Часть IV

ВЫСОТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА

1

Когда в середине тридцатых годов на борт линкора «Марат» прибыл К. Е. Ворошилов, в ответ на приветствие наркома Всеволод Вишневский, находившийся в строю штабных командиров, негромко, но четко отрапортовал:

— Готов служить пером и винтовкой.

Эта фраза как нельзя лучше отражала внутреннее состояние писателя. И когда пришло известие о начале войны, тут же, захватив рукописи, он из своего переделкинского жилья выбежал на шоссе. На попутном грузовике Вишневский добрался до Москвы и через час был уже в Союзе писателей. Именно ему поручено заняться проведением мобилизации и отправкой на фронт писателей. И в тот же день вся страна слушала его радиоречь (напечатана под заголовком «Уроки истории» в «Красной звезде» 24 июня): *«Не быть вольному русскому человеку — сыну победителей на Чудском озере, у Танненберга, сыну покорителей Берлина — под фашистской пятой. Не быть свободолюбивому украинцу — сыну запорожцев — под проклятой баронской пятой. Не быть никогда! Не согнет шею ни белорус, ни гордый грузин, ни казах, ни смелый латыш!* .

Поклянемся перед Красным знаменем нашим, перед своей совестью и перед историей: «Пойдем в бой и насмерть раздавим гадину — фашизм!»

К победе, товарищи, вперед!

Напомним немецким фашистам — пока они еще живы, — как и где их бил русский народ!»

Уже на пятый день войны специальный корреспондент «Правды» Вишневский прибыл в Таллин, где находится штаб и Политуправление Краснознаменного Балтийского флота. Ему не нужно было выбирать оружие. Оно у него есть — грозное, отточенное, нержавеющее слово публици-

ста. А еще — политическая работа на кораблях, в частях, которую он всегда вел и по собственной инициативе в зависимости от обстановки.

Именно журналистика с ее реальным политическим и социально-психологическим, не отдаленным во времени, а сегодняшним, порой и сиюминутным воздействием на массы, ее близость к действительности и способность влиять на нее непосредственно привлекала, захватывала Вишневского с не меньшей силой, чем литература. А тем более сейчас, когда страна ввергнута в чудовищную войну, когда газеты, радиопередачи для людей и фронта и тыла — все равно что хлеб, что воздух.

«Быть агитатором, пропагандистом, организатором, — считал Вишневский, — необходимо! Эта работа писателя полноценна и правомерна...»

У каждого поколения в жизни — своя кульминация, свой самый высокий взлет. Для родившихся в начале XX века вершиной их судьбы стала Великая Отечественная война. Для Всеволода же Витальевича Вишневского, на долю которого выпали и битвы революции, и гражданская война, Великая Отечественная война была кульминацией вдвойне.

Теперь предельным испытаниям жизнь подвергла его самого. А точнее, он сам безудержно устремлялся им навстречу, так как его слово, убеждения, настрой души — все неразрывно слито с поступком, поведением, делом.

Таллин пока еще тих, на улицах можно встретить прогуливающихся, одетых в летнее платье людей. Даже на пляжах кое-где загорают: еще не все поняли, не осознали, что идет война.

Вишневский пишет статьи в газеты, выступает по радио. По заданию Центрального Комитета Коммунистической партии Эстонии вместе с заведующим сектором печати И. Кэбиным разрабатывает детальный план печатной и устной пропаганды в условиях прифронтового города.

На протяжении всей советской границы от Черного и до Балтийского моря идет битва прикрытия: стране надо отмобилизоваться, выиграть время. Немцы наступают изо всех сил, ведь Прибалтика — один из объектов первоначального внезапного удара Гитлера. День за днем отражены в дневнике писателя и сводки с фронтов, и на-

пряженная обстановка на дальних подступах, а затем в пригородах Таллина, и известия о диверсиях, проводимых немецкими шпионами, и боевые дела пехоты и кораблей Балтийского флота.

Теперь он ведет свои записи не от случая к случаю, а ежедневно, стоически упорно, невзирая на обстановку и условия войны. Причем рассматривает свой дневник не как художник, а прежде всего как летописец, стремящийся более всего к точности и правде и ставящий отчет о событии превыше художественной детали. Задачу эту для себя он сформулировал четко: «Сохранить для истории наши наблюдения, нашу сегодняшнюю точку зрения — участников. Ведь через год, через десять лет — с дистанции времен все будет виднее. Возможно, будет иная точка зрения, оценка. Оставим же внукам и правнукам свой рассказ. Наши ошибки и победы будут уроками для завтрашнего дня».

Дневники вбирают в себя четыре периода фронтовой жизни Всеволода Вишневского:

— шестьдесят восемь дней обороны Таллина, прорыв кораблей Балтийского флота в Кронштадт;

— семнадцать месяцев блокады Ленинграда — подробнейшая хроника жизни и борьбы;

— прорыв блокады, освобождение Прибалтики;

— и, наконец, сражения в Восточной Пруссии, участие в исторической битве за Берлин.

Он мечтал о том, что «Дневники военных лет» послужат основой для создания широкого эпического полотна о всенародной войне, о смертельном поединке с фашизмом. Но и опубликованные в том виде, в каком были написаны (они не только заняли два тома в Собрании сочинений писателя, но и выпускались отдельными изданиями), дневники явились уникальным художественным памятником Отечественной войны. Со страниц повествования перед нами возникает поразительный образ автора — человека, пропустившего через свой ум, свое сердце все грозные события того времени. На 124-й день войны он записывает: «Россия бесконечно мила мне. Она трогательно чиста... И у меня состояние духа чистое, решительное: придется идти с автоматом, с винтовкой — пойду...» Дневники отличаются внутренней цельностью: здесь чередуются короткие, сухие, информационного плана записи с развернутыми размышлениями, подробным анализом морально-политического духа защитников Ле-

нинграда или перспектив открытия союзниками второго фронта. Кажется, не хватает лишь заголовков, чтобы дневниковые записи выглядели как заранее обдуманный роман — со своими драмами, кульминациями и развязками. Пожалуй, трудно не согласиться с мнением Петра Вершигоры о том, что «Дневники военных лет» «не имеют в мировой литературе себе равных по охвату трагедийных событий Великой Отечественной, по глубине исторических прогнозов, по бескорыстному героическому трудолюбию их автора».

В сложный период первых месяцев войны он стремится как можно быстрее и глубже разобраться в ситуации — военной, политической. «Читаю Ленина о 1919 годе...» — все чаще встречается в дневнике.

Когда в июле 1941 года журналист Н. Михайловский зашел к нему в номер гостиницы, на тумбочке увидел томик В. И. Ленина со множеством закладок. Хозяин пояснил:

— Много поучительного о гражданской войне. Хочется все заново вспомнить, продумать, пережить... Жаль, времени мало. С утра начинается работа — выезды в соединения, листовки, статьи в газеты, выступления перед новобранцами...

А обстановка складывалась чрезвычайно трудная. Гитлер приказал прорваться к Ленинграду любой ценой — с потерями не считаться. Поэтому главное стратегическое назначение таллинской обороны — как можно дольше сдерживать натиск врага. «Я с радостью считаю каждый выигранный день...» — записывает Вишневский 5 июля. Он отчетливо понимает объективные трудности: страна должна отмобилизоваться в широком смысле этого слова, перестроить свою экономику, — остро ощущается нехватка самолетов, танков! «Эх, если б нам хотя бы еще год»,— сожалеет он на другой странице дневника.

Всеволод Витальевич задумывается и над тем, какой должна быть агитационная, пропагандистская роль журналиста, как наилучшим образом ее исполнить. Налет казенщины и «агиточерковый» стиль газет претят Вишневскому: журналист, писатель обязан «думать, открывать суть, видеть новое, дали!..». Боец на передовой и тот, кто крепит тыл, жаждут откровенного, правдивого слова: «Из уважения к своему народу надо разговаривать с ним так, как вы говорите с любимой, с отцом, со стариком, как вы разговариваете в самые серьезные, потрясающие

моменты жизни. Иного разговора у нас, литераторов-публицистов, быть не может...»

Вишневский вчитывается в газетные статьи и очерки и многое с досадой отбрасывает прочь: «Нет, совсем не то...» Сегодня его, писателя героико-патетического направления, не устраивает именно излишний пафос, упоение штыковыми атаками, индивидуальным героизмом. Он убежден: личного мужества и самопожертвования в современной войне мало, ключ к победе в не меньшей мере — в технике, мастерстве, в таланте полководцев и командиров, в гибкости и дальновидности операций, в бесперебойной работе тыла. Стремительное продвижение врага в глубь страны Вишневский объясняет и промахами командования, но твердо верит в то, что народ даст сотни новых военачальников.

Прибыв в Таллин, он не ограничивается деятельностью журналиста, а по своему обыкновению выполняет множество других обязанностей.

Вот, например, какой эпизод рассказал Н. Михайловский, встретивший Вишневского в бригаде морских пехотинцев на передовой:

«— Вы что здесь делаете? — спросил я.

— Изучаю обстановку и с народом беседую, — объяснил Вишневский. — Тяжело приходится. Противник крепко жмет. Люди, сжав зубы, держатся, пружинят...

Просвистели снаряды. И, точно эхо, где-то совсем близко прокатилось несколько глухих взрывов. Всеволод Витальевич усмехнулся, заметив, как моя голова инстинктивно втянулась в плечи.

— Эх вы! Сразу видно, что необстрелянный...

Пошутив, Вишневский дружески взял меня за руку и привел к бойцам, которые поблизости от шоссе маскировали орудия, только что установленные на новой огневой позиции... Бойцы встретили Вишневского как старого знакомого, и к нему сразу же обратился маленький круглолицый сержант:

— Товарищ полковой комиссар, вопросик есть: фронт у нас не сплошной, мало нас. Фашисты в Таллин то по пятку, то по десятку просачиваются. Чего доброго, так их соберется целый полк. Как ударят нам в спину, что делать будем?

— Биться! — резко ответил Вишневский и уже спо-

койно, рассудительно продолжал: — Вы думаете, это первый случай в истории? Такая же картина была в Мадриде во время боев. Целые подразделения фашистов умудрялись пробираться через боевые порядки республиканских войск. И что ж? Кто-нибудь отходил? Никогда! Фашистов вылавливали, обезвреживали, а линию фронта держали на крепком замке.

— Откуда вы это знаете? — с любопытством спросил снова сержант.

— Я сам был в Испании. Ходил и в наступление...»

Без рисовки, всегда внутренне раскованный, Вишневский как бы само собой «вписывался» в любой воинский коллектив, обладал способностью поразительно быстро разобраться и в деталях конкретной позиции, и в общей ситуации. А самое главное — он умел поднять моральный дух бойцов.

Внешне нелюдимый и замкнутый, Вишневский говорил обычно тихо, даже застенчиво. Казалось, он постоянно сосредоточен, весь углублен во что-то такое значительное, что полностью захватило его естество и не отпускает ни на миг. И в то же время Вишневский буквально преображался, когда чувствовал, знал, что в его влиянии, воздействии, в его непосредственном участии в решении той или иной задачи есть необходимость.

Как-то на совещании у члена Военного совета фронта Н. К. Смирнова, после обсуждения задач печати в текущий момент Вишневский поднялся и сообщил, что у него есть некоторые соображения насчет организации обороны Таллина.

— Напишите, Всеволод Витальевич, будем вам признательны, — сказал Смирнов. А после короткой паузы продолжил: — Мы тут подумали и решили просить товарища Вишневского возглавить в Таллине наших литераторов. У вас возражений не будет?

— Нет, — дружно ответили присутствовавшие здесь корреспонденты центральных газет, призванные или добровольно пришедшие в армию писатели. Среди них — Л. Соболев, Г. Мирошниченко, А. Тарасенков, А. Зонин. Собственно говоря, старшинствующую роль Вишневского признавали все и до этого совещания. Так, единственным человеком, который уверенно дал совет, как поступать только что пришедшему из Палдиски в Таллин с группой политработников Николаю Чуковскому, был Всеволод Витальевич. Он сказал: «Пишите, пишите как

можно больше. Пишите всюду, где можете, — в больших газетах, в маленьких в листовках. Пишите о малом и большом, о частном и общем — обо всем, что укрепляет надежду. Мы очень сильны, за нас история, за нас народная правда. Пишите!»

И сам Вишневский в эти дни писал очень много, был первым журналистом обороны Таллина. Помимо регулярно публиковавшихся материалов в «Правде», он дает корреспонденции и статьи для «Красной звезды», «Комсомольской правды», «Ленинградской правды». В «Советской Эстонии» вместе с другими писателями готовит специальный выпуск «Боевая Балтийская», где освещаются подвиги защитников Таллина. Во врезе к первому номеру (3 июля 1941 года) Вишневский призывает военкоров присылать в газету корреспонденции, письма, заметки, чтобы страница была интересной, боевой, острой и веселой: «Похвалим и отметим перед народом храбреца. Ободрим тех, кого надо ободрить. Дадим правдивые сообщения о стойкой народной борьбе с подлым фашизмом».

Его статьи, обращения читались жадно — ведь в них дышало неподдельное чувство, которого жаждало каждое сердце, — чувство уверенности в победе. Днем он бывал на передовых позициях — у моряков, у летчиков, у пехотинцев, вечерами отписывался, а глубокой ночью засиживался над материалами под рубрикой «НДП» («Не для печати») — над докладной запиской о насущных проблемах обороны города.

Человек, за плечами у которого несколько войн и основательная специальная подготовка, он видит и понимает, что главное — борьба с танками и авиацией противника. Вишневский чертит схемы — наносит наиболее угрожаемые направления, на которых целесообразно устроить завалы, противотанковые заграждения и рвы; в Таллине необходимо наладить производство простейших средств борьбы с танками — бутылок с горючей жидкостью. 25 июля он был свидетелем атаки «мессершмиттов» на наш аэродром Лаксберг. Есть потери, так как зенитчики не успели открыть огонь — посты противовоздушной обороны поздно сообщили о налете. Предложение Вишневского: усовершенствовать систему воздушного оповещения и дополнительно установить зенитные точки на южной и юго-западной частях аэродрома.

Как-то в один из августовских вечеров Николай Михайловский, заглянув на огонек к Вишневскому, застал

его в прекраснейшем расположении духа. Быстрыми широкими шагами он мерил гостиничный номер и вместо приветствия, довольно потирая руки, повторял:

— Если по воздуху добрались, то и по суше дойдем!

Морские летчики Балтики нанесли первые бомбовые удары по Берлину, и только что Всеволод Витальевич поймал по приемнику английское радио, которое подтвердило: бомбежка была удачной.

Разговорились, а когда наступило время гостю уходить, Вишневский, словно догадавшись о его желании, вдруг спросил:

— Ну что вы мнетесь? Принесли что-нибудь?

Михайловский извлек из планшета рукопись в семь страниц. Вишневский тут же начал читать и сразу править. Делал он это быстро, размашисто, вычеркивая абзац за абзацем:

— Зачем так? Что это еще за пустота?..

Автор пытался как-то защититься и доказать, что, например, «подводная лодка потопила противника» — это сухо, информационно, а надо художественно: «На алой заре, перьями висевшей над свинцовой поверхностью моря, подводная лодка торпедировала стальное тело морского пирата».

— Художественно — это у Льва Толстого, — отрезал Вишневский. — Война идет, а у вас все еще «перья» над поверхностью. Перья были до 22 июня. Тогда я еще согласился бы выслушать ваши объяснения относительно «алых перьев». А сейчас... Люди гибнут, а вы со своими «перьями»... Время требует строгого, делового стиля, без сюсюканья.

Из семи страниц осталось три. Пробежав их глазами, Вишневский остался удовлетворен:

— Вот теперь в порядке. Не огорчайтесь!

И улыбнулся. Улыбался он редко и очень по-доброму...

Есть люди растерявшиеся, распустившиеся, поверившие слухам? Надо бороться за их души, повернуть их лицом к делу, а для этого — каждый день и час учить умению, искусству воевать. Подтверждает эту мысль отзыв Всеволода Витальевича на политические плакаты, выпущенные московским издательством. Они напоминают ему поделки некоторых поэтов и журналистов — все на спешке и на крике, на внешнем приеме: «А где анализ (и в

плакатах и пр.)? Властно осадите себя, окружающих: нужны четкость, расчет, план... Нужно осмысленно, четко, умно дать в художественных образах советы бойцам и народу... Не вообще «ура, бей!» — а как бороться с танками; как отражать налеты авиации, как нападать на противника, как тушить пожары и пр.» *(из письма С. К. Вишневецкой).*

В первый период войны гитлеровцы в самых разных масштабах применяли тактику охвата с флангов благодаря внезапным атакам моторизованных и танковых частей. Что противопоставить им? На этот вопрос Вишневский отвечает в корреспонденции «Вот как надо бить фашистов» («Советская Эстония», 16 июля) на примере успешного боя пятнадцати солдат против мотоколонны противника. Автор намеренно подчеркивает в самом начале: дается описание операции, которую должен знать и при случае осуществить каждый. Язык корреспонденции прост, ясен, ничего лишнего:

«Младший лейтенант А. Жук приказал подпустить колонну поближе. Наводчику 45-миллиметровой пушки К. Алиеву было приказано наводить по последней машине, а пулеметчику т. Нефедову — по головной. Остальные будут зажаты и не уйдут...» И далее шаг за шагом, эпизод за эпизодом автор разворачивает картину боя и убеждает: стой хладнокровно, бей метко — враг будет уничтожен. Приемам врага противопоставим иные тактические средства, морально-психологическую устойчивость, русское упорство, нейтрализуем боязнь окружения, особенно у молодых, необстрелянных бойцов.

Когда читаешь корреспонденции Вишневского, ощущаешь присутствие автора: его цепкий глаз, его знание «фронтовой прозы», существа боевых операций и поединков. «Факты успеха» — подвиги — образцы для подражания, пусть их пока не так много, призваны вселять уверенность в том, что врага можно бить. И публицист не раз обращается и к опыту Балтийского флота, который за первый месяц войны уничтожил броненосец и крейсер, десять подводных лодок, девять миноносцев, четыре сторожевых катера и тридцать транспортов противника.

Вишневский пишет о подводниках, которые, подобно охотнику в джунглях, то выжидают в засаде, то продвигаются вперед к логову зверя. В корреспонденции «Герои подводных глубин» автор не раз варьирует, повторяет одно слово: «идти в этой тьме надо *настороженно», «насто-*

роженность ни на минуту не покидает подводников». Именно это качество должно стать для них органичным, неотъемлемым. А еще — упорство и хладнокровие.

Ночи на Балтике стоят несказанно хорошие — белые ночи. На огромном пространстве идет скрытая, напряженная, беспощадная борьба. Хотя враг и уклоняется на море от встречи, и эсминцы, и подводные катера наготове, несут свою боевую службу. Тишина обманчива... И автор очерка «Морские охотники» энергично, словно в устном выступлении перед моряками, раскрывает опасности, таящиеся в этой тишине: «Проверять, «прощупывать» надо буквально все и вся. Мирный буек плавает. Не верь — это колпак от антенны, мины... Вешка покачивается. Но ведь это может быть маскировка перископа подводной лодки... Идет нейтральный «купец». Не верь — это маскировка...»

Но вот враг обнаружен: жаркий поединок, победа. И вновь — нежная гладь моря, с берега тянет хвойным ароматом, солью, прибрежной йодистой прелью... Завершается очерк нескрываемым восхищением автора: «Балтийское молодое племя просто делает свое дело. Мы вправе сказать: «Сыны у нас выросли хорошие».

У них есть с кого брать пример. В статьях «Военные комиссары», «Балтийские комиссары», напечатанных в «Советской Эстонии» (19 и 27 июля), Вишневский ведет речь о боевых традициях революционных моряков, о преемственности этих традиций, о балтийском комиссаре Николае Маркине, вместе с которым воевал на Волге в 1918 году.

Борьба принимает совсем иной, чем ожидал Гитлер, характер. Нужно «выматывать» противника, наносить ему удар за ударом, град контрударов со всех сторон; выигрывать время, день за днем, неделю за неделей: «За волосы втягивать в затяжную, нещадную войну. Мы их протащим мордой по осенней грязи, по болотам; мы сунем их в зимние сугробы... Мы покажем им все красоты русской природы и климата, если уж так им захотелось попасть к нам... Они узнают, что значит море народной ненависти...» Вишневский с удовлетворением приводит письмо участника гражданской войны Андреева к сыну: «Приду к вам на позиции. Не наденет фашист на нас свое ярмо. Наш народ поставит Гитлера перед Революционным Трибуналом трудящихся всего мира!..»

Этот прием — введение в газетный материал докумен-

та — публицист неоднократно использует и впоследствии. Например, в опубликованном 22 августа обзоре «Германия стонет» (на основе писем, найденных у пленных) он говорит о моральном состоянии немецкого народа, начинающего понимать, что такое эта война: «Читаю письма, взятые у пленных и убитых немцев: вопли о бомбежках Кельна, Аахена и пр.; голодно, тоска о мире... Письма горькие... Да, сущность в одном вопросе: кто кого?»

В ночь на 26 августа, на пятый день боев за Таллин, когда выпуск «Советской Эстонии» прекратился, Вишневский помечает в дневнике: «Если писать в местные газеты нельзя, дам по радио — для Москвы. Буду делать свое дело».

А между тем кольцо фашистских войск вокруг города неумолимо сжималось. Уже шли уличные бои, сооружались баррикады; Вишневский — на самых напряженных участках обороны — во втором морском батальоне и у зенитчиков, среди ополченцев Таллинского рабочего полка и саперов. Однако силы были неравные.

Спустя три с лишним года он возвратится сюда — с передовыми частями советских войск. И в первом же номере «Советской Эстонии» обратится к городу со статьей «Здравствуй, Таллин!». Он припомнит эти горькие дни и скажет о том, какую большую роль сыграла оборона города: «Немцы превосходили нас численностью в шесть раз — да, так было в июне, июле, августе, сентябре 1941 года. Но мы, эстонцы и русские, дрались упорно. Гитлер не мог добиться «молниеносных побед». Прибалтика съела у него десятки и сотни тысяч кадровых солдат. Один героический Таллин совершенно обескровил 26-й германский корпус, который потом так и не смог развить удар против Ленинграда».

А 28 августа 1941 года Балтийский флот, покинув Таллинский рейд, взял курс на Кронштадт. Этот переход — одно из самых героических и трагических событий войны. Немцы начали атаковать с воздуха корабли, когда они еще стояли на рейде, и потом беспрерывно бомбили до самого конца пути. Множество судов шло в открытом море, а наши истребители, обладавшие малой дальностью полета и потерявшие все свои береговые аэродромы, не могли их охранять. Немецкие бомбардировщики пикировали на корабли один за другим. Да к тому же еще и минные поля, непрестанные атаки осмелевших торпедных катеров и подводных лодок противника.

Во время перехода Вишневский всю ночь не сомкнул глаз. Он находился на лидере «Ленинград», стоял на ходовом мостике рядом с командиром корабля и фиксировал все, что происходило вокруг. Под огнем противника журналист делал свое дело — вел боевой репортаж о походе. На страницах дневника словно аккумулировано огромное напряжение, оно передается при чтении, не позволяет оставаться равнодушным. Вот лишь небольшой эпизод героического похода, записанный по часам и минутам:

«Мина по борту! *Близко!* Я заметил... Шаровая с рогами. (Неприятно.)

Две подозрительные вешки.

Обгоняем тральщик.

Болтаются две пустые шлюпки и два спасательных круга. Стоят «Верония» и др. Обгоняем еще один тральщик.

Идем в кильватерном строю. «Кирова» закрывают дымовыми завесами.

Скоро 20 часов.

Бьют с эстонского берега. (Там уже враг.) Свист снарядов... По эсминцам... Бьют и с финского берега, слева. Разрывы...

Идем молча, упорно.

Опять два разрыва, вой снарядов.

Остовы погибшего транспорта и катерка с пушкой. Мель. Летят с визгом (с берега) снаряды. Очередные недолеты!..

Мина у правого борта! Две! Три! (Люди нервничают. Бегут на корму.)

Бьют батареи с берега!..

В последнюю минуту осторожно подаемся назад, влево. Обошли мины!

Самолеты! Гудки...

Люди стоят на постах *сутками*... Ночью стояли по бортам, вглядываясь в темень. Из машинного отделения не вылезает нижняя команда. Сутки не ели. Краснофлотцы прыгали за борт — отталкивали мины руками. Золотые люди...» — записал он незадолго до прихода в Кронштадт. А закончил дневник этого периода такими словами: «Я много продумал за дни обороны Таллина. Балтийский флот сделал много, совершены сотни актов беспримерного в истории морских войн героизма. *Балтийцы не запятнали своей чести ничем.* Дрались упорно, ушли по приказу».

2

В тот день, 14 сентября 1941 года, фашистские войска начали штурм Ленинграда, а комсомольцы и молодежь собрались на городской митинг, проводившийся во Дворце Урицкого. Впрочем, это было скорее общее собрание — выступления транслировались по Всесоюзному радио, а речь Всеволода Вишневского — редкий по тем временам случай — выпущена грампластинкой тиражом в две тысячи экземпляров.

Бои идут в окрестностях города: на улицах рвутся вражеские снаряды, а в небе с монотонной регулярностью появляются фашистские бомбардировщики — зенитчики и истребители сдерживают их с трудом. Город уже осажден, и несколько дней назад (10 сентября) Геббельс записал в своем дневнике: «Мы и в дальнейшем не будем утруждать себя требованиями капитуляции Ленинграда. Он должен быть уничтожен почти научно обоснованными методами». Правда, прежде немецкие войска предприняли самые решительные попытки взять город с ходу.

Среди молодежи, заполнившей исторический зал Таврического дворца, многие еще в штатском.

На трибуну поднимается невысокий, кряжистый моряк: на груди ордена, на рукавах кителя нашивки бригадного комиссара [1], через плечо — деревянная кобура с пистолетом. Он взволнован и, наверное, еще и поэтому начинает говорить очень тихо. Ему оказана великая честь: выступить в Ленинграде, когда идет штурм города, говорить с молодежью, говорить с трибуны, с которой держал речь Ленин. Да, он будет вести абсолютно откровенный разговор, как один на один с дочерью или сыном. Вишневский обращается ко всем сразу и к каждому в отдельности:

— Здравствуйте, юноши и девушки Ленинграда, молодежь великого краснознаменного города. Я обращаюсь к вам по поручению Краснознаменного Балтийского флота как военный моряк, писатель и уроженец этого города...

Революция открыла нам все сокровища культуры, сделала нас хозяевами нашей земли, хозяевами собственной судьбы.

---

[1] За участие в обороне Таллина В. В. Вишневскому было присвоено это звание.

Кто из нас не ходил по просторам Родины, не любовался могучими ее равнинами, не видел ее гор, лесов!

Товарищи юноши и девушки, все это наше, родное, русское тысячу лет. Все омыто кровью поколений...

Вдумывались ли вы, товарищ комсомолец и беспартийный, юноша и девушка, в смысл, в существо фашистской угрозы? Вдумайся покрепче! Фашизм хочет плюнуть тебе в лицо и в твою душу. Он называет тебя насекомым...

Фашизм хочет сломать твою судьбу, товарищ, он хочет растоптать твое тело, растоптать твою душу, сломать твою культуру, твои традиции, твою любовь, твою дружбу, ленинградская молодежь!..

Мы будем защищать свой город, каждый камень будем защищать — любимый, родной Ленинград! Товарищи, речь сейчас идет не только о Ленинграде, речь идет о самом существовании нашей нации. Речь идет о самом основном. Быть или не быть — вот в чем дело...

Уступать мы не намерены ни на дюйм, ни на дюйм! Запрещаем думать об этом! В нас кровь большевиков, кровь прирожденных победителей, кровь тех, кто высоко поднял здесь знамя Октября!»

В августе 1943 года, когда Вишневский зашел в горком комсомола, его ждали, ему обрадовались и вспомнили митинг в Таврическом зале: «А вы знаете, что после этого митинга около пятисот тысяч человек ушло на фронт добровольцами? Запись была колоссальная — почти все комсомольцы города. Всего за июнь — сентябрь 1941 года Ленинград дал семьсот тысяч добровольцев из молодежи».

А спустя десятилетия, в дни 30-летия Победы над фашистской Германией, на палубе краснознаменного крейсера «Киров» собрались ветераны войны, рабочие, курсанты, матросы, старшины. Шло торжественное собрание, и вдруг, будто предоставлено слово очередному оратору, из репродуктора донесся взволнованный, звучащий откуда-то издалека голос:

— Балтийский флот дерется день и ночь: как ежи ощетинились, работаем, туда и сюда бросаем отряды — действуем...

Все присутствовавшие стояли не шелохнувшись, а тот, кто был свидетелем и участником войны и, может быть, слушал эту речь Всеволода Вишневского, вновь и вновь переживал былое. Кто остался в живых, ныне вырастил

детей, радуется внукам. Память же навсегда сохранила глуховатый голос писателя, его горячие, рвущиеся из самого сердца слова.

О Ленинграде военных лет выпущены десятки книг — воспоминаний, мемуаров, художественных произведений. В них высветлены ключевые моменты беспримерной в истории эпопеи. И многие авторы, особенно те, кто сам пережил блокаду, повторяют мысль, высказанную Николаем Чуковским: «В создании того удивительно гордого духа сопротивления, благодаря которому Ленинград выстоял и победил, огромная заслуга принадлежит Всеволоду Вишневскому, Николаю Тихонову, Ольге Берггольц и Вере Кетлинской, сила эмоционального воздействия которых на духовную жизнь города была бесспорно велика».

Наметившийся во время обороны Таллина образ жизни Вишневского приобретает теперь и новые краски — становится еще более напряженным и многоплановым.

К выступлениям перед бойцами и моряками теперь прибавились беседы с рабочими заводов, молодежью, ранеными в госпиталях.

Его хорошо знали во многих коллективах, в частности на Кировском заводе. Первая встреча состоялась осенью 1941 года, в дни, когда до линии фронта оставалось лишь четыре километра. Территория завода подвергалась артиллерийскому обстрелу, воздушным нападениям. Однако в подвальное помещение заводоуправления, переоборудованное под клуб, набиралось много людей.

— Война закончится в поверженном Берлине, а не в Москве, — говорил Вишневский. — Мощь Красной Армии крепнет с каждым днем...

А спустя некоторое время на завод пришло письмо, адресованное женщинам (они-то в основном работали в цехах):

«Товарищи! Приближаются лютые, решающие бои весны и лета. (Так было сказано более чем за полгода до этих событий 1942 года. — *В. Х.*). Соберите все силы, всю волю, сделайте для победы нашего великого дела все, что вы в силах сделать...

Вперед, товарищи, боевые подруги!

По поручению писателей Всеволод Вишневский».

В свою очередь, после одной из встреч на Кировском заводе он получил письмо от работницы Таисии Нико-

лаевны Соловьевой. Она сидела вблизи (видимо, Вишневский читал отрывки из пьесы «У стен Ленинграда». — *В. Х.*). «Вы сами, — пишет Соловьева, — читая свои строки вновь и вновь, переживали то, что никогда не должно повториться. Ваш умышленный наклон головы, чтобы не показать затуманенных глаз, прилив крови к лицу, нахмуренный лоб говорили о большом усилии над собой...

Не увидев Вас, я не решилась бы написать... Встретив Вас на нашем заводе таким простым, добродушным и искренним, я не могла удержать порыва...»

Такие встречи питали его новой энергией. «Мне душевно хорошо, — писал он в дневнике, — здесь цвет рабочего класса, боевые питерцы, кировцы... Они под выстрелами и плясать умеют... Какая все-таки духовная силища у нашего народа! Да, мы закаленнее Европы... Она это поймет...»

За несколько дней до совещания комиссаров, политруков, секретарей партийных и комсомольских организаций кораблей и береговых частей Балтийского флота, вспоминает литератор И. Е. Амурский, Вишневский вдруг исчез. Явился накануне сильно утомленный и взбудораженный. Когда ему предоставили слово, то неожиданно для большинства присутствующих речь пошла совсем не о литературе и агитационных материалах:

— Товарищи! Надо срочно оградить Кронштадт с суши такими окопами (если враг попытается сбросить на остров Котлин воздушный десант. — *В. Х.)*, из которых в любой момент можно встретить фашистских гадов крепко, по-балтийски! Забросать их гранатами, косить огнем пулеметов и минометов, атаковать штыковыми контрударами! А какие окопы сделали мы? — Писатель сорвался с места и быстро вышел на середину зала, продолжая говорить: — Некоторые из них очень плохие! Это не окопы, а заранее подготовленные могилы для нас самих...

Раздались реплики: «Слишком мрачную картину рисуете!», «Не преувеличиваете ли по-писательски?..»

— В последние дни, — ответил Вишневский, — я исколесил почти весь остров по направлению вероятной высадки десантников и проверил, как сделаны окопы. Повторяю: очень плохо...

В один из январских дней 1942 года (самых трагических, когда в городе не было света, не работали телефоны,

прекратилась доставка газет и умолкло радио), вернувшись с фронта у Невских порогов, Вишневский вечером выступил в военно-морском госпитале на улице Льва Толстого. Народу много, завернутые в одеяла фигуры заполнили длинный темный коридор. Люди ежатся — госпиталь без тепла, без света. На столе — фонарь «летучая мышь». При таком освещении людей и не видно, их можно лишь чувствовать по шороху и еле слышному шепоту.

Из-за холода решили провести десятиминутную беседу — Вишневский согласился, времени хватит. Он поднялся на стул, вид усталый, болезненный. Но речь его — о фронтовых наблюдениях с множеством конкретных деталей и эпизодов, темпераментная, эмоциональная — захватила всех. Бледные, изможденные бойцы целый час не отпускали его, а на следующий день многие из них обратились к начальнику госпиталя с просьбой выписать и отправить на фронт — именно к Невским порогам, где идет жестокая битва. Комиссар госпиталя заметил, то ли в шутку, то ли всерьез, что, если Вишневский еще раз выступит, в госпитале не останется ни одного раненого...

Общаясь с самыми разными людьми, каждый раз он оставался самим собою — искренним, убежденным и убеждающим других. Вселять веру в победу ему помогало, как он писал 4 февраля 1942 года, *«чувство жизни, исторический объективизм. Будут жить и люди, и город, и страна, и мир! Родятся новые, в меру вспомянут умерших памятниками, книгами, шествиями, датами. Все будет в вечном ритме, в вечном потоке...».*

Все чаще в дневнике звучит мысль: надо быть еще строже, еще организованнее. Надо помнить ленинские слова: главная проблема, от решения которой зависит судьба революции, — о р г а н и з а ц и я.

Сейчас писатели разбросаны по многотиражным газетам, в частях и на кораблях. А что, если собрать их в один кулак — образовать при Политуправлении Балтийского флота писательскую группу как особое воинское подразделение?

Вишневский поделился своей идеей с В. А. Лебедевым, начальником Пубалта, и получил поддержку. Оперативная группа писателей, возглавляемая Вишневским, должна была через печать, радио освещать действия балтийских моряков, помогать флотским газетам. Надо было писать брошюры и листовки, накапливать материал для будущих

художественных произведений. Писатели обязаны были готовить материалы и для центральных газет («Правды», «Известий», «Красной звезды», «Комсомольской правды»), для радиовещания.

Вишневский с глубокой неприязнью относился к писателям, которые, может быть, неосознанно воспринимали войну только как «литературный объект» («Я хочу писать, а мне мешают...». В письме от 26 августа 1941 года, адресованном А. Тарасенкову, Н. Чуковскому и В. Пронину (столь категоричный тон вызван тяжелым положением на фронтах), он говорит: «Немедленное, систематическое участие в газете — вот требование и приказание. Оценка работы писателей — в ближайшие два месяца — будет зависеть от выполнения этого задания». И вообще он считал, что долг каждого — быть нужным «огромному миру труда, боевых дел, службы» и работа в печати, познание среды, флотского и армейского духа, языка, быта — неоценимая школа для писателя.

О характере работы участников оперативной группы писателей может свидетельствовать индивидуальный план на октябрь — ноябрь 1941 года, составленный Вишневским: издание брошюр «Балтийский стиль» (очерки о Краснознаменном Балтийском флоте) и «Кронштадт — огневой щит Ленинграда» [1], подготовка сценария документального фильма о флоте; серии новых очерков для «Правды», «Ленинградской правды», радиовыступления, лекции: «Международное положение», «Балтфлот в Отечественной войне» (обзор за 100—110 дней), «Традиции Балтфлота».

Группа писателей несколько раз меняла место своего размещения. Вначале находилась в мрачноватом сером доме на набережной Красного флота № 38. В большой комнате стояли застланные по-солдатски койки, письменные столы. Холодно, на окнах — черные бумажные шторы. Чай и микроскопическая порция жесткого хлеба внизу в командирской столовой (в этом доме было размещено Политуправление). «Однажды, — пишет Вс. Азаров, — нам выдали дополнительно по небольшому комку ноздреватой массы: это был сыр из казеина, сырье, обработанное для изготовления пуговиц, которому волею событий пришлось стать заменителем пищи. Мы подсушивали не-

[1] В архиве писателя есть несколько вариантов рукописи «Крепость Кронштадт».

ожиданный дар на батарее парового отопления, он издавал чудовищный запах, был несъедобным, но, конечно, мы его ели».

В конце дня члены группы возвращались после выполнения заданий, и по установленному им правилу Всеволод Витальевич делал короткий оперативный доклад об обстановке на фронтах. Все по очереди рассказывали об увиденном и услышанном в частях, в городе; читали друг другу строчки написанного, письма от близких. Даже в самое трудное время в группе царил дух сплоченности, взаимовыручки, высокого достоинства и братства. В создании такой атмосферы несомненна заслуга Вишневского. «Я хочу, чтобы группа была спаянной и дружной, — писал он в дневнике. — *За службой никогда не должна пропадать человеческая писательская душа... Революция имеет смысл только как дело человечности, простоты, ясности и дружбы...»*

Одно человеческое качество вызывало особое раздражение и нетерпимость со стороны Вишневского — трусость. Но сам он, как истый военный, не бравировал своей отвагой. Не сосчитать, сколько километров прополз Всеволод Витальевич по траншеям и рвам Пулкова, Ораниенбаума, Невской Дубровки, на скольких боевых кораблях и в авиационных частях побывал, чтобы добыть «горячий», из первых уст материал для печатных и радиовыступлений, для бесед с народом,

Маршруты Вишневского — в редакции газет, отделение «Правды», в городской комитет партии и радиокомитет — пролегают по полуразрушенным, обезлюдевшим улицам и площадям. Уже наступили холода, и все труднее и труднее становится жизнь в осажденном городе. Положение с продовольствием ухудшается: сахару выдают по пятьдесят граммов на десять дней, масла нет, с волнением ждут объявления завтрашних норм хлеба. На базаре кило капусты стоит пятьдесят рублей, за ней очередь. Из жмыхов делают лепешки. Хлеб, водка и теплая одежда — вот нынешняя ленинградская «валюта».

У некоторых людей сдают нервы, это заметно. Но большинство держится крепко. Как-то еще в октябре Вишневский возвращался железной дорогой из пригорода в Ленинград. В вагоне разговоры, стремительные знакомства моряков с девушками... Вдруг ему показалось, что все это — вне войны. Вечные черты русского характера — доброта, открытость, простота...

Всеволод Витальевич пристально всматривается в изменившийся пейзаж родного города, в лица людей, в неимоверно тяжкий блокадный быт. Шагают мальчишки-ремесленники; они учатся, работают. Вид у них тоже утомленный, и тем глубже значение их труда. Везде женщины, женщины... Много, конечно, одиноких, вдов, таящих горе, — они несут бремя войны с необычайным упорством. Война и ее исход, размышляет Вишневский, решаются не только в окопах: гигантское общее усилие народа, стоицизм женщины в огромной мере определяют ход событий.

Поздняя ночь. Он сидит в своем закутке, отгороженном фанерой от комнаты, где спят боевые товарищи, и пишет, создавая в дневнике неповторимый образ блокадного Ленинграда: «Мороз. Иду из Политуправления, тащу кусочек хлебца... Тьма. Все вокруг в морозном тумане... Деревья, металл, камни — все в инее... Под ногами скрипит снег... Решетки, Исаакий, Адмиралтейство — все бело. Причудливо спутанные провода. У заиндевевшей решетки белого ледового Летнего сада на снегу сидит человек, странно раскинув ноги. Просто устал? Или умирает...»

Жестокая дистрофия свалила и Всеволода Витальевича: кровь хлынула горлом, он потерял сознание. Хорошо, что рядом оказались люди — свезли в госпиталь, где он пролежал целый месяц — по 4 января 1942 года. И здесь, несмотря на крайнюю слабость, продолжал вести дневниковые записи: *«1 декабря 1941 года* (163-й день войны). В госпитале. Ночью привезли... Почти без памяти... С утра слабость. Жаль, но здоровье сдает...

Дотронулся до десен, идет кровь. Походил — слабость. Врач расспрашивает, говорит: «Это резко выраженный авитаминоз».

В госпитале две с половиной тысячи раненых и больных, при норме — полторы тысячи человек. Ночью привезли раненых из-под Колпино».

И отсюда Вишневский продолжает держать тесную связь с оперативной группой писателей, всем интересуется, вникает в каждую деталь. В записочке своему заместителю Г. И. Мирошниченко есть проникнутые дружеской заботой строки: «Гриша, как обстоят дела с едой, выдали ли ушанки, валенки, кожухи?..» Редактирует статьи, очерки коллег для центральной прессы, проводит беседы с ранеными, задумывается о литературном творчестве: сейчас он писал бы «быт войны», социальные зарисовки, тщательные и многосторонние.

В общем, продолжает работать.

Как лечить дистрофию? Вишневский сам для себя определяет пути лечения:

«1) Прорвать блокаду Ленинграда.

2) Некоторое улучшение питания.

3) В будущем: диета и отдых (?!) после победы...»

В этом «рецепте» весь характер Вишневского — воинствующий, неукротимый.

В те дни поднимали на ноги не только лекарства, не только лишний грамм хлеба, но и вера в победу, а ее у Всеволода Витальевича хватало не только для себя — и для других. В феврале 1942 года, когда дистрофия настигла Тарасенкова, он пишет ему такие ободряющие и вдохновляющие строки: «Я хотел бы сказать людям, Маше, твоему сыну, матери, близким: «Да, Анатолий — воин, коммунист, моряк, — работа в «Знамени» была органичной, и это было доказано на войне в полном объеме».

А сам Вишневский поправлялся медленно. Сказывалась и его давнишняя болезнь, заявившая о себе еще в середине тридцатых годов, — гипертония.

Ему тоже помогали друзья своим вниманием, посещениями, письмами о делах. А однажды вечером услышал по радио стихи Азарова, посвященные ему, Всеволоду Вишневскому:

Вся в звездах ночь, вся в крыльях тьма,
Подобны воинам дома,
Жилища грозные как доты.
Гранитных глыб архипелаг.
Идет по площади моряк
Прославленной морской пехоты.
...Гляди, моряк, на город свой —
Он стал суровей, непреклонней.
Пусть с пьедесталов над рекой
Уходят бронзовые кони.
Пусть в пулеметных гнездах он
И в многостенных баррикадах.
Пусть никогда не брезжит сон
В глазах упрямых Ленинграда,
Но счастлив я, и ты, и он,
Вдыхая грозовой озон.
В бой, ленинградские отряды!

Он был очень тронут и не замедлил откликнуться, послав Азарову записку: «Вся в звездах ночь» — будто страница моего дневника... Это наше общее, кровное. Хорошее стихотворение. А за посвящение — братское спасибо!..»

В первые дни нового, 1942 года по поручению Ленинградского Дома Красной Армии, невзирая на страшный мороз, ученицы десятого класса разносили подарки раненым. Всеволод Витальевич разговорился с ними, записал непосредственный живой рассказ, передающий и бытовые подробности, и мироощущение, и характер юных ленинградок.

«— Мы учимся!.. И хотя холодно, но все теперь повеселели — ведь прибавили хлеба до 250 граммов, а это значит — можно два раза в день есть. Кроме того, суп в школе стали давать без карточек. Мы, молодые, здоровые, бегаем по городу. Одна старушка показала нам, где ваш госпиталь. Я, говорит, доведу вас. А мы так медленно идти не можем. Поблагодарили и вперед побежали. А старушка кричит нам вслед: «Быстро бегаете, видно, хорошо покушали». (Смеются девушки.) И к бомбам мы привыкли...

А вы литературное что-нибудь сейчас пишете? Мы вам принесли подарки, но вы нас не угощайте. Нет, кушать мы не хотим, спасибо, спасибо. Вы к нам в ДКА [1] приходите...»

Но все-таки бутерброды девушки съели... Курносые, милые... Немало в жизни тяжкого, но есть и светлые, радостные моменты.

На страницы дневника заносится идея, которая родилась в годину великого народного подвига и которая через десятилетия воплощена в жизнь — сооружением мемориального комплекса «Пискаревское кладбище»: «Я бы хотел, чтобы после войны был создан памятник всем молчаливо умершим ленинградцам...»

3

И в самую страшную блокадную зиму — 1941/42 года — Вишневский умел видеть победу. «Мне надо быть участником прорыва блокады», — говорил он и свято верил в то, что это сбудется. Как и многие в то время, он думает о втором фронте, понимая, что Англия и США будут традиционно маневрировать и «биться» до последней капли крови русского солдата.

Пятилетний мальчик при очередном налете фашистских

[1] Дом Красной Армии.

самолетов не прячется, смотрит в небо и сжимает кулаки:

— О, если бы меня послали в Германию — я задушил бы Гитлера!..

— Почему задушил?

— А я стрелять еще не умею...

С этого эпизода начал Вишневский свое выступление перед ленинградской интеллигенцией в солнечное морозное январское утро 1942 года. Он говорил о зияющих дырах выбитых окон в здании Русского музея, о методически разрушаемом врагом чудесном городе, где каждый камень зовет к мщению...

Здесь, на Мойке, 20, в огромном зале ленинградской капеллы холодно, но людей много. Внимательно слушают, иногда перебивают глухими аплодисментами (руки в теплых перчатках, рукавицах). После Вишневского читают стихи поэты. Александр Прокофьев — в шапке-ушанке, в шинели, с полевой сумкой через плечо, только что прибывший с передовых позиций. Николай Тихонов, изможденный, худой, остроскулый, читает свое новое стихотворение о Москве и Ленинграде:

Да, враг силен! Он разъярен, он ранен,
Он слеп от крови, рвется наугад, —
Как богатырь над волнами в тумане,
Стоит в сверканье молний Ленинград!
Над миром ночь бездонна и темна,
Но в скрежете, в гуденье, в звоне стали —
Клянемся, что отмстим врагу сполна,
Что за Отчизну биться не устанем!
    Не дорожа своею головой,
Испепелим врага кровавым градом —
Клянемся в том могучею Москвой,
Клянемся в том любимым Ленинградом...

Во время обеда в столовой Политуправления к Всеволоду Витальевичу подходят друзья, знакомые, спрашивают:

— Как вы себя чувствуете, товарищ Вишневский?

— Я сегодня видел Ленинград, — широко улыбаясь, отвечает он, — и солнце, и чувствую себя хорошо...

Прилив сил у него еще и оттого, что получил сообщение: Софья Касьяновна вылетает в Ленинград.

Вишневский очень переживал, когда кто-либо из литераторов, иногда по личной инициативе, а то и просто отозванный начальством, уезжал в Москву. Когда же зимой 1942 года Софья Касьяновна, несколько месяцев просившая у начальства разрешить ей прибыть в блокадный

Ленинград (может рисовать плакаты, листовки, приносить пользу обороне города!), наконец-то добилась своего, прилетела и была зачислена в оперативную группу в качестве военного корреспондента и художника, Всеволод Витальевич с трудом скрывал гордость. Собственно, он пожинал плоды своего воспитания: еще в мирные дни, во время журналистских поездок (нередко они отправлялись в путь вдвоем), «дорогая половина», как писал он Дзигану, держалась молодцом: в окопах, и на стрельбище, и в море, и в воздухе».

Условия жизни несколько улучшились: писателям предоставлено помещение — есть печка и дрова, а на обед — даже свекольный борщ. По Ладожской трассе идут грузы, их, конечно, недостаточно для обеспечения продовольствием всего населения города: поэтому в первую очередь снабжают работающих на заводах, производящих боеприпасы и оружие. А вообще город как тяжелый больной — то хуже, то лучше.

Внимательный и заинтересованный в удаче другого, когда надо, Всеволод Витальевич был предельно требовательным и строгим.

«Однажды Вишневский вернулся от начальника Пубалта, — вспоминает Н. Михайловский, — собрал нас и объявил, что нужно написать популярную брошюру на тему «Береги оружие!». Срок — одна неделя. Кто может выполнить задание?

— Откуда мы знаем, как хранить оружие? — с удивлением воскликнул кто-то из писателей.

Вишневский недовольно нахмурил брови.

— Что значит — не знаем?! — возмущенно проговорил он. — У писателя-фронтовика не может быть слова «не знаем». Боец, придя на фронт, тоже не знает врага, а пройдет недельки две, и он уже бьет немца. Если вы не знаете материал, посмотрите, как люди обращаются с оружием. Изучите эту тему всесторонне, воспользуйтесь консультацией специалистов и, я уверен, напишете так, что матросы и солдаты будут читать вашу брошюру, как художественный очерк...»

Через неделю брошюра объемом в 25 страниц была отпечатана и разослана по частям.

В другой брошюре — о минном заградителе, удостоенном звания гвардейского, — авторы не проверили как следует инициалы одного из моряков, и в текст вкралась ошибка: матрос, названный лучшим, получил строгое дис-

циплинарное взыскание (на самом же деле похвалить надо было *его однофамильца*). Всеволода Азарова и Софью Касьяновну Вишневецкую — а именно они были авторами — долго распекало начальство в Политуправлении, а на партбюро круче и жестче всех по отношению к провинившимся был Вишневский.

Сегодня ему надо побывать в отделении «Правды». Тьма улиц, пятна голубых фар, темные силуэты, молчание... Правдисты переехали в подвал, рядом с машинным отделением, сыро, температура плюс 8—9 градусов. Но по современным понятиям кажется, что уютно: горит свет, стоят столы, работают телефоны и радио. Лежат свежие номера «Правды», «Красной звезды». У всех на уме и на устах один вопрос: «Когда прорвут блокаду?»

Спрашивают рабочие-машинисты, спрашивают журналисты:

— Всеволод Витальевич, как вы оцениваете положение Ленинграда?

С ходу, словно и пришел сюда только затем, чтобы провести беседу о текущем моменте, он отвечает. Развернуто, с выкладками и расчетами:

— С точки зрения общего хода войны Ленинград выполнил свою задачу. Он устоял, остановил двадцать — двадцать пять немецких дивизий, «размолол» до трехсот тысяч немцев, обеспечил эвакуацию ценного оборудования и кадров. Сохранен Балтийский флот, Кронштадт. Силы на прямой контрудар у истощенных войск самого Ленинграда недостаточно... Главный удар наносится Западным фронтом, его успех выведет нас за Смоленск, на Витебск — Двинск, выручит Ленинград... Я твердо верю, что совместные усилия, стойкость Западного фронта, Ленинграда и Северо-Западного фронта принесут успех...

Мы в осаде, но эта осада особая — и мы осаждаем врага! Мы рассматриваем себя как отряд общемирового кольцевого фронта, стискивающего Гитлера все туже. Наша энергия, наша стойкость, наша выдержка ценны, как боезапас...

Его слушают внимательно, и хотя скорых и радужных прогнозов не слышат, но его спокойствие и способность взглянуть на события не с «городской», а с точки зрения всей страны невольно передаются окружающим.

Первая военная зима... Старая женщина с бидоном на саночках спускается к Неве за водою. В дымящихся руинах только что разрушенного бомбой дома роются хмурые, истощенные люди. Снова плетутся по заснеженным мостовым с салазками, только теперь уже на них не бидоны, а завернутые в мешковину тела. На посту на окраинах города стоят часовые. Стоят вмерзшие в невский лед корабли. Стреляют орудия по фашистам прямой наводкой... Обычная картина тех дней. Город, захлестнутый удавной петлей блокады, отбил очередной штурм гитлеровских дивизий. Вишневский идет по родному городу и чувствует его, как свою душу, свое тело...

8 июня 1941 года, всматриваясь в неизведанную даль времени, Всеволод Вишневский записал мысль о том, что новая война внесет некоторое «равенство» — и фронт и тыл окажутся в одних условиях опасности.

Единство фронта и тыла — одна из главных тем в публицистическом творчестве писателя военных лет. В посвященных Ленинграду очерках журналист-аналитик словно тугим морским узлом связывает все актуальные вопросы жизни и борьбы гарнизона, а журналист-лирик, обладающий даром высвечивать самые потаенные уголки человеческого сердца, создает при этом необходимый настрой — обе стороны дарования Вишневского слиты воедино.

Так, очерк «Белые ночи» полон размышлений о нравственной силе людей, в душах которых высечены слова «верность», «бесстрашие», «стойкость».

Жизнь в городе идет своим чередом, одну за другой нанизывает автор детали, которые читатель, может быть, не знал или не заметил: появился первый летний киоск с газированной водой, сажают деревья, открывается концертный сезон, на стадионе состоялся футбольный матч... Постепенно весомость фактов нарастает: на заводе, производящем снаряды, технически обоснованные (до 21 июня 1941 года!) нормы перекрыты в 15 раз...

Город отстоял себя от натиска гитлеровских полчищ. Он уберег себя от пожаров. Он создал ледовую дорогу, чтобы прокормить себя. Он сохранил нужные производства, сделав важнейшие технические изобретения. Он сохранил чистоту и порядок. Он творит искусство: «Слава тебе, город Ленина! Слава тебе, хранящему под огнем традиции тех, кто жил, творил и бился на берегах Невы!..»

И об этом надо написать: рабочий Фрейдин, надев ас-

бестовую рубашку, чистит вышедшую из строя паровую магистраль при температуре 80 градусов; катер-охотник старшего лейтенанта Панцырного атакован в море пятью «мессершмиттами» — зенитчики сбили двоих стервятников, остальные ушли; лейтенант Окопов, жертвуя своим катером, «закрыл» образовавшееся от порывов ветра «окно» в дымовой завесе, принял огонь на себя и тем самым дал возможность пройти опасную зону остальным кораблям...

И о допросе «одного из геринговских визитеров»:

«— Сколько самолетов осталось в отряде?

— Было десять.

— Ответ не по существу.

— Осталось два.

— Вы — третий?

— С моим два́.

— Свой забудьте. Итого сколько?

— С моим два...

Тут поневоле люди смеются...»

Вызвать улыбку у читателя, поднять его настроение, взбодрить — такую возможность никогда не упускает Вишневский.

Об идеалах молодежи, о единстве и преемственности поколений, о подвигах комсомольцев ведет речь Вишневский в очерке «Ленинградский комсомол в дни Отечественной войны» («Правда», 25, 28 октября 1943 года). На долю юношей и девушек выпали «университеты», которых не могла бы придумать даже самая безудержная фантазия романистов. Самоотверженный труд на предприятиях, спасение погибающих от голода, заготовка топлива — самые важные дела партия доверяла комсомолу. Один лишь пример из множества, приведенных автором: «В январе 1942 года было несколько дней, когда казалось, что смерть начала одолевать город. Потух свет, замерз водопровод, замолкло радио. Хлебозаводы были накануне остановки. Были еще запасы муки на два-три дня, но не было воды. Тогда комсомол, тоже пошатывающийся от голода, сделал новое усилие — которое по счету — уже не сосчитаешь. Несколько тысяч комсомольцев пошли с ведрами на Неву, встали живой цепью и начали передавать во́ду из проруби к месильным чанам хлебозавода. Ленинград не сдавался! Ленинград дрался».

Проблема национального самосознания, так своеобразно и впечатляюще раскрытая Вишневским еще в романе-

фильме «Мы, русский народ», приобретает теперь для него необычайную остроту. Постичь и выразить народные черты — такую задачу он ставит перед собой.

Видимо, обо всем этом Вишневский не только немало думал, но и делился своими мыслями с близкими по взглядам людьми. С Александром Фадеевым, например, во время его приезда в Ленинград в 1942 году. «Я всегда с огромным удовольствием и чувством морального удовлетворения вспоминаю наши встречи», — писал Вишневскому спустя год Фадеев. Словно продолжая когда-то начатый разговор, Александр Александрович подчеркивает: «Мы гордимся как раз тем, что история выдвинула нас в качестве передовой силы в освободительной борьбе человечества».

Нельзя не видеть основы, истоков духовной природы советского человека, — развивает мысли Фадеева Вишневский. «Россия, — пишет он 18 июля 1943 года, — именно Россия, показала во всем своем величии всю силу своей *новой* организации, культуры, техники. И это фактически не только от 25 октября 1917 года, а *из всего тысячелетнего и более русского пути, практики, многонациональных внутренних связей и т. д.*.. Не надо сводить спор к тому, что «русское» — это и кнут, и Аракчеев, и реакция николаевской эпохи. Берите лучшее, главное — *историческую сущность* русского народа. Она — в военных и духовных качествах, в невероятной выдержке, в порыве души народа, в его мечте, в его делах...»

В начале третьего года войны в немецкой армии был распространен подготовленный ведомством Геббельса новый документ — исследование о России и ее истории. Смысл этого документа сводился к одному: чтобы победить, необходимо знать национальные традиции народов оккупированных стран, в первую очередь — русского. «Поздно, Геббельс, поздно! — восклицает Вишневский в дневниковой записи. — Понять противника — значит победить! Мы поняли вас в 1941 году! Вы пытаетесь понять нас в 1943-м. И поздно, и ума не хватает». И далее приводит мысль Белинского о том, что у всякого народа своя история, а в истории свои критические моменты, по которым можно судить о силе и величии его духа, и, разумеется, чем выше народ, тем грандиознее царственное достоинство его истории, тем поразительнее трагическое величие его критических моментов и выхода из них с честью и славой.

«Да, это — Россия! Мы в открытом поле один на один — против коалиций и окружений — *век за веком»,* — подытоживает свои размышления Вишневский.

В эти дни, когда враг, захватив огромные территории, вырвался к Волге и занес свой кровавый меч над Сталинградом, по радио прозвучала знаменитая речь Вишневского. Устами писателя говорила сама мать-Родина, Россия: «Сын мой, тяжелый час пришел... Со дней татаро-монгольского нашествия не было такого. Бейся, чтобы государству не быть растоптанным. Бейся со святой яростью — за весь народ и за семью свою...» Выступающему внимают бойцы в окопах, матросы на боевых кораблях — те, кому он лично, каждому в отдельности, говорит сейчас: «Будет тяжелая минута — вспомни своих, различи и в шуме боя голос матери и отца: «Сынок, стой! Дерись!.. Это Родина просит и требует...»

Чувства автора и тех, к кому он обращается, сливаются воедино: «Средневековые истязатели хотят распять русский народ. Хотят бить его, гнать его на рабий рынок. Кровь приливает к лицу... Сжимаются кулаки. Никогда мы не будем рабами! Вгоняй штык по дульный срез в немецкую пасть, балтиец!»

Когда впервые после болезни Вишневский прочел по радио речь-очерк, как выражение его чувств в дневнике появилась такая запись: *«Эти беседы с ленинградцами — одна из высших моих радостей.* Как они слушают и как откликаются!» *(22 января 1942 года).* Центральные газеты нередко запаздывали в Ленинград на несколько дней, и тогда выручало радио. Журналисты широко использовали формы непосредственного обращения к защитникам Ленинграда; переклички трудящихся города с воинскими частями, кораблями, сухопутным фронтом и флотом; регулярно транслировались программы «Письма с фронта» и «Письма на фронт». В страшных условиях блокады радио — живая, непрерывающаяся связь с внешним миром, страной, с воинами, истекающими кровью у стен города. Когда из-за недостатка электроэнергии в отдельных районах города передачи прекращались, в радиокомитет шли письма с одной просьбой: «Без хлеба, без воды, без света трудно, но проживем, а радио пусть говорит. Без него страшно! Без него как в могиле».

Речей Вишневского ждали с особым нетерпением. Звонили в радиокомитет; если он какое-то время не выступал, справлялись: почему? Однажды ему передали такой отзыв: «Вишневский по радио выступит — на неделю зарядку даст». Александр Штейн записал: «Видел я на фабрике Клары Цеткин, в блокаде, слезы немолодых ленинградских табачниц, которые навидались, кажется, всего, и, кажется, ничто более не могло их тронуть, вывести из страшного блокадного оцепенения. Не оглядывались, если падал замертво от голода или от осколка только что шедший подле человек. Если мимо тянулись зловещие саночки с трупами. Если разрывался рядом снаряд, только отряхивали с себя землю. И они плакали, эти женщины с обледеневшими сердцами, когда из черного раструба радио шел низкий, чуть хрипловатый голос Вишневского».

Около ста речей произнесено им у микрофона. Радио, стихия которого — звук, тембр, доносило до всех почти клокочущий, то высокий, то страстно низкий голос, неповторимую интонацию балтийского моряка времен гражданской войны, ту интонацию и тот стиль, которые уже сами по себе являлись живой связью с революционной историей. В дни, когда немцы подошли к Москве, он обращается к столице — сердцу России: «Ты оставалась всегда средоточием сильного духа, русского характера. Ты, Москва, ходила во многие бои, твой голос слушает весь мир, твои труды и праздники — откровения и завтрашняя перспектива человечества...

Москва! Двигай все живое, боевое, честное в бой! Будь смела и крута в решениях. Будь неизменна в русском стоицизме!..»

Все — от мала до велика, призывает Вишневский, вспомните историю своего народа, сущность и натура которого — в терпеливой, скромной, всевыносливой работе. Героизм русского народа — в беспримерном упорстве, которое потрясло сейчас весь мир. «Прими, Москва, наш братский привет! Гул орудий на подступах к Москве сливается с гулом орудий на Балтике, на подступах к Ленинграду, как сливаются воля и мысли наши с твоими, Москва!

Пусть два с половиной миллиарда людей — все человечество — скажут и повторяют веками: «Да, они бились как русские, они бились, как Москва и Ленинград!» — таков финал этой пламенной речи.

...Привычная картина: воздушная тревога, лихорадочно стучит метроном радио. Ревут самолеты. Все как обычно. Наконец, отбой. Зовут к микрофону. Как обычно, Вишневский немного жестикулирует, движением помогая речи, и каждая его интонация становится еще более убедительной, волевой, энергичной. Он говорит, обращаясь не к микрофону, а к людям, которых он видит в эти мгновения — видит их запавшие щеки, их живые глаза. Голос его звучит негромко, проникновенно — признание в любви к городу с железной волей и знаменитой историей:

«Были дни, когда немцы шли на город как осеннее наводнение. Но наш город пережил много наводнений — вода отхлынула мутными потоками, а город по-прежнему стоял на просторе, открытый ветрам, могучий, победный... И сейчас он стоит — величественный, с потемневшим от пороха ликом, покрытый шрамами, как ветеран-гвардеец... Ветры, воды, огонь — стихии штурмуют город, враги у его стен, а город стоит, и над арками и воротами его бешеные квадриги и шестерки бронзовых коней, летящих на запад и на север... Бурно дышат эти кони, летящие в будущее... Это воинственный и грозный Ленинград — это раскаленный дух его, победная судьба!.. Копыта коней раздавят фашистских карликов... Сверкнут бешено мелькающие спицы колес — и история помчит дальше, вперед и вперед — к коммунизму!»

Какая несокрушимость духа, какой блестящий образец публицистики! Эти лирические отступления, авторские монологи исследователи творчества В. В. Вишневского справедливо сравнивают с лучшими образцами поэтической прозы русских писателей-классиков.

Сегодня для нас привычны радиоциклы, охватывающие определенный круг проблем с одним, постоянным ведущим. На Ленинградском радио в годы войны таким ведущим, входящим в каждую семью, в каждую ячейку фронта и тыла, был Всеволод Вишневский. Убедительность его речей многократно усиливалась тем, что все знали: он здесь, вместе с ними, борется с голодом, морозами, напрягает голос, чтобы перекрыть грохот близких разрывов.

«Была осень, — вспоминал Всеволод Азаров. — Ночь. Утихли зенитки, луна, белая, демаскирующая город, выплыла из-за черных, разодранных боем облаков. Радио, оно только что передавало отчетливый, убыстренный стук метронома, снова заговорило страстно... Новый налет бом-

бардировщиков, новый шквал огня. Но речь не прекращается. Всеволод Вишневский зовет в бой — «за свое счастье, за народ, за наши семьи, за все, что нам мило, дорого, за наше советское, русское!..».

Новогоднее выступление по радио... Это большая честь, и она по праву предоставлялась Всеволоду Вишневскому. 31 декабря 1942 года, поздравляя ленинградцев с годом грядущим, словно предчувствуя скорый прорыв блокады, он призывает их собрать все силы:

— Одна поглощающая мысль да владеет нами: отбили пять гитлеровских попыток взять Ленинград... В шестой же раз пусть будет: громовой наш удар и прорыв блокады. Готовить удар ночью и днем, упорно, самозабвенно, не жалея сил! Мы должны трудиться как никогда. Каждый на своем участке. Всю волю миллионного города — в один узел... И ударить так, чтобы гитлеровцы не оправились!

Как-то в студию пришла женщина, чудом выбравшаяся с оккупированной территории. Ее рассказ записали и срочно вызвали Вишневского. Прочитав запись, он сказал: «Пустите меня сейчас вот с этим... — он потряс пачкой листков, — прямо к микрофону. Нечего тут готовиться!» Вишневский разоблачает изуверство, жестокость фашистов, приводит документальное, страшное в своих подробностях свидетельство женщины, вырвавшейся из немецкого плена: «У Надюшки, и у той кровь взяли. Прямо выпили из нее. Кожу взяли у ребенка — кружочков десять. Со спины, с груди... Дети умерли...»

В другой радиоречи («Русских не сломить», 3 октября 1942 года) он приводит цитаты из приказа по Восточному фронту, изданного генералом Рейкснау: «Солдат Гитлера! У тебя нет нервов и сердца. На войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сострадание, убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик...» И немецкие солдаты следовали этим приказам.

Немыслимой ценой овладевал тогда народ наукой ненависти. И Вишневский заключает коротко, сильно: «И пусть хоть один геббельсовский наемный писака опровергнет вот эту правду! Это страшнее, чем то, что до сих пор мы знали о немцах... Ненависть наполняет нас — горячая, страшная... Ее хватит надолго...»

Радио — это не только сообщение, но и общение на расстоянии, диалог, установление доверительных отноше-

ний между говорящим у микрофона и слушателями. Этого никогда не забывал Вишневский. Но, чтобы такая атмосфера возникала во время радиопередачи, ему как воздух нужно было и непосредственное общение с людьми, непрерывающаяся обратная связь с аудиторией.

27 октября 1943 года Вишневский выступил с полуторачасовым докладом перед молодыми офицерами в Доме Красной Армии, а вечером в дневниковой записи так запечатлел свои ощущения: «Мне было хорошо от людей, от времени, от силы, которая переполняет нас всех; от того, что мы — *мы!* Это иначе не объяснишь... Да, я временами взлетал, и аудитория взлетала — это восторг бытия, воображения, надежд... Я говорил открыто, прямо, брал широко и жил каждой секундой этой речи, этой встречи. Я хотел праздника!.. Страшная внутренняя устремленность, восторг, видение будущего передавались аудитории, волновали души людей...»

И у микрофона Вишневский сохранял это чувство слитности, единства с согражданами, так же жил — мыслил, переживал, волновался, убеждал, звал к победе. Бойцовский темперамент, эмоциональная обостренность восприятия жизни, редкий дар импровизации, отточенное ораторское мастерство, живая разговорная речь, умение повторить важную мысль еще и еще раз, но всегда по-новому, — счастливое сочетание этих сторон своеобразного таланта говорило само за себя: казалось, что он был рожден для радио.

Именно Всеволод Вишневский одним из первых показал, какие огромные выразительные возможности заложены в природе эфира [1]. Как это ему удавалось? Прежде всего благодаря привлекательности самой личности писателя — человека целеустремленного, преданного партии и народу, ищущего, несгибаемого, постоянно растущего и совершенствующегося.

---

[1] Выступления Вишневского по радио, находящиеся в архивах и фонотеках, не утратили своего значения и сегодня. К сожалению, они остаются неизвестными не только для широкой аудитории, но и для многочисленного отряда профессиональных работников радиовещания и телевидения. Будь тексты этих образцов собраны и изданы, да в придачу с пластинками — записями речей, они «работали» бы и теперь, показывая, как может раскрываться у микрофона богатая, духовно красивая личность гражданина, бойца, труженика, как могущественно и всесильно ее воздействие на умы и сердца людей.

И в годы Отечественной войны он оставался неутомимым читателем: целые груды книг, журналов, газет «перевариваются» им, как правило, в ночное время.

Могучие силы сокрыты в народе, их пробудила революция, и теперь мы непобедимы. С таким внутренним настроем перечитывает Вишневский Горького и Успенского, Чехова и Бунина, сличая русское «вчера» и «сегодня». Он видит и противоречивость творчества И. Бунина и не случайно записывает для себя: «Сильно, злобно, талантливо». И дальше: «Читаю Бунина... Мизантроп! Какая тяжкая, тупая, безнадежная жизнь изображена им в «Деревне». Если бы Россия была такой, разве мыслима была бы нынешняя победа?.. Наш Человек оказался выше, умнее, отчаяннее, шире и глубже...»

В «Дневниках» встречаются пометки: «Вернул сорок прочитанных мною книг»; «Отослал в публичную библиотеку двадцать семь книг. Поработал над ними! Прошу библиотеку прислать книги по истории Германии, о Гитлере, книгу Черчилля «World Crisis» («Мировой кризис»), книги о США, политике Рузвельта и пр., а также Паскаля, Монтеня и Дидро». Таков по объему обычный разовый заказ читателя Вишневского.

Чтобы успешно бороться с врагом, надо хорошо знать его. Один из самых обширных пластов чтения Вишневского военного времени можно так и назвать: «Все о Германии». Знакомясь с «Историей немецкой литературы» В. Шерера, он выбирает оттуда нужные сведения: «Мы и эту литературу приспособим для дела». Разоблачение агрессивной политики Германии, фашистской теории расового «превосходства» и вместе с тем утверждение гуманного отношения к немецкому народу велось им на неопровержимой документальной основе.

Так, в начале статьи «Мысли в день 22 июня» («Красный Балтийский флот», 1943 год) автор приводит слова Гитлера, произнесенные накануне вторжения в СССР: «Я готовлюсь к войне с большевиками. Если понадобится, я начну летом. Это будет вершина моей жизни и деятельности. На этом кончится также моя война с Англией. И позиция американцев тоже изменится...» Показав, как «вершина жизни и деятельности» фюрера выглядит через два года войны (даже преданный Геббельс замечает, что «испытания наложили печать на лицо фюрера, он изменился, он страдает...»), Вишневский дает крепкий русский

комментарий: «У старого волка, видимо, морда сохнет и лезет шерсть...»

Развертывая историческую панораму судеб «хищных бросков» германских агрессоров, писатель развенчивает тех, кого фашистская пропаганда представляла как «великих людей», «героев» немецкого народа: Арминия и Карла Великого, Генриха-Льва и Фридриха II, Бисмарка и Вильгельма. Публицистический накал достигается множеством язвительных, убийственных и одновременно исторически достоверных деталей: вероломный Арминий готов был посягнуть на всякий принцип; Фридрих, разбитый наголову русскими, при бегстве потерял шляпу, она хранится в Ленинградском Эрмитаже...

Вот лишь некоторые источники, которыми пользовался Вишневский при написании этой статьи: запись беседы Гитлера с югославским регентом Павлом, одна из радиоречей Геббельса, эпос «Песнь о Нибелунгах», труды немецкого историка Брама, «брюзжание отставного канцлера» Бисмарка («Мысли и воспоминания» в трех томах), мемуары Людендорфа, теоретическое исследование генерал-майора Гофмана «Война упущенных возможностей»... На примере последней книги видна методика работы Вишневского: чтение, множество выписок и заметок, убедительные сопоставления событий истории и сегодняшнего дня. И обязательно общая принципиальная оценка: «Взгляды Гофмана легли в основу многих стратегических и оперативных построений Гитлера и его военных советников». И характеристика литературной формы: «язык суховатый, военный, прусский, кое-где тяжеловатый юмор». На конспект книги Гофмана и соответствующие выводы ушло полдня.

Основательность подготовительной работы — за какую бы тему ни брался Вишневский, его незыблемое правило. Обдумывая статью для газеты к юбилею Октября, он просит принести из библиотеки статистические таблицы за 25 лет!

Задания Пубалта — самые трудные, самые оперативные — всегда брал на себя начальник оперативной группы. Нередко его вызывали в Смольный, в городской комитет партии, где обычно, как в этот день, 20 октября 1942 года, задачу ставил Андрей Александрович Жданов. Сжато, сопровождая свою речь энергичными жестами, он сказал:

— Надо срочно подготовить листовку к солдатам испанской дивизии. Всеволод Витальевич, пожалуйста, не стесняйтесь: отразите действительное положение дел, но дайте как следует, с перцем...

Вот запись в дневнике, рассказывающая о том, как развивались события: «Время — 21 час 15 минут... У меня только два часа... Быстро ознакомился с материалами. Потом стал писать... Три-четыре страницы... Нащупывал солдатский язык; писал с некоторой грубоватостью, язвительностью, с точностью...»

Закончил он работу к пяти утра. Три переводчика сразу сели за перевод на испанский язык, срочно был набран и отпечатан пятнадцатитысячный тираж листовки, и уже днем ее сбросят с самолетов. Текст листовки передадут по радио, и она начнет свою очистительную работу в сознании обманутых солдат.

Чаще всего листовки адресованы немецким войскам: «119 250 тонн бомб на Германию», «Повторение Вердена, или Новый Сталинград?», «Что должен знать немецкий солдат под Ленинградом» и десятки других написаны Всеволодом Вишневским с удивительным умением на малом пространстве уместить мощный заряд убедительной, наполненной страсти, несущей правду информации. «Написал ядовитую листовку «Военный путь Гитлера» и листовку «Что ждет германскую рать?» — широкий обзор того, как биологически и психологически влияет тяжелая долгая война на народ (потери, смертность, самоубийства, болезни и т. д.)...» — отмечено в дневнике 28 мая 1943 года.

А вот листовка «Гитлер — великий стратег». Как обычно, набрана крупным шрифтом, с выделением цифр и заверстанными в текст диаграммами и рисунком. На нем изображен светящийся, как призрак во мраке ночи, кладбищенский крест с выбитыми на нем цифрами крупнейших потерь фашистских войск («6-я армия под Сталинградом», «4-я танковая армия под Сталинградом», «Африканский корпус Роммеля» и т. д.). Тексты Вишневского отличались удивительной прозрачностью, ясностью языка, неотразимой логикой и точностью определений, силой чувств. В них явственно ощущается духовное родство автора с неутомимым агитатором В. В. Маяковским. Так, живо напоминает стилистику «Окон РОСТА» листовка «Кому поставить памятник», в которой с убийственной иронией обыгрывается сообщение шведской газеты о том, что германское правительство до сих пор все еще не вос-

требовало заказанный в начале войны в Швеции гранит для памятника победы. Видимо, гранит этот, предполагает публицист, предназначен для памятника тем немцам, которые выступят против Гитлера и тем самым спасут немецкий народ. Листовка «Что такое Сталинград?», подзаголовок которой тут же отвечает на этот вопрос — 330 тысяч немецких солдат и офицеров окружены, — заканчивается фразой, которая не может не поразить захватчика в самое сердце: «Помните, Германии — новой Германии! — вы нужны живые...»

Не случайно летом 1944 года, оглядываясь назад, лучшим из того, что опубликовано им за войну, Вишневский назвал радиоречи 1941—1942-го и листовки. А еще, казалось ему, лучшим из написанного им являются его дневники, несмотря на всю их незавершенность.

4

Оперативная группа писателей Балтфлота — боевая единица, аналогичной которой не было на других флотах и фронтах, за исключением действующих по соседству ленинградских армейских писателей во главе с Николаем Тихоновым, — не раз испытывала на себе косые взгляды военного руководства, особенно приезжего. Что это за группа? На каком основании создана? Каковы обязанности членов группы по уставу?

И всякий раз, когда Всеволоду Витальевичу приходилось защищать свое детище, делал он это прямо, принципиально, хотя и не без некоторых колебаний — до того, как приходилось выступать публично. В этом внутреннем диалоге писателя и профессионального военного побеждал первый и отважно устремлялся в спор, в бой за то, чтобы и в условиях войны сохранить литературную среду, предоставив писателям возможность исполнять свой долг журналиста, агитатора и художника.

Выразительны воспоминания соратников Вишневского по блокаде, раскрывающие облик старшего друга и товарища. Вот он, чисто выбритый, праздничный, в феврале 1942 года выступает с докладом на совещании в Пубалте. «Сейчас Всеволод произнесет одну из своих магических речей, — писал позже Анатолий Тарасенков, — доклад об итогах работы писателей на Балтике. Блестящий доклад, умный, аналитичный, о каждом из нас он сумел сказать

хорошее, доброе слово, и в то же время каждому хитрый, скрытый укор — на будущее».

Вишневский говорил о традициях литературной группы, о задачах, встающих перед писателями на современном этапе войны:

— Если не успеваешь писать, надо положить перо и идти говорить. Прийти перед боем за полчаса, дать бойцам необходимую зарядку, двинуть людей и, когда надо, пойти вместе с ними...

Александр Яшин, присутствовавший на совещании, запомнил такие слова:

— Будем подражать Льву Толстому. На смертном одре у него еще двигались три пальца, которые держали ручку... Приказываю: за 12 месяцев 1942 года напишите 12 толстых тетрадей записей. Живой эпос фиксировать день и ночь неустанно. Надо знать, как выглядел рынок, город, морозы. Запомнить о трупах на дорогах. Болеть, но не выходить из строя. Иметь право сказать о себе: «Я это видел, перенес, пережил и записал...»

«Пубалт очень признателен писателям за проделанную работу, — сказал в заключение его начальник В. А. Лебедев. — Писатели прошли боевую проверку, оказались людьми смелыми».

Вишневский был доволен и горд, он чувствовал себя продолжателем восходящих к Марлинскому, Гончарову, Станюковичу, Новикову-Прибою традиций русской литературной маринистики.

— Балтфлот входит в меня, — говорил Яшин, — вместе с именем Вишневского, благодаря ему. Мы мерзли, болели, чтобы полюбить флот и стать любимыми, чтобы иметь право писать о флоте как рядовой боец...

Спустя некоторое время Яшин был вынужден покинуть Ленинград из-за болезни. Он продолжал войну на Волге, был счастлив оттого, что снова попал к морякам, участвовал в Сталинградской битве. Однако духовные связи с Вишневским, возникшие в блокадные месяцы, не порывались, он помнил Всеволода Витальевича и писал ему 20 декабря 1942 года: «В устных выступлениях учусь организации речи у Вас...»

Должно быть, ораторское мастерство и сила речей Вишневского оставляли глубокий след в памяти людей, потому что и годы не стирали его. Много позднее Александр

Яшин дополнил дневниковую запись военных лет следующими строками: «Самое яркое воспоминание у меня о Всеволоде Вишневском оставил день 5 апреля 1942 года. Мы с ним выступали по Ленинградскому радио. Предполагалось, что я прочитаю стихи, а Всеволод Витальевич — заготовленную заранее и процензурованную речь. Но во время нашего выступления на Ленинград посыпались бомбы, сигналы воздушной тревоги сбили размеренный ход передачи. Сидевший у микрофона Вишневский отодвинул текст речи и начал говорить без бумажки, к ужасу ведущего диктора. Он не говорил — он рубил, бил, вдалбливал — кулак его застучал по столу...»

Несмотря на большую популярность выступлений Вишневского по радио, прямых откликов на них, кроме воспоминаний более позднего времени, практически не сохранилось. И это естественно. Зато история сберегла другие, куда более ценные документы — личные письма, дневники, в которых упоминается его имя. Вот хотя бы такая, светящаяся угловатой непосредственностью запись ленинградской школьницы Майи Бубновой от 23 января 1942 года: «Вчера Всеволод Вишневский по радио выступал. Прямо молодец парень, в моем духе. Всегда вовремя выступит и скажет, скажет прямо, ясно, хорошо, по-ленинградски, по-большевистски...»

В другой раз на улице кто-то неожиданно сказал ему: «Почет вам и уважение...» От неожиданности Вишневский смутился и по-военному отдал честь. А в мае 1943 года на золотисто-зеленой от игры теней и солнечных пятен набережной Невы к нему подошла незнакомая женщина и спросила:

— Вы товарищ Вишневский?

— Да.

Она пожала руку:

— Как писателю...

Подобного рода признания-благодарности будут приходить к нему до самых последних дней жизни: одно его имя вызывало у многих воспоминания о Ленинграде, о блокаде.

Военные дневники Вишневского раскрывают многообразие и насыщенность взаимоотношений их автора с людьми. Не было случая, чтобы Всеволод Витальевич кому-либо не ответил на письмо, не поддержал дружеским словом, советом. Если он чувствовал, что кто-то в нем нуждается, откликался немедля.

...Навестил товарища Иголкина в госпитале. Это необыкновенной душевной силы простой русский моряк. Ранен, без ноги и с простреленной второй ногой, но рвется на фронт: «Я ведь пишу двумя пальцами, могу и из автомата стрелять, в засаде могу быть». «Взволновала меня встреча с ним до невероятия, — записал в тот день Вишневский. — Святые люди! Терпят боль, одиночество... Иголкин обрадовался мне: «Всеволод Витальевич! Ты мне самый дорогой человек!» Много раз повторял эту фразу, мы крепко обнялись».

В другом месте дневника — скупые строки о том, что в самые голодные дни зимы сорок второго года он делится скудным пайком. Из воспоминаний З. Венгеровой, опубликованных в сборнике «Писатель-боец», выяснилось, что речь шла, в частности, и о ней.

...Однажды по пути на службу (она работала вольнонаемной машинисткой в Пубалте) почувствовала, что теряет силы. На мосту Лейтенанта Шмидта присела и не смогла встать. К ней подошел какой-то военный, насильно поднял и помог дойти до штаба. А на другой день в пустынном коридоре четвертого этажа Венгерова снова встретила вчерашнего военного: он молча, ни о чем не спрашивая, дал ей кусок сахару.

Позже она узнала фамилию и, как многие в те времена, пришла в его холодный кабинет — за духовной, нравственной поддержкой. Трое детей эвакуированы со школой в тыл, от них нет вестей. Умирает муж. Сгорела квартира... Она говорила, и плакала, и снова говорила. Это был первый за время войны разговор без утайки, без боязни быть неправильно понятой. До этого не к кому пойти было со всеми бедами, слезами, с материнским горем. И разговор с Вишневским, считает З. Венгерова, был решающим в ее жизни. Он долго молчал: не успокаивал, не задавал вопросов. А затем сказал — очень мало и очень много:

— Вы мать-ленинградка, вы нужны и своим и чужим детям, вы советская женщина; вы молоды, сил душевных у вас много, а физические — наберете. Город оживет, городу помогут. Мы не одни — с нами вся Россия...

Вишневский возвращал людям веру в жизнь. Потребность в этом возникала каждый день, и когда его товарищи жаловались на усталость, Всеволод Витальевич говорил им и себе: «Уставать нам нельзя!! И у меня усталость — общая, многолетняя... Хочется сесть, закрыть

глаза... Но сам себя убеждаешь: нет, у тебя есть силы, больше, чем у многих других, — действуй, действуй!»

И правда, разве мало у него самого поводов для уныния? Стоит лишь вспомнить о так называемых «друзьях», в которых он горько разочаровался во время войны. Рухнули многие иллюзии, и ему самому еще непонятно, что с людьми происходит, как. А может, все дело в нем самом? Он ведь знает свои слабины: излишняя доверчивость, открытость, внутренняя нетерпеливость, а порой и нетерпимость...

Как бы там ни было, ясно одно: в нем, Всеволоде Вишневском, постоянно, каждую минуту и секунду живет голос, образ мышления и чувствования, образ действия увиденного им в искусстве идеала — его балтийского героя, коммуниста. И в самые трудные мгновения писатель, слитый воедино со своим вторым «я», говорит себе: «Идти, терпеть до конца».

Ты «витаешь в небесах», говорят ему иные, любящие эмпирику, факты, людские пересуды... Возможно... Большой мир идей, романтики, страстей ему ближе, понятнее обывательского, мещанского мира. Впрочем, он достаточно зряч, чтобы видеть и этот «мирок». Видеть, как некоторые «товарищи» делают подарки своим любовницам — посылки с черной икрой (в голодном Ленинграде!); видеть, как некоторые берут дважды большой автономный паек (без оснований), как снабжают им «нужных» людей. Все это он видит, и ему глубоко противно.

Или вот письмо — настоящий вопль одного писателя: «Не могу работать, тоскую о детях, жене. Умоляю дать отпуск...» Разве не назовут его, Вишневского, нетерпимым — и за то, что отпуска не предоставит, и за то, что при случае прямо, в открытую, объяснит свое решение? Хотя ведь всего и не объяснишь...

«О, эти интеллигенты, «инженеры душ», умелые составители идеологических романов, пьес! — с гневом и презрением изливает душу в дневнике тот, кого до войны называли искусственным, придумавшим себе маску; тот, кто на самом деле не терпел фальши и конъюнктурщины. — Меня давно мутит от этих людей, хлипких, дряблых, подделывающихся и в кино, и в литературе, и в живописи под советский, большевистский, героический стиль, не имея на то прав и внутренних волевых данных. Сколько этих интеллигентов «полиняло», залезло в разные провинциальные щели, где и отсиживаются, выжидая...

Пусть какие-нибудь философы оправдают мне это «право» писателей сидеть вдали, в укрытиях, где тепло и сытно, и советовать другим идти и умирать...»

На ту же тему, хотя и по-иному, спокойнее, сдержаннее, писал Н. С. Тихонов Всеволоду Рождественскому: «Сейчас хотя и не время для особых размышлений, но невольно в однообразном уединении осажденного города перебираешь прошлое и подытоживаешь всякое: война так *обнажила* людей, что все прояснилось самое непонятное и все оказалось проще. Не думал я, что придется так упорно заниматься газетной работой за неимением людей... Сколько наших знакомых — и бряцавших и не бряцавших оружием — смылись из Ленинграда. У меня к ним нет даже неприязни. Тот, кто уехал, бог с ними! «Была без радости любовь — разлука будет без печали». Факт — мы с тобою стали армейцами и съели пуд соли, начинаем второй».

Как видим, интонации разные, суть одна.

Испытание войной выдержали далеко не все. Зато те, кто выстоял, раскрылись по-новому, по-настоящему для всех окружающих. Именно таким, постоянно являвшим нравственный пример, был Вишневский. Не зря же один из его соратников уже тогда, в 1942 году, мог сказать: «Он один из тех, в ком для меня воплощены высокие черты русского советского человека» *(Из письма Вс. Рождественского — Вс. Азарову).*

В блокадные месяцы Всеволод Вишневский немало сил отдал и объединению усилий всех журналистов — армейских, флотских и гражданских газет.

Характерный случай рассказал бывший редактор фронтовой газеты «На страже Родины» М. Гордон. В одну из февральских ночей 1942 года он сидел в полушубке и валенках за своим столом и, ежась от холода, при свете «летучей мыши» читал статьи. Вдруг послышался треск мотоцикла, и дежурный доложил: «К вам Вишневский».

— Я приехал ругаться, — с места в карьер начал Всеволод Витальевич. — В своей газете вы незаслуженно мало пишете о моряках...

И завязалась беседа, длившаяся несколько часов: о традициях флота и роли морской артиллерии в обороне города, о беспощадной к врагу «черной туче» — морской пехоте. Говорил Вишневский с огромным пылом, словно

перед ним в темной комнате (керосин кончился, и фонарь погас) не один человек, а целая аудитория. «Надо, наверное, очень любить людей флота, чтобы с таким проникновением и так душевно вести этот ночной разговор», — записал его собеседник.

После одной, другой такой поездки армейские и флотские журналисты начинали гораздо чаще обмениваться материалами, да и сам Вишневский показывал пример, написав немало статей для газеты «На страже Родины». Не гнушался он и любой иной работы — от составления лозунга, придумывания заголовка, написания оперативной заметки до создания цикла очерков или целевых полос, свято придерживаясь принципа, который В. И. Ленин в одном из писем А. В. Луначарскому выразил всего несколькими словами: «...Мы не белоручки, а газетчики» [1].

За несколько дней до появления до сих пор памятного всем воевавшим приказа Верховного Главнокомандующего Вишневский записывает в дневнике: «Ситуация весьма серьезная, может быть, серьезнее, чем осень 1941 года». А 28 июля сорок второго опубликован этот приказ — номер 227. В нем было сказано с предельной лаконичностью и ясностью: «Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Ни шагу назад без приказа высшего командования...»

И в эти летние месяцы высочайшего духовного подъема и самопожертвования Всеволод Вишневский, несмотря на болезнь — частые кровотечения, головные боли, как всегда на посту. Время требовало прямой, суровой правды не только от журналистов, но и от читателей — участников великой борьбы народа. Каждое письмо из дому, от семьи, от друзей — это исторический, социальный и литературный документ, который помогает разить врага, как оружие; каждое письмо — живой человеческий голос, бесценное свидетельство.

16 августа 1942 года на имя Вишневского пришла телеграмма из «Красной звезды» с упреком: «Обнимаем, с интересом читаем в «Правде» Ваши очерки. Когда же нам дадите?» Всеволод Витальевич тут же ответил: «Спасибо за телеграмму. Жаль, что нет добавочной правой руки и добавочных двенадцати часов в сутках. Но раз есть задание — постараюсь прислать». И действительно, через несколько дней присылает кратко прокомментированные им

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 47, с. 58.

письма бойцов, раненных под Ленинградом и рвущихся снова в бой; родителей, потерявших сыновей; письма детей отцам, на фронт — о зверствах фашистов. Потрясающие документы силы, могущества, неистощимости народного духа!

Невозможно удержаться, чтобы не привести выдержки хотя бы из одного письма (корреспонденция была опубликована в «Красной звезде» сразу же):

Девушка Лида — отцу, на фронт, — из отбитой у фашистов деревни: «А что с народом нашим эта зараза творила!.. Нашего дядю Мишу, твоего брата, ты уже не застанешь в живых. Его змеи-гитлеровцы повесили за то, что он указал раненому красноармейцу дорогу к нашим. Бедный дядя Миша, мы его никак не можем забыть, он долго голый висел на вожжах у Татьяниного дома, где вы часто собирались на собрания... Коле и Мане, нашим дорогим братишке и сестренке, не передавай привета, их разорвало на минах, которые немцы расставили вокруг деревни. Красная Армия спасла нас...»

Не письмо это — крик сердца, голос народа. Ни Германии, ни всем ее наймитам, ни танкам, ни террору не сломить таких людей, никогда не сломить. России не быть покоренной! — заключает автор.

Однако, возбуждая в советских людях ненависть к врагу, Вишневский никогда не давал карикатурный образ «фрица». Писатель считал, что читателю надо показывать действительные силы и возможности неприятеля: «Я в эти фельетоны (тут, при всем моем уважении, Эренбург) и «раешники» не верю, я все-таки воевал, — говорил Вишневский на одной встрече с командирами в 1942 году. — Враг сильный, опасный, ловкий и организованный...»

Главное — научиться воевать, наверное, поэтому в очерках и корреспонденциях Вишневского мы редко находим описания ярких, исключительных подвигов. Писатель утверждает: героизм не удел избранных, а результат честного и добросовестного выполнения воинского долга, рисует биографии обычных людей, а не «сверхчеловеков».

О Вишневском-журналисте в литературе сложилось довольно устойчивое представление как о публицисте, чьи выступления почти лишены повествовательности, для которого главное — ораторская интонация, повелительная форма лозунга. Он непосредственно обращается к массе, его речь зовет не к раздумью, не к анализу, а к немедлен-

ному действию. Да, так и было во многих его произведениях, особенно транслировавшихся по радио. Однако в войну он создает целую галерею портретов мастеров военного дела — моряков и летчиков, артиллеристов и пехотинцев, где раскрывается и как журналист аналитического склада, детально, последовательно показывающий, как надо воевать. Такой журналистский подход отвечал требованиям времени, не случайно же М. И. Калинин в речи на совещании секретарей обкомов комсомола по пропаганде (28 сентября 1942 года) подчеркивал, что аудитория сейчас не воспринимает «шумливые речи, риторику и поучительную дидактику».

Передовой опыт ведения боя почти всегда присутствует в выступлениях Вишневского. Таков очерк «На «Охотнике», где тщательно описана схватка катера с фашистскими самолетами. Все внимание автора — центральной фигуре боя — наводчику, который, вобрав голову в плечи, следит за стремительными изменениями в воздухе. Напряженность, поединок нервов, выдержки. Удачный выстрел — и на своих же бомбах взрывается «юнкерс». При этом воздушной волной поврежден другой, а третий, ошеломленный таким поворотом событий, почти вертикально взмывает вверх: «Ему, видимо, казалось, что катер его преследует и тоже лезет вверх, — досада и горечь были разлиты по лицу наводчика», — автор передает атмосферу упоения боем. Или дается изображение атаки вражеского десанта звеном Кулешова, который как бы между прочим советует: «Стреляем мы с выдержкой, следим за попаданиями... А бывает, молодой летчик нажмет на гашетки, трах-бах, все и выпустит, а дальше и стрелять нечем. Нужно давать аккуратные очереди...»

И вместе с тем Вишневский избегает «голого технологизма», его очерки пронизаны чувством, нередки лирические отступления. Как в корреспонденции «Так дерутся на Ханко!»: «Высокое нежно-голубое небо, песок, сосны... Ханко! — Здесь стали бойцы СССР, и они не уйдут отсюда, даже если б разверзлась сама земля. И даже ее моряки и саперы сумели бы подштопать; нанесли бы камня, досок, бревен, канатов: «Эй, милая, не мешай... Приказ есть приказ. Держать Ханко. Отступления не будет...» Слова простые — они в натуре русского бойца».

В ноябре 1942 года, закончив редактировать сборник очерков, посвященных Героям Советского Союза, Всеволод Витальевич обращается к члену Военного совета

Краснознаменного Балтийского флота Н. К. Смирнову с таким взволнованным письмом: «Писать биографии было невероятно трудно. Если так дело обстоит с Героями, то что же с массовой героикой... А ведь еще полгода — и живой материал уплывет. Люди поедут по домам, надев серый пиджак — прекрасный символ мира и победы. Прошу Вас дать приказ записать биографии всех награжденных, всех убитых, по возможности, ибо забыть прошедшее мы не можем, забыть о людях, проливших кровь за Отечество. Завтра это уже будет поздно».

Такой приказ был отдан.

Быт, вся жизнь сдвинуты войной круто, но это ему привычно. После совместной поездки на фронт и довольно длительного общения в осажденном городе Александр Фадеев, видимо, впервые за двенадцать лет их знакомства увидел Вишневского «вне литературных шор», не на трибуне, а в жизни. И по-человечески понял и принял. Сам бывший партизан и красноармеец, прошедший гражданскую войну на Дальнем Востоке, Фадеев не только по долгу службы был чуток и внимателен к деятельности писателей во время войны. В феврале 1942 года он пишет Вишневскому:

«Дорогой Всеволод!

Самый сердечный привет тебе, твоим товарищам по оружию и всем ленинградским писателям. Бесконечно волнуемся о вас и гордимся вами...

Хочу сказать тебе, что я, как и большинство москвичей, с волнением читаю все, что ты пишешь в «Правде». Все это проникнуто большим чувством и силой, поистине разящей».

Такое мнение человека, авторитетного и взыскательного, обрадовало Всеволода Вишневского, как и последующие знаки внимания и дружбы со стороны Фадеева. 17 июля 1942 года, например, получил от него телеграмму: «Радостно вспоминаю Ленинград, целую, обнимаю», и перед его глазами возникли картины их выезда в Невскую оперативную группу, к стрелкам дивизии Героя Советского Союза Краснова. Был солнечный день, отличное настроение и самочувствие. Фадеев все улыбался и шутил, поглядывая то на Тихонова, то на Вишневского: «Ну, вот два «старика» — Всеволод и Николай...» Они мчали на

машине и вспоминали Испанию тридцать седьмого года, барселонских шоферов с их скоростью сто — сто десять километров в час. Побывали на передовых позициях дивизии, в распоряжении морской батареи: четыре крейсерских башенных орудия — всего в восьмистах метрах от немцев...

Блокада еще больше сдружила, сблизила родных по духу людей и приоткрыла в каждом что-то новое, ранее не замечаемое. Так, Николай Тихонов спустя годы обратил внимание на две строки из дневника Вишневского: «Читал Эдгара По. По сравнению с тем, что происходит в Ленинграде, он выглядит бытовиком» — и вспомнил один эпизод.

...Они шли по городу, представлявшему ужасное зрелище: развалины домов толпились вокруг. На скамейках в парке сидели мертвые. В подвале, мимо которого они проходили, горела коричневая толстая кривая свеча, и при свете ее копошились какие-то люди, не то чего-то искали, не то ломали какой-то деревянный хлам на дрова. Свеча бросала такой мрачный свет на зловещую разноцветность вещей и одежд, что Вишневский невольно остановился и сказал:

— У Эдгара По есть рассказ, где чума, голод и еще какие-то страшные чудовища собрались на пирушку. Эдгар По считается фантастическим писателем. Но у нас в Ленинграде этот рассказ сегодня стал бы просто натуралистическим. Посмотри на этих людей в подвале... Смерть сидит на скамейках в парке, голод и холод бродят со свечой в подвале, коричневая чума фашизма облегла город. Какой тут тебе Эдгар По!..

Как водится меж истинными друзьями, каждый из них всегда стремился доставить радость другому. Даже в условиях блокады это правило оставалось незыблемым: зная трогательную любовь Вишневского к старинным изданиям, в особенности исторического содержания, Николай Тихонов подарил ему в день рождения (21 декабря 1942 года) книгу 1766 года (впервые она вышла в свет в 1713-м) — сборник сводок о ходе войны со Швецией. Текст петровского «Совинформбюро» о Полтавской битве» — осовременил ее название именинник. За скудным военным ужином книгу читали вслух: пахнуло русской живой традицией. Записывая свои впечатления об этом чтении, Вишневский восторгается и фразами реляций — «блестящими по силе, красоте и гордой точности», и от-

личным исполнением гравюр, карт, и превосходным качеством бумаги, и редкой сохранностью книги — всем тем, мимо чего не пройдет ни один настоящий библиофил.

Солдат и гражданин в нем жили нераздельно с художником. Он радуется и гордится тем, что, как сообщил ТАСС в июне 1942 года, фильм «Мы из Кронштадта» демонстрируется с огромным успехом в Южной Америке.

По экранам дальних стран шагают его балтийские матросы — сквозь огонь и воду, свидетельствуя об упорстве России, о боях за Ленинград, призывая тысячи и тысячи людей стать в строй в битве против фашизма. Труппа Ленинградского Дома Красной Армии поставила спектакль «Первая Конная», а Камерный, как сообщает из Барнаула А. Я. Таиров, выезжал с «Оптимистической трагедией» на фронт. Хорошо!

Однако нужны и сегодняшние произведения. Вишневский все чаще думает о новой пьесе. Однажды, словно почувствовав состояние писателя, его вызвал член Военного совета Н. К. Смирнов и заговорил о том, как важно и своевременно было бы показать защитникам города спектакль о них самих, об их делах, и добавил: «Пьеса должна быть веселая».

Единственный театр, оставшийся в Ленинграде, — Театр музыкальной комедии. Значит, надо писать оперетту? Это было для Вишневского неожиданностью — совсем новый жанр.

— Сколько времени понадобится для написания пьесы? — спросил член Военного совета.

— Месяца полтора...

— Это долго. Спектакль надо выпустить к Октябрьской годовщине, а для этого театр должен через две недели получить пьесу...

И Всеволод Витальевич берется за работу, хотя и не без вполне понятных колебаний. «Думаю, — записывает он в дневнике, — как в месяц-полтора сделать пьесу? Где взять легкость, задор, шутливый тон? О-о!.. Ведь со страниц газет смотрят наши люди, повешенные, растерзанные фашистами... Борьба лютая!»

Чтобы как-то настроиться на нужный лад, он едет в Театр музкомедии, смотрит спектакли. Репертуар довоенный: «Баядера», «Роз-Мари», «Любовь моряка». Актеры оперетты стоически играли даже зимой: сверкая шелками

и обмахиваясь веерами, дамы пели. И это — в зале, где было минус 3—5 градусов... На него повеяло театральной стариной, и он, забывшись, с удовольствием смеялся.

Затем Вишневский побывал в филармонии, на первом в Ленинграде исполнении Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, и здесь его ожидали совсем иные впечатления. «Первая часть симфонии потрясает, — записал он в тот же вечер, *9 августа 1942 года.* — Это гениальное раскрытие хода врагов, поступи фашизма по Европе. Мелодия, ее нарастание, эта назойливая автоматически-ритмическая тема даны необыкновенно. Люди были захвачены: потоки чувств. мыслей, слезы на глазах... Это — страшный 1941 год... Композитор услышал *это,* может быть, в осенние ночи, когда вал немцев подкатывался к Ленинграду. Есть еще несколько сильных частей, но после первой — впечатления не столь остры, и душа уже так не отзывается. Финал помпезен, широк, но все это умозрительно, вне мировой драмы. Это еще будущее».

Время! Время... Уложится ли он в срок? Но, кажется, дело уже пошло, и из-под тяжелых пластов будней, всеподавляющей военной обстановки в нем пробиваются импульсы, творящие, созидательные.

Вся работа над пьесой — от первого черновика до завершения — длилась 17 дней. На помощь Вишневскому пришли Александр Крон (в основном он взял на себя отработку комедийных ситуаций и написание первого акта) и Всеволод Азаров (ему принадлежат стихи и песни, а также своеобразный «одесский» колорит образа моряка-черноморца Георгия Бронзы). Чтобы обмениваться мнениями о написанном и быстрее приводить все к «общему знаменателю», решили на какое-то время поселиться вместе в деревянном доме на Песочной, 10, принадлежавшем О. К. Матюшиной, вдове известного художника.

Всеволоду Витальевичу в пьесе принадлежит общий замысел, поворот от традиционной оперетты к жанру героической комедии. Им любовно выписаны носитель традиций флота боцман Силыч, названный так в честь А. С. Новикова-Прибоя, разведчица, комсомолка с Выборгской стороны Елена — на них в основном держится линия героизма. «Написал картину «Высадка разведчицы». Она и напряженная и лирическая... Не знаю, хороша ли эта сцена, но у меня, когда писал, слезы набегали на глаза... Пьяниссимо... Звучит в ночи старая флотская песнь «Раскинулось море широко» — песнь прощания,

тоски, тревоги...» — запись в дневнике *7 сентября 1942 года.* И вообще он в том замечательном состоянии духа, которое приходит с прикосновением к дурманящему, но и сладчайшему искусству. Он рад, что в осажденном городе делает то, что нужно. И еще: работа чем-то напомнила ему молодость, 1930 год, лето, когда залпом написан «Последний решительный» с его политическим устремлением, музыкальными номерами, пародиями, монологами...

5 ноября спектакль сдан на «отлично» (музыку к пьесе сочинили композиторы В. Витлин, Л. Круц и Н. Минх; художественное оформление — Софьи Касьяновны Вишневецкой). Особенно впечатляющ второй акт: есть динамика, крупные яркие образы. Здесь как-то вдруг, по контрасту, явственно проступает присущая всему творчеству Вишневского трагедийность. Разведчица в гестапо: среди серого, холодного — девушка в ярко-алой кофте и длинной черной юбке... Борьба, упорство...

7 ноября к зданию «Александринки» — Театра имени А. С. Пушкина, — на премьеру «Раскинулось море широко» в ранних осенних сумерках со всех концов города спешили люди. У самого входа, как в былые дни, во время самых нашумевших премьер, счастливых обладателей билетов останавливали и спрашивали множество бесформенных, до глаз закутанных во все теплое, настойчивых «теней»: «Нет лишнего билетика?..»

Спектакль шел, несмотря на жесточайший артиллерийский обстрел: артисты пели, танцевали, и никто не хотел спускаться в бомбоубежище. Зрители так горячо приняли постановку, что режиссер Театра музыкальной комедии Н. Янет был вправе впоследствии сказать: «До этого ни на одном спектакле так не смеялись и ни на одном спектакле так не волновались за судьбу балтийских моряков, героически оборонявших Ленинград».

Прямой агитации на сцене было мало. Спектакль с танцами, с пением, с простодушным сюжетом, с незатейливой веселостью пришелся по душе зрителю. Это был дерзкий вызов врагам: «Вот вы обстреливаете нас каждый день, морите голодом, а мы под самым вашим носом пляшем и шутим!»

Достойной наградой создателям спектакля была статья-рецензия Н. Тихонова в «Правде», в которой, в частности, сказано: «Всеволод Вишневский когда-то написал прекрасную «Оптимистическую трагедию», сейчас ему

пришлось в блокированном городе под вой воздушных тревог и канонаду обстрела написать оптимистическую, героическую комедию. И спектакль получился».

Позже музыку к спектаклю написал Георгий Свиридов, и «Раскинулось море широко» было поставлено Камерным театром под руководством А. Я. Таирова (спектакль прошел свыше 500 раз!) и рядом других театральных коллективов страны. Постановки пьесы неоднократно возобновлялись, и то, что в конце 70-х годов она идет на сцене Центрального академического театра Советской Армии и по-прежнему собирает зрителей, молодежь, родившуюся уже после Великой Отечественной войны, — лучший ответ критикам, которые считали, что «Раскинулось море широко» — лишь примечательное явление быта тех времен, а не искусства.

Наконец настал долгожданный для каждого ленинградца день. 18 января 1943 года в 23.00 по радио сообщено: «Войска Волховского и Ленинградского фронтов соединились и тем самым прорвали блокаду Ленинграда...» Вишневский был участником боев, и 19 января, в «бурный день», пишет статьи в «Красный флот» и в «Ленинградскую правду», выступает по радио. Он, труженик войны, честно и выразительно рисует картины перегрузок, ратной страды: «Орудия накалились. Пузырилась краска. Потом она стала гореть. Орудия были белого, маскировочного цвета — стали бурыми, черными. От них волнами несло горячий воздух. Артиллеристы работали, не прекращая и не снижая темпов. Через руки проходили сотни пудов металла — сотни бросков, толчков, резких напряжений мышц. Люди обливались потом на морозе, сбрасывали ватники, бушлаты. Показались знакомые тельняшки и крепкие мускулы...»

И хотя окончательно из района Ленинграда враг был отброшен несколько позже, блокада существовать перестала.

Всеволод Вишневский мог бы с полным правом сказать о себе словами поэта Всеволода Рождественского:

Я счастлив тем, что в пламени суровом,
В дыму блокад
Сам защищал — и пулею и словом —
Мой Ленинград.

5

В домике на Песочной, нередко сотрясавшемся от взрывов вражеских бомб и снарядов (обстрелы города продолжались), Всеволод Витальевич, отвоевывая часы у журналистики, агитационной работы и других срочных дел, трудится над новой пьесой. Сказывается страшное перенапряжение: теперь текст не льется, словно сам собой, как во времена «Первой Конной» и «Оптимистической трагедии»...

Трудно (или невозможно?!) писать о том, что по меркам историков произошло только что. А он как раз и замыслил создать художественное произведение, которое ответило бы на вопрос: почему враг не смог взять штурмом Ленинград в первые месяцы войны?

Идея пьесы зародилась давно, скорее всего с той памятной ночи, напролет проговоренной с Фадеевым. Они рассказывали друг другу об осени 1941 года, о том, что, может быть, никогда и не будет описано в литературе. Возникли зыбкие очертания будущей вещи: драма отца и сыновей, противоречия вечного движения жизни.

19 ноября 1942 года в строчках дневника — некоторое прояснение темы: «...Образ молодого мудрого командира, русак, смельчак... Образ старого матроса (боцмана?)... Встреча поколений. Взаимооценка, критика, серьез и юмор...» Еще запись, через месяц: «Ищу философско-исторических, широких обобщений для новой пьесы. Диалоги моряков о будущем устройстве Европы, мира... Выводить из быта, узких рамок окопов!»

Конечно, работать приходилось урывками, и пьеса, начатая в январе 1943 года, была завершена только в 1944 году. Сюжет ее прост: действие происходит в течение трех критических дней сентября 1941 года на подступах к окраинам Ленинграда. Вновь сформированная бригада — из сошедших с кораблей моряков, уцелевших в предыдущих боях, раненых, но оставшихся в строю, из пришедших на подмогу рабочих-кировцев — в момент, когда идет кольцевой штурм города, вступает в ожесточенную схватку с врагом и стоит насмерть. Вместе с командиром, кадровым военным, капитаном третьего ранга Симбирцевым в атаку идут его сыновья — юнги Олег и Юрий — шестнадцати и семнадцати лет. (Видимо, происхождение этой линии не только чисто литературное, но и автобиографическое: под Ленинградом сражался сын

писателя Игорь). «Я и члены моей семьи, — писал Вишневский 7 декабря 1941 года, — из Ленинграда никуда не уйдем — только на Запад — в наши базы и по обстановке далее».

Бойцы бригады, в основном люди молодые, не нюхавшие пороху, и, естественно, их объединяют ветеран, участник нескольких войн, старшина 1-й статьи Лошкарев, комиссар Никонов и командир. Они не теряют присутствия духа и в самые сложные моменты умеют быстро сориентироваться в обстановке, дать точный приказ, подбодрить бойцов. Так, Лошкарев на вопрос новобранца, почему наши части отступают, спокойно отвечает:

— А ты, малец, еще погодь. Гитлер наступает только в прениях, а заключительное слово будет у России-то...

Трогательно и светло изображено возникающее чувство любви санитарки Тани к моряку Михайлову, у которого на оккупированной фашистами территории остались мать и сестра. «Ты слушай, — говорит Таня парню. — Я важное хочу сказать... Пусть будет смешно, ну и смейтесь, мне все равно... Вот у тебя там сестра осталась!.. Ты стал одинокий... Поэтому я решила... Ну пусть я буду тебе сестрой...» И потом Таня, выражая, наверное, не столько свою, сколько авторскую, мысль говорит: «...Знаешь, я вдруг поняла, почему матросы раньше называли друг друга «братишка», «браток». Это очень ласково, очень человечески нежно...»

Люди, выстоявшие в суровой битве, становятся братьями. И еще одно утверждал своей пьесой драматург: в годину великого испытания в людях пробуждаются лучшие черты, крепнет, растет национальное, историческое самосознание. В этой связи особый интерес представлял ярко выписанный персонаж — командир Белогорский. Думается, что к созданию этого образа автора подтолкнул факт, имевший место в жизни, в Кронштадте: принимая орден Красного Знамени, один из награжденных сообщил, что в течение двадцати лет жил не под своей фамилией, что происходит из княжеского рода, в свое время выступал с оружием в руках против Советской власти, а теперь, кровью искупив вину, будет служить Родине верой и правдой, но под своей настоящей фамилией...

«Жаль, что Вы, вероятно, не читали первого варианта «У стен Ленинграда», — писал Вишневский 21 октября 1945 года В. О. Перцову. — Я развернул историческую

эволюцию образа бывшего русского офицера, дал тип для меня новый (князь, бывший белый, идущий на защиту Ленинграда)».

Пьесе местами присущи торопливость, скороговорка. Правда, как первый рассказ средствами драматургии о героической обороне Ленинграда, пьеса — а поставлена она сначала Театром Краснознаменного Балтийского флота, а затем Камерным — была встречена тепло и сердечно. Несмотря на военную обстановку, как обычно состоялось авторское чтение для различных аудиторий. После слушания пьесы Н. С. Тихонов писал: «Вишневский очень волновался. Он, конечно, был в каждом своем персонаже. Он болел, мучился, страдал, как они. Он негодовал, он рвался в бой, он плакал, и настоящие слезы катились по его щекам. Он, как и мы, не замечал ни разрывов снарядов, ни звона стекол, ни треска отбитых кирпичей. Он читал, как актер, один играющий все роли, и все роли, как одну, как замечательный агитатор, взывающий к современникам, как сам участник события, как моряк, сжимающий оружие и готовый в контратаку...»

Хотя сентябрь 1941 года не успел далеко уйти в прошлое, он рядом, однако кое-кому показалось, что Вишневский в своей пьесе слишком уж обнажает *жестокие* стороны войны, делает бо̀льший, чем надо, акцент на громадных испытаниях и потерях, показывает не только отвагу, но и *смятение* духа... Уже в 44-м у некоторых имеющих отношение к литературе администраторов появилось желание все пригладить, прилизать, именно оно-то и определило реакцию на пьесу и характер ее доработки при постановке.

Вот некоторые замечания армейского комиссара И. В. Рогова, ознакомившегося с рукописью: «Бригада морской пехоты скорее похожа не на воинскую часть, а на какую-то неорганизованную толпу... Стоит ли делать Белогорского чуть ли не центральной фигурой пьесы?..» И вообще: много предательств, отрицательных фигур, чересчур трагичен 41-й год...

Автор молча слушал, записывал. Потом закрыл блокнот, как-то медленно, устало поднялся и, глядя армейскому комиссару прямо в глаза, сказал:

— Мне больно видеть эти ведомственные опасения, подсчеты. Многое забывается, забыта и осень 1941-го. В пьесе все проверено, взято из жизни...

Так говорил он всегда: прямо и нелицеприятно. Позже сам про это забывал — что здесь особенного, — вел спор по существу, ни хитрить, ни подбирать деликатные слова он не умел да и не хотел.

Правда, другие таких разговоров не забывали и, что хуже, не прощали...

И все же Вишневский пошел на компромисс: уж очень хотелось ему, чтобы пьесу о Ленинграде его защитники увидели еще во время войны. Драматург отказался от ряда персонажей (в том числе от Белогорского), усилил «шпионскую» линию, и, естественно, это не углубило идейно-художественное содержание пьесы.

Соглашался на переделки с болью в сердце, пытался уяснить существо критики хотя бы для самого себя. Пробовал, но не смог: «Видимо, сейчас по обстановке нужен не философский спор, не трагический рисунок, а просто ударный, агитационный посыл. Я это понимаю, но мне казалось, что и на этот раз я писал «оптимистическую» трагедию.

Думаю весь вечер, ночь. Надо сохранить эту работу — первую большую пьесу об обороне Ленинграда, — пусть переделки, доработки... А этот вариант останется для будущего» *(Из дневника, 24 ноября 1943 года).*

Премьера состоялась 10 апреля 1944 года. Оценивая работу Театра КБФ (режиссер А. Пергамент), драматурга и художника (спектакль этот оформила С. К. Вишневецкая), газета «Правда» писала: «Спектакль наполнен дыханием великой войны, и зритель видит не только поведение героев, но и движение настоящей боевой жизни». С успехом прошли гастроли театра в Москве, где билеты на все девять спектаклей «У стен Ленинграда» были распроданы еще до приезда труппы. Особенно тепло принимали зрители народного артиста СССР В. Честнокова, создавшего образ волевого интеллигентного командира Военно-Морского Флота, а также А. Трусова, хорошо сыгравшего роль боцмана Лошкарева.

И в годы войны, и в первые мирные годы Всеволод Витальевич испытывал страстную потребность «выговориться», осуществить творческие идеи и замыслы, рожденные под воздействием вновь приобретенного опыта, впечатлений, переживаний. Вот по летнему Ленинграду медленно идет капитан второго ранга: отвечает на при-

ветствия, всматривается в родные лица земляков. Он приходит в гостиницу, вынимает из полевой сумки толстую тетрадь и пишет: «Мне бы только бумаги и чернил, тишины немножко, и писать, писать...

Я живу страстным, безмерным желанием видеть жизнь умиротворенной, здоровой, красивой. Я хочу видеть, осязать, ощущать покой, красу природы, дышать запахом моря, гор, лесов, полей. Все впереди будет подчинено упорному духовному развитию и подъему, новым творениям, новым открытиям, новому самоутверждению и очищению. Всепобеждающая жизнь!» *(Июнь 1944 года).*

Он задумывается о том, что успел сделать, о своем творчестве. И тут же на страницы дневника заносится страстное, сокровенное: «Жить близко к природе, вновь и вновь перебирать все пережитое и работать! Может быть, вернуться к ранним поискам, перечитать все, что может вместить мозг, исходить все, что можно исходить...»

А читает он и сейчас предельно много, внимательно следит за всем новым, что выходит в свет. Прочитав главы «Теркина», радуется тому, что автор «резко ушел от современной агитполитической манеры: взял народно-солдатский сказ, сплавил его с нынешним ощущением войны — получилось свежо, местами трогательно-наивно, чисто». Вместе с тем продолжает учиться, вновь обращается к Шекспиру, изумляясь тому, как современен драматург, как близки нам его герои; перечитывает речь Достоевского о Пушкине, статьи Белинского; сравнивает, как тема любви раскрывается Пушкиным и Маяковским.

Как и всякому человеку, ему необходимо интеллектуальное переключение — от общения с людьми и напряженной умственной работы. Обычно в таких случаях — а это бывало поздней ночью — на помощь приходит книга. «Прочел «Семью Тибо» Роже Мартена дю Гара, — записывает он в дневнике. — Юность, хорошо... Бегство в Марсель написано так верно, что я просто опять дышал портом, Каннебьерой. А встреча с девушкой!..» В кругу его чтения чаще других авторов встречаются Бальзак («какой блеск, какая живость!»); Марк Твен с его «грубоватым, убойным, крепким юмором», «мучительно-тревожный, вопрошающий, подвергающий все, без исключения, беспощадному анализу» Лев Толстой. Вишневский дает меткие, краткие характеристики почти каждой прочитанной книге и автору. Так, Цвейга он называет «цветистым господином»; о произведениях Синклера Льюиса замеча-

ет — «задорно, крепко»; Чарлз Дарвин привлекает его своей обстоятельностью, «спокойным, неторопливым изложением мысли». В романе Алексея Толстого «Восемнадцатый год» Всеволод Витальевич невольно прослеживает эволюцию стиля; в книгах купающегося в дипломатических и светских интригах и остротах академика Тарле его удивляет игнорирование автором сферы экономики и народной жизни; письма же князя Багратиона привлекают духовной близостью к нынешней эпохе, к героическим и простым людям...

Ранней осенью 1944 года Вишневский находился в войсках, освобождающих Прибалтику. Врачи предписывают ему покой, но война продолжается, а у него к врагам свой счет.

«Мы вернемся к тебе, старый Таллин...» И он вернулся, с честью исполнив воинский, гражданский и писательский долг. В освобожденном городе ему поручено провести пресс-конференцию для иностранных корреспондентов. Он рассказывает о том, как развивалась операция по взятию Таллина, как балтийцы поддерживали наступающие войска, освобождали острова, а затем высадили десант в Таллинском порту.

На встрече с журналистами присутствовала и одна женщина — в синем кителе с серебристыми погонами старшего лейтенанта, в берете с военно-морским крабом. И хотя она старалась быть как можно незаметнее, полный американский журналист в кремовом плаще после того, как Вишневский закончил свое выступление, вынув трубку изо рта, вежливо спросил переводчика:

— Скажите, пожалуйста, кто эта мисс?

— Художница. Жена писателя Вишневского, Софья Касьяновна Вишневецкая, — пояснил переводчик. — Добровольно пошла на войну и вместе с мужем служит на Балтийском флоте.

— О, это такая сенсация!. — воскликнул американец. — Писатель и жена-художница на войне!..

— Тут нет никакой сенсации, — рассердился Вишневский. — У нас десятки тысяч семей с первого дня войны пошли на фронт и воюют с фашизмом. Мы будем драться до полной победы, пока не придем в Берлин и не поставим на колени фашистскую Германию...

В этих словах не было и тени рисовки: да, они имен-

но так понимали свой долг. 1 ноября 1944 года, накануне отъезда в Москву, Всеволод Витальевич с чистым сердцем записал в дневнике: «Завтра я покидаю Ленинград после сорока месяцев и десяти суток, отданных ему — родному — безраздельно!»

Морозным февральским утром к дому 17/19 по Лаврушинскому переулку подкатил новенький «виллис», на тесной платформе которого был оборудован фанерный кузов. Всеволод Витальевич подошел к машине, по-хозяйски постучал ладонью по кузову и, видимо, остался доволен его прочностью. Быстро простился с Софьей Касьяновной и хотел было усесться рядом с журналистом-правдистом, капитаном первого ранга Иваном Золиным и фотокорреспондентом Яковом Рюмкиным.

Но тут вдруг услышал:

— Всеволод Витальевич, куда это вы так снарядились? — громко спросил вышедший на прогулку Сергей Николаевич Сергеев-Ценский. Его, наверное, удивил необычный вид Вишневского: в кожаном реглане на меху, на ремне маузер (с ним он не расставался всю войну), матросские брюки запрятаны в голенища простых солдатских сапог, в руке видавший виды, потертый портфель.

— На фронт.

— Куда? — переспросил Сергеев-Ценский.

— На Берлин!

— На этой машине?

— А что, разве она плоха и вызывает подозрения?!

— Ну, счастливого пути. Возвращайтесь с победой! — Сергеев-Ценский по-отечески простился с теми, кто отсюда, от самого центра Москвы, открывал счет километрам, которые суждено совершить по фронтовым дорогам, под огнем врага.

Состояние духа высокое, чистое. Вишневский безмерно радуется тому, что просьба командировать его в действующую армию (а он высказал ее сразу, как только речь зашла о переводе в Москву, в «Знамя») наконец-то удовлетворена. Ему вспомнилось напутствие главного редактора «Правды» Петра Николаевича Поспелова: надо осветить последние этапы великой войны как можно глубже, всесторонне. И еще — слова о том, что он, Вишневский, отлично поработал в Ленинграде и сейчас от него ждут не меньшей отдачи...

Позже, в мае, писатель скажет об этих нескольких походных месяцах возвышенно, торжественно: «Судьба дала мне счастливый жребий: после ряда походов быть при последних операциях по разгрому Германии».

Вишневский и Золин передали в «Правду» десятки сообщений с театра действий 1-го и 2-го Белорусских фронтов (по свидетельству Золина, вся основная литературная работа велась Вишневским). Статьям, очеркам, корреспонденциям («Поход к Штеттину», «На подступах к Данцигу», «День в Цоппоте», «К Берлину!», «Уличные бои в Берлине», «Битва за Берлин» и другим) присущи основные черты публицистики Всеволода Вишневского — оперативность, страстность, непосредственное обращение к читателю, образность, строгость и компетентность в описаниях боевых действий.

Редакция была довольна своими корреспондентами. 3 апреля, например, они получили такую телеграмму из «Правды»: «Редакция отмечает высокую оперативность вашей работы по Данцигу и ценность переданного вами материала».

Освещение воинского мастерства Советской Армии, подробный рассказ о различных формах наступательных боев, их атмосфера, множество картинок с натуры и деталей, увиденных в гуще событий острым глазом художника, — все это можно найти в корреспонденциях Вишневского и Золина. Уже очевидно, что дни гитлеровской Германии сочтены, но враг упорно сражается. Гибнут советские люди — иной раз и от неумения или неосторожности, порождаемой ощущением близкого конца войны. «Беседуем об опыте уличных боев. Перед штурмом Данцига надо в армейской газете эту тему развить», — записывает Всеволод Витальевич в дневнике после разговора с командующим армией.

И в последние недели войны Вишневский работает с величайшим напряжением сил, всегда оставаясь скромным и непритязательным, терпеливо переносящим трудности быта. Золин вспоминал, что он никогда не видел, чтобы Всеволод Витальевич во время сбора материала пользовался блокнотом; он всегда говорил с людьми «просто так». Часто бывал в Политуправлении, но сводок, как правило, не читал. Все, о чем он писал, — результат личных впечатлений, бесед с участниками боев, офицерами частей и штабов. Иногда, правда, Вишневский делал беглые пометки «для памяти» — на чистом листке бумаги,

на полях газеты. Обычно, стараясь дать корреспонденцию в газету до объявления приказа Верховного Главнокомандующего об освобождении или взятии того или иного пункта, Вишневский и Золин заранее собирали необходимую информацию, находились в передовых частях штурмующих, вместе с ними врывались на улицы освобожденного города и в тот же день передавали «в номер».

Бывало, что Вишневский внезапно исчезал на несколько часов. В Данциге, например, он успел за время своей отлучки принять участие в бое танкового подразделения, форсировавшего Вислу. В небольшом городке Каммин, находясь среди артиллеристов, писатель, видимо вспомнив былые годы, встал у одного из орудий и метко поражал цель — колонну противника на противолежащей косе.

А вечером командир бригады предложил:

— Вас, Всеволод Витальевич, оказывается, можно зачислить в артиллерийский расчет. Мне докладывали, что вы неплохо стреляете. Может, пойдете с нами?

— И рад бы, да ведь тоже дела...

В полуразрушенной гостинице, в небольшом зале случайно сохранившегося ресторана, к ужину собрались командиры взаимодействующих с артиллеристами частей. Вот майор, заместитель командира танкового полка, в боях с 1941 года и все время ведет дневник — Вишневский просит прислать его в редакцию журнала «Знамя».

Подошел полковник И. Т. Потапов, чем-то напомнивший Всеволоду Витальевичу Папанина — остроумный, смелый. Он только что побрился и принял душ: «Шесть дней не раздевался...» Разговорились, и неожиданно выяснилось, что, когда в сентябре 1918 года красные войска отбили у белых Казань и спасли пленных, среди них был и четырнадцатилетний доброволец Потапов.

— Значит, и вы меня в 1918 году спасли! — обращаясь к Вишневскому, радостно блестя глазами, пробасил полковник: — Ну, чокнемся по этому поводу...

Здесь же, в Каммине, в канцелярии морского фашистского гарнизона, оставлено все: груды дел, приказов... Плетка и флотская бескозырка, на ленточке надпись: «Kriegsmarine»[1]. Вот и вошли в фашистское морское логово!..

---

[1] Военно-морской флот *(нем.)*.

Последние номера местных газет пестрят объявлениями, призывами:

«Обучение фольксштурма в городах Померании назначается на 1, 2 и 3 марта».

Поздно!

«Kämpft, wie Indianer, und schlagt, wie Löwen!»[1]

Поздно! Звучит «роскошно», но местные немцы — это видно сразу, — растерянные и надломленные горожане и крестьяне, совсем непохожи на львов...

И со страниц дневника, и из газетных статей явствует, что у него нет чувства злобной мести к безоружному, повергнутому народу. В этом Всеволод Витальевич целиком солидарен с Леонидом Леоновым, который как-то сказал: «Народ мой и в запальчивости не переходит границ разума, не теряет сердца». Возмездие и так вершится в грандиозных масштабах, охватывающих десятки миллионов людей.

А в предместье Берлина Вишневский встретит плачущего навзрыд бойца. Долго будет успокаивать, а потом услышит (и запишет) его потрясающий рассказ:

— Семья жила на Украине. Сожгли село. Расстреляли мать. Убили брата... Сам я дважды ранен: участвовал в боях под Ленинградом. Жена моя с дочкой добралась туда. Выпросил в июне 1943 года отпуск на один день, к жене. Иду по улице и вижу — снаряд попал в трамвай. Подошел поближе... Вижу — человек двадцать убитых и раненых, и среди них — жена моя! Убита... Осталась маленькая девочка... Мстить — за жену, за всех! Я ничего никому не сказал, но решил уничтожить сто фашистов, потом дойти до Берлина, входить с автоматом в их дома, убивать их жен и матерей. Я так решил. Правильно или неправильно, не знаю, но ведь они убивали наших родных и детей?.. И вот я дошел. Много я их поубивал *в бою*. Но когда сегодня дошел — я заплакал. Простите... Я у Берлина, а мстить не могу...

Вишневский молча обнял бойца, крепко прижал к груди и сказал всего два слова: «Дорогой мой...»

Находясь в передовых частях наступающих войск, он доволен, безмерно счастлив этим: *«Мне хотелось (инстинктивно и сознательно) быть на фронте, когда Россия отплачивает «за все». Тут мое место!* Это я ощутил и ощущаю. Война во всей обнаженности учит простым вещам:

---

[1] «Боритесь, как индейцы, и деритесь, как львы!» *(нем.)*

не будь суетлив, тщеславен и пр. Я смотрю на себя со стороны, и иногда мне кажется, что я все тот же рядовой 1914—1918 годов, делаю что нужно, подталкиваю орудия, вытаскиваю машины, навожу порядок на дорогах, дежурю. Есть во мне инстинкт солдата, и он меня ведет и учит: я знаю, как говорить с людьми, что делать в той или иной военной обстановке. И чем глубже я вглядываюсь в события — а мы видим необыкновенное: *Германию Гитлера в агонии,* — тем больше я хочу всем своим существом человеческой чистоты, солидарности, высоких этических норм» *(Из дневника, 26 марта 1945 года).*

Свое отношение к Германии Вишневский четко сформулировал уже тогда: надо немедленно начать борьбу за душу и интеллект немецкого народа, чтобы помочь ему выйти на путь новых мыслей, новой идеологии.

Однажды, вспоминает И. Золин, произошел типичный для характера и образа действий Вишневского эпизод. Они ехали на своем «виллисе» по шоссе, когда из-за поворота показалась колонна бывших военнопленных, освобожденных из немецких концлагерей. Не оборачиваясь к шоферу, Всеволод Витальевич попросил остановить вездеход и легко спрыгнул на асфальт. И вот он уже окружен толпой, о чем-то горячо говорит. Водитель, которому такие сценки доводилось наблюдать не раз и не два, прежде чем заняться своим делом, с удовлетворением констатировал:

— Подполковник начал доклад. Теперь я сумею осмотреть мотор...

Происходило очередное перевоплощение писателя, журналиста в агитатора или, пожалуй, точнее — в собеседника, пусть даже и немалого количества людей. Зная немецкий, английский и французский, Вишневский мог свободно разговаривать с людьми различных национальностей. Он расспрашивал, кто откуда родом, как относились к ним немцы, куда держат путь. А затем начинал говорить сам — о международной обстановке, о близкой победе над фашизмом. «Надо работать с этим народом, — объясняя свои летучие беседы-митинги, внушал он Золину. — Благодатная почва. А то мы их освободили и предоставили самим себе. А ведь им надо рассказывать, раскрывать глаза...»

И так всю жизнь: для общения с людьми во имя политического, агитационного влияния на них, разъяснения обстановки, анализа сложившейся ситуации, страстного

призыва, побуждения к действию Всеволод Вишневский всегда использовал даже малейшую возможность. Он был настоящим Комиссаром: и летом незабываемого 1919 года, на глухом полустанке в украинских степях, где вокруг бронепоезда красных собирались крестьяне; и в беседах с допризывниками набора двадцатых годов, с кадровыми краснофлотцами и с комсомольцами Таджикистана. И на палубе военного корабля, и в землянках защитников Ленинграда, и в цехах Кировского завода, где под бомбежками, непрерывным артиллерийским обстрелом ни на минуту не прекращалась работа. И на улицах освобожденного Таллина, и в Берлине 30 апреля 1945 года...

При штабе 1-го Белорусского фронта насчитывается уже около тридцати журналистов и кинематографистов, и по вечерам все собираются вместе, чтобы обменяться новостями да и просто пообщаться. Кроме Вишневского и Золина, здесь Б. Горбатов, М. Мержанов, Я. Макаренко. Последний в своей книге «Белые флаги над Берлином», изданной в 1976 году, приводит ряд эпизодов, связанных с Вишневским.

...Вечером 12 апреля Всеволод Витальевич извлек из сумки «Фолькишер беобахтер» и, лукаво прищуря глаза и улыбаясь, сказал:

— Еще и вы посмеетесь... — И скороговоркой начал переводить статью, в которой утверждалось, что после чересчур быстрого форсирования Вислы Советская Армия едва ли способна начать новое наступление...

Вишневский был необыкновенно весел, рассказывал один за другим матросские анекдоты, а когда все разошлись на ночлег, вынул свой дневник в черной кожаной обложке.

Сейчас он ведет записи особенно строго: решающие дни — все ждут приказа о наступлении. Встретил Всеволода Иванова, и тот выразил свое настроение так: «У меня ощущение, как в детстве — перед большим праздником...»

16 апреля 1945 года Вишневский стал свидетелем и участником последнего, завершающего удара:

«4 часа 40 минут. *Скоро начнется одна из крупнейших битв войны! Спокойствие и уверенность...*

Интенсивнейший огонь! Гром и рык! Содрогание почвы.

Свист и разрывы ответных немецких снарядов.

В небо взвился сигнальный луч, а за ним — прямо в глаза немцам — ударил сплошным фонтаном ярчайший свет мощных прожекторов. Он, пробивая дым и пыль, ослеплял противника! Он высвечивал нашей армии немецкие рубежи.

Постепенный, почти незаметный в свете прожекторов рассвет...

6 часов 15 минут. С востока, из-за лесов, с равнин родной, благословенной России встает солнце... На всем 1-м Белорусском фронте работает до 22 000 орудий! Танки и самоходки катятся по полям, изрыгая огонь и подымая тучи пыли. Над полем боя несет лесной гарью. Танки-тральщики идут на минные поля, пробивая проходы для пехоты.

Гвардия двинулась по низине!»

Вишневский — в наступающих танковых и пехотных частях, при штабе 8-й гвардейской армии генерал-полковника Василия Ивановича Чуйкова. Герой Сталинградской битвы, участник гражданской войны, человек сильный и властный сразу понравился Вишневскому, и чувство симпатии оказалось взаимным.

В дневнике подробно фиксируется ход наступления, распоряжения Чуйкова, ответы командиров подразделений. И рядом — публицистические отступления, которые автор не может сдержать, — чувства переполняют его душу: «Битва разгорается! Наши генералы, офицеры и солдаты — в крови, опыте и традиции которых тысячелетняя сила и слава России, ее ум и гордость, — понимают, *какую* они ведут битву. В этой битве у наших людей на душе чисто, свято...

О, эта битва! — тут Ленинград и Сталинград, тут Украина и Грузия, тут Армения и Сибирь... тут весь Советский Союз упрямо и гневно идет сквозь огонь, дым и проволоку...»

Движение автоколонн — на Берлин! На автомобилях и грузовиках пробоины, разбиты стекла. На лицах шоферов шрамы, белеют бинты повязок. Кровью многих из них полит весь путь до Берлина. Один затормозил машину:

— Здравствуй, товарищ Вишневский!

— Откуда, друг?

— Из Ленинграда...

Они крепко жмут друг другу руки. Видимо, у этого

шофера жило чувство сродни чувству писателя Николая Чуковского, который в блокадные годы мечтал: «Признаться, никого бы мне так не хотелось повстречать в Берлине, как Вишневского...»

И вот — долгожданный миг: «МЫ НА ТЕРРИТОРИИ «БОЛЬШОГО БЕРЛИНА»! Фиксирую время: 21 апреля 1945 года, 19 часов 30 минут.

Слово, данное мной 22 июня 1941 года, я сдержал!» — с торжеством и обостренным чувством исторического момента записывает он в дневник.

Еще несколько дней ожесточенных, упорнейших уличных боев — и враг сломлен.

Поздним вечером 30 апреля в здании, где разместился штаб 8-й армии, у всех приподнятое настроение. Пришел связной:

— Генерал Чуйков приглашает товарища Вишневского к себе...

К генералу прибыли представители немецкого командования с предложением о прекращении огня. Начались переговоры о капитуляции, которые вели Чуйков, Соколовский и генералы Кребс и Вейдлинг. В числе тех, кто все время присутствовал при переговорах, был Всеволод Вишневский. Это и символично и заслуженно. Да и оправданно тем, что из-под пера писателя в результате вышел потрясающий по точности и исторической правдивости документ. Чуйков все удивлялся: «Пишешь беспрерывно почти вторые сутки, и как у тебя рука не отвалится...» А после подписания акта о капитуляции Берлина подошел к нему и расцеловал: «Всеволод, ты все пережил вместе с нами. Руку...»

Зная немецкий язык, Вишневский сумел записать не только обмен мнениями, но и попутно дать свой комментарий, очертить обстановку, нарисовать портреты участников переговоров, ясно представив фон, на котором они происходили.

«Капитуляция Берлина» полностью опубликована в четвертом томе Собрания сочинений писателя и является ярким и достоверным р е п о р т а ж е м о великом историческом событии.

В тот же день, 2 мая, Всеволод Витальевич написал последнюю свою корреспонденцию о войне. 3 мая побывал в канцелярии Гитлера, где валялись в пыли рыжие папки докладов и приказов, а на полу — брошенные бе-

жавшими нацистами членские билеты: «И надо всем этим стоит наш часовой — стрелок, парень из России!» У разбитых стен рейхстага — бойцы, офицеры, генералы, встречи друзей, фотографирование, киносъемки...

Его уже тянет в Москву — главное сделано, а «экскурсии» к демаркационной линии ему не нужны. Спустя много лет Яков Макаренко напомнит в своей книге разговор, происшедший в последних числах апреля между военными корреспондентами:

— Герои дня не мы, а вот те, — Вишневский указал в сторону Берлина, — что сейчас штурмуют без роздыха фашистскую твердыню... Вот о ком, милейшие, надо писать. При этом ярко, живо!

Ему возразил другой правдист, Мартын Мержанов:

— Журналист тоже часть армии. Пусть маленькая, незаметная частица, а все же веточка одного дерева.

На это Вишневский ответил:

— Нет, не надо ставить нам памятников. Воинам их надо сооружать. Всю землю, политую кровью, отдать под памятники. Страницы газет и книг... Не дай бог, если мы после войны начнем расписывать свои собственные подвиги...

Величайший такт и редкая скромность отличали Вишневского-журналиста: в его фронтовых корреспонденциях и очерках только искушенный в военном деле читатель заметит, ценой каких трудностей, а порой и смертельного риска добыт материал.

В годы Великой Отечественной войны наиболее полно раскрылась личность Всеволода Витальевича: его смелость, стойкость духа, человеческая щедрость и обаяние, требовательность и даже беспощадность к себе и другим, — если речь о воинском долге, о дисциплине, о самоотдаче и самопожертвовании на благо Отчизны.

Высоты человеческого духа... Их прославлял писатель в своих творениях, их сам он достиг на полях сражений. И он горд, и счастлив, когда на десятом пленуме Союза советских писателей, состоявшемся 17 мая 1945 года, в докладе его боевого побратима Николая Тихонова прозвучали весомые слова признания: «Мы никогда не забудем прекрасных статей Алексея Толстого, Михаила Шолохова. Мы должны отдать должное высокому непрерывному труду Ильи Эренбурга. Мы должны вспомнить горячее слово Всеволода Вишневского, звучавшее из осажденного Ленинграда на всю страну».

5 мая Вишневский провел беседу, посвященную Дню печати, в редакции армейской газеты. В Военном совете фронта говорил об обязанности генералов и офицеров писать воспоминания об Отечественной войне. А вечером на приеме, устроенном для журналистов, сказал:

— Друзья, война завершилась. Через пару дней улетаю...

В том же реглане и в тех же сапогах с заправленными флотскими брюками, со старым портфелем он попутным самолетом отбыл в Москву.

Он летел над полями и лесами России, а внутри все дрожало от счастья встречи с Родиной, от Победы. Как хорошо возвращаться!

На московском аэродроме Вишневского встречали знакомые и друзья, среди них П. Н. Поспелов. Всеволод Витальевич по-военному рапортует:

— Прибыл из Берлина. Все задания «Правды» выполнены...

Объятия, расспросы... Здесь же Анатолий Тарасенков, Софья Касьяновна.

Внутри усталость и одновременно порыв, напор мыслей, чувств, ожиданий. Редкостно светло и хорошо...

Сегодня, в последний день войны, он прибыл в Москву. И, как в сказке или фильме со счастливым концом, все оказалось удивительно завершенным: его вновь, как 22 июня 1941 года, зовут на радио (там его считают своим работником, даже в Берлин дали телеграмму: «Если не прилетите в Москву, просим принять участие в передаче с Красной площади хотя бы очерком о штурме Берлина. Союзрадио. Склезнев»). И в День Победы он у микрофона, его опять слушает вся страна.

Круг замкнулся! 22 июня 1941 года он говорил о том, что русские бывали в Берлине дважды: в 1760-м и 1813-м, и о том, что они придут туда в третий раз. И это свершилось...

«Только что слушал Ваше выступление у микрофона, — спешит выразить переполняющие его чувства Н. Шкапов из заполярной Воркуты. — Спасибо, большое спасибо за статью, которую Вы читали. Нет, это не просто была статья, это был крик души, всплеск горячего сердца; это был удар остро бьющего ума. Не Вас слушал я, дорогой товарищ Вишневский, не писателя-корреспондента. Я слышал, как наш солдат, прижав Берлин к зем-

ле, обернулся к своей родной Москве и просто сказал ей слово благодарности...»

Спустя десятилетия ученые, исследующие проблемы радиожурналистики, назовут подобное восприятие передач мудреным словом идентификация: на почве максимального вживания в происходящее во время слушания адресат отождествляет себя с рассказчиком или его лирическим героем.

«Нация — в основе 100 миллионов русских, — записал в эти дни Вишневский, — обрела себя, воскресила многие традиции, слив с ними новый опыт, новую, советскую организационную и техническую школу. Русская прежняя хватка, сметка, храбрость и выносливость сочетались с городским техническим опытом, с героической, дерзающей манерой большевизма, с грамотностью, культурностью и идейной устремленностью масс, с бытовой привычкой к коллективному подвигу и труду».

В самые невыносимые, в самые тяжкие дни войны, веря в окончательную победу и мечтая о мире, Всеволод Вишневский видел себя в тихое, послевоенное утро в штатском сером костюме. И он действительно надел серый костюм. Но, хотя пушки грохотать перестали, Вишневский и в мирной одежде призван был продолжать бой за торжество справедливости, правосудия.

Да, это было закономерно и логично, что в ноябре 1946 года он прибыл в Нюрнберг в качестве специального корреспондента «Правды» и явился свидетелем того, как Международный военный трибунал на протяжении почти полугода рассматривал кровавые злодеяния фашистов — документы, за которыми миллионы погубленных человеческих жизней, море слез, крови, страданий.

В Вишневском снова заговорил политик и исследователь, справедливо считающий своей задачей «научный, систематический анализ национал-социализма — современного капиталистического «модерна» в немецком обличии». Выполнить такую задачу одному ему, конечно, не под силу: ведь представлено огромное количество материалов политического, военного, экономического и социального характера. Вишневский ходит и на дополнительные допросы (начальника штаба Гиммлера, началь-

ника управления формирований и других), наблюдает, записывает. Военные преступники вызывают у него и ненависть, и отвращение, и омерзение, и непонимание: «странные люди — без сердца, без жалости, с непомерными внеморальными целями и идеями...»

Гневные, политически острые, написанные с большой аналитической и художественной силой очерки и статьи Вишневского (в «Правде» и других газетах их было напечатано свыше 20) освещают ход и обстоятельства суда над палачами и военными преступниками. Но и журналистскому слову не все подвластно. После показа фильма о фашистских концлагерях зал четверть часа не мог прийти в себя — так был ошеломлен увиденным. Этого не смогли бы выразить даже Данте и Шекспир, замечает Вишневский.

Вот Геринг, который пробует казаться бодрым и уверенным; Розенберг, исподлобья рассматривающий русских; лжец и грабитель наших ценностей Риббентроп сидит окаменело. А вот тусклое лицо Гесса, симулировавшего выпадение памяти, оно отталкивающе уродливо, пообезьяньи выпуклые надбровные дуги, провалившиеся щеки с темной щетиной, запавшие, угрюмо-мрачные глаза...

Вишневский дает галерею памфлетов (публиковались в «Правде» под рубрикой «Их портреты») на главных преступников — Геринга, Гесса, Риббентропа, Розенберга, Иодля, Франка и других. «С расстояния в десять шагов мы наблюдаем, записываем и зарисовываем Геринга. Эта бестия пытается и тут играть роль «премьера». Он шлет кому-то улыбки, вертит плечами и животом, жестикулирует руками...» Автор показывает, как, какими путями и средствами сделал он карьеру — от платного агента фирмы «Баварские моторостроительные заводы» до миллиардера, скупающего и грабящего целые отрасли индустрии Европы. И даже здесь, в непривычном для него сатирическом жанре, Вишневский не отказывается от своего излюбленного приема — прямого обращения к аудитории: «Этот толстый, разбухший авантюрист, палач-садист, взяточник, делец, развратник бросил на СССР свою авиацию. Все, кто помнит воздушные тревоги, бомбежки, кровь и муки, потери близких, любимых, дорогих, — смотрите здесь на Геринга. Это он сидит в Нюрнберге на скамье подсудимых — чудовищный авантюрист, преступник, сверхубийца».

6

На пленуме Союза писателей, который состоялся в мае 1945 года, Всеволод Витальевич поделился с присутствующими мыслью, владевшей им еще в годы войны: литературе кровно необходим приток свежих сил. Сколько людей вело дневники, писало рассказы, стихи! Такие, пока неизвестные авторы есть. Надо найти, помочь им развить свои способности, обрести себя в литературе.

Заявление не было декларацией. Как-то в журнал «Знамя» пришли стихи женщины-врача Галины Волянской. Их прочли в редакции, они понравились Тихонову и Вишневскому. В далекий кабардинский городок Долинск, где Волянская работала в госпитале, полетели письма: подбадривающее — от поэта; деловое, без особых эмоций, — от главного редактора: «Будем печатать все сразу, без поправок. Сообщите сведения о себе. Напишите, куда выслать гонорар».

Стихи увидели свет, но Всеволод Витальевич на том не успокоился и решил помочь талантливому автору перебраться в Москву.

Вот какой запомнилась Галине Волянской встреча с Вишневским в редакции «Знамени»:

«Много людей, незнакомых, с любопытными глазами. Среди них один — плотный, мускулистый, с упрямым наклоном крупной головы. В широком лице с глубоко посаженными глазами и «медвежатинка», и доброта, и упорство, и почти ребяческая мягкость. Я узнала его не столько по портретам, сколько по ощущению какого-то приближающегося ко мне заряда излучаемой энергии. Я помню наш первый разговор. Он буравил меня взглядом и говорил отрывочно, требовательно...

Чем больше слушала я его, тем яснее мне становилось, что он подобен горнилу, в котором идет непрерывное кипение общенародных чувств, помыслов, стремлений...»

В человеческом общении Вишневский всегда старался понять другого, помочь сделать выбор или поддержать в решающие минуты жизни. Врач Волянская на самом деле стала хотя и не поэтом, но известным советским прозаиком Галиной Николаевой и уже в зрелом возрасте могла с полным правом заявить: «Мне кажется и примечательным и поучительным то по-горьковски горячее, деловое участие, с которым отнесся Вишневский к судьбе

никому не известного автора нескольких стихотворений. Без такого участия я не стала бы писателем, как не стали бы и многие другие, подобные мне».

Конечно, по первым опытам не всегда можно определить писательское дарование. Однако в отношении к молодым Вишневский отличался особым терпением и доброжелательностью. Не упустить, не потерять талант — эта мысль более всего заботила его в редакторской работе.

А сейчас он ждет урожайных в литературе лет. Люди приходят с войны и приносят много нового, свежего, самобытного, порой удивительного. «Писатели, литераторы современности, — убежден Вишневский, — должны принести читателям СССР и остального мира самые ценные, точные, выверенные, *правдивые до предела* слова о России, о войне, о народе, о его сокровенном, явном и потаенном, о его нравах, языке, о его думах, чувствах».

Он с трепетом раскрывает только что полученные редакцией рукописи: а вдруг! Вот запись в дневнике от *3 июня 1945 года:* «Мария Смирнова, русская сибирская казачка... Я прочел ряд ее новелл — отличный народный язык, острота, юмор... И неожиданный лирический рассказ о девушке Оле... Надо его напечатать... Как приятно найти нового автора...» И тут же, рядом, — восхищение чистотой и свежестью повести Веры Пановой «Санитарный поезд» [1].

Как в былые годы, Всеволод Вишневский со всей яростью своего темперамента защищает молодых писателей от нападок критиков, особенно тех, кто не скрывал раздражения при встрече с политически ясным, целеустремленным, обращенным к глубинным народным думам и чаяниям произведением.

Читая готовящиеся к печати стихи Сергея Орлова, Всеволод Витальевич благодарен ему за то, что он столь высоко поэтически и талантливо выразил близкие, созвучные ему самому чувства. И записывает в дневник такие строки:

Человека осаждают сны,
Смутные видения войны,
Ходит он который раз в атаку
В мире абсолютной тишины...

Совсем не случайно, что именно Вишневский оказал

[1] Впоследствии — «Спутники».

решающую поддержку молодому танкисту с обожженным лицом. Сегодня стихотворение Сергея Орлова «Его зарыли в шар земной» стало хрестоматийным, а тогда оно, потрясающее своей масштабностью, силой мысли и чувств о бессмертии и вечной воинской славе, оставило некоторых редакторов равнодушными.

В «Знамени» напечатаны замечательные книги «бывалых» людей — «В Крымском подполье» И. Козлова, «Это было» О. Джигурды, «Люди с чистой совестью» П. Вершигоры. «Крепко, сурово, правдиво, честно, откровенно, душевно» — так оценивает Вишневский-редактор дышащие историей произведения участников войны и благодарит их за то, что прислали в журнал поистине «знаменский материал». Встречаясь с Василием Ивановичем Чуйковым, он вдохновляет прославленного полководца на написание мемуаров. Много позже книги «180 дней в огне сражений», «Гвардейцы Сталинграда идут на Запад», «Конец «третьего рейха», «Сражение века», вышедшие из-под пера В. И. Чуйкова, выдержат не одно издание. В «Знамени» увидели свет записки трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина, сбившего 59 вражеских самолетов.

Главный редактор отлично улавливал новое, талантливое. В письме Анатолию Тарасенкову (июнь 1945 года) он предполагает открыть в журнале специальную рубрику, где печатались бы молодые поэты, и называет имена Ю. Друниной, С. Орлова, М. Дудина. Несколько позже, прочитав стихи Семена Гудзенко, пишет ему: «Удался цикл. Хороший!.. Просторы, радости жизни, наполненность, перемены бытия, вольные наблюдения, романтическая тема странствий, солнца, раздумий, охоты, бесед на привалах, воспоминаний о войне...

Все это прочно, органично, музыкально...»

Далее Всеволод Витальевич призывает поэта пристальнее вглядываться в жизнь, чтобы почувствовать иные, *современные* темы, говорит о том, что стихи будут напечатаны во втором [1] номере «Знамени». В заключение по-доброму, по-дружески делает и критическое замечание: «У Вас и война, и совершенное, и завоеванное (без агиткриков). Но «мистические» упреки сержанта тихому закарпатцу пока мы отложим. Оставим жизненное, реаль-

---

[1] Цикл закарпатских стихов С. Гудзенко опубликован был в третьем номере журнала за 1947 год.

ное, осязаемое — с мыслями, вином, пылью, солнцем и грустью...

Крепко жму руку!

Вс. Вишневский».

Те, к чьей творческой судьбе причастен Всеволод Витальевич, не забудут его дружеской помощи и спустя десятки лет.

— Есть новые авторы. С радостью ввожу их в литературу, — говорил он в те годы друзьям. А мог бы и не говорить: это всем было очевидно без слов. Когда в конце 1946 года его попросили высказать для президиума и партбюро ССП свои соображения о насущных проблемах развития союза, проблема пополнения им была названа в числе первостепенных: «Мы сами обязаны говорить о молодежи, приглашать ее к себе, раскрыть перед ней двери союза, клуба, редакций...

Работа с молодежью, с новыми, выдвинутыми жизнью, войной авторами — один из первых пунктов нашей программы на сегодня и завтра».

И совершенно закономерно, что именно Вишневский стал одним из инициаторов и организаторов состоявшегося в апреле 1947 года I Всесоюзного совещания молодых писателей.

— Вы — молодое боевое поколение, — обращался он к присутствующим с трибуны совещания. — Вы должны сказать о своем поколении, о комсомоле, сказать с такой же силой, с какой дрались за Родину, за свои судьбы... Я смотрю на товарищей в зале: кто из вас войдет по-настоящему в литературу? Это определится через пятьдесят лет. Если есть у тебя талант, если умеешь трудиться много, нещадно, если любишь людей, живешь мыслью, делом народа, отдаешь себя народу целиком — толк получится...

Его внимательно слушали молодые люди — сплошь и рядом одетые в гимнастерки и кители, люди, чей талант пробудился в годы тяжких военных испытаний: Сергей Орлов и Расул Гамзатов, Семен Гудзенко и Юлия Друнина, Сергей Наровчатов и Михаил Луконин...

Вишневский очень внимателен к нуждам своих коллег-журналистов, помогает улучшать бытовые, жилищные условия, в случае необходимости — отыскать лучшего врача-специалиста. «Прошу Вас помочь нашим зна-

менцам, — пишет он А. В. Софронову, — старейшим, работающим десятки лет, но которых не коснулось повышение зарплаты... Прошу 3 бесплатных путевки больным моим работникам... Я надеюсь, что Вы поможете нашему общему делу и людям большого труда».

В редакции и редколлегии «Знамени» царили особая спаянность и горячий интерес к журналу (хорошие стихи и романы радовали всех — от редакторов до курьера), а также удивительная для творческого коллектива, идущая, конечно же, от главного редактора прямота и откровенность суждений. «И только теперь, отойдя на расстояние десятилетий, — писала в 1961 году Галина Николаева, — думаешь, а ведь это блистательное соединение горячего, живого участия с непримиримой и прямой критикой за все десять лет не повторилось больше ни разу ни в одной редакции в тех высоких степенях, в каких это было в редакции «Знамени» тех лет».

Журнал в те годы притягивал к себе многих писателей, и не случайно здесь были опубликованы «Молодая гвардия» Фадеева, «Василий Теркин» Твардовского, «Счастье» Павленко, «Матросская слава» Соболева.

Убежденность в своей правоте, принципиальность, прямота — прекрасные черты человеческого характера... Но вот читаешь дневники Всеволода Витальевича и просто физически ощущаешь, какой дорогой ценой ему это доставалось.

Верный позиции глубинного и правдивого отображения жизни в искусстве, ярый противник надуманности, красивости, фальши и вторичности, он в соответствии со своей натурой выступал против произведений такого рода. «Прочел рукопись К. Паустовского «Рассказы военных лет», — записывает в дневнике Вишневский. — Лирические, с поисками человеческих тайн, с жаждой чуда, сказки-новеллы... Есть явно надуманные... Две-три задумчивых, трогающих... Затем несколько — полусырых, «фактографических» вещей... Один анекдот, одна статья...»

Душевное богатство, отзывчивость Всеволода Витальевича раскрывались особенно щедро, когда кому-либо было трудно. «На огонек» сердечного тепла забегал усталый, нервный, взвинченный Александр Довженко: отой-

ти, почерпнуть крепости у не очень-то разговорчивого, но удивительно умеющего слушать и понимать друга.

Вишневский берет сборник поэзии Николая Тихонова, заново читает стихи о любви — гармоничной, ищущей и несбывающейся, и появляется потребность позвонить, просто поговорить о книге, о лирическом цикле. И все, больше ни о чем нет речи, но и этого достаточно, чтобы Тихонов понял — переживает за него Всеволод.

В эти послевоенные годы у Вишневского устанавливаются добрые отношения со многими писателями, в частности с Шолоховым.

«Поговорили, — записывает Вишневский *2 сентября 1946 года,* в день знакомства с Михаилом Александровичем. — Хорошая голова. Одет просто, в светлой гимнастерке, простой говор с казачьим акцентом. Немногословен...

В ближайшие дни возьмусь за «Тихий Дон» снова — это, в сущности, наиболее самостоятельное в литературе».

И еще одна пометка, относящаяся к январю 1948 года: «Звонил М. Шолохов, благодарил за привезенную ему рукопись (один офицер нашел во время боев 1942 года подлинник «Тихого Дона», сберег его и дал мне в Веймаре — для Шолохова...)».

С возрастом и накопленным жизненным и творческим опытом пришла бóльшая широта взглядов. Теперь уже о творчестве Александра Афиногенова тридцатых годов он пишет спокойно, понимающе и одобрительно: «Это упорная, хорошая битва за себя, за свое место, достоинство, творчество...»

Как-то морозным вечером Вишневский с Тихоновым и Леоновым возвращались домой после очередного заседания. Леонид Максимович с грустью показал список своих должностей и нагрузок и добавил: «Тринадцатая — писатель...»

Нечто подобное чувствовал и Вишневский. Кроме руководства журналом, с осени 1946 года он заместитель Фадеева.

Что необходимо в первую очередь? Создать в Союзе писателей творческую атмосферу: искать, творить, спорить — при дружеском, заботливом участии и руководстве президиума. При этом Вишневский исходит из горьковского понимания коллективной сущности литературного процесса: 1) из понятий демократического ССП,

2) из понятий коллектива, 3) из понятий свободного соревнования, сотворчества литературных групп, течений, направлений. Пусть во всем литературном деле, считал он, активно участвует прямая и честная критика.

И еще одну мысль не устает он повторять в своих устных и печатных выступлениях: память о погибших в годы Великой Отечественной войны священна. Открывая 25 мая 1946 года проводимый по его же инициативе вечер писателей-фронтовиков в Центральном Доме литераторов и напомнив, что погибло двести сорок два члена ССП, он сказал: «Мы должны издать альманахи, посвященные их памяти, мы должны золотом по мрамору выбить их имена, чтобы в нашей памяти эти имена остались навечно».

Немало сил у Всеволода Витальевича забирают и другие обязанности: член президиума Славянского комитета, член военной комиссии по кино и драматургии ССП СССР. Нередко он выезжает за рубеж, встречается с прогрессивными деятелями культуры и призывает их к консолидации в борьбе за демократию, против угрозы новой войны. Так, в октябре 1947 года, обращаясь к делегатам I конгресса писателей свободной Германии, Вишневский говорил: «Я трижды воевал против германской армии, был пять раз ранен, но в моем, русском сердце никогда не умирало уважение к великому немецкому народу. Я прошу вас это понять...

Я хочу, чтобы душа немецкого народа понимала нас, простых советских людей, которые вот уже три десятилетия борются за мир на земле, за то, чтобы всем создать возможность свободного мирного труда... И когда нас берут на испуг — из Вашингтона или из Лондона, — я отвечаю от имени простых советских людей: нас не испугаешь ни атомной бомбой, ничем другим. Мы знаем, как на это ответить. Запомните: мы ответим так, что у них рты раскроются на метр!..»

После заседания корреспонденты западных стран выражали недоумение и строили всяческие догадки по поводу последней фразы Вишневского, а он лишь улыбался: «Ничего, пусть задумаются немного...»

Прошло уже несколько лет после салюта Победы, а дневники так и лежат нетронутыми. Ему передают слова главного редактора «Правды» Петра Николаевича Поспе-

лова: «Партия, народ ждут от Всеволода пьесы... Нет пьес, а он, черт, талантливый... Он нужен и как драматург, и как публицист. И его творчество важнее редакционных дел...» Это понимал и сам Вишневский, поэтому в середине 1948 года принял решение оставить журнал. Николай Вирта полушутя-полуторжественно позвонил Софье Касьяновне и сообщил:

— Сегодня, 25 августа, получил от Всеволода историческую записку. Цитирую: «Сидел ночь над рукописями — 500 и 250 страниц. Устаю... Хватит... Надо заняться своим творчеством...»

Страницы дневника (а он по-прежнему ведется практически без пропусков) свидетельствуют о внутренней борьбе, о той сложной гамме чувств, которая тогда владела Вишневским. В этом смысле любопытна запись беседы с одним оборотистым литератором, пытавшимся втолковать ему:

— Всеволод, зачем ты занимаешься организационной работой? Плюнь, никто спасибо не скажет... Писать надо, ценят только дело, утилитарно. А у тебя сколько наблюдений, дневников...

Видимо, в словах собеседника Вишневский уловил плохо скрываемый житейский практицизм, потому что прокомментировал довольно строго: «Я вырос в среде более суровой — и во мне неискоренимое отрицание всего этого хватания благ; во мне есть суровость, нетребовательность времен гражданской войны; я до ненависти, до холодного бешенства не люблю ловкачей, «красивую жизнь», «светское»...»

Как когда-то в молодости, работа над новым художественным произведением притягивает и одновременно пугает. Он понимает, что после гигантского сотрясения, всколыхнувшего весь мир, надо писать иначе. Но как? На исходе войны казалось, что стоит только засесть за письменный стол, и новая пьеса, в которой будет вся мыслимая амплитуда переживаний и чувств, сразу же выльется на бумаге. Здесь будет и мрак, и смерть декабря 1941-го — января 1942 года, и неистовое упорство питерцев, упорство вековое, здесь все пронизано ветрами моря, гулом исторических событий...

А теперь все гораздо сложнее. Всеволод Витальевич много читает и думает о России, об органической, народ-

ной линии в литературе: былины, исторические песни, Ломоносов, Радищев, Державин, Пушкин, Гоголь, Толстой, Тургенев, Щедрин, Успенский, Короленко, Чехов, Горький... И главными, определяющими свойствами этой литературы ему видятся: ясность, патриотизм, сила, нравственные устои. Ключи к познанию характеров, образов будущих романов и пьес — в освоении сокровищ вековой культуры народа, богатств русской литературы.

Размышляя о путях развития драматургии, Вишневский решительно противится попыткам нивелировать пьесы и свести их к бытовой производственной драме. Вот как видит он задачи писателя в своем любимом жанре: «Современная драма только и может быть реалистической, полной остроты социальной мировой схватки; она должна развивать все передовые черты драматургии России, наиболее устремленной к прогрессивным целям. Искать нужно через драмы Горького, Островского, Чехова, Л. Толстого. *Реализм, философский анализ, романтические взлеты»*.

Итак, творческая зрелость вывела писателя на магистрали классической драматургии, однако при этом он сохраняет и особенный, подтвержденный собственной практикой взгляд.

По-видимому, слишком мала еще была временна́я дистанция, чтобы создать художественное произведение о войне, о блокаде. Ведь совсем не случайно спустя десятки лет Александр Яшин писал: «Ленинград в годы блокады — не тема для сочинений. Тут все пахнет кровью и не требует домыслов. Более сильных картин людского горя и героизма не может представить самое воспаленное воображение. В этом случае надо писать либо так, как было, как ты видел, либо не писать совсем. Я много лет не мог даже рассказывать о виденном и пережитом в Ленинграде...» *(25 августа 1964 г. Из дневников)*.

К тому же Вишневский болезненно переживал относительную неудачу с написанной по горячим следам событий пьесой «У стен Ленинграда». Особенно его травмировали выпады некоторых критиков, с почти нескрываемым торжеством провозгласивших: все, конец, Вишневский-драматург исчерпал себя. Отравляющее воздействие критики усугублялось тем, что ее рупорами были

те, кто в свое время угробил кинороман «Мы, русский народ», а в годы войны, по меткой характеристике Всеволода Витальевича, «укатил на передовые позиции под Алма-Атой и там храбро держался...».

С переполняющей его обидой и горечью Вишневский так отвечал на статью Ю. Юзовского (опубликована 2 марта 1946 года в «Литературной газете» под названием «О старых и новых друзьях»): «Вы, Юзовский, задали вопрос: где душа Вишневского? Вы утверждаете, что душа его вся в прошлом, что этот человек ничего не может дать, что у него, мол, только матросики, братишки на уме и т. д.

Я вам отвечу. Моя душа, Юзовский, была в 1937 году в Испании, моя душа была на каждом фронте; моя душа была в Ленинграде и в Кронштадте, моя душа была на штурме Риги и Таллина; моя душа была на штурме Штеттина и Берлина, и я горд тем, что дошел до канцелярии Гитлера...»

Помимо выполнения служебных обязанностей в журнале и президиуме ССП, Всеволод Витальевич ведет исследовательскую работу (готовит статьи «Морская тема в русской литературе», «Русские мореходы в народной поэзии» и др.), пишет для «Правды», выступает на радио. 21 февраля 1947 года, накануне Дня Советской Армии, с огромным внутренним подъемом говорит у микрофона, всем своим естеством ощущая, что ведет обязывающий разговор с народом. Были в его речи исторически точные описания, патетические обобщения, лиризм и интимность обращения к каждому слушателю. В день радиопередачи телефон в квартире Вишневского «раскалился»: более ста звонков — генералов, офицеров и рядовых, писателей и журналистов, женщин, инвалидов войны и т. п. Немало отзывов пришло и в радиокомитет. Один из них содержал благодарность писателю от пожилой женщины и примечателен припиской в конце письма: «Мне 80 лет, моменты радости бывают нечасто».

Итак, Вишневский принял решение уйти из «Знамени», чему в немалой степени способствовало ухудшившееся состояние здоровья: после возвращения из Нюрнберга давление крови нередко подскакивало до отметки

220. Врачи повторяли давнишний совет: надо спланировать жизнь и работу так, чтобы меньше было раздражителей...

Однако главная причина того, что Вишневский вынужден покинуть журнал, несомненно, проистекала из особенностей его характера — всегда обнаженно правдивого, резкого. Далеко не всем это нравилось. В «Литературной газете» и других изданиях почти одновременно (летом 1948 — именно в то время, когда он сам намеревался заняться только творчеством) появились резко критические по тону и поверхностные по существу рецензии на произведения, опубликованные в журнале. В том числе и на те, что впоследствии будут отмечены Государственной премией («Знаменосцы» О. Гончара, «Киевские рассказы» Ю. Яновского). А 15 января 1949 года Вишневский был освобожден от обязанностей главного редактора «Знамени» и с облегчением записал в дневнике: «Не давят рукописи журнала. Нет постоянной озабоченности, ожидая ударов, неприятностей и пр.».

Несмотря на прежние неоднократные намерения обратиться к дневникам блокадных лет, Вишневский неожиданно пишет пьесу о гражданской войне — «Незабываемый 1919-й». Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Новая пьеса явилась логическим продолжением работы по художественному осмыслению революционных страниц истории народа, она как бы завершила ряд монументальных произведений Вишневского — «Оптимистическая трагедия», «Мы из Кронштадта», «Мы, русский народ», — в которых воспевались сила и мужество советских людей в борьбе за свободу родной земли, их преданность идеям революции.

К работе над пьесой Всеволод Витальевич подошел, не изменяя привычке тщательного изучения исторического материала. Выехал на Балтику: на самолете пролетел над местами событий 1919 года, побродил по болотам и лесам, нашел стариков — участников событий. Разыскал архивные материалы, книги об интервенции, чтобы лучше ощутить стиль англо-американской дипломатии и разведки.

28 июня пьеса вчерне завершена, однако еще несколько месяцев Вишневский будет шлифовать ее текст.

Каждый эпизод переписывал по 3—4 раза, отделывая деталь за деталью. Всеволод Витальевич сознавал, что пишет пьесу актуальную, своим острием направленную против милитаристов и их авантюр (был ведь 1949 год — разгар «холодной войны»!). Работал быстро, отбрасывая различного рода «фантазию» и театральные ухищрения. «Мой романтизм за 1941—1948 годы эволюционировал — жизнь внесла опыт, реальное», — как-то в минуту откровений признался он А. А. Фадееву.

В центре изображаемых событий — судьба Петрограда, которому с фронта угрожают белогвардейские части генералов Родзянко и Булак-Булаховича, поддерживаемые и на суше, и на море войсками и флотом (английской эскадрой адмирала Коуэна) интервентов, а изнутри силами контрразведки, готовившимися с помощью предателей и шпионов поднять мятеж. 12—16 июня 1919 года им удалось обманным путем захватить один из главных фортов — Красную Горку. Однако восстание было подавлено решительными действиями сухопутных, морских и воздушных сил республики. Одновременно в Петрограде раскрыта и обезврежена подпольная организация, называвшая себя «петроградским отделением национального центра» и руководимая резидентами иностранной разведки.

Центральный Комитет РКП(б), В. И. Ленин сделали все, чтобы защита Петрограда стала поистине всенародным делом, в частности, было опубликовано обращение к народу, которое призывало удвоить бдительность, подняться на борьбу со шпионами и предателями: «Наступление белогвардейцев на Петроград с очевидностью доказало, что во всей прифронтовой полосе, в каждом крупном городе у белых есть широкая организация шпионажа, предательства, взрыва мостов, устройства восстаний в тылу, убийства коммунистов и выдающихся членов рабочих организаций. Все должны быть на посту» [1]. Чрезвычайным уполномоченным Совета Обороны по организации обороны города был И. В. Сталин, прибывший в Петроград в конце мая.

Такова историческая канва событий, легшая в основу сюжета пьесы. Автору хорошо знакомы герои драмы — бойцы революционного лагеря — матросы, красноармейцы, рабочие, равно как и их противники — белогвардей-

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 38, с. 399.

цы, интервенты. Особенно удался Вишневскому образ матроса-чекиста Шибаева, явившийся воплощением пролетарской сознательности, революционной силы и дисциплины народа. Шибаев появляется во втором акте и уже до конца пьесы находится в центре событий. Вот как он рассказывает о себе: «Ходил в строю — ранили, голову раздуло вот так, хожу с перевязкой, гляжу одним глазом. Тут собрание... Организуется Особый отдел... Меня выдвигают... Говорю: «Опыта нет». — «Бро-ось!» Один товарищ выходит, участник тысяча девятьсот пятого года: «У нас тоже не было! Получилось...»

Именно так в свое время попал на работу в ЧК сам автор. И далее в образе Шибаева явственно угадываются некоторые черты и даже отдельные факты из жизни Вишневского. А те, кто видел спектакль «Незабываемый 1919-й» Малого театра и знал драматурга лично, не могли не заметить с первого появления Игоря Ильинского (Шибаева), что актер играет... самого Вишневского — его матросская походка вразвалочку и внезапный, напористый, чуть ли не маршевый шаг: насмешливая, исполненная презрения, сквозь зубы интонация, какая слышалась у Вишневского, если он сталкивался с антипатичными ему людьми.

Напор, проницательность, интуиция, основанная на знании людей, их психологии, свойственны Шибаеву и наиболее ярко раскрываются в исполненной драматизма и юмора сцене обыска на квартире мадам Буткевич. Эта сцена, как и эпизод нейтрализации восстания на форте «Обручев», когда член Военного совета Воронов — мужественный, волевой человек — смог добиться поставленной цели; как и картины душевной борьбы старого минера Петровича (по поручению английского шпиона он должен взорвать Красную Горку); как прозрение поручика Николая Неклюдова, жестоко расправившегося с коммунистами на фронте и понявшего, что он предает Родину, свой народ («Господи, зачем я расстрелял столько людей! (Эгару — британскому разведчику. — *В. Х.)* Вам все равно... двести — да больше! — таких, как я, русских... Что вам Россия? *(Плача.)* А, пусть бьют — огонь! По нас... Огонь, большевики!») — все реалистично, жизненно, написано сочным языком. В целом пьесе присущи искренняя страсть, самобытность образов, высокий профессионализм, проявляющийся и в сю-

жетном построении, и в напряженности развития действия.

В этот раз после того, как рукопись была завершена, Вишневский не устраивал читки пьесы, а разослал экземпляры друзьям. Александр Фадеев, несмотря на всю свою занятость, прочел сразу же и дал отзыв: «Очень цельная, выразительная пьеса. Есть непреложность, упругость, внутреннее движение... образы выпуклые, есть юмор... Хорошая пьеса... Хорошо расставлены силы в пьесе, характеры...» Пьеса понравилась и Леониду Леонову («только бы длинноты убрать»), и А. Таирову («вещь серьезная, крепкая»), и К. Симонову. Последний попросил пьесу для «Нового мира» и, получив согласие, через полтора часа прислал курьера с договором. Было приятно, что рукопись его нового произведения попросил именно «Новый мир» — ведь и «Оптимистическая трагедия» когда-то напечатана там же.

Поставили пьесу в Малом — К. Зубов и В. Цыганков; в Ленинградском театре имени А. С. Пушкина — Л. Вивьен и В. Мехнецов; в Центральном театре Красной Армии — Ал. Попов и А. Окунчиков.

В марте 1950 года за «Незабываемый 1919-й» Вишневскому была присуждена Государственная премия первой степени. Прислали поздравления и старые друзья: первыми, как всегда, Ванечка Папанин и Петечка Попов, Иван Хабло и Емельян Козлов...

И доктор, прежде чем прописать постельный режим, сказал:

— Поздравляю с большим успехом... Ну, измеряем давление, послушаем сердце... Давление 210/115, шумы усилились... Нужно беречь себя, здоровье — главное, а вы перенапрягаетесь, режим нарушаете. Полежите.

Несмотря на ухудшающееся здоровье, Всеволод Витальевич чувствовал себя полным творческих замыслов. «...Наметил свою пятилетку. Нужно поднять мои архивы, дневники за последние пятнадцать-десять лет. Нужно давать прозу. В кипении 30—40-х годов — театры, кино, газеты, радио, военная работа и другое — я затормозил это дело, но чувствую, что большая часть моих писательских фондов пока под спудом...»

Вишневского волнует тема коммунизма. В письмах к Всеволоду Азарову он делится своими мыслями о том, что

«необходимо взяться и создать такое произведение, которое в пластичных, живых, эмоциональных формах дало бы миллионам людей увлекательную разработку центральной темы человечества... Видимо, это должна быть смелая монументальная пьеса, в которой должна быть дана стремительная тема современной борьбы — социальной, политической — и раскрыты — в их основе — идеи коммунизма».

И далее писатель размышляет о будущем: *«Где-то в коммунизме есть индивидуализм высшего, особого типа... Как раз проблема мало разработанная, а тут и давать бой капиталистическому миру, который судорожно орет об «уничтожении индивидов».* Грядущее общество виделось ему как *«полный неудержимый поток творческих сил человечества».*

Это отрывки из писем конца 1949 года. Однако даже приступить к осуществлению новых планов ему не суждено было.

7

В фонде В. В. Вишневского в ЦГАЛИ хранятся черновики и копии полутора тысяч его и четыре тысячи семьсот пятьдесят писем ему, исключая, конечно, поздравительные и телеграммы, письма читателей и радиослушателей, начинающих писателей, корреспондентов журналов и газет, в которых он работал. По этим письмам создается довольно объемное и разностороннее впечатление о Вишневском — писателе, критике, литературоведе, журналисте.

Вспомним: в «Знамени» он прочитывал ежемесячно пятьдесят рукописей, а значит, из редакции уходило не менее пятидесяти ответных писем. Иногда это законченная рецензия на то или иное произведение или наброски к исследованиям по истории литературы. А кроме того, Всеволод Витальевич неизменно живо откликался, «детонировал» на новые, пусть еще и не до конца осуществленные, творческие замыслы товарищей по перу.

Как-то Н. Михайловский послал ему главы своей будущей книги «Линкор «Марат». Прошло совсем мало времени, и почтальон принес Михайловскому пакет — в два раза толще. Вишневский не только изложил свои замечания на двадцати страницах, но и послал ряд ру-

кописных материалов, имевшихся у него в единственном экземпляре.

Всеволод Витальевич делился и с другими писателями своими записями, документами, книгами. Если только требуется помощь — Вишневский проявлял и настойчивость и бескорыстие, увлекаясь, исчерпывал свои возможности до дна. Яркая иллюстрация мгновенного отклика на то, чем живет, мучается другой, — его переписка с К. А. Фединым.

...Однажды Константин Александрович попросил дать некоторые справки, относящиеся к периоду гражданской войны. «Хорошо, я поищу, подумаю», — ответил Вишневский и вскоре послал подборку материалов с такой сопроводительной запиской: «Покопался в своих книгах. Нашел книгу о Саратовском Совете рабочих депутатов. Материалы 1917 и 1918 годов. Может быть, просмотрев книгу, Вы кое-что найдете для себя. Протоколы дают некое отражение фактов, страстей, интересов, тем, дел. Есть интереснейшие эпизоды, биографии (см. примечания в конце книги). Есть и интересные письма, заявления и пр. Есть также различные отчеты и не лишенные остроты прения по ним» *(18.IV. 1947 г.).*

Спустя несколько дней (поиски продолжаются) — новое письмо: «Копнул свою библиотеку еще глубже. Шлю Вам книгу А. Деникина «Очерки русской смуты» — том, как раз нужный для Вашего романа. Тут и корни 1918-го, и *необыкновенное* лето 1919-го, и поход на Москву, и обозначение фланегов, и Антанта, и разгром белых, и пр. и пр. Тут и взгляды «той» стороны и пр.».

Назавтра — целых два письма кряду. Одно — ответное, в котором Вишневский радуется тому, что «зреет, создается серьезный политический роман»; а второе сопровождает «две полезнейших по фактическому материалу статьи». И здесь Всеволод Витальевич дает — осторожно, тактично — совет, ибо его, как он выразился в дневнике, тема «затревожила»: «...Я думаю, Вы глубоко войдете в материал. Вы неторопливы. И еще: *чем глубже Вы будете идти психологическими путями, тем основательнее Вы придете к политической сути России,* ее делам, чаяниям, верованиям, подвигам, метаниям, расставанию с «азиатчиной», косностью, невежеством и пр.».

И далее Вишневский пишет большое — 25 страниц на машинке! — письмо Федину о главных чертах соци-

ально-политической и стратегической обстановки в стране в 1919 году...

При встрече Константин Александрович рассказывал ему о своих творческих планах:

— Хочу написать десять романов, чтобы охватить всю нашу жизнь, полвека...

Как известно, Федину не удалось до конца осуществить свой замысел — за «Первыми радостями», «Необыкновенным летом» — оставшийся незавершенным роман «Костер». Говоря о своей принципиальной творческой установке применительно к этому произведению, Константин Александрович подчеркивал: «Постоянное мое стремление найти образ времени и включить время в повествование на равных и даже предпочтительных правах с героями повести — это стремление выступает в моем нынешнем замысле настойчивее, чем раньше. Другими словами, я смотрю на свою трилогию как на произведение историческое».

Такой подход был близок Вишневскому, и именно поэтому Федин принимал его помощь с радостью. И до тех пор, пока автор «Необыкновенного лета» не закончит работу, Всеволод Витальевич шлет ему материалы о гражданской войне на Волге — книги, статьи, воспоминания — свои, О. И. Городовикова, Г. Ломакина.

«Привет, Константин Александрович! — пишет он *22 марта 1948 года.* — Вспомнил, что к Вашей теме у меня есть большой альбом «Первая Конная». Шлю Вам его. Просмотрите *типаж,* документы и пр. Кое-что наверняка пригодится.

Далее. Шлю Вам журнал «Красный флот». Он посвящен 10-летию Красной Армии. Там есть мой очерк «Конная Буденного»... Да, советую тщательно выверить дело о Камышине. Бывший комиссар Чижевский говорил мне, что на некоторых картах Камышин обозначен в 1919 году за нами и взят-де белыми не был. Но у меня есть описания обстрела Камышина нашими кораблями...»

Позже, по просьбе автора, Вишневский читает главы романа и делает поправки и, как только может, поддерживает морально. Зашел Федин как-то на дачу. Он похудел, на лице седая щетина. Сказывается большое напряжение: «Я прямо распадаюсь... Пишу последние страницы — смотр Сталиным Первой Конной в Новом Осколе...».

Разумеется, Всеволод Витальевич охотно взялся кон-

сультировать — помимо подробного описания смотра, дал ряд бытовых деталей. А спустя некоторое время посылает подбадривающую записочку: «Понимаю Ваше состояние... Ну, еще несколько усилий... Я думаю, что будет нужная, прочная вещь. Объем — дело «производное»: ведь тема такая широкая — *зарождение новой России.*

По готовности романа с охотой прочту *все*, — для цельности впечатлений, ощущений; побеседуем».

Вишневский глубоко проникся заботами и мыслями о романе (не исключено, что и идея написания пьесы «Незабываемый 1919-й» родилась под влиянием столь близкого участия в «творческой кухне» К. А. Федина), и вскоре произошел весьма любопытный случай. 27 августа 1948 года в 3 часа дня Всеволод Витальевич деловито и подробно отвечает на очередной возникший у Федина вопрос: «Справка для Вас. — В русской коннице издавна были кавалерийские значки: эскадронные, сотенные, значки команд разведчиков, штабные и т. д. Эта традиция перешла и к Конармии. Сотни и эскадроны возили значки: штандарты на пиках, обычно алые, с номерами, небольшими текстами и пр.

Я помню, что у штаба Конной при специальной сотне был такой же значок. Его устанавливали у занимаемого здания — это означало: *здесь сотня штаба...*»

А в ответ Константин Александрович пишет:

«Спасибо за письмо. Получил его через 10 минут после того, как поставил точку на «Необыкновенном лете»... Вам по праву могут и должны быть посвящены некоторые страницы и даже главы этого романа. Благодарю Вас за помощь и за товарищество — за бескорыстие и терпеливость желания мне помочь... Вам первому сообщаю об окончании работы».

И Вишневский, получив эту записку, тут же со всей полнотой чувств, искренне радуясь удаче товарища, отвечает:

«Дорогой Константин Александрович!

Конец! Роман написан! Конармия ворвалась в Ростов или Майкоп! Понимаю, *приветствую!* Полтора, два года работы — это ведь больше и дольше походов 1919 года...

Благодарю за добрую записку. Я выполнил лишь свой долг: долг бойца Конармии, долг русского человека, долг редактора, долг товарища.

Сейчас Вы пишете мне в *запале*. Потом будете *пристально* выверять и править все главы. Я поэтому все-таки покопаюсь насчет значков, Нового Оскола и пр. ...»

Замечательная творческая дружба двух крупных писателей нашего времени продолжалась до самой смерти Вишневского, и на титульном листе вышедшего из печати «Необыкновенного лета» романист сделал такую знаменательную надпись: «Дорогой Всеволод Витальевич! Вы были моим Вергилием по военно-историческим дорогам 1919 года... К моей памяти о прошлом Вы щедро прибавили свою...»

Как-то утром позвонил Довженко:

— Очень по тебе соскучился. Завтра кончаю монтаж фильма. Художественный совет студии доволен, а в воскресенье еще просмотр — для ученых и для друзей. Может, приедешь, а?..

Наконец-то фильм, которому Довженко отдал несколько лет, выйдет на экран. Все бы ничего, но в условиях послевоенной разрухи и студии приходилось туго: иной раз съемки откладывались из-за того, что не хватало реквизита. Александр Петрович снимает без передышки, на съемках кричит, ругается: то шляпа для актера, исполняющего роль Мичурина, тесна, то яблоки грошовые, а ведь нужны отборные, выставочные. Да и переделывать фильм пришлось после замечаний худсовета...

В эти трудные для Довженко годы они еще больше сближаются: чаще встречаются, ведут долгие беседы о жизни, литературе, искусстве, расстаются неохотнее. Порой у Александра Петровича бывают приступы уныния: после того, как написанный в 1943 году по свежим следам событий сценарий «Украина в огне» Комитетом по делам кинематографии был запрещен для печати и для постановки, от режиссера отвернулись в Киеве, даже на «Украинфильме», который ныне носит имя А. П. Довженко...

В минуты откровений шла речь о самом главном. «Я проживу еще лет шесть... — говорил Довженко. — Надо написать несколько пьес... Я думаю о новом, интеллектуальном театре. Без быта, писатель не должен вещать из «нутра» героев, а излагать мысли, очищенные мысли людей... Я, например, пишу крестьян как фило-

софов...» И он вспоминал своего отца, живые картинки детства: на покосе, бывало, когда дождь льет и льет и портит сено, бородатый, косматый старик, подняв руки со сжатыми кулаками, гремел: «Что же это такое?! Зачем?! Вот я тебя косой!..»

Нередко они говорили о творчестве Эйзенштейна — в определенном смысле антипода Довженко, который, признавая талант кинорежиссера, восставал против отдельных его проявлений.

— Шедевр... — это о второй серии «Ивана Грозного». И Александр Петрович тут же уточняет свою оценку. — Но это трагедия без катарсиса... Ненавижу такое искусство... Гениальная фотография... Гениальная музыка Прокофьева, совпадающая с кадрами так удивительно. Портреты, замедленность... Все под сводами, душно... В цвете ничего нового — это все было в живописи: бархат, золото и прочее... Танцы у Грозного — нечто от ансамбля, какой-то парень стриженый, современный... Странно, Всеволод...

— Эйзенштейн — большой талант, — говорил в другой раз Довженко, — но он залез в дебри библиотеки, в западную эстетику. Он уже не вернется... И потом: он всегда ироничен, циничен... Где-то он перед зияющей пустотой. А надо иметь — всегда надо иметь святое...

Вишневский далеко не со всем согласен, но в давнем споре Эйзенштейна и Довженко — «горожанина» и «крестьянина», таланта «от головы и эрудиции» и таланта «от земли» — он на стороне последнего. Вновь и вновь перечитывает эйзенштейновский сценарий, смотрит фильм и приходит к выводу, что художник потерпел неудачу: «Это «дворцовая», мрачная вещь... Надо было ее сжимать и делать сильно Ливонскую войну...» В другом месте дневника мы находим и более развернутую оценку «Ивана Грозного».

Суть мнения Вишневского сводилась к следующему: автор сценария и фильма ушел от России XVI века к западноевропейской живописи, к католицизму; его потянуло к игре средневековыми ужасами. Забыл о русской природе, о духе, о русских страстях; поспорил с «Борисом Годуновым» и «Царем Федором Иоанновичем», с Репиным, Суриковым и другими — и наказан. Попал в плен к старомодной композиции, взял условный и исторически ошибочный сюжет «узкого дворцового заговора», убийств, казней... Исключил народ, исключил почти

государственную деятельность Ивана, неверно изобразил военную силу России (дал разнузданных, порочных опричников, а где ратники, воеводы, ополченцы?).

Вишневский написал пятнадцать страниц отзыва и прочел их Эйзенштейну. Тот, слушая, внутренне волновался, краснел, в одном-двух местах возражал в частностях. А затем потянулся к рукописи:

— Можно ее взять с собой?..

Вишневский кивнул в знак согласия, и Эйзенштейн, вымученно улыбнувшись присутствовавшей при разговоре Софье Касьяновне, сказал:

— Хорошо, что ее Всеволод не напечатает... Это отличная проза...

А вообще, несмотря на довольно жестокую критику второй серии «Ивана Грозного» Вишневским, для Эйзенштейна Всеволод Витальевич оставался одним из тех немногих людей, на чью помощь он мог рассчитывать в трудную минуту.

Благие душевные порывы свойственны многим, но осуществить их дано не каждому. Вишневский читает воспоминания Всеволода Рождественского о Есенине: написаны они ярко, создается образ поэта — обаятельного, надломленного, теряющего себя неотвратимо и до боли обожающего Россию. И Всеволод Витальевич тут же пишет автору: «Прочел Вашу главу, и сразу захотелось написать Вам. Спасибо, крепко жму руку».

Второго августа 1949 года М. С. Шагинян подарила Вишневскому томик своих избранных произведений с надписью: «По Вашему совету я переписала «Гидроцентраль»...» И можно не сомневаться, что благодарность им заслужена честно. А еще из этой надписи очевидно: авторы близко к сердцу принимали его отзывы и мнения.

Дружескую поддержку Вишневского в полной мере ощутил и видный украинский советский писатель Юрий Иванович Яновский, автор лирико-романтических «Всадников», поэтических рассказов и пьес. Познакомившись еще в тридцатые годы, они по-настоящему сблизились во время Нюрнбергского процесса, где Яновский находился в качестве корреспондента украинских газет и где он чувствовал себя неуютно и одиноко. Будучи исключительно тонкой и впечатлительной натурой, Юрий Иванович тяжело переживал все, о чем шла речь на заседа-

ниях Международного трибунала: и факты злодеяний фашистов, и показания свидетелей, и просмотр кинолент, запечатлевших варварства гитлеровцев. Вишневский заходил за ним в гостиничный номер, и они вместе коротали время: бродили по улицам Нюрнберга либо вели бесконечные беседы о путях дальнейшего развития литературы.

И не случайно, что в апреле 1948 года, при встрече в Москве, именно Яновскому, соратнику по романтическому направлению в литературе, Всеволод Витальевич, как бы продолжая давнишний разговор, доверил свои мысли о том, что сегодня нужны не столько патетические взлеты, сколько трезвое, научное, с критикой и самокритикой видение жизни, бесстрашное, с железным убеждением в силе и правде нашего дела и широким, свободным изображением социальной жизни; что для России нестерпимо отсутствие философского, политического, гражданского романа (новеллы) — тургеневского, толстовского, чеховского, горьковского...

По возвращении из Нюрнберга на Родину Вишневский первым написал Яновскому (28 мая 1946 года), предложив сотрудничать в «Знамени», что было одновременно свидетельством и личной симпатии, и внимания главного редактора к развитию литератур братских союзных республик, его кровной заинтересованности в том, чтобы приток авторов оттуда усилился.

И в последующие месяцы Вишневский внимателен к другу, пишет, что рукопись Яновского, как только получит, сразу же пустит по знаменскому «казачьему» кругу редколлегии. Однако у Юрия Ивановича дела складывались неважно, хотя и работал он на совесть. Правда, плакаться он не любил, и лишь некоторые детали говорят об атмосфере, создавшейся по отношению к нему на Украине в 1947—1948 годах. Впрочем, нелишним, видимо, будет привести некоторые выдержки из их эпистолярного диалога.

В. В. Вишневский — Ю. И. Яновскому. 20.II.1948 г.

«Думаю о Вас, о Вашей жизни, о Вашем творчестве... Сердцем хочу Вам успехов, ясности, доброго настроения. Всегда вспоминаю наши поездки, работу, новогодние блуждания по лесу и болоту, разговоры о жизни. Напишите, дорогой, что у Вас, как работа, самочувствие?

Я по-прежнему в потоке дел...»

Ю. И. Яновский — В. В. Вишневскому. 25.II.1948 г.

После поздравлений с 30-летием Советской Армии и Флота Юрий Иванович пишет: «И подаю Вам, товарищ каперанг, рапорт о том, что есть еще порох в пороховницах, еще не гнутся казаки!» Хотя и начато письмо в шутливом тоне, но выдержать его трудно: работает над книгой из последних сил, так как с осени не получил ниоткуда ни копейки.

«Надеюсь побывать в Москве в течение ближайшего месяца, тогда все Вам расскажу о моей жизни и прочем. Трудно даже поверить, что возможно то, что мне пришлось пережить. В общем, надеюсь похитить у Вас пару часов для изложения моих творческих дел...»

А следующее письмо Яновского (от 25 мая 1948 года) — ответ на, к большому сожалению, несохранившееся письмо Всеволода Витальевича — дает представление и о характере взаимоотношений между ними, и о Вишневском — редакторе и человеке.

«Дорогой Всеволод!

Люблю Вас, чёрта морского, пренежно и желаю, чтобы сердце Ваше было молодо, как тридцать лет назад, а душа молодела еще тридцать лет, и чтобы Вы закончили книгу, пьесу, мемуары и редактировали «Знамя» в эпоху коммунизма...

Ну, что же мне сказать о полученной мною оценке моих опусов?.. Вы видите как хороший редактор, а это очень редкое качество — быть хорошим редактором. Надо отрешиться от сугубо личного, видеть поступь нашей литературы и отметать все, что к ней не относится...

Я сажусь к столу — попробую исправлять те 7 рассказов, которые Вы отобрали для журнала. Во вчерашней телеграмме, подписанной Вами и С. И.[1], говорится о присылке мне копии отредактированных вещей для согласования. Очевидно, перед набором? Я не задержу больше двух дней... Единственная у меня просьба, если это не будет наглым вмешательством в дела редакции, — напечатать отобранное Вами по возможности скорее, — Вы понимаете мое положение. Я мечтаю о встрече с читателем.

Закончив с «Киевскими рассказами», я возьмусь за новое, довольно раскачиваться, надо каждый год давать книгу. Надеюсь и впредь видеть Вас своим редактором и дружеским критиком, говорящим все по-честному...»

[1] С. И. Вашенцевым, ответственным секретарем «Знамени».

И еще ответные письма Вишневского:

От 27.V. 1948 г.

«Козаче, день добрый!..

Ваши письма получил. Благодарю. Вижу, как Вам в Киеве одиноко, трудно. Бывайте у нас — в Москве, — двери все открыты...

Видимо, в письмах мы коснулись существенной стороны Вашего творчества. Углубляйте *точность наблюдений, отбор фактов, народных рассказов, дум, легенд... Это* — Ваша стихия, а не публицистика, «сюжеты», газетные темы, «скрежеты» и пр. Вы, изучая, особенно на Правобережье, опыт Отечественной войны, органически придете к глубокой теме осуждения украинского национализма и националистов...» Далее Всеволод Витальевич советует поездить по Украине, пособирать материалы — факты — из архивов, из живых рассказов крестьян, солдат, офицеров, дедов, крестьянок, и тогда он напишет книгу, которая «может стать книгой народной, спором всенародным, — *судом Украины над предателями, лжеукраинцами.* ...Книга может стать гимном *подлинной* Украине, ее славе, казачеству былому и потомкам его в современности... Книга может звучать, как «Я обвиняю», и Вы — автор «Всадников» и др. и должны написать то, что другие не могут, не хотят, не умеют (нет желания и огня)...»

Письмо 29.V. 1948 г. «Юра, привет. Продолжаю думать о выдвинутом для Вас плане...»

Всеволод Витальевич буквально живет возникшим замыслом, ему страстно хочется увлечь им и Яновского; он особо подчеркивает жанр будущей книги: «Лиро-эпическая, близкая Вам форма: не сюжеты, комбинация, разоблачения и «уничижительность» и пр., а медленно накипающий народный сказ, эпос — *вот как было; вот почему произошло...»* И далее Вишневский излагает возможные, на его взгляд, «ходы — в книге могут пройти имена славных сынов Украины — от древнейших созидателей Киева, от казачьих полководцев до Щорса и современников; контрапунктом пройдут дела, падения и смерти петлюр, махно и прочих...».

Переписка эта, причем довольно интенсивная, продолжалась до последних дней жизни Вишневского. Публикация «Киевских рассказов» в № 7 журнала «Знамя» за 1948 год, которая, как уже отмечалось выше, ставилась главному редактору в укор, для Яновского оказалась спа-

сительной. Уже в октябре его рассказы (из напечатанных в Москве) поместили киевские республиканские газеты. И вообще его вновь начали печатать.

Однако Всеволод Витальевич не успокоился, а продолжал отстаивать — и устно и в печати — «Киевские рассказы». 9 апреля 1949 года, когда диктор сообщил по радио о присуждении Государственных премий, Всеволод Витальевич записал в дневнике: «Рад за Юрия Яновского...»

Приятно, что справедливость восторжествовала. Но, наверно, и у Вишневского, и у многих других на душе оставался горький осадок. Как у Остапа Вишни, сделавшего такую запись в дневнике: «...Новость! Ю. И. Яновский получил Сталинскую премию. Это после того, как его сильно «били», сильно его «громили» за национализм, скептицизм и т. п.

Я очень рад, что *работа* Ю. И. Яновского победила... Чего бы хотелось от Ю. И. Яновского?

Радости в творчестве! А то как-то так получается, что он (и вместе с ним литература) ценой страданий добывает победу. Я, грешный человек, думаю, что литература — радость!»

Ранняя весна. Комната с рассвета до заката залита солнцем. Двери, окна, выходящие в парк, к пруду, — настежь. Сестрицы ужасаются — холодно ведь! — а он шутливо, но настойчиво просит оставить все открытым.

Воздух... Ему нужен воздух, покой, абсолютный покой, болезнь дает о себе знать не только со стороны сосудов, но и нервов, сердца и даже почек.

Да, весна нынче небывало мягкая, все распустилось раньше обычного. Всеволод Витальевич выходит во двор, бродит по любимым дорожкам парка вокруг санатория: сегодня ему получше. И ни о каком покое уже и мысли нет: в голове — встречи, разговоры, рукописи — ведь и здесь, в «Барвихе», он живет, хотя и находится на лечении. А вообще-то в процедурах есть немало неприятного, особенно когда ставят пиявки. Профессор при назначении сказал:

— Я думаю, что пиявки помогут...

— Возможно... — вяло ответил Вишневский.

Непривычная штука: болезнь начала всерьез одолевать. Он не может работать, как обычно — до желания

свалиться, закрыть глаза и уснуть. Работать так, чтобы все, что в его силах, было сделано, а иначе на душе — мрак, беспокойство. Такое ощущение присуще многим: делать, творить, двигать, драться. Именно поэтому раненые спешат встать в строй...

И в санатории он нужен всем. Читает новый сценарий Довженко, по просьбе Григория Александрова знакомится со сценарием «Глинки». Режиссер с благодарностью принял его замечания и советы, а заодно и аккуратно написанные странички — для памяти.

П. Аташева готовит сборник статей С. М. Эйзенштейна, звонит: «Очень хочу, чтобы Вы были первым человеком, который даст путевку этому сборнику». Пришла телеграмма из Петропавловска на Камчатке: «По просьбе читателей ждем Вашего письма о дальнейших планах — редакция «Камчатской правды».

В его палату часто заходят: широта интересов, общительность, постоянная потребность поделиться своими впечатлениями и мыслями — даже в больничной обстановке — притягивают к нему людей. Заглянул С. Маршак, подарил книгу — переводы сонетов Шекспира: «Вы первый печатали их в «Знамени»... А после нескольких бесед, уезжая из санатория, сказал одному из общих знакомых: «Вот, Всеволод... В жизни — сумрачный, со стиснутыми зубами, суровый, неинтересен. А здесь я узнал его».

Приезжал Петечка Попов: на днях свадьба его старшего сына Бориса — надо послать поздравления и билеты в Центральный театр Красной Армии...

Режиссер спектакля Окунчиков рассказывает, что «Незабываемый 1919-й» зрители принимают редкостно хорошо. Это приятно, это радует. И вообще Всеволода Витальевича вот уже несколько недель не покидает радостное ощущение творческой победы, признания успеха.

В начале лета 1950 года Вишневский вместе с Софьей Касьяновной и группой киноработников, которым предстояло снимать «Незабываемый 1919-й», приехал в Ленинград. Здесь они тщательно осмотрели форт Красная Горка, подступы к батареям. Однако через несколько дней Всеволод Витальевич почувствовал себя плохо и был отправлен в санаторий «Репино», где лечился на протяжении трех месяцев, а в сентябре 1950 года перевезен в «Барвиху».

В первое время пребывания здесь его кипучий характер не выдерживал безделья — если не занятия творчеством, то общественная работа, люди, звонки. Именно поэтому А. А. Фадеев писал ему 28 сентября 1950 года: «Ничего нет такого в нашем ССП, что требовало бы сейчас твоего участия... Лечись спокойно, так сказать, на законном основании. Вообще мы уже обсудили вопрос о твоей будущей работе в связи с характером твоей болезни и пришли к следующему выводу: 1. Надо дать тебе долечиться до конца, до максимального восстановления сил. 2. Надо изменить целиком и полностью характер твоей жизни и работы: поселить на даче или где-либо так, чтобы избавить тебя от повседневной суеты и дать возможность работать творчески. 3. Сохранить тебя, само собой разумеется, в качестве заместителя генерального секретаря... но а) без обязательства посещения всяких заседаний, дежурств и прочих повседневных обязанностей, б) с возложением таких работ, которые возможны на дому: чтение принципиальных рукописей, выступление со статьями важного политического характера, консультация и совет по всем важнейшим, главным вопросам, с которыми я или другие всегда можем к тебе приехать».

В больнице отметил Всеволод Витальевич свое 50-летие, принимал поздравления друзей с правительственной наградой — орденом Трудового Красного Знамени. «Живите свое второе полустолетие с таким же напором, как первое!» — писал Юрий Яновский. В ответном — последнем — письме Вишневский делился своими планами: «На 1951 год планирую сборник прозы — из 5-ти войн. В большинстве вещи готовы... Думаю, что будет толк.

Выздоравливаю по Вашему совету. Вс. В.».

Но выздороветь ему не удалось. Всеволод Витальевич Вишневский умер в кремлевской больнице 28 февраля 1951 года. На Новодевичье кладбище, где его хоронили, пришли друзья и товарищи, у гроба с телом писателя стоял бессменный флотский караул.

Всеволод Вишневский прожил большую, но, увы, короткую жизнь. И все же в нее вместилось столько, что иным хватило бы на несколько жизней: солдат, прошедший войны первой половины столетия, кадровый флотский офицер и военный историк, страстный публицист

печати и радиовещания, прозаик, драматург, киносценарист...

Почему так много успел Вишневский в отмеренные ему судьбой полвека?

Иной раз друзья из уст в уста передавали разные случаи, характеризующие неуемность его. Вот один из многих. В первый послевоенный год делегация советских писателей возвращалась из Югославии. К ним в купе, вспоминал Александр Прокофьев, подсел только что демобилизованный танкист, и вскоре они с Вишневским вышли. Немного погодя танкист вернулся один, а когда его спросили, куда подевал Вишневского, в ответ услышали: «В будку к машинисту залез и там шурует».

Паровозный машинист пустил его, потому что у него на груди тринадцать-пятнадцать колодок — боевых наград. Через перегон он вернулся в купе, весь в угольной пыли, белая рубаха стала черной, а друзья единодушно признали, что в результате его энергичной работы поезд пошел гораздо быстрее...

Конечно же, они шутили. Но абсолютно достоверно: если только где-либо, когда-либо в присутствии Вишневского делалось дело и оно требовало его участия — тут же засучивал рукава и бросал себя в русло общего труда и забот.

Как-то в письме к А. Я. Таирову (от 2 декабря 1944 г.) Всеволод Витальевич высказал примечательную мысль: «И все-таки искусство — не главная тема моей жизни, главная тема — жизнь!..» Тот, кто хоть немного знаком с биографией Вишневского, сразу постигнет смысл кажущейся с первого взгляда противоречивой фразы: где бы он ни был, чем бы ни занимался — всегда был участником — созидателем, бойцом, а не только свидетелем, очевидцем, наконец, летописцем происходящего. Наверное, поэтому он и мог написать о себе так: «Духовная напряженность у меня большая. Думаю, что последние годы она достигла наивысшего (пока) уровня. Это *реальная политическая* и военная деятельность, которая — как там ни спорь — является *высшей* человеческой формой проявления сил, интеллекта, души... Искусство — сладчайшее, опьяняющее, мучительное — все-таки не дает подобного, истинно трагического накала *реальности*...»

«Мы делали жизнь, а не только литературу», — с полным правом говорил Вишневский. И в то же время

в строках дневниковой исповеди он сожалел о том, что не полностью принадлежал искусству: «Доходил почти до отрицания... Дело, мол, вообще в жизни, в борьбе, — искусство лишь частица... Но я шел честной дорогой, отдавал себя борьбе, дню, задачам... Я не умею, не могу думать эгоистически о личном, устраивать *свое...»*

Как жаль, что благородная привычка отдавать себя целиком общему делу далеко не всегда совпадает с тем, что необходимо для писателя!

Тем более для такого, который никогда не выбирал себе назначений и постов. «Их мне дают, — писал Вишневский, — и я выполняю поручения моей партии. Всегда точно. Во мне железная дисциплина поколений: мои деды и прадеды — русские военные люди...»

Размышляя о сущности художественного творчества, Всеволод Витальевич сказал однажды: «Настоящая литература — это всегда душа, сердце *одного,* вместившее в себя *мир.* У нас путают напечатанное с литературой». Душа Всеволода Вишневского и в самом деле стремилась вобрать в себя весь мир в его стремительном и безудержном движении к лучшему будущему, писатель щедро предлагал людям свое неповторимое философско-эстетическое, нравственное видение этого динамического мира.

Во время поездки в Париж в 1936 году они с Е. Дзиганом шли в рабочий район, забирались на галерку в кинотеатре и наблюдали за зрителями. «Вот кто-то вскочил в партере, что-то вскрикнул, — и ты видишь, как вместе с твоими героями разговаривает сам зал. Эта радость не часто дается художнику. Но это самая высокая награда! Твое искусство, твой фильм врывается в жизнь и действует как политическая активная сила» — так выразил свои чувства Вишневский, подчеркнув, какое огромное значение имеет действенное, преобразующее жизнь искусство.

Литература должна служить народу — эти слова он воспринимал вполне конкретно, осязаемо. В тридцатые годы Вишневский видел, понимал, может быть, больше других, что катастрофическое столкновение двух миров неизбежно, и считал своим долгом готовить к нему всех. Он как бы чувствовал л и ч н у ю о т в е т с т в е н н о с т ь за боеспособность своего народа, за его решимость и умение защитить Родину, социалистический строй.

...В июньский рассвет сорок первого года пограничи-

ки дрались до последнего патрона. Горели заставы, а бойцы сопротивлялись, нанося противнику большой урон. Когда Николаю Тихонову рассказали подробности гибели одного такого отряда, он совершенно неожиданно воскликнул:

— Вишневский!

— Что значит Вишневский? — спросили его.

И Николай Семенович поделился воспоминанием о пьесе «Последний решительный», о финальной сцене и, самое главное, о том ощущении, которое возникало у него и других во время чтения Вишневским своих произведений.

Им овладевала странная тревога — именно то, что автор описывает, произойдет на самом деле. Когда? Он не знает. Но это будет: и неотвратимая смертельная схватка, и геройская гибель многих — все будет. «Вишневский, обладая талантом импровизатора, — писал Тихонов, — обладал еще тонким талантом предчувствовать приближение громадных событий».

Страстный, неутомимый новатор, он был и реалистом и романтиком — ведь внутренне присущее социалистическому реализму многообразие проявляется и в использовании условности, и в экспрессивных формах художественного обобщения. Этого драматург достиг в процессе создания «Оптимистической трагедии», глубоко и ярко отразившей дух эпохи, — произведения, без которого немыслимо становление советского театра. Пьеса принадлежит к непреходящим духовным ценностям искусства, таким, как «Тихий Дон» М. Шолохова, «Разгром» А. Фадеева, «Железный поток» А. Серафимовича, «Соть» и «Русский лес» Л. Леонова, «Любовь Яровая» К. Тренева, «Города и годы» К. Федина, «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова, «Василий Теркин» А. Твардовского. И совсем не случайно еще в 1936 году было сказано: «На линию огня вывел красных партизан Александр Фадеев, собирает вокруг Тихого Дона большевиков-казаков Шолохов и вывел в бой большевистских революционных матросов Всеволод Вишневский». Слова эти принадлежат Николаю Островскому.

Талант Вишневского обладал резкой выразительностью формы, своим творчеством он утверждал стиль социальной трагедии, массового действия и оптимистического звучания, систему обобщающей образности, поднимающейся до символа, до монумента. «Он не писал

кистью, а высекал резцом, — писал критик Александр Макаров, — характеры его героев лишены текучести, их создатель стремился к монументальности: *«диалоги, монологи масс — вот главное»,* — считал Вишневский.

«Человек-огонь», «человек-легенда»... Так называли его еще при жизни — за страстность, вулканический темперамент, за беспредельную преданность делу революции, партии, народа. Ровесник века, он прошел через все испытания, выпавшие на долю поколения, а бурлившие в нем страсти, жажда деятельности неизменно выносили его на передний край судьбы.

В Ленинграде и Кронштадте есть улицы, школы и пионерские дружины, есть корабли, носящие имя В. В. Вишневского. Театры, телевидение, радиовещание и кино постоянно обращаются к творческому наследию писателя.

«...Я в жизни не опубликовал 80% написанного мной, — сообщал он Азарову в октябре 1948 года. — Не спешу, не бегу печатать, «увековечивать». Хочется все снова выверить, написать по-новому». Скромность, высокая мера требовательности к себе объясняют такую позицию.

И когда, спустя десятилетие после его смерти, благодаря стараниям и кропотливому труду С. К. Вишневецкой вышло в свет Собрание сочинений, для многих это стало вторым открытием писателя. Кроме пьес и рассказов, пять толстых томов содержат роман-эпопею «Война», «Дневники военных лет», публицистические выступления в печати и на радио (да и то незначительную часть!), воспоминания. Понадобился и дополнительный, шестой том, чтобы полнее отразить творчество писателя.

Теперь перед читателем во весь рост предстала цельная личность художника-гражданина, человека завидной судьбы, жизнь которого, как сказал в свое время В. Г. Белинский об истинно народном писателе, есть лучший комментарий на его творения, а творения — лучшее оправдание его жизни.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА В. В. ВИШНЕВСКОГО

1900, 8 декабря (21-го по новому стилю). — В семье петербургского инженера Виталия Петровича Вишневского и его супруги Анны Александровны, урожденной Головачевской, родился сын Всеволод.

1914, 24 декабря — Гимназист 5-го класса Воля Вишневский совершает побег на фронт, в действующую армию.

1915, 27 июля — Разведчик лейб-гвардии Егерского полка Вишневский участвует в схватке с германским кирасирским разъездом, закончившейся победой егерей. За этот подвиг он награжден Георгиевским крестом 4-й степени.

1916, 15 июля — Во время атаки под Стоходом контужен.

1917, июнь — Вишневский пишет заметку в «Правду».
25 октября — Принимает участие в штурме Зимнего дворца.

1918, 3 февраля — Получает аттестат зрелости об окончании гимназии.
Март — июль — Боец 1-го морского берегового отряда, Вишневский участвует в ликвидации банд анархистов.
Август — октябрь — Пулеметчик корабля Волжской военной флотилии «Ваня-коммунист» № 5.
Декабрь — Принят в ряды РКП(б).

1919 — На бронепоезде «Грозный» воюет на Украине.
Апрель — Ранен в щеку в ночном бою под Попельней.
Октябрь — Пулеметчик бронепоезда «Коммунар» № 56, вошедшего в состав Первой Конной армии. Участвует в боях с деникинцами под Воронежем, Харьковом, в Донбассе.

1920, март — Болезнь тифом, лечение в харьковском госпитале.
Апрель — декабрь — Начальник дивизиона сторожевых катеров в Новороссийском порту. Вместе с И. Д. Папани-

ным совершает морские переходы Новороссийск — Судак, в тыл врангелевской армии.

В номере газеты «Красное Черноморье» за 19 декабря напечатаны заметки Вс. Вишневского «В Крыму».

1921, май — Избран в Новороссийский Совет рабочих, красноармейских и флотских депутатов.

Июль — Возвратился в Петроград.

Осень — Оканчивает школу рулевых и сигнальщиков, оставлен в школе помощником преподавателя.

1922—1925 — Работа в редакциях газеты «Красный Балтийский флот», журналов «Красный флот», «Красноармеец и краснофлотец».

1924 — Издан первый сборник рассказов Всеволода Вишневского «За власть Советов».

1925, июль — Участие в заграничном плавании — к берегам Скандинавии и Германии — в качестве корреспондента «Красного флота» и газеты «Красная звезда». Выпуск второго сборника рассказов «Между смертями».

1926 — Выходят в свет научно-популярные брошюры Вишневского «Буржуазия вооружается на море», «Помни о Красном флоте всегда».

1927—1929 — Работа в редакции «Морского сборника». Публикация научных статей «Командный состав английского флота», «Юнги, матросы и унтер-офицеры английского флота», «Личный состав Финского флота» и др.

1928—1929 — Редактирует радиогазету Балтийского флота «Красный моряк».

1929, апрель — По заказу Центрального Дома РККА пишет героическую поэму-ораторию «Красный флот в песнях».

Ноябрь — Написал пьесу «Первая Конная».

1930, февраль — Премьера «Первой Конной» в театре государственного Народного дома (Ленинград), в Московском театре Революции, в Театре Красной Армии.

23 февраля — М. И. Калинин вручил в Кремле Вишневскому орден Красного Знамени — за героизм и мужество, проявленные в годы гражданской войны.

Осень — Написал пьесу «Последний решительный».

1931, 6 февраля — премьера «Последнего решительного» в Театре имени Вс. Мейерхольда.

1931 — Написал пьесу «На Западе бой».

1932, январь — Переезд в Москву. *На протяжении года* — работа над «Оптимистической трагедией».

1933, 14 февраля — премьера «На Западе бой» в Театре Революции в Москве.

23 марта — Премьера «Оптимистической трагедии» в Киевском русском драматическом театре.

18 декабря — в Камерном театре в Москве.

Лето — осень — работа над киносценарием «Мы из Кронштадта».

1934, 23 августа — Речь на I Всесоюзном съезде советских писателей.

1935, на протяжении года — Съемки фильма «Мы из Кронштадта». Поездка в Среднюю Азию и Закавказье. Перевод с немецкого пьесы Фридриха Вольфа «Флорисдорф».

1936, март — Выход на экран фильма «Мы из Кронштадта». Награждение Вишневского орденом Ленина.

Апрель — июль — командировка в Европу.

Осень — участие в маневрах частей Московского военного округа и учениях кораблей Балтийского флота. В журнале «Знамя» № 10 опубликованы путевые заметки «В Европе».

Конец 1936-го — 1937-й — Написал роман-фильм «Мы, русский народ» (опубликован в «Знамени» № 11 за 1937 год, в 1938 году выпущен отдельной книгой массовым тиражом).

Июнь — июль — участвует в боях в Испании, выступает на II конгрессе Международной ассоциации писателей.

16 октября — Премьера «Оптимистической трагедии» в мадридском театре «Сарсуэла».

1938 — Работа над киносценарием «В 1920 году», поездка по маршруту Первой Конной в период гражданской войны.

1939 — Написал сценарий и дикторский текст документального фильма «Испания».

Июль — сентябрь — Командировка на Дальний Восток в части 1-й Отдельной Краснознаменной армии и Тихоокеанского флота.

Декабрь — январь, февраль 1940 г. — Участие в боях с белофиннами.

1940, июль — август — Поездка в Молдавию, работа над сценарием документального фильма «Земля бессарабская».

1941, 27 июня — Прибыл в Таллин в качестве специального корреспондента «Правды».

14 сентября — Выступление на городском митинге перед комсомольцами и молодежью Ленинграда.

Октябрь — создана оперативная группа писателей при Политическом управлении Балтийского флота во главе с Вишневским.

Декабрь — лечение в госпитале от дистрофии.

1942, сентябрь — Вместе с Вс. Азаровым и А. Кроном написал пьесу «Раскинулось море широко».

7 ноября — премьера спектакля Ленинградского театра музыкальной комедии.

1943, на протяжении года — Пишет пьесу «У стен Ленинграда».

1944, 10 апреля — премьера спектакля «У стен Ленинграда», поставленного Театром Краснознаменного Балтийского флота.

Осень — участвует в боях за освобождение Прибалтики.

1945, февраль — май — Как специальный корреспондент «Правды» находится в передовых частях 1-го и 2-го Белорусских фронтов.

30 апреля — Ведет дневник переговоров о капитуляции Берлина между В. И. Чуйковым и генералом Кребсом.

Ноябрь — март 1946 г. — Участие в Нюрнбергском процессе.

1947, октябрь — Выступает с речью перед делегатами I конгресса писателей свободной Германии.

1949, январь — июнь — Написал пьесу «Незабываемый 1919-й».

1951, 28 февраля — В. В. Вишневский скончался.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

I. Произведения В. В. Вишневского

Всеволод Вишневский. Собрание сочинений, т. I—V. М., Государственное издательство художественной литературы, 1954—1960.

Всеволод Вишневский. Собрание сочинений, т. VI (дополнительный). М., Государственное издательство художественной литературы, 1961.

Вс. Вишневский. За власть Советов. Л., 1924.

Вс. Вишневский. Между смертями. Л., 1925.

Всеволод Вишневский. Первая Конная. Предисловие С. М. Буденного. М., 1930.

Вс. Вишневский. Через океан и шесть морей. М.—Л., 1930.

Всеволод Вишневский. На Западе бой. М.—Л., 1933.

Вс. Вишневский. Оптимистическая трагедия. М.—Л., 1933.

Вс. Вишневский. Мы, русский народ. М., 1938.

Вс. Вишневский. Герой Советского Союза И. Д. Папанин. М., 1938.

Вс. Вишневский. Герои Балтики. Очерки, М.—Л., 1941.

Вс. Вишневский. Балтфлот дерется. М., 1942.

Вс. Вишневский. Балтийская весна. М., 1942.

Вс. Вишневский. Бойцу-снайперу. М., 1942.

Вс. Вишневский. Письма с фронтов гражданской войны. — «Смена», 1966, № 4, с. 18—20.

Вс. Вишневский. Статьи, дневники, письма. Вступительная статья А. Макарова. М., 1961.

Вс. Вишневский. Избранное. М., 1966.

Всеволод Вишневский. Впередсмотрящий. М., «Молодая гвардия», 1971.

Вс. Вишневский. Дневники военных лет. М., «Советская Россия», 1974.

II. Книги и статьи о В. В. Вишневском

Вс. Азаров. Всеволод Вишневский, Л., Лениздат, 1970.

А. Н. Анастасьев. Всеволод Вишневский. Очерк творчества. М., «Советский писатель», 1962.

О. К. Бородина. Всеволод Вишневский. Киев, Издательство Киевского университета, 1958.

С. Вишневецкая. Всеволод Мейерхольд и Всеволод Вишневский. — В кн.: Встречи с Мейерхольдом. Сборник воспоминаний. М., 1967.

М. И. Гордон. Невский, 2. Записки редактора фронтовой газеты. Л., Лениздат, 1976.
А. Гребенщиков. «Оптимистическая трагедия» Всеволода Вишневского. Л., «Художественная литература», 1970.
Мих. Жаров. Жизнь. Театр. Кино. Воспоминания. М., «Искусство», 1967.
А. Марьямов. Революцией призванный. О Всеволоде Вишневском, его времени и его творчестве. М., «Искусство», 1963.
Н. Г. Михайловский. Во главе особого экипажа. М., 1976.
Ю. Б. Неводов. Вс. Вишневский, прочитанный вчера и сегодня. Саратов, 1968.
И. Д. Папанин. Через море на помощь бойцам Перекопа. Симферополь, Крымгиз, 1940.
В. О. Перцов. Всеволод Вишневский. Александр Довженко. М.. 1967.
Писатель-боец. Воспоминания о Всеволоде Вишневском. М., «Советская Россия», 1963.
Н. Погодин. Искать, мыслить, открывать. М., «Искусство», 1966.
М. М. Савченко. Кинодраматургия Всеволода Вишневского. Краснодарское книжное издательство, 1964.
А. Я. Таиров. Записки режиссера. Статьи. Беседы. Речи. Письма. М., ВТО, 1970.
Н. Шарапков. Всеволод Вишневский. Кишинев, 1965.

П. Вершигора. Всеволод Вишневский. Очерк жизни и творчества. — «Новый мир», 1952, № 6, с. 224—258.
А. Гребенщиков. Военная публицистика Всеволода Вишневского (июнь — август 1941 г.). М., «Вестник Ленинградского университета», 1956, № 14, с. 93—110.
Ал. Дымшиц. Военные дневники Всеволода Вишневского. — «Знамя», 1958, № 12, с. 212—214.
Г. Кормушина. История одной переписки. — «Театральная жизнь», 1959, № 13, с. 21—23.
П. Марков. О неудавшейся постановке во МХАТе «Первой Конной». — «Театр», 1971, № 10, с. 122—137.
Н. Тихонов. Страницы воспоминаний. — «Знамя», 1961, № 6, с. 89—185; № 7, с. 54—74.
Н. Чуковский. В осаде. Из воспоминаний. — «Юность», 1966, № 1, с. 80—92.
Н. Р. Яценко. «Моя тема — Война, Революция, Флот...» — В кн.: Встречи с прошлым, вып. 2. М., 1976.

СОДЕРЖАНИЕ

Хелемендик В. С.
Х-36 Всеволод Вишневский. — М.: Мол. гвардия, 1980. — 398 с., ил. — (Жизнь замечат. людей. Серия биогр. Вып. 13(606).
В пер.: 1 р. 90 к. 150 000 экз.

«Я не знаю такого второго писателя, — сказал Н. Тихонов, — который, как Всеволод Вишневский, был словно бы создан для революционных битв и событий мирового масштаба. Если бы не его таланты драматурга и импровизатора, он мог бы быть военным историком, офицером Генерального штаба, политработником...»

Его революционно-романтические пьесы «Оптимистическая трагедия» и «Первая Конная», фильм «Мы из Кронштадта» получили мировое признание и сегодня продолжают жить и звать на борьбу за торжество коммунистических идеалов. Всеволод Вишневский был ярким, своеобразным журналистом, одним из первых советских радиопублицистов.

Х $\frac{70302-127}{078(02)-80}$ 267—80. 4702010200

ББК 83.3Р7
8Р2